

3

ISSN 0206-8680

КИНОСЦЕНАРИИ

1989

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

3

1989

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1989

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Ю. Швырев, М. Волоцкий*
ДУМУ СВОЮ ДОНЕСТИ ЛЮДЯМ
- 18 *В. Залотуха*
ПОСЛЕ ВОЙНЫ — МИР
- 39 *А. Ковач*
ХОЗЯИН КОНЕЗАВОДА
- 61 *А. Криницына*
ОСКОЛОК «ЧЕЛЛЕНДЖЕРА»
- 83 *Е. Лобачевская*
ИНТЕРНЫ
- 106 *Ю. Арабов*
АНГЕЛ ИСТРЕБЛЕНИЯ
- Из архива мастеров
- 130 *Ю. Тынянов*
ОБЕЗЬЯНА И КОЛОКОЛ
- К 100-летию со дня рождения
Чарльза Спенсера Чаплина
- 147 *Л. Трауберг*
**МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК
ОН СЧИТАЛ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ МИРА**
- К 60-летию со дня рождения В. М. Шукшина
- 153 **ФИЛЬМУ — БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ...**
- Точка зрения
- 160 *С. Франк*
Этика нигилизма
- 177 *М. Мамардашвили*
«Третья сторона»
- 182 *С. Шумаков*
В чем истина?
- 191 **Наши авторы**

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:

О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ, В. СЫТИН,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ, С. ШУМАКОВ
Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

Технический редактор Л. МАРКОВА
Корректор С. ВАЛОВИЧ

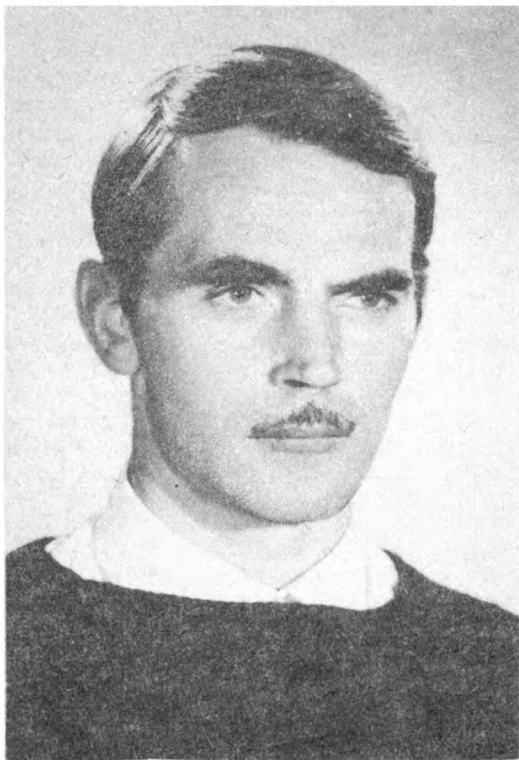
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© Журнал «Киносценарии»

Сдано в набор 07.03.89. Подписано к печати 20.04.89. А07800
Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 21,47.
Усл. кр.-отт. 16,24 тыс. Печать офсетная. Бумага типограф. «Сыктывкар»
Гарн. таймс. Тираж 63 000 экз. Заказ № 620. Цена 1 р. 20 к.

Всесоюзное творческо-производственное
объединение «Киноцентр»
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01
Адрес редакции: 103006, Москва Воротниковский пер., д. 12.
Телефон 299-47-74

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
142300, г. Чехов Московской области.



**Юрий
ШВЫРЁВ**



**Марк
ВОЛОЦКИЙ**

ДУМУ СВОЮ ДОНЕСТИ ЛЮДЯМ

Закат солнца. Степь. Сухая трава. Блестит не приметная речушка.

Вот сюда, на этот скудный суглинок, ставится тяжелая кинокамера на треноге. Ветерок. Вдоль реки мчится всадник. Вскрапывает коня.

Ударил колокол, будто вспугнул коня, — и колокольный звон превратился в гаврилинские перезвоны*.

Разин спрашивает у всадника: «Ты родом-то откуда? (Вопрос, обращенный к «патриарху», звучит многократным эхом.)»

— А вот почесть мои родные места, — отвечает тот, — там вон в Волгу-то, справа, Сура вливается, а в Суру — малая речушка Шукша... Там и деревня моя была, тоже Шукша. Она разошлась, деревня-то. Мы, вишь, коноплю растили. (...) На Покров, случилось, погорели мы... Разошлись по свету куда глаза глядят! Мне-то что? — подпоясался и пошел. А с семьями-то — вот горе-то.

* В. Гаврилин «Перезвоны» — хоровая симфония-действие по прочтении В. Шукшина.

Ажик в Сибирь двинулись которые... У меня брат ушел... двое детишков, ни слуху ни духу... В Сибирь-то много собиралось. Прослышало: земли там вольные...»

Вечерний поезд с красивой надписью «Сура» отправляется с вокзала.

В поезде — Василий Шукшин (в образе Ивана Расторгуева из «Печек-лавочек»).

Сигнал отправки, весьма похожий на станционный колокол.

Шукшин прислушивается к анафеме Разину: «Вор, и изменник, и крестопреступник, и душегубец, Стенька Разин забыл святую соборную церковь и православную христианскую веру, великому государю изменил...»

На рельсы падают листы режиссерского сценария «Я пришел дать вам волю» (1970, где в 3-й части «Казнь» имеются рассуждения о шукшинском волжском исходе; ныне как будто доказано, что предки Шукшина вышли на Алтай из Самарской губернии).

Падает в костер деревянная статуя Степана Разина (из фильма «Странные люди»).

Как написано аккуратным почерком Шукшина в финале:

«Палач третий раз махнул топором...

Гулко, зевластно ахнул колокол. Народ московский вздрогнул. Вскрикнула какая-то баба...

...Степан, смертно сцепив зубы, глядел в небо». (С тех пор как был написан для журнала «Октябрь» рассказ «Стенька Разин» и до этих строк прошло 10 лет борьбы Шукшина за Разина!)

Так он глядел в небо, а стук топора превратился в стук сердца.

Название фильма: «ДУМУ СВОЮ ДОНЕСТИ ЛЮДЯМ».

Звездное небо со знаком Льва в вершине зодиакальной дуги — рожденным под знаком Льва следует опасаться отказа сердца. Звезды отражались в волжской воде: волны плескались о борт последнего ковчега Шукшина. На столике у ложа вечного покоя лежала книга о Разине рядом с Некрасовым (в плеске волн чудятся отголоски некрасовские из шукшинских фильмов — песня в шляпинском исполнении из «Странных людей» и песня о мужике, который «стал разумен и велик», из «Калины»).

Умолкший стук сердца превратился в фантастические импульсы планеты Шукшина с пульсирующим номером 2777. Из соседней пульсирующей звездной точки донесся обрывок хриплой фразы о калине с аккордным гитарным надрывом: «А в землю лег еще один на Новодевичьем мужчина» — это голос с малой планеты «Владвысоцкий». Тут же на звездах начинается песня «Миленький ты мой», напеваемая Шукшиным и женой.

Шукшин лежит на полке в поезде, смотрит в окно. Звучит та же песня: «Там, в краю далеком, назовешь меня женой».

Бийск. Шукшин на вокзале. В автобусных маршрутах значится село Сrostки.

Восходит солнце.

Глава первая. «Там, в краю далеком...»

Наши Сrostочки прославились —

Известные давно:

Наш земляк Василий Шукшин

Здесь снимал свое кино,—

эту частушку может спеть 68-летняя Фекла Ильинична Колмакова, заявившая собирателям местного фольклора: «Озадачили вы меня частушками — сегодня сама про себя даже сочинила: и не спит ночами Фекла — ей дано задание: про село частушку сложить, сочинить страдание».

И вот еще ее:

Наши Сrostочки весёлы,
Хорошо в совхозе жить:
На Катунь ходить купаться,
На Бикете зайцев бить!

Мы входим на гору Пикет во время «Шукшинских чтений». Там людей полно, яблоку негде упасть.

И еще одна певунья рассказывает — Прасковья Егоровна Юркина, 70 лет, участница фильма «Печки-лавочки»:

— Иду я утром за хлебом. Вдруг машина около меня тормознула. Выходит Шукшин и говорит: «Прасковья, завтра приходи в клуб и подруг собери — петь будете». Я говорю: «С чего это? Да и некогда мне...» «Я тебе приказываю, Прасковья, явиться завтра к десяти утра!» — строго объявил он и уехал. Ну, раз приказал — куда же деться? Пришли мы... Я там, в кино-то, в белой кофте.

Шукшин открывает окно дома. Вот и мать, снявшаяся в фильме «Печки-лавочки».

Моя милочка поет —
У ней никто не разберет:
Шолды-шолды, решаколды,
Решакол-шаколды вьет!—

эту частушку может спеть Александр Григорьевич Куксин, близкий друг Шукшина по юности (к тому же он в прошлом сrostкинский киномеханик и поэтому может продемонстрировать нам на экране любой кинофрагмент).

— Соберемся иной раз под вечер с парнями — ну и пошли бузоваты! Запевал обычно Олег Бычков, я и Сергеа Бедарев свиistles — аж в ушах больно. Васю ставили в центр — с гармошкой. Вот наши низовские ребята...

На экране — Сrostки, издревле делящиеся на районы: Низовка, Мордва, Баклань...

Вот мужичок, вечный бродяга, игравший на алтайских свадьбах, Федя-балалаечник (редко кто знал его фамилию — Телелецких); из его наигрышей, согласно свидетельству композитора П. Чекалова, родилась музыка к «Печкам-лавочкам» и «Калине»; ныне Федю-балалаечника уже не встретишь, затерялся он на Чуйском тракте, погиб, но остался он на экране и мелодии его остались.

Шукшин косит на горе Пикет под Федины припевки; годятся тут также и частушки Прасковьи Юркиной: «Я кошу, за мной растет зеленая травушка; это, милый, не любовь, а худая славушка».

Идут люди на гору Пикет. От ветра чуть-чуть парусится огромный портрет Шукшина. Люди сидят на склоне горы, слушают...

Звучит голос Шукшина (магнитофонная запись):

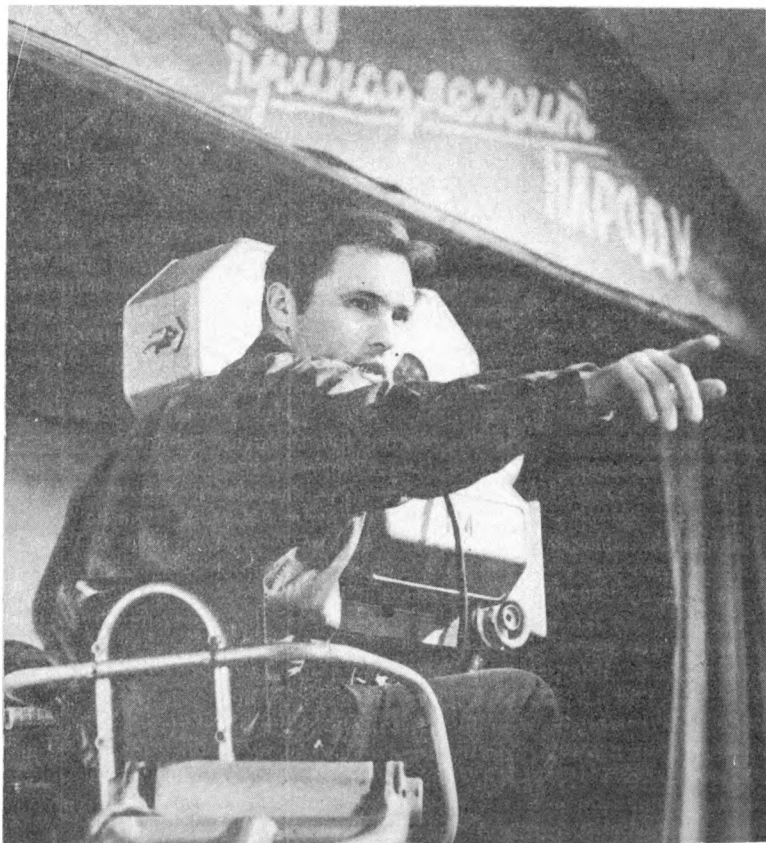


Фото Г. Тер-Ованесова

— Я родом из деревни, крестьянин, потомственный, традиционный. Очень рано пошел работать. Это была война, мы недоучивались в школах. Я окончил семь классов школы и пошел работать. В четырнадцать лет. Пошел работать, затем... подошел срок, и я пошел служить, служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт...

Слушают люди. Неподалеку шумит Катунь. На экране фотографии Шукшина из детства и юности: вот он среди учителей, вот — в форме матроса...

— А до этого,— звучит голос Шукшина,— я сдал экстерном за десять классов. То есть от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте того, что я успел увидеть,— это порядка десяти-одиннадцати лет,— прошел период набора материала, питанности им. (...)

Слушают люди. На горке, неподалеку, сидит и сам Шукшин.

— Я, к счастью моему; попал учиться в мастерскую очень интересного человека, человека глубокого ума. Интеллигента. Михаила Ильича Ромма, ныне покойного, к сожалению... Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. (...) Я писать

начал в институте, и первые опыты мои литературные как раз читать начал Михаил Ильич Ромм. Он, что называется, и благословил меня на этот путь, он и просматривал рассказы. Ну, это были еще слабые рассказы, тем не менее он мне советовал не оставлять этого дела, что я и делал потом... По окончании института я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал печататься.

Шукшинские тетради с рассказами. Вывески многочисленных редакций. Типографский цех.

— Это так. Что касательно, так сказать, дороги в искусстве — о чем рассказывать? Я не мог ни о чем другом рассказывать, зная деревню. Я был здесь смел, я был здесь сколько возможно самостоятелен; по неопытности я мог какие-то вещи поначалу заимствовать, тем не менее я выбирался, на мой взгляд, весьма активно на, так сказать, однажды избранную дорогу... И в общем-то, мне кажется, я не схожу с нее, то есть темой моих рассказов и фильмов остается деревня. Мне тут думается: надо прожить три жизни, чтобы все рассказать...

И вот уже в кадре бросается под колеса Чуйский тракт и звучит песня шофера из фильма «Живет такой парень»: «Есть по Чуйскому тракту дорога...»

И дальше слышна эта песня на кадрах алтайской хроники 20—30-х годов.

Голос за кадром:

— Алтайский край. Чуйский тракт. Сростки. Катунь, воспетая Николаем Рубцовым: «Катунь, Катунь — свирепая река! Поет она таинственные мифы...» Здесь за два года до рождения Шукшина близ великой горы Белухи проходил предгималайский маршрут Николая Рериха — вот здесь было его становище, и здесь он писал свои картины. В этом далеком краю расцвел талант замечательнейшего местного художника Григория Гуркина, написавшего таинственную картину «Озеро горных духов», столь заинтересовавшую известного геолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова. Вот он перед нами, Гуркин, скуластый по-шукшински и любивший, как и Шукшин, свой родной край. «Родину-мать, — писал этот художник в своей предсмертной исповеди в 1937 году, — я понимаю так: для каждого зверя, человека, птицы прежде всего Родина та, где он вырос. Хороша она или плоха, сурова, неприветлива, но все же, благодаря силе природы, он инстинктивно к ней привязан. И где бы он ни был в других местах, далеко от нее, он о ней помнит».

Шукшин никогда не забывал о своей Родине и в письмах к родным писал это слово с большой буквы. Здесь он родился в грозное время в 1929-м (в год Змеи, как сказал бы Николай Рерих) — в год великой реконструкции Земли. Индустриализация уже подарила Чуйскому тракту автомашину, о которой поется в песне, и мы ее слышим сейчас, захлестнутые сочувствием к шоферу Кольке Снегиреву, решившему перегнать Раю, пиконствующую в зарубежном «форде»: «Если «Амо» «Форда» перегонит, тогда Раечка будет твоя...» Шукшин, с трудом убедивший композитора сделать эту песню лейтмотивом кинокартины («его величество народ складывает подобные песни»), думал, когда делал этот фильм, что это народная песня, и вдруг после встретился в редакции журнала «Сибирские огни» с ее автором. «Если бы встретил вас раньше, помянул бы в титрах», — сказал он Михееву, который стоял перед ним — живой сибиряк!

Все так же вьется лентой Чуйский тракт. Изредка мелькнет памятный камень, отмечающий шоферскую могилку. В кадре какие-то заброшенные строения.

Голос за кадром:

— Может быть, вот здесь стоял сарай, где провел свои последние дни на Родине отец Шукшина механизатор Макар. Васе тогда было около четырех лет. Об этой печальной странице в жизни семьи он кратко писал в автобиографии (мы видим этот текст в кадре):

«Отец, Шукшин Макар Леонтьевич, в

1933 году был взят органами ГПУ. В 1956 году он полностью реабилитирован посмертно за отсутствием состава преступления».

Шукшин узнал о реабилитации отца будучи уже студентом 2-го курса ВГИКа.

Глава вторая. «Тайный боец»

— Я прошел через жизнь, в общем, трудную, и произносить мне это противно, потому что всем нелегко приходится.

В институт я пришел ведь глубоко сельским человеком, далеким от искусства. Мне казалось, всем это было видно. Я слишком поздно пришел в институт — в двадцать пять лет, и начитанность моя была относительная, и знания мои были относительные. Мне было трудно учиться. Чрезвычайно. Знаний я набирался отрывисто и как будто с пропусками. Кроме того, я должен был узнавать то, что знают все и что я пропустил в жизни. И вот до поры до времени я стал таить, что ли, набранную силу. И как ни странно, каким-то искривленным и неожиданным образом я подогревал в людях уверенность, что — правильно, это вы должны заниматься искусством, а не я. Но я знал, вперед знал, что подкараулю в жизни момент, когда... ну, окажусь более состоятельным, а они со своими бесконечными заявлениями об искусстве окажутся несостоятельными. Все время я хоронил в себе от посторонних глаз неизвестного человека, какого-то тайного бойца, нерасшифрованного.

Шумят деревья у здания ВГИКа. Общежитие на Яузе-реке, недавно предоставленное студентам. Гудят электрички — можно дать даже кадры со знаменитой песней «Плыла, качаясь, лодочка по Яузе-реке». Камера движется по коридору института. Из аудитории доносится голос Михаила Ромма. Вот просмотровый зал, оттуда взрывы смеха — студентам показывают «Огни большого города».

Тот набор роммовской мастерской был весьма любопытным. Владимир Китайский, который выступил в содружестве с Геннадием Шпаликовым, Валентин Виноградов, Юлий Файт, Ирма Рауш (в будущем Тарковская)... Шукшин тогда показался Сергею Герасимову весьма похожим на молодого Фадеева. Легенда гласит, что он появился во ВГИКе в кирзовых сапогах, но вот молодой Андрей Тарковский, успевший уже поучиться в Институте востоковедения и поработать на золотых приисках, ходил на занятия то в ватнике, то в шикарном костюме (единственном!). Ребята были молодыми, интеллектуальными, любили разговоры об искусстве: Ремарк, Кафка, Джойс, Хемин-

гуэй, Платонов. Неореализм, экзистенциализм, сюрреализм, абстрактное кино. Вместо привычной Шукшину «Калинушки» звучит в общежитии манерное «Ваши пальцы пахнут ладаном»: есть над чем призадуматься бывшему директору сrostкинской школы, обладателю аттестата (в основном, троечного), полученного в результате штурма экстерном. И Шукшин двинулся на штурм культуры поистине с крестьянской хваткой, робко соизмеряя себя со знаменитостями и подвигая себя к знаменитой своей фразе: «Угнетай себя до гения». Он жадно покупает книги, читает Апполинера, Бодлера, перечитывает Толстого, пишет домой, что побывал на выставке Пикассо. И там же (в 1957 г.) он пишет, что с удовольствием двинулся бы из Москвы («из ада крошечного») в Новосибирск, если бы там снимали художественные фильмы, и что не боги горшки обжигают.

«Сейчас отснял свою курсовую работу (звуковую), 150 м. По своему сценарию. Еще не смонтировал. Впервые попробовал сам играть и режиссировать. Трудно, но возможно».

«Художнику не надо жениться, — пишет он. — Исторически. Если хочешь, он должен быть одиноким, чтобы иметь возможность думать о Родине, о других людях».

Вскоре он пишет на Родину троюродному брату о своей работе в фильме Хуциева «Два Федора» (1959) — (текст идет на фрагменте из фильма):

«Марлен Хуциев сейчас лечится — ни больше ни меньше. Жаль, мы не встретились — я б тебя познакомил с ним. Удивительный человек. Кстати, картина «Два Федора» скоро выйдет на экран. Страшно получилась спорная. На конференции кинематографистов недавно ломали копыя. Ромм, Герасимов и большинство — за картину (при всех известных недостатках); Михайлов, Пырьев и меньшинство — против. Посмотри и напиши, как она тебе?»

«Что в Сростках?.. Хочется вот поехать (соскучился по своим)... Я ведь в Горном почти и не был. Так... жил одно время в Онгудае... Меня поразил твой способ путешествия — оказывается, ты покупаешь лошадь?»

И мы, переселившись из Москвы, покажем и Горное, и Онгудай, и лошадь.

«Как ты мне нужен, дорогой брат мой! То ли я устал немножко, то ли повзрослел здорово — но я вдруг ощутил жгучую необходимость в родном, близком по Родине, по крови, по духу человеке. Когда-то я был щедр и глуп душой и умел не ценить этого... Прости мне некоторый сентимент — я что-то того... взгрустнул».

«Задумал большую штукуенцию (речь идет о дипломном фильме «Из Лебяжьего

сообщают)... Писать буду сам. Не верю нашим молодым пижонистым лоботрясам-сценаристам. Разве они лучше меня знают деревню?»

«О поездке на Алтай?.. Денег, я думаю, заработаю. Я тут связался кое с какими редакциями. Дело, наверное, пойдет. Вот сдам экзамены и примусь писать не для книг, конечно, а для души». (Вскоре он принесет в журнал «Октябрь» свой рассказ «Стенька Разин», 1960.)

«Ну-с... Еще одно, последнее сказанье... Страшно хочется работать. У нас на 4-м этаже (в институте) всяческие выставки художников. Хожу смотрю. Половина работ о Сибири. И у меня болит сердце. Мы в долгу перед ней, братка...»

Отрывки из писем звучат под стук паровозных колес, на фоне картин, которые пишет его адресат — художник Иван Попов.

«Как твои дела, братка? Как «Табунщик»? Прислал бы хоть фотографию. Или подробно напиши, что задумал картиной...»

Рельсы, рельсы из фильма «Золотой эшелон»; Шукшин смотрит на просторы земли.

«Знаешь, думал, думал и решил еще раз сняться. Это до осени. Студия Горького (Москва). Natura в Воронеже до мая. А потом — съемки в Москве... Сейчас очень тороплюсь на поезд...»

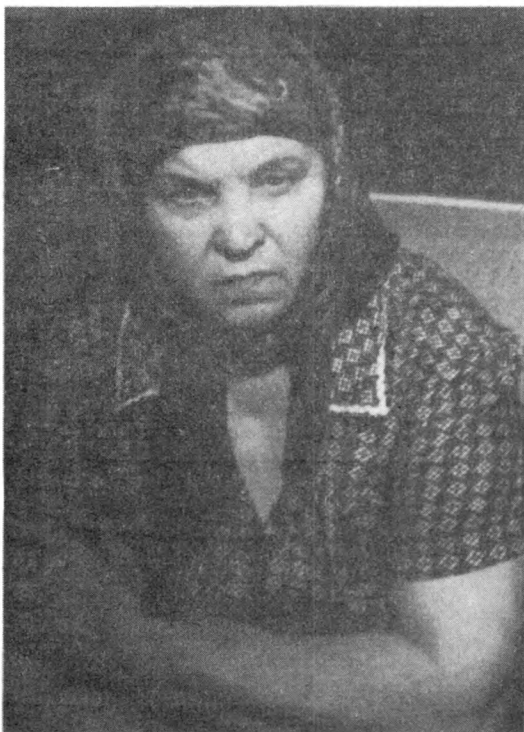
И опять рельсы — рябят стремительно, бросаясь под колеса. Это уже из фильма «Ветер».

«Новости кино: скоро выйдет фильм Алова и Наумова «Ветер», сценарий их. Смотрел. Дело в том, что они, кажется, замастерились. Сплошь бешеный ритм, энергия, темперамент, а... человека в фильме нет. Актерам не верю. И мысли нет (новой). Ромм пишет с Храбровицким сценарий (для себя) об ученых-атомщиках... И. Пырьев ставит «Белые ночи» по Достоевскому...»

После кадров «Ветра» следует дать кадр с вертолета из фильма «9 дней одного года», снятого в роммовской мастерской нового набора. А затем уже обратиться к «Белым ночам» и к Шукшину, едущему в поезде в «Золотом эшелоне». Скуластое лицо Шукшина наплывом переходит в фотоснимок, где он запечатлен в образе Достоевского с надписью: «Кинопроба. «Мосфильм».

И опять едущий в поезде Шукшин. «Много думаю о нашем деле и прихожу к выводу: никому, кроме искусства, до человека нет дела. (...) А ведь люди должны быть добрыми. Кто же научит их этому, кроме искусства...» (12 ноября 1961 г.)

«С такой завистью читал я о ваших мытарствах на Алтае! Ах, какая прелесть! Как мне не хватает этого, господи. Зарылся



Мария Сергеевна Шукшина. Фото 70-х годов

я в мелкие делишки по ноздри — прописка, жилье, лживый кинематограф... Ни глоточка вольного ветра... Попробуй написать рассказ, где ничего не происходит, где жизнь течет себе и течет, а вместе с тем надо, чтоб читатель задумался — это ой как трудно! Куда проще и легче описывать, как один идиот всадил другому идиоту нож под ребро «из идейных соображений». Динамика. Чесоточный ритм. Тю! Или сыграть: ведь это надо мужество и мужество, чтобы не убоиться и чувствовать себя совершенно спокойно перед киноаппаратом или на сцене. Ведь охватывает панический страх: не сыграю и наиграю. А вместе с тем, когда удастся выкроить сценки для «себя» — на покой, смотришь, что-то трогает».

«И в Москве, Ваня, немудрено протухнуть. Очень уж мало людей искренних.»

«В 12 номере (в «Октябре») пойдут три рассказа (за исключением самого важного для Шукшина, о котором сотрудник журнала А. Дроздов отозвался: «Я стою за то, чтобы напечатать весь цикл, за исключением рассказа «Стенька Разин», над которым, с моей точки зрения, стоило бы еще поработать, еще поискать, авось, найдется истинное»). Был недавно в Сталинграде. Волга... — вот покой! Ух, какая матушка».

Слышен голос шофера Пашки Колокольникова: «И за борт ее бросает в набежавшую волну», и далее идет весь кадр до конца —

с шоферской могилкой у дороги. И мы раскроем на экране бесконечный простор Волги с мелодией песни о Степане Разине «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны...» Покажем наплывом портрет матери Шукшина и прочитаем отрывок из ее письма о том, как Вася, будучи маленьким, попросил ее спеть мелодию этой песни и записать слова. И еще она ему пела «Черный ворон» — любимую песню Чапаева (ссылаясь на фильмы, Шукшин говорил: «Забыли, что Чапаев, Максим тоже были простые люди»). Черный ворон вьется и над Шукшиным — но «ты добычи не добьешься, черный ворон, я не твой». Волга переходит наплывом в бурную Катунь.

«Мама, ты как будто немного похудела. Милая моя, напиши честно — как живешь?.. Насчет валенок. Да, мама, придется, наверное, выслать. Это верно ты говоришь: Москва-то Москвой, а зима зимой».

Мелодия «Бродяги» и начало картины.

«...Говоришь, смотрела «Бродягу». Они здесь были — в институте у нас — индийцы-то. Этот бродяга и все, кто с ним играет. Вот, чтобы ты поняла, на кого я учусь. (...) Скоро переходим в общежитие. 3 человека в комнате — замечательно. (...) Недавно у нас на курсе был опрос, то у кого родители, т. е. профессия, образование родителей студентов. У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. п. Доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать.

— Образование у нее какое?

— Два класса, — отвечаю. — Но понимает она у меня не менее министра.

Смеются».

Возникает мелодия есенинского «Письма к матери» из «Калины красной»: «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет...» (Странно! — если даже сравнить почерки Шукшина и Есенина, то и они похожи). И пусть эта песня перебросит нас к тексту Шукшина:

«Вот моя деревня...

Вот мой дом родной...

А вот мать моя... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Первый раз овдовела в 22 года, второй раз в 31 год, в 1942 г. Много сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что сын ее вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так думает. Я у нее учился писать рассказы.

Вот тетки мои... Вдовы образца 1941/1945 гг.

Когда-то они хорошо пели. Теперь не могут. Просил — не могут...»

Попросим двух-трех вдов рассказать,

как они провожали своих мужей на войну. Какие сны вещи видели...

Незаметно начинается из ночи, из сна история, рассказанная старухой о том, как сама смерть перед войной подседа в кабину к шоферу и дала 20 рублей на покупку материи-савана («Живет такой парень»).

Настроениям Шукшина тех лет были созвучны есенинские стихи, упомянутые им в киносценарии «Калина красная»: «Здравствуй ты, моя черная гибель, я навстречу к тебе выхожу!»

Город, город, ты в схватке жестокой
Окрестил нас как падаль и мразь.
Стынет поле в тоске волококой,
Телеграфными столбами давясь, —

кровь буквально стынет от этих стихов, развертывающих образ затравленного волка. Так не выдержал схватки, не пожелал жить сокурник Шукшина Володя Китайский, режиссер и поэт, мечтавший поставить по сценарию Шпаликова фильм. Шукшин был потрясен. Следы этого потрясения хранит его письмо овдовевшей сестре — он любил Наталью, гулял у нее на свадьбе, а теперь свою скорбь соединил в сердце с ее скорбью:

«Натали, мой милый ангел Натали!»

Таленька, это строки стихов моего безвременно погибшего друга. Милый ты челоловек, Таля, как глубоко содрогнулось мое сердце твоим горем, как неповторимо я почувял дыхание смерти.

Я глубоко и сразу понял вдруг, что смерть — это дело всех нас.

То ли жизнь глупа, то ли мы еще не совсем поняли ее истинного смысла — горько.

...Родная моя, я тоже не всегда прав, меня тоже носит по земле, я тоже еще не нашел покоя.

...Таленька, я не верю ни во что — и верю во все. Верю в народ. Посмотри на нашу маму, посмотри на тетьку Нюру Козлову — это народ, с большой буквы.

Все остальное — мишура. Суета сует.

Мы все где-то ищем спасения. Твое спасение в детях. Мне — в славе. Я ее, славу, упорно добиваюсь. Я добьюсь ее, если не умру раньше».

Фотографии сестры; кадры на похоронах Шукшина, сменяемые панорамой Шукшинских чтений.

Голос за кадром:

— Слава и покой — вечная альтернатива жизни. «На свете счастья нет, а есть покой и воля», — сказал Пушкин. Покой нет, — заявил Александр Блок, и к этим стихам вскоре обратился Шукшин. «Не искал я ни славы, ни покоя, я с тщетой этой славы знаком. А сейчас, как глаза закрою,

вижу только родительский дом», — пел Есенин, и эти стихи могли быть подлинным уроком Шукшину, первый фильм которого — «Живет такой парень» — стал преддверьем трудной славы Шукшина, такой же трудной, как слава Тарковского и Высоцкого, с которыми накрепко связала судьба Шукшина во время его московского бездомного бытия. Да, Москва тогда не принимала его, а он, как вечный скиталец, бродяга, уже ненужный общежитью, надел сапоги, чтобы подтвердить вечную миссию паломника от Искусства, хотя само слово «искусство» он тогда не очень-то жаловал. Да, Москва не очень-то принимала его, как и раньше, когда он еще до службы во флоте был зачислен слесарем-такелажником на одно из московских предприятий и был командирован в Калугу и на тракторный завод во Владимир. Чего он искал тогда на пути, оплаченном проданной короной Райкой, на пути, осененном крестным материнским знаменем? Что томило его? Прочитайте прекрасную повесть «Там, вдали» или посмотрите ее в театре. И вас охватит чувство одиночества, доверия и разрушенного счастья.

Короткий отрывок из «Там, вдали» в постановке театра «Сфера». Москва 60-х годов. Политехнический, на фоне которого звучит отрывок из воспоминаний Евтушенко о Шукшине, сопровождаемый мелодией Высоцкого. И вот на кадрах московских дворинок начинает звучать голос Беллы Ахмадулиной:

— Со студии имени Горького мне прислали сценарий снимающегося фильма «Живет такой парень» с просьбой сыграть роль Журналистки: безукоризненно самоуверенной, дерзко нарядной особы, поражающей героя даже не чужеземностью, а инопланетностью столичного обличья и нрава.

Кадр с горящей машиной, на подножке которой Павел.

— Со съемок упомянутого фильма началась наша причудливая дружба, которая и теперь преданно и печально бодрствует в моем сердце.

На экране Ахмадулина в роли Журналистки.

— В ту позднюю осень, в ту зиму мы оба, не очень, правда, горюя, мыкались и скитались. (...) Вместе бродили и скитались, но — не на равных. Ведь это был мой город, совершенно и единственно мой, его воздух мне удобен, его лужи и сугробы — мне отрадны, я знаю наперечет сквозняки арбатских проходных дворов, во множестве домов этого города я всегда имела приют и привет. Но он-то был родом из других мест, по ним он тосковал во всех моих чужих домах, где мрачнел и дичился, не отвечая на любезности, держал в лице неприступно-загнанное выра-

жение, а глаза гасил и убирал, вбирал в себя. Да и равнодушные хозяева не знали, что с гордостью будут вспоминать, как молчал в их доме нелюдимый гость, изредка всверкивая неукрошенным, вольным глазом, а вокруг его сапог расплывался грязный снег...

Эти слова Беллы Ахмадулиной о тоске по Родине постепенно переходят в эпизод из фильма «Ваш сын и брат», где после деревенской идиллии артист Куравлев (теперь он не Пашка Колокольников, а Степан) идет по Сростам в любимых сапогах, а милиционер говорит ему:

— И все-таки я ни черта не понимаю: три месяца не досидеть и сбежать, прости, но таких дураков еще не видел... Зачем ты это сделал?

— Чего?

— Сбежал зачем?

— Сбежал-то? А вот пройтись разок. Соскучился.

— Так ведь три месяца осталось, а теперь еще пару лет накинут.

— Ничего, я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть. А то, понимаешь, меня сны замучили. Каждую ночь деревня, зараза, снится...

Смотрит с порога артист Санаев, играющий роль отца.

Подбегает глухонемая Вера, милиционер ей объясняет:

— Вот он! Он сбежал из тюрьмы. Убежал. Испуганное лицо девушки.

— Слушай, убери ее,— кричит милиционер Степан,— а то я тебе голову расколю.— Он хватается за голову и плачет.

И Вера под дождем прислонилась к изгороди и плачет.

И тут с застольем и рыданиями включается песня об архангельском мужике на некрасовские слова из «Калины красной». Затем хор «Бим-бом» группы рецидивистов, закончивших срок и ждущих воли (среди них Прокудин-Шукшин),— и вот уже воля, выход из тюрьмы и проход героя в сапогах по деревянным мосткам, затем облава и глаза «затравленного волка» в качании маятника света и тьмы: эти кадры сопровождаются раздумьями самого Шукшина (из интервью газете «Унита»):

— В деревне, (...) оставаясь там, где он родился, он был бы, наверно, хороший человек. Но так случилось, что он ушел от корней, ушел от истоков, ушел от матери...

Под надрывную мелодию, оставшуюся в наследство от Феди-балалаечника, наш герой едет к матери с целью тайно передать ей деньги. Шукшин-Прокудин, комментируем мы, слушает инкогнито исповедь своей матери, роль которой выпала волею судьбы на долю крестьянки из деревни Садовая Офимьи Быстровой, действительно потерявшей своего сына, как того и требовала

шукшинская киноповесть. До конца своих дней Офимья была убеждена, что Шукшин сделал фильм лишь для того, чтобы блудный сын, увидев ее на экране, вернулся домой — но он так и не вернулся, а Офимья умерла, и ее нашли в избе между печью и стенкой...

— ...Ушел от истоков, ушел от матери,— продолжает звучать голос Шукшина.— И таким образом, уйдя,— предал. Предал! Вольно или невольно, но случилось предательство, за которое он должен был поплатиться. (...) Очевидно, мы за все в самом деле должны платить в жизни. И при всем том, что нам иногда жаль прямо так глядеть и видеть, как человек погибает, но сила разума нам должна говорить, что, если случилось неоправимое, что если случилось необратимое, приход к такому финалу, к такому концу жизни должен состояться все равно; он должен состояться, и он состоялся.

Плачет артист Василий Шукшин, бросившись навзничь на холм у церкви.

— ...Обязательно надо обнаружить нравственную основу, нравственную крепость обнаружить в себе, чтобы не потеряться... Положим, научно-техническая революция. Это красиво звучит, но ведь это несет с собой еще и негатив какой-то. Я хочу, чтобы герои, чтобы наши люди не растерялись от такого вторжения техники, не растерялись и чаще бы привлекали для решения вопросов в тех или иных ситуациях совесть, силу сердца своего... совесть, совесть и совесть, вот это не должно исчезать. (...) Мне вообще хочется, чтобы сельский человек, уйдя из деревни, ничего бы не потерял дорогого, что он обрел от традиционного воспитания, что он успел понять, что он успел полюбить; не потерял бы любовь к природе... Мне охота помочь литературой своей, кино. А уж поскольку я родством деревенский, я и обращаюсь к той же теме...

Мелколесье. Степь и дали.
Свет луны во все концы.
Вот опять вдруг зарыдали
Разливные бубенцы.

Непроглядная дорога
Да любимая навек,
По которой ездил много
Всякий русский человек.

Эй вы сани! Что за сани!
Звоны мерзлые осин.
У меня отец — крестьянин,
Ну, а я — крестьянский сын.

Наплевать мне на известность
И на то, что я поэт.
Эту чахленькую местность
Не видал я много лет.

Тот, кто видел хоть однажды
Этот край и эту гладь,

Тот почти березке каждой
Ножку рад поцеловать.

На этих есенинских стихах, написанных в ритме некрасовского «Школьника», Шукшин, приминая сапогами весенний снежок, подходит к березкам, ласково приветствуя их. Здесь он похож на Пушкина («Здравствуй, племя...») и на Бориса Пастернака в сапогах — на фотографии, снятой в Переделкине. Опять звучит голос Беллы Ахмадулиной:

— Есть известный фотографический портрет Поэта: в конце жизни, на ее последней печальной вершине, он стоит, опершись о лопату, глядя вдаль и вверх. «В сапогах!» — усмехнулся тот, о ком говорю. Так или приблизительно так кричала я в ответ: «Он в сапогах, потому что тогда работал в саду. И я видела его в сапогах, потому что была осень, было непролазно грязно в той местности. А ты...» А он, может быть, и тогда уже постиг и любил Поэта, просто меня дразнил, отстаивая своевольную умственную независимость от обязательных пристрастий; но одного-то он наверняка никогда не постиг: нехитрого знания большинства людей о существовании обувных магазинов или других способов обзаводиться обувью и прочим вздором вещей. И все же — в один погожий день он по моему наущению был заманен в ловушку, где вручили ему сверток со вздором вещей: ну, костюм, туфли, рубашки... Как не хотел!

Шукшин в сапогах. Вдруг преобразается: на нем брюки-дудочки, модные штиблеты, галстук — он идет по набережной, заговаривает с девицами («Калина красная»).

— А все же я потом посмотрела ему вслед: он шел по Садовому кольцу (по улице Чайковского), легкой подошвой принимая привет апрельского московского асфальта. Кстати, я всегда с грустью и со страхом смотрю вслед тем, кого люблю: о, только бы — не напоследок.

На экране Шукшин, только что еще раз простившийся с березками и теперь работающий на тракторе в поле. Это последний его рабочий день, последний срок. И вот он, зажимая рукой кровавую рану, лег на землю, согласно есенинским стихам киноповести: «О, привет тебе, зверь мой любимый! Ты не даром даешься ножу! Как и ты — я, отсюду гонимый, средь железных врагов прохожу».

Белла Ахмадулина продолжает:

— Последний раз увиделись в Доме литераторов: выступал каждый со своим (доносится обрывок выступления Шукшина по поводу «Калины» в Белозерске: нам бы про душу не забыть в век с большими скоростями...). Спросил с усмешкой: «Ну что, нашла свою собаку?» — «Нет». — «Фильм мой видела?» — «Нет». — «Посмотри — мне важно». Получилось, что последнего фильма я еще не

успела посмотреть, но он успел прочесть объявление о пропаже собаки. Но об этом — сильно и в последний раз сверкнули мне его глаза. И — прыгнул, бросив ему руку, Антокольский: «Шукшин? Я вас — почитаю! Я вас — обожаю!»

Аплодисменты.

Фотографии старейших писателей, призвавших, вместе с Антокольским, талант Шукшина: Шолохов, Леонов, Федин, Каверин.

Тишина.

— Дальнейшее — обозначу я безмолвием моим. Пусть только я знаю...

Под прорчальным взглядом Журналистки — траурный портрет Шукшина, переходящий наплывом в спящего парня («Живет такой парень»). И вот шукшинский герой в белой рубашке идет в потустороннем мире среди деревьев, там, где стоит девушка в белом подвечном платье-саване.

— Я здесь. Здравствуй.

— Здравствуй, — отвечает парень, не понимая — жизнь это или смерть.

— Как живешь?

— Ничего.

— Идеал ты не нашел?

— Да нет.

— Помнишь сказку? Бабушка тебе рассказывала?

— Про голую бабу, что ль?

— Ну...

— Помню.

— Так вот — ты не верь. Это не смерть была. Это любовь по земле ходит.

— Хе — как это, не понимаю? Любовь ходит по земле? А чего она ходит-то?

— Чтоб люди знали ее. Чтоб не забывали.

Идет парень среди деревьев, а хозяйка в белом зовет его: «Куда же ты идешь?..» Портрет Шукшина, полотнище которого волнуется под алтайским ветром, и его голос, сопровождаемый кадрами мертвого ребенка на руках у рыдающего отца.

«Вспомнилось... ночь, далекая, забытая...

Было ему двенадцать — тринадцать, они с отцом и маленьким братишкой Васяткой были на покосе. Днем, в самую жару, Васятка напился из ключа ледяной воды — и к ночи у него заболело горло. Он стал задыхаться и в ночь помер».

За кадром крик и плач женщины: «Сыночек ты мой, Васенька!» («Странные люди»). И этот крик отозвался эхом, растворяясь в мелодии Высоцкого о легшем в землю Новодевичьего — и в голосе Беллы Ахмадулиной:

— Около Новодевичьего кладбища рыдающая женщина сказала мне: «Идите же! Вас — пустят». Милиционер не пустил, у меня не было с собой членского билета Союза писателей. Я сказала: «Я должна. Я — товарищ его. И я писатель все же, я член Союза писателей, но нет, понимаете вы, нет при мне

билета». Милиционер сказал: «Нельзя. Нельзя». И вдруг посмотрел и спросил: «А вы случайно не снимались в фильме «Живет такой парень?»»

Кадр, где Журналистка жалуется на болезнь сердца с семнадцати лет.

«— Проходите. Однако вы сильно изменились с тех пор.

Я и впрямь изменилась с тех пор. Но не настолько, чтобы — забыть...»

Панорама по деревьям Новодевичьего кладбища на Беллу Ахмадулину у памятника Шукшину. Надрывный аккорд гитары. Хриплый, рыдающий голос Высоцкого — первый куплет прощальной песни повторен голосом Ахмадулиной, и пронзительно звучит бесполезная жалоба: «Макарыч, такой твой парень не живет!» Незаметно вливается в кадр траурная мелодия из фильма «Странные люди». Плывет лодка по реке, звучит песня, исполняемая артистом Е. Лебедевым: «Горит в избе лучинишка, горит она, сосновая, сидит прядет хозяйюшка, как ноченька суровая. А в поле непогодушка, метель метет суровая, а дети босы, голые лежат подряд голодные. Придет мужик — ругается, разуй, раздень да кланяйся! Придет мужик — ломается. Целуй, милуй да кланяйся». Окончив песню, — теперь он у костра, где на берегах пасутся кони, — говорит охотникам:

— Эх, люблю от людей сюда уезжать. Вот придет ко мне смерть, кабы моя воля, так вот здесь бы, на вот этом месте, помер бы.

— Так чего же, сказать только и...

— Не послушают, не привыкли так. Скажут, жил Бронька дураком и помереть норovit как бы посмешней.

Пасутся кони. Доносится песня: «Ты вспомни, милая дорогая, как начинали мы гулять...» Лунный свет беспокоит старого Матвея, не спится ему, он прислушивается к песне и к дыханию жены. Думы одолевают его, власть колдовской ночи царит повсюду, и это подтверждает дикторский голос Шукшина:

«А в эту ночь Матвей додумался черт знает до чего. Представил себе, как его будут хоронить».

Матвей (артист В. Санаев) среди толпы подходит к машине-катафалку, глядит на себя мертвого. У него спрашивает корреспондент:

— Матвей Иванович, извините, буквально на два слова прошу вас.

— Ну давай, давай.

— Как вы себя чувствуете? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к факту собственной кончины?

— Да ведь как вам сказать... конечно, еще бы пожить не вредно, но...

— Испытываете чувство страха, тревоги?

— Страх нет... Нет, нет, не страшно.

...Луна. Он будит жену:

— Слышь-ка, проснись.

— Я не сплю.

— Ты смерти страшишься?

— А кто же ее не страшится, Матвей?!

— А я вот не страшусь.

— Тогда чего же спрашиваешь? Неужели так нисколько-нисколько не страшишься?

— Забудут, вот что обидно.

— Всех забудут.

— А ведь вот Степана Разина-то небось не забыли.

Зазвучал молитвенный хорал «Господу Богу помолимся», а затем мощный шаляпинский бас возвестил древнюю быль об атамане и разбойниках — и в лунном сиянии над деревней вознеслась эта песнь из поэмы «Кому на Руси жить хорошо». И Матвею хорошо подумалось о своей дружбе с двумя деревенскими чудаками, странными людьми — один из них Коля, скульптор (писатель и артист Ю. Скоп), а другой, из местных интеллигентов, — Захарыч (артист П. Крымов). И вот на экране предстает перед нами деревянная скульптура Разина со связанными руками, а Захарыч вопрошает Колю голосом судьи:

— Зачем ты его связал?

— Захарыч, садись.

— Зачем же ты его связал, Коля?

Юрий Скоп глядит на нас, вспоминает, как в пустом вологодском кинотеатре Василий Шукшин и Василий Белов смотрели этот фильм — «Странные люди», который снимался в сущности вместо фильма о Разине.

Шукшин говорил: «Неудача. Зал-то пустой, елкина мать», а Белов утешал: «Да ничего, хорошо! Чего ты, брось!» И еще Скоп вспоминает, как Шукшин однажды ему говорил: «Ни ты, ни я Львами Толстыми не будем. Мы с тобой уйдем в навоз. Только ты вот что должен понять... Только на честном навозе может произрасти когда-нибудь еще что-то подобное Льву Николаевичу. Только на честном!»

И даже алтайская земля, где культурный слой почвы достигает только здесь роста человека, одного метра семидесяти сантиметров, своеобразно подтверждает истинность слов Шукшина... И эта земля, его Родина, не раз слышала шукшинские вести по поводу Разина:

«Мои дела оставляют желать лучшего, — писал он в мае 1968 года во время работы над «Странными людьми», — заморозили с «Разинным». Остановили. 1). Историческая тема — сейчас бы лучше современность. 2). Дорого — 45 миллионов старых. 3). Слишком жесток Разин. Говорят: два года надо подождать. Пока суть да дело, сделаю сейчас современную картину, черт с ними, но борьба за «Разина» продолжается. Был тут «в вер-

хах», говорят: поможем».

Вот так и предстал через триста лет у Шукшина Степан Разин со связанными руками; ровно триста лет спустя после начала восстания, в 1967-м, на студии был принят сценарий, и в 1971-м, к годовщине казни, пришел конец работе о Разине на этой студии.

Колька задумался, глядя на скульптуру Разина, а местный интеллигент все пытал его. Кстати, Шукшин очень был убежден в нужности таких интеллигентов в глубинке:

«Культурный человек в деревне... Господи, как он нужен там! Всегда был нужен, а теперь — особенно... И теперь самая пора громко, на всю страну, заговорить так: если счастье человека есть служение своему народу, если это действительно так, то место наше там, где мы ему нужны. Как говорить, чтобы это было высокой Правдой? Не знаю».

И вот этот Захарыч, явившийся из рассказа «Стенька Разин» 1960 года и из шукшинских «Вопросов самому себе» мучил бедного деревенского творца своими вопросами:

— Зачем ты его связал, Коля?

— А как же? Его же связали, когда...

— Нет.

— Его же казнили?

— Нет...

— Вы же сами...

— Это он казнил Романовых! Он, может быть, первый на Руси поднял руку на тирана. А мы говорим: казнили. И еще жалеем, что казнили! Ах мы, маленькие, смешные люди... Ладно, это потом. Что, он готов?

— Нет, не ладится что-то, вторую ночь не сплю.

— Это и хорошо, и славно. И вся-то жизнь в искусстве — мука. О какой тут радости говорить. Нет тут радости и нет покоя. Покоя нет: «Покой нам только снится сквозь кровь и пыль... Легит, летит степная кобылица и мнет ковыль...» Вот умрем, будем лежать в земле и радоваться... Радость — это лень и спокойствие... Пойдем, я тебя познакомлю с мастером. Ах, Коля, ты заплачешь, я знаю, потому что я тоже плакал!

Крутится диск, поставленный на патефон трепетной рукой Захарыча, звучит шалашинский голос, исторгая молитвенную весть об атамане, и скульптор, прислушиваясь к «господу Богу помолимся», спрашивает Захарыча:

— Это что, божественное что-то?

— Неужели под душой так же падают, как под ношей, дорогие мои, хорошие!..

Колька убегает из дома Захарыча. «Вдруг у разбойника лютого совесть господь пробудил», — поет пластинка, и эту песню слышит Матвей, нервно ступающий по половицам.

В поле горит костер. Колька подносит скульптуру Разина к огню, и рука его, по нашей воле, замирает в стоп-кадре.

...Теперь поставим тот же самый диск с песней об атамане и сделаем с него пано-

раму на скульптуру Разина (копия ее сохранилась) и на Юрия Скопа, держащего в руках фотографию бородатого Шукшина.

— Я, знаешь, чего заметил? — спрашивает Шукшин (полная иллюзия «заговорившей фотографии»). — Когда ночью пинешь — борода быстрее растет, а? Ты не замечаешь?.. Я тут недавно письмишко получил, оно враз на Комитет, студию и меня. Лично... Пишет в нем человек: «Сколько можно тратить государственные деньги на такие бессодержательные и бессюжетные фильмы, вроде «Станных людей»? Ты понял? Так и сидит черным по белому — «бессодержательные и бессюжетные».

Когда Макарыч нервничает, начинает ходить, в «транзисторной» кухне не разбежишься — два шага всего получается. Но делает он их мягко, смотрит куда-то перед собой, сквозь прищур, бороду теребит... Отросла за последние пару месяцев бородаща — ладная, под глаза, разинская, с проседью...

Под этот рассказ Скопа мы можем дать обширный фотоматериал, оставшийся от выбора разинской природы, а двери Новочеркасского музея донского казачества для нас распахнет Л. А. Новак, как она дважды открывала их перед Шукшиным в 1966 и 1970 годах, — в общем, надо пройти кинокамерой шукшинским путем по разинским местам.

—...Нынче почему-то вообще рано седеют, — продолжает Скоп, — а может, мне так кажется. Хотя я в своей бороде, отрастающей только, а я на пяток лет моложе Макарыча, тоже снежок усматриваю... Моя борода — желание его, предстоит пробоваться на Мишу Ярославова. Это есаул, из самого близкого окружения Стеньки, в новой картине Шукшина «Я пришел дать вам волю». Сейчас мы частенько хохмим по поводу причесок на физиономиях: «К тому сроку, когда ты первый раз скажешь «Мотор!», пол-Москвы обратит — парикмахерские план новой пилетки не выполнят...» Но это шутка, на самом деле действительно шибко ждет того дня, когда прозвучит наконец команда «Мотор!», режиссер Василий Шукшин. Мается. Думает. Много думает... Работа предстоит гигантская, картина трилогией замышляется, что охватно и вольно обнимет историю легендарного крестьянского волнения семнадцатого века. Для такого замаха, если учесть уже имеющиеся романы и прочее про Стеньку Разина, мало ощутить одну только ответственность. Для Макарыча в Разине — вся жизнь. Он эту работу выводит на уровень главной... Тьфу, тьфу, тьфу! Через левое плечо, чтобы не сгладить... А и славная, наверно, будет та пора!

Закончив свое воспоминание, Юрий Скоп

берет в руки скульптуру Разина...

...А в донском музее Лидия Новак берет в руки казачью пику. Звучит фонограмма ее письма Шукшину:

«...Отвечая на ваш вопрос по поводу пики, сообщая, что казачья пика появилась на Дону с начала конных походов, то есть с конца шестнадцатого века, когда казаки начали совершать конные походы на Северный Кавказ и против ногайцев на пути к Крыму».

Тут же, на фоне интересных экспонатов донского музея, звучит шукшинский текст: «Получил Ваше письмо. Отвечая из больницы (воспаление легких), поэтому не смогу быть обстоятельным, как хотелось бы. Дела наши (зная вас как активного «разинца») — в общем, хорошие. По весне, должно быть, «поднимемся»... Есть возможность заинтересовать кинодокументалистов — снять документальный фильм «По местам Разина», «Степан Разин» или как еще (к юбилею). Как только буду немного свободен, так займусь этим... Вообще, если бы страна более широко отметила трехсотлетие восстания, мы бы имели право считать, что внесли в это доброе дело посильный вклад...» (октябрь 1968 г., Владимирская больница, где Шукшин оказался во время съемок новеллы «Думы» для «Странных людей»).

— Удивительно, как преобразился Василий Макарович,— это голос Лидии Новак на фоне донских далей и эскизов к фильму,— стоило ему только увидеть донские просторы. Глаза его начинали щуриться — и с той самой хитринкой во взоре, что описана парусным мастером голландцем Стрюйсом... А походка Шукшина вдруг отяжелела. Это была походка могучего человека, степенного, высокого ростом. Это была походка Разина!.. В станице Кочетовской,— продолжает Лидия Новак,— нашим гостеприимным хозяином был Виталий Александрович Закрыткин. Многим известно, как хорошо поет Виталий Александрович казачьи песни. Шукшин слушал его впервые. Песня «Из-под камушка» вызвала у Василия Макаровича слезы, он говорил, что она обязательно прозвучит в его фильме...

И мы слышим эту песню, а Лидия Новак раскрывает шукшинскую книгу «Земляки» с надписью: «Лидии Андреевне на добрую память. Спасибо за помощь — даст бог, заговорит наш Стенька... В. Шукшин».

Наезд на резную фигуру Разина в руках у Скопа... «Бросил своих он товарищей,— голос Шаляпина достигает предела,— бросил набеги творить». — И скульптура Разина брошена в гудящее пламя костра.

И, может быть, Юрий Скоп скажет: «Так горел замысел Шукшина, и это была первая кинокартина вместо «Разина».

И творца нашел в поле у костра интеллигент, и сказал творец интеллигенту, указывая

на свое горящее творение:

— Плохо это, Захарыч. Оказывается, не могу.

— Может быть, в эту ночь где-то в России родился художник.

— Нет, Захарыч, буду снова делать!

И как бы в подтверждение этих слов отбивается на машинке текст шукшинской заявки от 25 февраля 1971 года директору киностудии им. М. Горького:

«В соответствии с договоренностью с Комитетом по кинематографии при СМ СССР (т.т. Баскаков В. Е. и Павленок Б. В.), я намерен приступить к постановке фильма на современную тему при условии (это также было оговорено), что работа над сценарием о Степане Разине и некоторые возможные подготовительные работы по этому фильму («Степан Разин») мной и моими помощниками будут проводиться».

И вот уже этот текст печатается на кадрах фильма «Печки-лавочки»: прощание Шукшина-Расторгуева с Катунью и сцена, где сосед Расторгуева по купе (артист Г. Бурков) дарит кофточку; затем гитарные песнопения туристов, за окном вагона ночь... А в ночи горит костер, и творец созерцает догорающую скульптуру Разина.

Так получилось, что и эта картина была снята вместо «Разина», увь, здесь уже окончательно похороненного. И Шукшин ушел на «Мосфильм» — опять же во имя Разина...

Вот песенка из «Разина», написанная самим Шукшиным:

Ох,
Бедный еж!
Горемышный еж!
Ты куда ползешь?
Куда ежисся?
Ох,
Я ползу, ползу
Ко высочному двору,
К высокому терему...

И, как вспышка молнии, кадр из «Калины красной». Пусть это будет есенинский кадр с березками или с «затравленным волком» и с грядущим отмщением, но обязательно здесь должен прозвучать отчаянный голос самого Есенина, услышав который (по свидетельству О. Румянцевой), Шукшин заплакал.

Сумасшедшая, бешеная,
кровавая муть!
Что ты? Смерть?
Иль исцеленье
калекам?
Проведите, проведите
меня к нему,
Я хочу видеть
этого человека.

И мы пришли к костру, чтобы вновь

увидеть творца, созерцающего пепел Разина, пришли вместе с тем человеком, кому уже привиделись собственные похороны. И этот пришедший спросил творца, глядя на пепелище:

— Ну как, все режешь?

— Все режу, резал и буду резать!

И тот, хлопнув его по плечу, сказал:

— Молодец, режь.

И огни пепелища разгорелись в пламя войны. И теперь боец (Василий Шукшин) рыл окоп близ Волги, нагребая бруствер из земли, некогда политой кровью разинцев. И рядом с ним встали прежние сослуживцы по кино — Ванин и Бурков: «Они сражались за Родину».

Глава последняя.

«Похоже, умирать-то — не страшно»

(Шукшин, «Жил человек...»)

И пока наш герой всматривается в дымящуюся приволжскую степь, ожидая налета вражеской авиации, пишущая машинка весной 1974 года отстукивает шукшинскую заявку генеральному директору «Мосфильма» тов. Н. Т. Сизову (кстати, прописавшему его в Москве 12 лет назад, в 1962 году).

«Предлагаю студии осуществить постановку фильма о Степане Разине. Вот мои соображения. Фильм должен быть двухсерийный... В народной памяти Разин — заступник обиженных и обездоленных, фигура яростная и прекрасная...»

Наш герой видит, как подбитый вражеский самолет врывается в холм. Теперь далеко из степи надвигаются танки. (Можно дать закадрово: «Ну как, все режешь?» — «Все режу, резал и буду резать!») Шукшин всматривается в горизонт, и вот на рокоте танков начинает звучать за кадром голос Шукшина (из интервью газете «Унита» 17 мая 1974 г.):

—...Я давно к этому иду, примерно шесть лет. Почему мне хочется сделать этот фильм? Не разьежжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю, что нет, потому что Степан Разин — это тоже крестьянство, но только триста лет назад. Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? Потому что он своей силой и своей неуемностью, жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. (...) Для того чтобы мне его понять в зачине, я его воспринимаю в одном качестве: это казак, это ремесленник от войны, это неким образом не крестьянин. Но дороже всего мне этот человек именно как человек, искавший волю... Замкнувший крестьянскую боль и чаяния. Вот отсюда — продолжение темы, а во времени — отсюда на триста лет назад в историю. Но это все то же крестьянство. Я так думаю, что я просто-напросто не сумею много рассказать,

проживи я даже три жизни...

Шукшин всматривается в страшную картину боя. Интервью продолжается:

— Как вы думаете, когда может начаться и закончиться этот фильм о Степане Разине?

— Я думаю, он начнется осенью этого года, 74-го, а закончится где-нибудь в конце 76-го.

— Сценарий ваш?

— Да, сценарий мой.

— И вы будете режиссером и актером?

— Режиссер — я, а вот актер — не знаю.

Я пошушу актера, я пока не знаю...

— Однако вам самому хотелось бы сыграть роль Разина?

— Да, да! Наверное, так и будет, но я не откажу себе в поиске. У нас очень провинция богата актерами. (...) Мне охота поездить, там посмотреть, нет ли там свежего лица...

За это время, пока длилось интервью, сменился ряд кадров с Шукшиным из кинокартины «Они сражались за Родину»; и вот надвинулся танк и стал мять землю над человеком в окопе, но боец, выбравшись из норы, поджег танк, и поползла как змея, вращая зубчатыми колесами, железная гусеница, которая превратится у нас на экране в ползущую ленту магнитофона — он установлен среди цветов и трав на разинской земле, на холме, и отсюда виден причал, где стоял теплоход в качестве гостиницы для кино съемочной группы: там-то проживали в соседних каютах Бурков и Шукшин, и туда-то было доставлено наконец долгожданное государственное разрешение на съемки фильма «Степан Разин» («Я пришел дать вам волю»). И эта «воля» была дана «бойцу» Шукшину в канун октября во время киносражений. И вот уж октябрь наступил, и будет дан Шукшину покой, вечный.

Крутится магнитофонная лента, свидетельствует Георгий Бурков:

— Последнее время болел Степаном Разин. Казалось, его разорвет от той могучей силы энергии души, таланта, которая скопилась и готова выплеснуться наружу, воплотиться в фильм. Был наполнен радостью, что не за горами суждено мечте сбыться.

Федосеева Лидия Николаевна (взяв по две первые буквы, образуйте ФЕЛИНИ — шутовское прозвище, данное ей Шукшиным) рассказывала: когда Шукшин заканчивал роман, то последнюю главу ночью писал. «Просыпаюсь, четыре утра. Слышу, где-то ребенок рыдает. Я на кунию, гляжу — плачет. Спрашиваю: что случилось? Такого, говорит, мужика загубили, сволочи».

А теперь долго мучился, обдумывая, как снимать казнь Разина (над которой он тогда плакал), потом сказал: «Нет, я это снимать не буду. Этого я физически не переживу, умру». Потом он обдумывал другой конец.

Страннику, который направляется в Соловки помолиться, Степан Разин на виду у войска своего наказывает: «Помолись и за меня святому Зосиме, заступнику казацкому» — и дает серый мешок с чем-то тяжелым. Приходит странник в монастырь — вот, мол, пришел помолиться за себя и за Степана Тимофеевича Разина. И дар от него принес...

— Какой дар? Его самого уже в живых нет... Казнен...

— Долго же я шел, — удивился странник и достал из мешка дар, и поднял его над головой — огромный золотой поднос переливался, как солнце...

Потом Шукшин рассказывал о том, как будет снимать казаков, которые переправляются, стоя на лошадях, через Дон. Поднимается над водой пар, стелется над поверхностью, и вдруг появляется в дымке фигура одного, второго, третьего, и вот уже целое войско казацкое, будто по воде идет, по самой дымке. Неторопливо приближается... А потом туман начинает подниматься, и показываются над водой головы плывущих лошадей, а на них казаки стоят.

И мы запечатлеем на пленке эту реку, порождающую из тумана казацкое войско. Вот в такой час, утренний и туманный, 2 октября 1974 года умер в каюте Василий Шукшин, заснул навеки: рядом, судя по фотографии, рукопись «А поутру они проснулись» (неоконченная), исторический труд о разинском восстании (всего в каюте, по описи, было 104 книги), воспоминания о Некрасове (совсем недавно, несколько часов назад, говорил Буркову, как мучительно умирал Некрасов), военные сапоги (универсальная обувь для киносъемок и в жизни), покупки детям (в последнем письме матери, написанном красными чернилами, он не забыл написать о Маше и Оле, играющих с живым зайцем, который прижился на квартире).

Накануне артисты ездили в станицу Клетскую в баньку — и отвозил их туда местный киномеханик Захаров Павел. Вот отрывки из его письма артисту Алексею Ванину:

«...А на другой день услышали, что Василий Макарович умер — я был как раз дома, сели на машину, и уехали на аэродром, и увидели печальную картину: Василия Макаровича несли уже на самолет на носилках мертвого... Алексей Захарович, напиши, а как же теперь кино «Степан Разин»? Василий Макарович, когда я последний раз вез их, говорил, что на будущий год обязательно побываем у вас в бане и в гостях, он говорил, что будем снимать фильм где-то в Ростовской области. Он в этот вечер был такой веселый, говорил, что возьму себе дачу и сразу куплю машину. Кстати, Алексей Захарович, я забыл написать — когда я их привез в Клетскую, то В. М. говорит мне: «Паша, давай подведем к почте, я позвоню домой», но квартира

не ответила...»

Туман над рекой, где стоял у причала тот теплоход «Дунай», развеялся, растворив шукшинскую фантазмагорию казацкого войска, вспорхнула какая-то птаха, и мы прощаемся с землей Разина, глядя вниз с вертолета. Плывут облака, сквозь которые просвечивает уже Катунь, и начинает звучать напевно голос Марии Сергеевны (из фильма «Слова матери»):

«— Это не сон, а явь... Я сидела у окна, и вдруг прилетает пташечка. И вот она прямо села на рамочку, на окно, да и носиком в окно так постукивает. Я так вздрогнула... Говорю: что ты мне предсказываешь-то? И полетели мысли: и про внуков... и про Васю... Потом, на второй день, Наташа пришла — в Москву поедем! Что-то с Васей тама, а не говорит, что он умер-то, мне. Я ехала к живому...»

Факсимиле записи Шукшина на белом фоне:

«Силы, силы уходят. Не думал, что это когда-нибудь произойдет со мной. Ужасно грустно. В башке много замыслов».

Далее звучат слова из письма Шукшина сестре Наташе:

«Живые должны жить. Ведь это правда: мертвых на земле больше, чем живых. И если нам подчиниться закону мертвых, то надо спокойно складывать руки и спокойно уходить из жизни. Но живые диктуют нам свой закон — живи!.. Читай, что ни попадет. Лучше — умные книжки. Толстого Льва...»

Эти слова слышат люди на горе Пикет во время Шукшинских чтений. Под шалашинский хорал «Древнюю бль возвестим» звучит завещание Шукшина из того же письма:

«...Я хочу, чтобы меня тоже похоронили так же, по-русски, с отпеванием, с причитаниями — и чтобы жива моя мама и ты с ребятишками».

Панорама с могилы матери Шукшина на вологодскую журналистку Нину Веселову — она держит в руках розовый глобус-диаскоп.

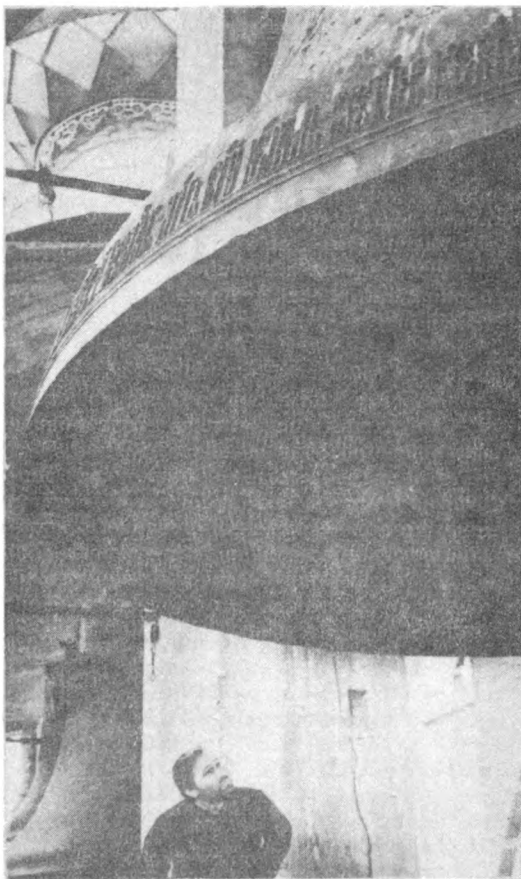
— На ее могилу в Сростках я пришла в июле 1979-го, в день пятидесятилетия ее сына. (...) Мария Сергеевна смотрела на меня с портрета, приветствуя после дальней дороги.

А я вдруг остро вспомнила последний вечер вдвоем, когда она попросила меня виновато:

— Ты дала бы мне еще разок посмотреть этот твой...

Я подала ей розовый шар с глазком — круглый диаскоп со слайдом внутри. Она прильнула к отверстию и долго сидела так. Там, в таинственном объемном мире, возле поленицы дров, рядом с ребятами-артистами и со мною стоял Василий Макарович. Деревня Садовая, Белозерский район Вологодчины, 1973 год...

«Нина, все же насмелюсь попросить, — писала мне потом Мария Сергеевна, — ты мне



В Ростове-Великом. 1970 г.

такого Васю не закажешь в шаричке сделать? В глазах стоит этот твой глобус. Господи, как живой сыночка, зачем не скажет, милый...»

Гора Пикет. У портрета Шукшина Георгий Бурков говорит, что Шолохов назвал Шукшина собирателем русского народа. Звучит речь Распутина в защиту Алтайского края, в защиту обширной земли. Слушают люди, заполнившие гору Пикет. Читается продолжение шукшинского письма сестре:

«Я хочу, чтобы меня тоже похоронили на нашей горе и чтоб вид оттуда открывался широкий и красивый... Таленька, родной мой единственный человек! Таленька, я люблю в тебе маму — ты от нее много взяла и сама этого не замечаешь. Я люблю в тебе, что ты русская. Что ближе тебя у меня на земле никого нет... Родная моя, я тоже не всегда прав, меня тоже носит по земле, я тоже еще не нашел покоя».

Мы вглядываемся внутрь магического кристалла, розового глобуса, в котором мать видела «живого» Шукшина, и мы видим там Василия в детстве, рядом с молодой матерью, и постарше, в форме матроса, и вместе с этим прежним бытием Шукшина возникает отзвук

фонограммы прежнего фильма:

«И вся-то жизнь в искусстве — мука. О какой тут радости говорить? Нет тут радости и нет покоя... «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль... Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль...» Слушайте,— доносится голос Шукшина.— Так написать!— И он, глядя на нас, цитирует строку этого же знаменитого стихотворения Блока: — «О Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь!» («У озера»).

Летит степная кобылица, а шукшинские казаки, стоя на конях, переправились уже на другой берег. Как в шукшинском стихотворении:

И разыгрались же кони в поле,
Поископытили всю зарю.
Что они делают?
Чью они долю
Мыкают по полю?
Уж не мою ль?
Тихо в поле.
Устали кони...
Тихо в поле —
Зови не зови.
В сонном озере, как в иконе,—
Красный оклад зари.

Медленно вращается глобус-диаскоп, меняя под стрекот киноаппарата изображения Шукшина.

«Я — сын, я — брат, я — отец... — гласит его рабочая запись. — Сердце мясом приросло к жизни. Тяжко, больно — уходить».

Этот глобус растворяется в ночном звездном небе — там, где сияет планета Василия Шукшина.

И еще одна рабочая запись на звездном небе:

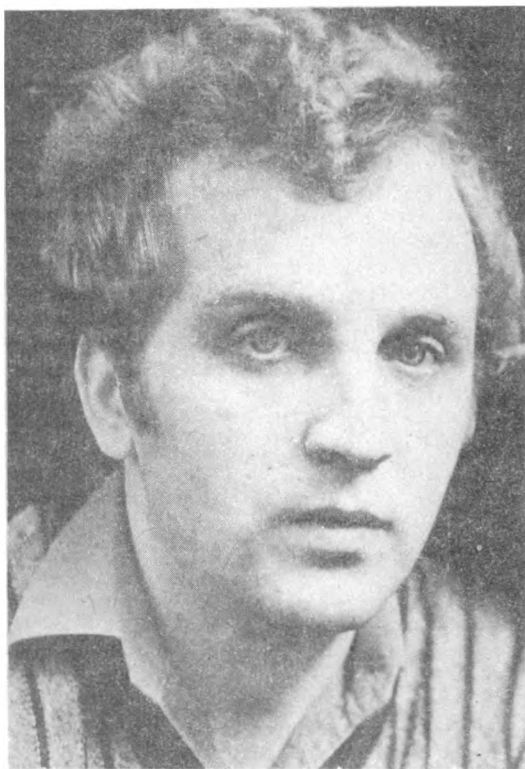
«Надо заколачивать свой гвоздь в плаху истории (ой-ой-ой!)».

Начинается рассвет.

— Не грусти,— слышен голос Шукшина,— не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить. Вот погоди-ка, если свидимся, я все тебе расскажу: я ведь много повидал на веку, даже устал. Душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо...

1987 г.





**Валерий
ЗАЛОТУХА**

ПОСЛЕ ВОЙНЫ — МИР

Это, наверное, раннее утро или вечер — солнца нет, но светло. Между огородами с отцветшей картошкой и приземистыми двухэтажными домами и сараями лежат на высокой насыпи рельсы железной дороги. Дома по одну сторону путей кирпичные, по другую — деревянные. Людей почему-то нет ни на огородах, ни около домов и сараев. Или их вообще нет, или они спят.

От огромного неживого террикона шел паровоз без вагонов. Он тяжело и шумно дышал, пуская вверх клубы серого дыма, напряженно, с хрустом работая стальными суставами.

И в эти, все заполняющие звуки машины вклинились другие звуки, похожие. Это человек. Где он? Было слышно, как человек дышал, — как паровоз, только тише.

Паровоз набирал скорость: теперь он дышал часто и мощно, как сильный бегун.

И человек, видно, тоже набрал скорость, — он тоже дышал часто и мощно. Он был сильный бегун.

Паровоз раздраженно и угрожающе загудел, пуская пар, предупреждая.

— Би-би-и-и! — пронзительно и тонко закричал человек. Он тоже предупреждал. Вот он! Он бежал навстречу паровозу и сам изображал паровоз: согнутые в локтях руки ходили наподобие шатунов взад-вперед. Человек увидел идущий навстречу паровоз и вновь встревоженно предупредил:

— Би-би-би!

Паровоз гудел не переставая и пуская пар, не в силах уже ни остановиться, ни даже сбавить скорость.

Лицо человека внимательно и тревожно. Он тоже не в силах был уже ни остановиться, ни даже сбавить скорость. Их разделяло совсем немного... Сейчас произойдет страшное...

И вдруг паровоз сошел с рельсов и, громыхая железом, спустился с насыпи на твердую глинистую землю. Он не снизил скорости и, успев пробежать с грохотом по земле метров двести, взобрался на насыпь и пошел дальше по рельсам, оставив человека позади.

Усталое и немолодое большое лицо человека с высокими зальсынами спокойно: маленькие прозрачные глаза смотрят только вперед. На груди его, на кителе без погон позвякивают прицепленные кое-как медали и значки. Он в широких измятых и грязных галифе, но без сапог — на ногах подвязанные бечевкой галоши. В лице его, в глазах — навсегда обретенное счастье...

...Борис просыпается от стука закрывшейся двери. Напротив высокой металлической кровати, на которой он лежит, окно. В окне — белое утро, и видно, как мимо проходит мать, одетая поверх старенького платья в серый пиджак спецовки. Одной рукой она прижимает завернутый в газету шахтерский обед —

«тормозок», другой — привычно сильно взмахивает при ходьбе. Она уходит. В окне остаются лишь неподвижный корявый ствол тополя, дощатая серая стена сарая да утреннее белое небо.

Борис вскочил с постели, быстро натянул выцветшие шаровары и рубаху, пробежал по половичкам мимо большой железной кровати матери с красным куском материи на стене вместо ковра, а на ней — фотография, портрет матери и отца, отец в пилотке со звездочкой; мимо квадратного стола, покрытого белой вышитой скатертью, и этажерки с салфетками без книг — к прибитому в углу умывальнику. Плеснул в лицо пару горстей воды, быстро, на ходу, утерся концом рубахи и повернулся к стоящему рядом небольшому столу с голой скобленной столешницей. На ней — черная сковорода с жареной вчерашней картошкой и кусок хлеба. Борис торопливо набил картошкой рот, а хлеб спрятал за пазуху. С раздувшимися щеками он подбежал к ведру с водой, наклонился и попил, сделав губы трубочкой. У самой двери Борис сунул ноги в брезентовые самшитые тапочки, вытащил из скважины большой ключ, вышел, закрыл дверь, повернув ключ два раза, спрятал его под лежащую на полу тряпку и выскочил на улицу.

Он посмотрел на небо, на совершенно безлюдную улицу, подошел к одному из окон дома, поднялся на невысокий окозоль и заглянул в окно. Комната очень похожа на ту, в которой проснулся Борис. Даже фотография на стене. Только на ней отец и мать Серого. Молодые, улыбаются. Серый спит. Суконное одеяло без пододеяльника сбито в ногах, подушка лежит на полу. Руки Серого раскинуты в стороны, голова запрокинута. Он худой, в больших выцветших трусах, без майки. Борис сильно постучал пальцами по стеклу. Серый мгновенно открыл глаза, перевернулся, посмотрел в окно и соскочил с кровати. Он оделся еще быстрее Бориса, посмотрел на картошку в сковороде, но есть не стал, а только сунул за пазуху хлеб.

Борис, улыбаясь, наблюдал сквозь стекло за другом.

Когда Серый уже подошел к двери комнаты, Борис, вспомнив, громко и торопливо вновь постучал в стекло.

Серый обернулся.

— Банку возьми! — крикнул Борис.

Серый смотрел непонимающе.

— Банку! Банку... — Борис изобразил руками и глазами что-то округлое и, не удержавшись, соскочил с узкой приступки цоколя.

Стукнула дверь, и из дома выскочил Серый.

В руке он держал литровую стеклянную банку.

— Пошли, — сказал он недовольно. — До вечера успеть надо... Кур бы покормить... А, ладно... — Почесал лохматую со сна голову

и, глядя на банку, спросил: — А чего сам не взял?..

— А мать вчера все банки сдала, — ответил Борис.

Они идут мимо сараев, мимо огородов и густой посадки молодых тополей, взбираются на высокую насыпь и шагают по шпалам рядом, положив друг другу руки на плечи, вперед, туда, где, сгорбившись, дремлет в последние утренние минуты седой от старости, разваленный надвое дождями и ветром террикон.

Дорога к шахте идет мимо деревянных дощатых домов, в которых со своими матерями живут Серый и Борис, и мимо других домов, разных: кирпичных, оштукатуренных, и — сложенных из бревен.

Двери домов открывались, из них выходили люди: женщины, но больше мужчины, а иногда и женщины и мужчины вместе, и у всех — у кого под мышкой, у кого в кармане или в сетке — свои «тормозки», а также газетные свертки с полотенцем, мылом и мочалкой, чтобы мыться в бане после работы. Путь к шахте лежал через небольшое поле, с которого только что убрали хлеб, по узкой тропинке. Люди здоровались при встрече, кивая друг другу на ходу. Шли и парами, и тройками, о чем-то по-утреннему негромко разговаривая, а больше по одному, думая об увиденных этой ночью снах. Так они тянулись цепочкой к шахте, где высылся большой и живой, чуть дымящийся наверху террикон и крутилось, опуская людей под землю и вытаскивая оттуда выковыренный людьми уголь, шахтное колесо — копёр.

Мать Бориса поздоровалась с одной, с другой, с третьей, прошла в женскую раздевалку и вышла оттуда совсем другая — в брезентовой, почерневшей от угля спецовке и с противогазной коробкой на боку, в резиновых сапогах, в черной гофрированной каске с лампой «вольф» в руке, и поспешила к бункерам.

Клеть — шахтерский лифт — только поднялась. Из нее сначала вытащили какие-то ненужные сейчас вниз трубы, а потом вышли несколько чумазых до черноты шахтеров с не загашенными еще лампами «вольф». Они работали в ночную смену.

— Здравствуй, Федь, — сказала мать Бориса одному из них, большому, сутулому.

— А, здоров, Ань, — сказал он, при виде нее вскинувшись от лежащей на плечах усталости, и, снова ссутулясь, ушел.

— Чего задержались, ночники? — весело крикнул один из входящих в клеть.

Те не отвечали, улыбались устало.

— А у них там девки в закутке спрятанные, — хохотнул другой.

— И гармония! — добавил первый.

Шахтеры засмеялись. И клеть полетела под землю.

Внизу все быстро освободили ее и пошли по черно-желтой подземной улице.

На откатке уже стояли женщины, с которыми работает мать Бориса,— маленькая толстая бабенка Любка и мать Серого.

— Чего опаздываешь-то? — тонко и весело закричала Любка.

— Проспала чего-то,— сказала мать Бориса и прибавила: — Здравсьте.

— Здорово! — крикнула Любка, видно, она не научилась тихо разговаривать.— Снилось чего хорошее?

— Ага...

— Расскажешь потом!

— Здравствуй, Ань,— бросила на ходу мать Серого. Она первая пошла к наполненным углем вагонеткам. Теперь их надо было откатывать до того места, где их может прицепить подземный поезд. Самое трудное — оттолкнуть вагонетку. Мать Серого уперлась плечом, подавшись вперед, мать Бориса откинулась назад, упершись спиной в стену и отталкивая вагонетку ногой. Рядом, в темноте проходки, вырываясь, оглушающе шипел сжатый воздух и били отбойные молотки.

— Пошли! — крикнула мать Бориса и, как мать Серого, наклонилась вперед и стала толкать вагонетки. Их лица напряжены, губы сжаты. Пошли...

Сзади навальщики — мужики. Большими шахтерскими лопатами они быстро наваливают в вагонетки уголь. Они снимают брезентовые робы и остаются в майках, грязных и рваных.

— Пошли-пошли! — кричит Любка.

Пошли...

В самой чаще густого кустарника, где вырыта землянка «штаб», сидят на редкой траве пацаны — те, кто живет со своими родителями в деревянных домах, а дрова, уголь и картошку хранят в деревянных сараях. Это — Витька, Вадим, Рыба и еще двое-трое больших ребят лет по пятнадцати. Остальные — пацаны от семи до двенадцати лет. Здесь же лежат два огромных лохматых пса, которые всегда с пацанами. Все молчат, потому что заняты делом серьезным и ответственным. У «больших», а также у Серого в руках длинные, похожие на старинные, самодельные поджигные пистолеты. Они счищают серу со спичек о края стволов — заряжают.

Между сидящими ползал на четвереньках остриженный наголо ушастый семилетний Колька и собирал очищенные спички. Он собрал целую горсть их и протянул на ладони Рыбе.

— Рыб, сколько здесь, посчитай!..

— Отвали,— отмахнулся Рыба.

— Юрик, посчитай,— обратился он к Юрику, который сам чуть больше Кольки. Юрик долго смотрел на Колькину ладонь и наконец тихо сказал:

— Мы еще столько не проходили.

— Вить, посчитай, а?

Витька, похоже, самый взрослый из них. Он здесь командир, вождь. Он зажал пистолет коленями, взял с Колькиной ладони спички и пересчитал.

— Восемнадцать... А там у тебя сколько? — спросил он и указал на большую кучку обезглавленных спичек.

— Вот,— Колька показал пальцем на написанное на земле число — 838.

— Восемьсот тридцать восемь прибавить восемнадцать,— написал Витька на земле палочкой,— будет... восемьсот сорок шесть...

— Пятьдесят,— не отрываясь от дела, поправил его Вадим.

— Чего? — не понял Витька.

— Пятьдесят шесть,— пояснил Вадим, подняв на Витьку спокойные глаза.

— А-а, ну да,— поправился Витька и вывел на земле — 856.

— Ты их сколько хочешь собрать, тысячу, что ли? — спросил Рыба.

— Тысяча девятьсот пятьдесят,— ответил Колька, четко выговаривая слова.

— Это почему же? — насмешливо спросил Рыба.

— Потому что сейчас — тысяча девятьсот пятьдесят,— ответил Колька, отодвинул в сторону спящую собаку и нашел под ней спичку.

— Во как,— хмыкнул Рыба.— Дает... Ну как ты целишься?! — прикрикнул он на Юрика, который подобрал с земли пистолет Рыбы и, приставив его ручкой к лицу, сощурился один глаз, целился в одному ему известную мишень.

— Дай сюда! — Рыба отобрал пистолет.— Так без глаза останешься — отдача... Во как надо,— показал он, вытянув руку и сощурился глаз.

— Дай попробую, а, Рыб? — с тихой надеждой попросил Юрик.

— Вырасти сперва.— Рыба продолжал заряжать пистолет.

Все молчали, занимаясь своим серьезным делом.

— Всё, коробок зарядил,— заговорил первым Витька и бросил в сторону пустой коробок.

— Я полтора,— подал голос Рыба.

Витька взял шомпол и, трамбуя, объяснил:

— Трубка новая, проверить надо... может разорвать.

Остальные тоже старательно трамбовали заряды, рвали газету на пыжи, засовывали их в ствол, снова трамбовали и после этого стали закладывать в стволы самодельные пули.

— Говорят, в «елках» нашли мужика и бабу с перерезанным горлом,— стал рассказывать Мишка, но замолчал, занятый своим пистолетом.

— Там банда, ее второй год ловят, говорят, и фрицы там есть,— продолжил Вилипутик.

— Хватит,— оборвал их недовольно Витька.— Я сколько раз туда за шавелем ходил... И не видел никого...

— Мало ли что не видел,— не согласился Мишка.

— А я в «елки» за миллион не пойду,— признался Рыба.— Давайте мне миллион — не пойду...

— Ага, просят тебя: «Рыба, возьми миллион!» — хмыкнул Вадим.

Пацаны засмеялись.

Рыба не обиделся, поднялся с пистолетом в руке.

— Получи, вражина,— тихо проговорил он, подготавливая в ямке на стволе «подкормку».

К тополю привязано пугало, одетое в форму немецкого солдата. Мундир страшно изорван, видимо, не одну пулю он уже получил. На его набитой тряпьем безликой голове — черная рогатая каска. Рыба встал, и сразу встали пацаны, глядя на «фрица». Рыба вытянул руку, прицелился и чиркнул боковушкой спичечного коробка по «подкормке». Сначала раздалось шипение. Пацаны вытянули шеи, подняли головы собаки. Выстрел ухнул. Ничто на мундире фрица не шелохнулось.

— Промазал! — первым крикнул Вилипутик, восьмилетний пацан с маленьким лицом и спокойными стариковскими глазами, младший брат Рыбы.

Пацаны и Рыба побежали осматривать мундир.

— Промазал, все дырки старые,— повторил Вилипутик бесстрастно.

Рыбе хотелось поспорить или дать брату пинка, но слишком явно было то, что он промазал.

— Сейчас бы «шмайсер», как у Зверя, я б его напополам переломил,— сказал он, не отрывая глаз от фрица.

— Зверь из своего «шмайсера» голубя на лету сбивает,— негромко, но авторитетно произнес Вилипутик.

— Был бы «шмайсер», ты б его, как «тэтэшник», Скрипкину отдал,— сказал спокойнo Вадим.

— Я отдавал, что ли? — сразу взорвался Рыба.— Он меня портфелем по спине стукнул, я свалился, а пистолет выскочил.

— Ладно, рассказывай,— словно и не Рыбе вовсе сказал Вадим, занимаясь своим «поджигом».

— Чего? Давай я тебя стукну по спине кирпичами? — продолжал горячиться Рыба.

— Давай,— тем же тоном продолжал Ва-

дим. Он сильный. Это по всему видно. Он сильный и справедливый телохранитель вождя — Витьки.

— Хватит вам,— остановил их Витька.

— Вить, можно сейчас я? — спросил тихо Серый.

— Давай,— согласился Витька.

Серый вытянул руку, прицелился и выстрелил. На груди фрица возникли мгновенно три отверстия, из которых вылетел пух. Пацаны и Серый с пистолетом в руке подбежали осматривать пугало.

— В сердце!

— Нет, в середёнку,— вновь авторитетно сообщил Вилипутик.

— Эй, не стреляйте! — крикнул кто-то из кустов.

На поляну выбежал запыхавшийся пацаненок.

— Кирпичники Мишку бьют! — закричал он, задыхаясь.

— Где? — сразу вскочил Витька.

— На линии, там,— пацаненок махнул рукой.

Все кинулись сквозь кусты, на ходу засовывая пистолеты под рубахи.

...Прямо на шпалах дрались трое. Рядом стояли еще несколько человек и молча наблюдали. Увидев бегущих, они что-то крикнули дерущимся и сами побежали за насыпь, к стоящим вдалеке кирпичным домам. С земли вскочили двое и бросились за ними, оставив на земле третьего. Ребята подбежали к лежащему вниз лицом Мишке и остановились. Мишка поднял лицо, измазанное кровью и пылью, в сторону кирпичных домов и сказал с пробивающимися сквозь голос слезами:

— Гады!

— За что они тебя?

— Да ни за что! — закричал Мишка.— К отцу на шахту ходил! Шел обратно, а они встретили.

Враги стояли метрах в ста отсюда, за насыпью.

Их стало больше. Они размахивали кулаками, бросали камни и кричали:

— Деревянщики! Эй, деревянные морды, еще получите!

— Говори честно, первый не задирается?! — глядя прямо в Мишкины глаза, спросил Витька.

— Ну, честно, Вить! — закричал Мишка, вытирая лицо рукавом рубахи.— Я еще поздоровкался! Там Лысый был... Я ему прошлым летом зуб сломал... А он через год отомстить, гад, решил...

— Давай дадим им, а, Вить, давай турнем... — заныли пацаны.

Витька смотрел на Вадима.

— Снова война начнется,— с сомнением произнес он.

— Кто не хочет жить в мире, того бьют

всем миром, — рассудительно произнес Вилипутик.

— Отойди отсюда! — заорал Рыба на брата и влепил ему сильную злую оплеуху. — Отойдите, все на десять шагов отойдите!..

Пацаны пятились, отесняемые Рыбой, и смотрели во все глаза на старших, ожидая их решения и желая только одного — войны.

Витька спрашивал что-то у Мишки, у Вадима, удерживал кричащего Рыбу и поглядывал на кирпичников, видимо, тоже жаждущих новой войны.

— Поджигные не брать, — тихо скомандовал Витька. — А вы, — крикнул он пацанам, — склады раскапывайте.

Все бросились в разные стороны: одни в огородах, другие к сараям — прятать в дровах пистолеты. Пацаны, стоя на коленях, по-звериному, руками быстро раскапывали землю на огородах в только им известных местах. «Склады» — это сложенные в ямки и засыпанные землей камни и железные болты. Ими все вооружаются, запихивают в карманы штанов, накладывают на руку, прижимая к груди.

— Цепью! — скомандовал Витька.

Все вытянулись в цепь и пошли на противника.

— Кирпичники, сейчас получите! — кричали пацаны. Кто-то из них бросил камень, хотя было явно далеко.

— Не бросать! — прикрикнул Вадим.

Кирпичники швыряли камни не переставая, они уже падали среди наступающих.

— Вперед! — скомандовал Витька.

Все бросились за ним, швыряя на ходу камни, крича «ура». Кирпичники не выдержали и побежали.

...После такой быстрой победы были особенно возбуждены пацаны, они кричали, перебивая друг друга и хватая за руки, и рассказывали, как всё было. У ног вились собаки, лаяли, но их никто не слышал. Большие старались сохранить спокойствие, но было видно, что и они рады такой быстрой и бескровной победе.

— Биби́ка! — закричал вдруг Колька, показывая пальцем назад. Все резко остановились, обернулись. По линии шел, наклонившись, мужчина. При каждом шаге он наклонялся все больше и больше. Все смотрели на него до тех пор, пока Вилипутик не сказал:

— Дурак ты, Колька. Это ж пьяный... А Бибику еще в прошлом году поездом зарезало.

Это действительно пьяный. Все понимают это, поворачиваются и молча идут дальше, забыв неожиданно о победе.

Маленький и низкий зал клуба заполнен людьми. На первых рядах и прямо на полу

пацаны глядят заворуженно на экран. На экране двое — он и она. У них красивые одухотворенные лица. Они сидят то ли на горе, то ли на крыше дома и восторженно смотрят на восходящее солнце, держатся за руки, крепко их сжав, — это можно понять по лицам. Зрители в зале совсем другие, но глаза их похожи, они тоже радостно светятся.

Внезапно открылась входная дверь, в светлом проеме возникли трое. Один из них, всматриваясь в зал, протянул руку к выключателю и включил свет. Это большой, остриженный наголо рыжий парень. Он нашел того, кого искал, и сказал громко:

— Сазан, на выход.

Со своего места поднялся шуплый паренек и, опустив голову, медленно пошел к выходу. Рыжий выключил свет и вышел следом, но дверь за собой не закрыл.

Из зала было видно: тот парень — Сазан, как назвал его стриженный, стоял у стены, а напротив трое. Один из них, светловолосый, что-то говорил ему, словно что-то доказывал. Но голоса слышно не было, так как с экрана гремели завершающие аккорды фильма — солнце почти взошло. Внезапно светловолосый ударил парня резко кулаком в лицо. Голова того дернулась и ударилась о стену. Из разбитого носа потекла на подбородок кровь. Парень закрыл лицо руками и медленно осел. Те трое повернулись и спокойно пошли прочь. Но один из них, маленький, чернявый, вдруг вернулся и с ходу ударил сидящего носком сапога в бок.

Парень медленно заваливается на бок. На экране возникает слово: «Конец»

...Они спускаются с насыпи и садятся на траву, отдыхая...

Борис взял банку и посмотрел на мир сквозь ее дно. Мир сделался круглым и немного смешным.

Серый достал клочок газеты, а в ней немного махорки, быстро и умело скрутил самокрутку. Борис вытащил спрятанную в резинке шаровар спичку и кусочек чирки от спичечного коробка, дал Серому прикурить. Тот затянулся и медленно, по частям, выпускал дым.

— Мне сегодня сон снился, — сказал Борис, заглядывая Серому в глаза, — как будто паровоз с рельс сошел, по земле проехал, а потом обратно на рельсы забрался и поехал.

— И мне тоже, — спокойно и тихо сказал Серый.

— Правда? — удивился Борис.

— Правда, конечно, — Серого это почему-то ничуть не удивило. Он будто готовился сказать что-то более важное. — Да... К матери мужик один ночью приходит... Дядя Саша... Стукнет три раза, она открывает...

Днем ему не разрешила приходиться...

— Почему?

— Тебе хорошо говорить — почему. Васьго на войне убили. Твоя мать с кем пойдет, ей ничего не скажут. А наш — сидит. Они всю ночь в своем углу разговаривают. Жениться они хотят, только мать боится.

— Чего?

— Отца. И людей тоже. Говорит: чего люди скажут? А чего этого бояться, не понимаю...

— А моя, наверно, не женится никогда, — тихо сказал Борис.

— Женится, увидишь...

— К ней десятник на работе лезет. Я слышал, как она тетя Ире рассказывала. Она его ударила, а он ей за это денег меньше пишет... Ночью плачет, думает, не слышу...

Они замолчали. Борис взял оставшуюся половинку самокрутки, затянулся.

— Ты отца своего помнишь? — неожиданно спросил Серый.

— Не-а... Он на войну ушел — мне два года было. А когда уходил, я спал, мамка говорила...

— А я своего помню. Он с войны тогда пришел. Ордена на груди. С автоматом.

— Автоматы с собой брать не разрешали...

— Ему разрешили, у него разрешение было.

— А когда его в тюрьму сажали, помнишь?

— Не, — мотнул головой Серый.

— Я помню. Мильтоны приехали на мотоцикле с коляской, хотели его в коляску посадить, а он не давался. Они ему тогда руки крутить стали, а у него аж вот здесь кровь, — Борис дотронулся рукой до лопаток Серого. Серый молчал. — Я тогда еще маленький был, думал еще, его около сараев из пистолетов расстреливать будут... Серый, а за что его посадили? Я у мамки спрашивал, она не говорит...

— Моя тоже не говорит... Я у Скрипкина спрашивал. Он сказал: за то, что отец говорил чего не следует.

— А чего не следует?

— Не знаю... Я сперва думал — матом... А все мужики матерятся, кроме Скрипкина. — Я когда узнаю, чего не следует говорить, я не буду говорить, а ты, Серый? — тихо спросил Борис.

— Не знаю еще. Сперва узнать надо. Скажи честно, ты через «елки» боишься идти?

— Боюсь, — тихо и виновато признается Борис.

Под окнами их деревянного дома стоит вкопанный в землю стол и такие же лавки с двух сторон. На лавках — большие. Рядом примостились пацаны, среди них — Серый

и Борис. На столе истрепанные игральные карты, ведро с водой и большая алюминиевая кружка. На земле под столом сидит со своей кучкой обезглавленных спичек Колька. Витька с Вадимом играют против Мишки и Рыбы.

— Ну, делай по уму, — с отчаянием в голосе призывал Мишка Рыбу.

— Делай, попробуй, если ни одного козыря нету! Швали всякой насовали, — злился Рыба, уткнувшись в веер карт.

— Вам, наверно, пить захотелось? Давно не пили, — издевался Вадим, — какая это кружечка будет, пятая или шестая?

— Шестая, — спокойно сказал Вилипутик.

— Уйди отсюда! — заорал Рыба и заехал брату.

— Быка не выиграешь, корову не проиграешь, правда, Вить? — обратился Вилипутик за помощью к вождю.

Петька рассматривал карты из отбоя. Особенно непонятны ему «картинки». Он медленно поворачивал карту набор, стараясь поставить короля на ноги. У короля почему-то замазана черными чернилами голова. Вторая голова — нормальная, белая.

Петька поднял на больших глаза и спросил:

— А негры за кого, за наших или за немцев?

Никто не ответил, все задумались.

— Дурак ты, Петька! — вмешался, потирая затылок, Вилипутик. — Немцы бывают разные и негры разные тоже.

— Кто дурак? — возмутился Петька и поднялся, готовый драться сейчас же, здесь же.

— С погонами! — перебил его Вадим и пристроил на плечи Рыбе пару «шестерок». — Может, и водички попить захотелось?

— Пожалуйста, — Вилипутик протянул брату кружку.

Рыба одной рукой выхватил кружку, а другой отвесил Вилипутику оплеуху.

— Проиграл и не злился, — вступился за Вилипутика Мишка.

Он взял кружку и стал пить воду с шутковским удовольствием на лице, потешая пацанов.

Треск мощных мотоциклетных двигателей был сначала тихим, далеким, но все за столом насторожились. Треск приближался. Два больших трофейных мотоцикла вывернулись из-за угла дома и, подъехав на скорости к столу, резко остановились.

— Зверь, — успел сказать Вилипутик.

На первом мотоцикле сидел один, на другом — двое.

Наступила тишина. Мотоциклисты молча смотрели на сидящих за столом, а те старались не смотреть на мотоциклистов. Пер-

вый — Зверь, со светлыми вьющимися волосами и красивым лицом, в своей знаменитой кожанке. За ним — здоровый, рыжий, остриженный наголо — Кот; последний — маленький, чернявый, с темными мелкими глазами, его кличка — Дохлый. Это они приходили в клуб.

— Ну что, пацаны, в картишки сыграем? — спросил наигранно лениво Зверь и слез с мотоцикла.

Двое пацанов вскочили с лавки, освобождая место. За Зверем оставили мотоцикл Дохлый и Кот и тоже сели на освобожденные сразу же места. Они сидели по обе стороны Витьки, а напротив — Зверь.

— Что, Витя, сыграем? — спросил Зверь тем же тоном, тасуя карты.

Витька молчал, уставившись взглядом в стол.

Из-за угла дома, откуда вывернулись мотоциклы, выходит Скрипкин. Он в низко надвинутой старой милицейской фуражке и в застегнутой под самое горло длинной и толстой темно-синей шинели. В руке у него маленький черный ученический портфель. Он идет неторопливо, а вернее — тяжело, и нетрудно рассмотреть его большое, немного одутловатое лицо, низкий лоб с тремя глубокими морщинами и маленькие глубокие глаза под лохматыми бровями. На лице — крупные капли пота.

— Скрипкин, — шепнул Вилипутик.

Пацаны дернулись, но остались на месте. Зверь спокойно продолжал тасовать карты. Скрипкин подошел к столу и из-за Витькиной спины протянул Зверю большую с толстыми пальцами ладонь.

— Давай, — сказал Скрипкин и пошевелил пальцами, — давай сюда.

Зверь еще немного потасовал, лениво и нагло глядя на Скрипкина, потом постучал ребром колоды по столу, складывая ее ровнее, и спокойно положил карты в нагрудный карман кожанки.

— Давай сюда, — жестче сказал Скрипкин.

— Мы не играли, — жалобно протянул из-за спины Вилипутик.

— Не играли и не надо, ладно, — примирительно сказал Скрипкин. Он постоял некоторое время так, громко втягивая носом воздух и переминаясь с ноги на ногу. — А место мне кто уступит? — спросил он. — Старшим надо место уступать... Не учили вас разве в школе?

Витька сторбился еще сильнее, остальные пошевелились, но никто не поднялся.

— Да-а, — протянул Скрипкин и посмотрел сначала на рыжую голову Кота, потом на серую Витькину и остановился на черной лохматой голове Дохлого. — Подстригешься когда? — спросил Скрипкин и постучал пальцем по его голове.

Дохлый недовольно дернулся, но промолчал.

— Когда старшие спрашивают, надо отвечать, — продолжил Скрипкин, — и место им уступать! — Он схватил Дохлого за плечи и выдернул его из-за стола, как редиску из грядки.

Теперь, когда место освободилось, он, тяжело подняв одну ногу, перешагнул через скамейку, потом другую, поставил с глухим стуком портфель на стол и, вздохнув, сел, предварительно подпернув галифе.

— Стучат кирпичики? — с ухмылкой спросил Зверь, указывая на портфель глазами.

— Стучат, — согласился Скрипкин. — Стукнут они скоро, Зверев, тебя по башке. Ты парня, Карпухина, за что избил в клубе? Сапогами бил? У него ребро сломано...

— А ты видел? — спокойно спросил Зверь.

— Твое счастье, что не видел.

— Ну вот. Или заявление на меня есть?

— Заявления нет, — согласился устало Скрипкин. — А Валю Платонову из этого дома зачем ударил? Знаешь, что муж ее служит еще, некому заступиться?

— Нужна мне твоя Валя... Она что, заявление на меня написала?

— Не написала, не написала, — громче и жестче произнес Скрипкин. — А может, сказать пацану ее, чтоб он мать сюда позвал? — Скрипкин взглядом указал на опустившего голову Юрика. — Позвать и дать тебе при ней по башке этим портфелем!

— Не надо, — тихо сказал Юрик.

Скрипкин вздохнул, щелкнул замком портфеля и вытащил оттуда листок и чернильницу-непроливайку с воткнутой в нее деревянной ученической ручкой.

— Повестка тебе. Явка в милицию. Вот здесь распишись.

— Неохота, — с издевкой в голосе сказал Зверь, — ты сам распишись лучше, у меня рука заморилась...

— Людей добрых бить она у тебя не заморилась... Ничего, я распишусь. — Скрипкин обмакнул еще раз ручку в чернильницу, посмотрел на перо, нет ли ворсинки, и, низко склонившись над столом и медленно диктуя самому себе, стал писать:

— «В подписании повестки отказался. Старший сержант Скрипкин М. М.»

— «Мэ-мэ», — повторил Зверь.

— Да, «мэ-мэ», — согласился спокойно Скрипкин и прибавил: — Ты уж лучше приди сам завтра, а то приедем, заберем. Нехорошо будет. Да-а. — Он оглядел сидящих и обратился к Витьке: — А ты самострел свой принеси или сломай его и выкинь в уборную. И все остальные... Я тебя за пистолет марки «тэтэ» простил, а сейчас за саodelку в колонию отправлю...

— Нету у нас пистолетов,— жалобно протянул Вилипутик.

— Нету,— недовольно повторил Скрипкин. Взгляд его упал на сидящего под столом Кольку и кучку спичек рядом.— А это что такое? Подай-ка...— обратился он к Кольке.

Колька опустил голову и не двигался.

Скрипкин нагнулся, скрылся с головой под столом и, тяжело дыша, с побагровевшим лицом, поднялся. В ладонях его была вся куча обезглавленных спичек.

— Это чего? — спросил он.

— Не знаем,— пожал плечами Вилипутик.

— Зато я знаю,— повысил голос Скрипкин,— я знаю. Порох весь перевели, так теперь серу вместо него обчищаете?

Он достал из портфеля лист бумаги, завернул в него бывшие спички и все это спрятал в портфель.

— А вы?! — обратился он, повысив голос, к вздрогнувшему пацанам.— Кошек больше не вешаете?

— Не-е,— вновь тихонько пропел Вилипутик.

— И правильно,— одобрил Скрипкин и задал вопрос: — А то ведь сегодня кошек, а завтра кого?.. Теперь ведь всё для вас! — неожиданно обратился Скрипкин ко всем сразу.— В такой войне победили, столько жизни положили! И всё ведь для вас! Учитесь только... В люди выходите...— Скрипкин замолчал, тяжело поднялся, вздохнув. Но вдруг неожиданно резко перегнулся через стол и двумя пальцами выхватил у Зверя из кармана карты.— А в карты играть не надо,— сказал он спокойно и назидательно.— Вы лучше...— Скрипкин замолчал, думая; все тоже молчали, ждали, что же он скажет, что же им лучше делать,— ...стихи учите,— произнес неожиданно, кажется, даже для самого себя, и облегченно выдохнул свои слова прощания: — Вопросы есть? — Он собрался было выйти из-за стола, завернув карты в кусок газеты и положив их в портфель, но его остановил Петька.

— Дядя Скрипкин, а вы почему в пальте, зиму встречаете? — спросил он, бесстрашно глядя снизу в глаза миллионера.

Скрипкин нахмурился.

— Я не зиму встречаю, как ты говоришь, а лихорадку из себя провожаю... Она меня два раза в год трясет. Вопросы есть?

— Есть,— кивнул Петька.— А негры за кого — за наших или за немцев?

— Негры? — Скрипкин задумался, опустив голову.— Негры... Вопрос серьезный. Сразу не ответишь. Я тебе... в другой раз скажу, за кого они,— сказал он и, выйдя из-за стола, пошел по улице дальше — прямой, спокойный и тяжелый, с портфелем в руке. Все смотрели на его сутулую, в шинели, непонятную спину и видели, как за-

медляет он шаг, как останавливается, думая, вероятно, о чем-то, как возвращается Скрипкин назад.

— У меня одна задача, Зверев,— заговорил, подойдя, он.— Посадить тебя, покуда в армию не забрали. Таким, как ты, в нашей славной победоносной армии — не место. И я тебя посажу.

Скрипкин ушел.

— Томку позови,— зло сказал Зверь, глядя на Витьку.

— Я тебе не нанялся бегать,— по-прежнему не глядя на Зверя, ответил Витька.

— А я сказал — позови,— повторил медленно Зверь.

— А я сказал — не нанялся,— повторил Витька.

Томка выбежала из подъезда неожиданно. У нее, как всегда, слегка растрепаны волосы и легкое ситцевое платье на ее налитом, живом, как речная вода, теле кажется прозрачным. Все замерли.

— Кого делите, меня, что ли? — крикнула она, смеясь.

Зверь еще раз взглянул на Витьку, поднялся, завел мотоцикл. Сзади села Томка. Она обхватила голыми руками Зверя за шею и прокричала ему в ухо:

— Задущу, если моего братика обидишь!

Мотоциклы срываюется с места и исчезают за углом дома. За столом уже в который раз наступает тишина.

— Ох и сучка у тебя сестренка,— участливо заглядывая в глаза Витьке, говорит тихо Вилипутик. Рыба молча и мгновенно отвечает брату затрепину.

Серый и Борис мнут большие ворота-арку, у которых стоит гипсовая скульптура шахтера с отбойным молотком на плече и за которыми начинается шахта, и быстрым шагом идут к кирпичному зданию конторы.

Крутится и гудит шахтное колесо, на террикон ползет вагонетка с породой, а наверху ее ждет человек, чтобы высыпать породу и отправить порожнюю вниз. На самом верху, над шахтным колесом, бьется выгоревший на солнце флаг.

Серый и Борис прошли вдоль кирпичной стены мимо большого плаката, на котором рабочий, колхозница и воин держались за руки и было написано: «Страну отстаюли, страну возродим!» и открыли тяжелую, обитую оцинкованным железом дверь. В почти квадратной полутемной комнате с высоким потолком и каменным полом с одной стороны — сплошная стена, с другой — натянута от пола до потолка сетка. За ней на длинных полках лампы «вольф», противогазные коробки, гофрированные шахтерские каски. В стене — ниша, в которой торчат два во-

допроводных крана. Над одним написано краской «вода», над другим — «газ. вода».

Здесь же, в нише, несколько больших алюминиевых кружек на железных гремящих цепях. Серый и Борис взяли по кружке и по очереди поставили их под сильную струю газировки. Стукнулись кружками и стали пить. Первый же глоток выбил слезы. Они их вытерли рукавами и продолжали пить.

Дверь вдруг распахнулась, наполнив комнату светом. В нее ввалились с шумом большие тяжелые шахтеры в спецовках. Они сдали противогазы, лампы, каски и подошли к нише. Дверь то захлопывалась, то вновь открывалась, впуская вместе с входящими слепящий белый солнечный свет. И спецовки, и лица шахтеров грязные, некоторые почти совсем черные. Шахтеры пили газировку, крякали, переводили дух и пили снова. Один из них, высокий, кучерявый, с веселым улыбочивым лицом, заметил Серого и Бориса.

— Ну, как газировочка? — громко спросил он.

— Крепкая, — уверенно ответил Серый.

Кучерявый выпил целую кружку залпом и выдохнул с шумом:

— Ух... ух, и правда крепкая! Надо еще полкружечки! Хороша газировочка сегодня! Он вытер ладонью рот и спросил улыбаясь:

— А вы небось помыться пришли?

Кучерявый спрашивал громко, да и спрашивал он так, как будто утверждал.

Серый и Борис хотели сказать, объяснить, но кучерявый уже обращался к стоящим рядом шахтерам:

— Видали, бойцы какие? Мыться с нами сегодня будут!

И Серый с Борисом только переглянулись.

Они стоят в выцветших старых трусах, вытянувшись, прижав тощие руки к худым туловищам, и смотрят, как раздеваются шахтеры. Те сбрасывают с шумом брезентовые черные робы, стаскивают старые, истлевшие во многих местах от пота рубашки и рваные майки, стягивают резиновые сапоги, разматывают черные сырые портянки, шевелят уставшими пальцами ног, скидывают тяжелые мокрые штаны и длинные, до колен, трусы. И оказываются голыми, обычными маленькими людьми. Только у многих то спина, то рука, то нога обезображена шрамом или рубцом либо посечена синей пороховой сылью. У них впалые груди и тонкие белые ноги. Но на груди у многих вытатуированы Кремль, Ленин и Сталин, танки, самолеты. А также русалки и просто голые толстые женщины, женские имена, кинжалы и змеи, и великие простые истины-

клятвы, и одна из них повторяется особенно часто: «Не забуду мать родную». Шахтеры словно стесняются своей наготы и грязи, вталкивают ноги в деревянные, стучащие по полу шлепанцы, которые зовутся колодками, и торопливо идут мыться.

Кучерявый раздевался рядом. Он большой, мускулистый, сильный, на груди его катер режет бурлящую волну, а над ним — полукругом надпись: «ТК «Бесстрашный». Серый и Борис смотрели на кучерявого внимательно и удивленно, разглядывая татуировку. Кучерявый расправил грудь, подмигнул им, поднялся и крикнул проходящему мимо худому длинному шахтеру:

— Во, бойцы какие! А ты, Петрович, вроде мужик как мужик, а нарожал полный дом девок! И как это ты работаешь?

— Да как и ты, — отозвался на ходу Петрович, — беру отбойный молоток и работаю.

Шахтеры захохотали. Их смех гулко отдавался в высоком потолке, перекрывая шум воды, который доносился из-за закрытой двери.

— Ну, чего стоите? — обратился громко к Серому и Борису кучерявый. — Или в трусах мыться собрались? Мыло у меня есть, мочалка тоже, полотенцем одним вытремся! Мы ж мужики! Айда!

Серый и Борис стянули трусы, сунули ноги в колодки и, застучав ими по полу, заторопились за кучерявым.

Здесь стоял пар, смешанный с шумом бьющей сверху воды и хохотом шахтеров.

— А вот еще случай был, — доносился голос, — до войны еще, у нас на Урале. Две бабы на улице ругались страшно. Ревновала одна другую, что ли... Хрен их разберет. На улице проходу друг другу не давали. Как встретятся — ровно кошки. Ну, сошлись они раз, поливали друг друга, поливали, а потом одна говорит: «На вот тебе!», поворачивается и задом к другой становится. Мол, вот тебе, кто ты есть!

— Ага! — обрадованно воскликнул щуплый мужичонка, растянув в улыбке до ушей рот.

— А та, другая, — продолжал рассказчик, — тоже не дура была. Взяла и к той задом повернулась. На вот, значит, посмотри!

Шахтеры захохотали. Тот подождал, пока смех утихнет, и с улыбкой продолжал:

— Время идет, а они не поднимаются. Уступить боятся. Народ собрался, пацаны кругом бегают.

— Ага! — воскликнул во второй раз щуплый мужичонка еще радостнее.

— А тут мужик одной идет. Попробовал он совестить их, растащить — не идут, упираются... Ну, он взял и стал рядом со своей.

Шахтеры снова захохотали.

— Два—один, значит! — весело закричал щуплый и хлопнул себя по худым коленям.

— Та, значит, видит, какое дело... проигрывает. Вскрывает и бегом на завод, на мужика того жаловаться. А он у нас завкомом был. Выгнали из завкома!

— Ну?!

— Он тогда на собрании, когда выгоняли, говорит: «Что же мне делать было? Они б так до зимы на улице стояли. А мне баба дома нужна. Обед варить, да и вообще...»

Хохот заглушил шум воды. Когда смех утих, чей-то совершенно серьезный голос спросил:

— Слушай, Николай, скажи честно... Это ж ты небось и был?

Серый и Борис даже поежились от хохота шахтеров, переглянулись и улыбнулись.

Кучерявый подошел к ним, наклонился.

— Вы что это, только под водой стоите? — спросил он. — Берите вот мочалку да спины трите друг дружке. Да посылней, посылней! На спине самая грязь собирается. — И крикнул в сторону: — Эй, не материтесь, пацаны здесь!

Шахтеры замолчали и занялись трудом — терли до красноты друг другу спины, вдыхая с шумом воздух и отфыркиваясь.

...Одевались Серый и Борис вместе с кучерявым быстро и весело.

— Спасибо, дядь, — сказали они кучерявому и уже пошли, но тот остановил.

— Погодите, куда заспешили...

Серый и Борис вновь переглянулись.

Они снова пошли по длинному коридору вместе с другими шахтерами. В большой светлой комнате, где стояли стулья, покрытые кумачом столы, висел портрет Сталина, было людно и шумно. У зарешеченного окошечка кассы стояла очередь. Шахтеры, склонившись, получали пачки денег, отходили, пересчитывая, засовывали получку в карманы брюк, гимнастерок, пиджаков.

Подошла очередь кучерявого. Он взял деньги, пересчитывать не стал, а засунул пачку в глубокий карман широких брюк.

— Пошли, бойцы, — весело сказал кучерявый.

На улицу шахтеры вышли гурьбой, но сразу разбились на группы по несколько человек. Кучерявый шел один, а рядом — Серый и Борис. Шахтеры были непохожи на себя — тех, вышедших из шахты, и тех, которые мылись в бане. У них чистые розовые лица и зачесанные назад частой расческой, не высохшие еще блестящие волосы. У Серого и Бориса тоже розовые лица и причесанные чубы.

Первый дом на пути шахтеров — белый, красивый, с колоннами и вылепленными наверху буквами — «Столовая». Большинство шахтеров направлялось к ней. И кучерявый тоже.

В столовой стоял папиросный чад и гомон голосов.

Кучерявый огляделся, выбрал свободный наполовину стол, подвел к нему Серого и Бориса.

— Сидите, — указал он на свободные стулья, оглядываясь озабоченно и деловито и здороваясь почти с каждым, кто был здесь.

Серый и Борис смущенно присели на стулья. Борис поставил банку на стол, но тут же убрал ее на колени. Напротив них сидел пожилой сухощавый мужик в гимнастерке и кепке. Перед ним были пустая четвертинка, стакан и пара кружек пива. Он устало и одиноко пьянел, отхлебывая пиво, всякий раз насыпая на край кружки щепоть крупной серой соли. Он не видел ребят.

— А вот и супчик! — улыбался, стоя перед ними, кучерявый.

В руках он держал круглый стальной поднос, а на нем две большие, наполненные до краев тарелки и крупно порезанные полбуханки серого ноздреватого хлеба. Он поставил на стол тарелки, хлеб, протянул ребятам ложки и подмигнул.

— Давайте-ка... кушайте... Супчик первый сорт, горохово-музыкальный.

Серый и Борис смуглились еще больше и, обернувшись, смотрели в спину кучерявого, который остановился у прилавка, где стояла небольшая очередь за пивом.

Продавщица — крупная, краснолицая, с татуированной рукой, в грязном переднике и белоснежной наколке в волосах — торговала быстро и весело.

— Пару кружечек, Рай, — попросил кучерявый и спросил: — А конфеток нет никаких?

— Сладенького захотелось? После горьконой? — пошутила продавщица и засмеялась.

— Да не, ребяташки вон, — указал кучерявый на Серого и Бориса.

— Не, нету... Третьего дня были подушечки, все разобрали... — Продавщица наливала пиво и посматривала на ребят.

Кучерявый вернулся к столу — с пивом.

— А вы чего не кушаете? — заругался он. — А ну-ка, кушайте! Ишь, сидят, как эти... Да поставь ты свою банку, чего ты за нее держишься?... Кучерявый посмотрел внимательно на мужчину, который не видел ничего перед собой, а видел только то, что было сейчас в нем, что болело и жгло, вздохнул и, ничего не сказав, выпил залпом полкружки пива.

— Кушайте, кушайте... — прибавил он. Серый и Борис ели быстро, видно, только сейчас, за едой, почувствовав, как они голодны.

— Вот так вот, наворачивайте, — подбадривал негромко кучерявый. — А не хватит — добавки возьмем. Рубайте, бойцы...

Борис оторвался от супа, переводя дух, улыбаясь, смущенно спросил:

— Дядь, а как вас звать?..

— Дядь Толей меня звать,— ответил кучерывый.

Борис поворачивается к Серому и тихо повторяет:

— Дядь Толя...

Кирпичники — на насыпи железной дороги. Деревянщики — у своих деревянных сараев. Их разделяют огороды. Время от времени то с одной стороны, то с другой летят камни.

— Эй вы, деревянщики, деревянные морды!.. Идите сюда, мы вам покажем! — кричали с одной стороны.

— Сами морды кирпичные... идите сюда! — отзывались с другой стороны.

— А чего у вас делать, нам и тут хорошо...

— А... испугались... в штаны навалили... ха-ха...

— Сами в штаны навалили...

— Цепью, — негромко скомандовал Витька, но все его услышали, пошли вперед по частым межам огородов, вытянувшись в цепь.

Кирпичники кидали камни, но не точно. Деревянщики не отвечали, а молча и сосредоточенно наступали. Удар! Петька замер и, ничего не понимая, свободной рукой взял большой выцветший картуз за козырек и обнажил лоб. На лицо хлынула кровь. Он резко натянул картуз почти на глаза, спрятал кровь и закричал:

— Вперед!

— Вперед! — отозвались остальные, побежали к линии, бросая в противника камни.

— Вперед, наши! — кричали пацаны.

— Вперед! — кричал Серый.

— Вперед! — кричал, стараясь не отстать, Борис.

Кирпичники дрогнули, стали медленно отступать. Деревянщики уже взбирались на насыпь, когда вдруг оттуда, с другой стороны, выскочила засада: несколько человек с камнями. Деревянщики оказались под градом камней, а самим кидать уже было нечего. Они скатились с насыпи и увидели, что наверху остались Витька и Петька.

Камень попал Витьке в грудь. Он согнулся, сморщился от боли.

— Витьку ранили, — закричал Петька. — Вперед, наши!

И хотя ни камней, ни болтов уже не осталось, все повернули и побежали с криком «ура!» на кирпичников. И те вновь не выдержали, кинулись к своим кирпичным домам и сараям.

Они скрылись в парадном и оказались запертыми в нем. Иногда в черном проеме мелькало любопытное лицо и сразу пропадало, боясь получить в лоб камнем. Через не-

которое время из дома донесся предупреждающий голос:

— Эй, не бросайте! Переговоры...

Из двери вышли двое больших кирпичников с настороженными, но не испуганными лицами.

— Вить, иди сюда, поговорить надо, — сказал один.

— Говори, мы здесь свои, — ответил Витька громко.

Свои поддержали Витьку нарочитым смехом.

Кирпичники переглянулись, пошептались, и опять тот же сказал:

— Надо поговорить... только без пацанов...

Витька бросил на землю камень, который держал в руке, и направился к ним.

— Не ходи, — шепнул кто-то из пацанов.

За Витькой пошел Вадим. Пацаны недоверчиво смотрели на переговорщиков.

Витька с Вадимом вернулись.

— Пошли, — махнул Витька рукой и, ничего больше не говоря, направился к своему деревянному сараю. За ним — все остальные деревянщики.

За углом сарая сидит на корточках Петька. Кровь течет из-под картуза на лицо. Он прижимает ладони ко лбу, не пуская кровь на глаза, часто и удивленно моргает.

Солнце — высоко, а ветра нет. От рельсов и шпал поднимается прозрачное слоистое тепло. По обеим сторонам линии — поля, впереди дорога пересекает линию. Там — шлагбаум и белая железнодорожная будка.

Серый и Борис ускорили шаг. Тихо открыли дверь будки. У окна за столом, на котором лежали железнодорожный фонарь и желтые свернутые флажки, сидела, подперев рукой щеку, немолодая женщина.

— Теть, попить дайте, — попросил Серый.

— Попейте, попейте, — сказала она и тихо улыбнулась.

Они уже знали, что ведро стоит здесь же, в темном углу на лавке, накрытое мокрой и холодной, потемневшей от воды фанеркой, а на ней вверх дном — старая эмалированная кружка, с отбитой на дне эмалью. Они выпили по полной кружке медленно, с передышками, и все это время, пока они не ушли, сказав: «Спасибо, теть», а она — «На здоровье», она смотрела на них.

И они уходят по шпалам, растворяясь в горячем воздухе, и она смотрит им вслед спокойным и усталым взглядом.

Борис сидит в углу комнаты на корточках и насыпает ячмень из наполненного на четверть мешка в старую жестяную банку. Занятие это интересное — когда он берет зерно в ладонь, оно колется — легонько,

по-доброму, как живое, а когда сыплется струйкой, в банку, журишит и постукивает — тоже, как живое.

Дверь открылась, вошла мать.

— Мам, я кур собираюсь кормить, — сказал Борис. И стал насыпать зерно бодрее, хотя можно было сделать совсем просто — зачерпнуть его банкой.

Мать словно не услышала и, не снимая спецовки, легла на кровать. Борис поднялся, внимательно посмотрел на мать. Она лежала, закусив губу, держа ладони на саднящем желудке. Глаза ее были закрыты.

— Мам, — позвал Борис. — Мам... — в голосе его были тревога и страх.

Она открыла глаза и, пересиливая боль, улыбнулась.

— Мама, живот болит, да? Снова болит? — спрашивал Борис, стоя рядом.

Мать вновь закрыла глаза, попыталась вздохнуть глубже, но это не получилось.

Борис положил свою ладонь под ладонь матери.

— Сейчас пройдет... Сейчас пройдет, мам... — Борис повернул голову к окну, видя в нем край падающего, наливающегося малиновым цветом солнца, и что-то быстро и неслышно зашептал.

— Анька, ты чего лежишь? — прокричала в оставшуюся открытой дверь соседка тетка Ира, веселая и красивая. — Желудок снова? Ой, господи... — Она подошла к кровати, взъерошила волосы на голове Бориса. — Знаю я средство от язвы... Отец мой перед войной вылечился. Двадцать пять стаканов свежей земляники полевой надо съесть. В день по стакану. Сразу отживел. А то помирал совсем... — Тетка Ира присела на край кровати.

У матери задрожал подбородок, сильно задрожал.

— Ну, чего ты, Ань? — горестно спросила тетка Ира и обратилась к Борису: — А ты иди, Борь... Иди, кур корми. А я посижу с мамкой.

Борис закрыл за собой дверь комнаты, и у матери сразу прорвались слезы.

— Ой, Ир, не могу больше! Не могу терпеть! — причитала она, всхлипывая, захлебываясь слезами. — Всем премии дал по пятьдесят рублей, а мне не дал, говорит, за недисциплинированность... А сам зубы скалит. А потом отозвал и спрашивает: «Долго ломаться еще будешь или хочешь, чтоб вообще с шахты выгнали?...» Ой, не могу, что мне делать? А если тронет — убью. Обухом или каменюгой стукну по голове, и всё. Пусть что хочут делают тогда, хоть посадят — убью. А Борька как же, ой, боже ж ты мой!..

Падая, солнце наполняется малиновым цветом до предела и кажется, что сейчас,

когда оно коснется острой верхушки террикона, — прорвется и из него потечет густой и сладкий сок.

Серый и Борис сидели на лавке и, не стовариваясь, держась за край, стали медленно запрокидываться, и вместе с ними начала опрокидываться земля, и все поменялось местами: солнце было внизу, и к нему стремился террикон, а по шершавой, без травы, земле ходили замедленно, по-вечернему, женщины и сзывали кур, и куры бежали к ним со всех ног — вверх ногами по земле, как по небу, а внизу, как земля, стояло еще светлое, предвечернее небо.

Борис смотрел неотрывно на солнце и что-то вдруг прошептал, быстро и почти неслышно.

Серый покосился на него.

— Ты чего бормочешь? Как колдун...

— Ничего... — ответил Борис и нахмурился.

— Сегодня в десять большие будут драться там, за кустами, я подслушал, — сказал тихо Серый и сел нормально.

— Сергей! — позвала из окна мать Серого. — Иди кур покорми.

Серый нехотя поднялся со скамейки и пошел в дом. Оттуда он вышел с жестянкой, полной ячменя.

В разных концах двора, у сараев, женщины кормили своих кур с выкрашенными хвостами, или головами, или крыльями, чтобы не спутать, где чья, и из-за этого не поссориться. Женщины подзывали своих кур звонко и спокойно: тип-тип-тип или цып-цып-цып. К их голосам присоединился голос Серого. Он начал тихо, а потом громче и дошел до крика: «Типа-типа-типа!» Чужие куры ошалело закрутили головами.

— Ну что разорался! — прикрикнула на него большая, широкая в кости женщина — мать Вилипутика и Рыбы.

Серый замолчал. Куры успокоились и продолжали деловито клевать зерно. Но вдруг вскинулись и с шумом разлетелись в разные стороны. По двору сломя голову летела кошка. За ней из-за угла выскочил Вилипутик с сосредоточенным лицом и на не меньшей скорости почесал за кошкой. Следом, немного отстав, бежали другие пацаны, а рядом, суматошно лая, все те же две лохматые собаки. Как раз им-то, может, и не так нужна была эта кошка, просто они везде с пацанами.

Мать Вилипутика попыталась поймать сына, но он увернулся и скрылся за углом, куда побежала кошка.

— И скажи, чего они кошек так не любят? Говоришь им, хорошие кошечки, мышья они ловят, полезные, а все равно! — обратилась мать Рыбы и Вилипутика к стоящей рядом матери Мишки.

— А мой что, лучше, что ли? — отозвалась та. — Скорей бы в школу, что ли, шли...

— Да они и школу подожгут или взорвут... Бандиты! Не, мы такие не были... И тихие были все, и послушные. А день, бывало, что тебе целая жизнь... Утром встанешь пораньше, а вечером ложишься, будто целый год прошел... И всё — лето...

Мать Мишки слушала ее с интересом, вспоминая, видимо, и свое детство.

— Так то, Катя, до войны было... — объяснила она тихо.

Куры уже в третий раз забеспокоились — во двор въехали мотоциклы. За Зверем сидела, откинув голову, Томка. Зверь остановился. Томка медленно слезла с сиденья. Мотоциклы взревели и уехали.

Томка стоит посреди двора, широко расставив ноги, никого не видя. Пьяная. Она делает несколько неверных шагов в одну сторону, потом — в другую и идет, качаясь, к лавке. Садится. Долго смотрит, не двигаясь, на ноги, запрокидывает голову и кричит... страшно, как кричат только люди.

Линия эта старая, паровозы ходят по ней очень редко. Рельсы покрыты ржавчиной. Между пыльных шпал выбивается полынь. Внизу, параллельно линии, стоят деревянные телеграфные столбы. Вдалеке террикон и небольшой поселок, похожий на тот, в котором живут Серый и Борис. У столба, обняв его и прислонившись к шершавому дереву лицом, стоит одноногий мужчина. Он в белой рубашке с короткими рукавами и отложным воротником, в отглаженных широких брюках с манжетами. Одна штанина аккуратно заткнута за ремень.

Мужчина поднял голову, увидел Серого и Бориса, махнул им рукой и хрипло крикнул: — Эй, ребятки... идите сюда... Идите...

Серый и Борис переглянулись и спустились осторожно вниз. Вблизи они увидели, что мужчина совсем пьяный. На его большое, с тяжелыми веками лицо упали длинные гладкие волосы, которые должны быть зачесаны назад. Мужчина с трудом оторвал от столба руку и протянул ее для рукопожатия.

— Здравствуйте, ребятки, — сказал он хрипло, но с улыбкой и заискивающей ноткой в голосе.

— Здравствуйте, — сказал Борис и, поколебавшись чуть, протянул ладонь.

— Здорово, — сказал Серый спокойно.

Пьяного и одноногого можно было не бояться.

— Садитесь, ребятки, — предложил одноногий и показал рукой на сухую, твердую землю.

Серый и Борис продолжали стоять, и тогда мужчина решил сесть первым. Он отпустил столб, но не удержался, дернулся на одной ноге и, опрокинувшись на спину, тяжело упал, как всегда взрослые большие люди.

Серый и Борис быстро присели на корточки и, глядя в его неподвижное, с закрытыми глазами лицо, испуганно спрашивали, перебивая друг друга:

— Дядя, ты чего?.. Чего ты?.. Чего ты, дядь?..

Глаза мужчины медленно открылись. Они оказались светлыми и спокойными. В черных зрачках отражалось небо с кусками облаков и два мальчишеских лица.

— Ничего, — сказал мужчина неожиданно спокойно и трезво, а дальше вдруг опять пьяно: — Ничего со мной... Что теперь со мной может быть? Подмогните мне подняться, а, ребятки!

Серый и Борис взяли мужчину под руки и с трудом, напрягаясь, помогли сесть. Теперь мужчина сидел, вытянув единственную ногу, и вновь протянул руку для знакомства.

— Николаем меня зовут. Дядь Коля, значит...

— А меня — Борька.

— А тебя?

— Серый.

— А откуда вы, что-то я тут вас не видал ни разу... — сказал одноногий, вглядываясь в лица Серого и Бориса.

— Мы с «пятой-бис»... — ответил Серый.

— Так «пятая-бис» там, — удивился одноногий, — а здесь двенадцатая... Вы небось заблудились?

— Не, мы в «елки» идем... — объяснил Серый.

— В «елки»? Это ж далеко...

— У нас дело, — объяснил Серый.

— Дело — это хорошо, — кивнул одноногий понимающе. — А у меня... Серый, радость большая, — продолжал он и вдруг тихо засмеялся и замолат головой, — сказал тоже... радость большая... радость большая... хрен старый... радость большая... Сын у меня родился, понимаете?

— Понимаем, — кивнул Серый, — бабы беременные становятся, а потом детей родют.

— Правильно, — обрадованно воскликнул одноногий, но спохватился. — Э-э! Этого вам знать нельзя еще. Детей на базаре покупают... А у меня сын родился... Танька, жена моя, родила... — он счастливо и пьяно засмеялся, уронив голову на грудь. — Танюшка моя... сын... Андреем назову... Андрюха! Маленький он еще, — он показал руками, какой маленький у него сын, сведя расстояние между большими квадратными ладонями до нескольких сантиметров. — Ма-а-ленький. Но это ничего! Это он еще подрастет! И знаешь, кем он у меня будет? Не знаешь? Думаешь небось шахтером? — одноногий сжал ладонь в здоровенный жесткий кукиш. — Во! Во, скажу, видел?! Я в шахте наишачился и за себя, и за тебя. Не-ет, он у меня шахтером не будет, — продолжал он уже радостно. — Знаете, кем он у меня будет? Э-э! Не знаете. Он у меня будет... шо-

фером! Вот это дело! Я сам всю жизнь мечтал. Только не вышло ничего... А Андрюха мой сделает! Вот вы небось думаете, что ногу мне на войне отчихали? — он шлепнул ладонью по земле, по тому месту, где должен быть его вторая нога. — Нету... Все так думают. А я с войны целый пришел. Ранили, правда... в легкое... и контузия тоже... Но ноги-то целы были! — одноногий опять хлопнул ладонью по земле. — Это мне в шахте... В прошлом году... Привалило меня... Мужичина замолчал, сосредоточенно о чем-то думая, тяжело дыша. Серый и Борис сидели рядом, внимательно глядя в лицо одноногому. — Я ведь, — начал мужчина тихо, — повеситься уже хотел... И веревку взял, и сук себе в саду присмотрел. А Танька приходит и говорит: беременная я... Беременная, — повторил он совсем тихо. — Мы ведь до войны с Танькой восемь лет прожили. И после войны... Всё, думаю, Николай, кончилась твоя ниточка. А теперь ноги нет, а сын ест... Видно, надо было ногу отдать, — шепотом, как великую тайну, объявил одноногий. — Вот какое дело... Да если бы я знал, — почти закричал мужчина, — я б ее сам себе отгрыз! — и ударил изо всей силы кулаком по земле. — А Танька, — засмеялся он, — говорила, что это от шахты... Вот баба, скажет тоже, все ведь в шахте работают, а дети все равно рождаются. — Одноногий рассказал все, что, видно, нужно было ему сейчас рассказать. Помолчал. Прибавил тихо: — Вот так... — и заплакал.

Он не зарыдал и не закрыл лицо руками. Он, дергаясь всем телом, плакал. По большому мясистому лицу его из светлых глаз текли слезы. Серый и Борис встали, растерявшись, они видели много, но не видели еще плачущих мужиков.

— Дядь, не надо, дядь, — просили они.

Одноногий, дергая носом, поднял на ребят виноватые глаза.

— Извините, ребятки... первый раз... — сказал он, удивляясь самому себе, — ведь правда, первый раз... На войне мужики ревели, а я никак. И ранили когда, и ногу... а тут... простите, ребята, вот беда... — он шмыгнул носом, — я больше не буду... Подмогните мне, а? А то я не дойду, плохо еще на костылях хожу... Да и выпил... — закончил он совсем виновато и опустил глаза.

Борис сунул банку за пазуху, подобрал костыли. Они подсунули головы под мышки одноногому и тяжело, с натугой, подняли его. Пошли...

И уходят так медленно, осторожно, трудно — двое маленьких по бокам, с волочащимися костылями, а посередине большой, одноногий.

Ночь только пришла, звезды еще неяркие, луны нет, поэтому темнота густая и холод-

ная. Пространство между самодельными сарайчиками и сложенными — на дрова — бревнами освещено одинокой желтой лампочкой, висящей высоко на столбе. На это пространство из темноты с двух сторон выходят большие кирпичники. С другой — большие деревянные.

Из-за штабеля дров в щель между бревнами смотрят, затаившись, Серый и Борис.

Кирпичники и деревянные молча смотрели друг на друга. Наконец от кирпичников отделился самый здоровый, его еще ни разу не было с кирпичниками, и вышел на середину. Он по пояс голый — чтобы было лучше видно крепкое мускулистое тело, руки. Чтобы выглядел еще сильнее, он напружинил мышцы, сжав кулаки. Но если всмотреться в глаза, можно было понять, что и ему страшно.

— Ну, кто со мной выйдет один на один? Ну? — спрашивал он громко. — Испугались?! Полные штаны?! Трусы деревянные! Выходи! Враз челюсть сворочу! У кого глаз лишний — тоже выходи!

Деревянщики молчали, не ожидали они увидеть такого противника.

— Кто это, кто знает? — спросил тихо Мишка.

— Я знаю, — ответил Вадим. — Это Кузнец, он к одному пацану из деревни приехал. Он с Бараном у них дрался, с одного удара вырубил.

Витька отстранил Мишку и Вадима и вышел из темноты в круг света.

— Этот, что ль?! — закричал Кузнец, вгоня себя в кураж близкой и неминуемой драки. — Стропило это? Карболка эта? Тыфу!

Витька и правда выглядел перед Кузнецом щуплым, хилым даже.

Противники остановились метрах в двух друг от друга, сжав вытянутые руки в кулаки. Они сделали так два или три круга, пока наконец не решился Витькин противник. Он вздохнул и кинулся вперед, рассекая кулаком воздух, но Витька успел отскочить в сторону. Кузнец с ходу ударил во второй раз и вновь промахнулся. Но в третий раз кулак достал Витькино лицо. Голова его дернулась, он взмахнул руками и упал бы, если бы не наткнулся спиной на сложенные бревна. Противник налетел, чтобы добить, но Витька встретил его ударом ноги в живот. Кузнец согнулся, задыхаясь и хрипя. Витька стоял рядом, дожидаясь, когда противник сможет продолжить бой. Кузнец хрипел, согнувшись, и пятился к своим. Неожиданно он схватил поданный кем-то сзади солдатский ремень и, размахнувшись, ударил бляхой Витьку. Он целил в голову, но попал в плечо. Витька отскочил назад, схватил протянутый ему своими такой же ремень и одним движением захлестнул петлей на правой руке. Теперь они ходили кругами,

помахивая ремнями, и вновь Витькин противник, не выдержав, кинулся вперед, широко размахнувшись. Витька успел схватить левой рукой ремень противника, а правой — стал бить его бляхой по голове, по плечам. Кузнец закричал, привязанный своим ремнем к тому, кто его бил. И тогда остальные кирпичники выскочили из-за его спины, гремя цепями, размахивая ремнями. Вооруженные так же, выскочили деревянщики.

Стучали колья, гремели цепи, кто-то приглушенно кричал, подзадоривая себя, кто-то кричал от боли. Никто не услышал треска мотоциклов. Они въехали неожиданно.

— Атас! — все кинулись врассыпную.

Посредине, в ярком луче фары остался стоять Витька. На первом мотоцикле сидел Зверь. На втором — Кот и Дохлый.

— Выключи фару, — сказал Витька тихо и шмыгнул разбитым в кровь носом.

Зверь выключил фару. Зажег... Выключил... Зажег... Витька то появлялся из темноты, то пропадал. Выключил... Зажег...

— Выключи, гад! — закричал Витька и, когда свет зажегся снова, со всего маху ударил бляхой ремня по фаре.

Стало сразу темно и тихо, но тут же другую фару зажег Кот. Из-за его спины выскочил Дохлый и кинулся было к Витьке, но его остановил Зверь.

— Стой, — приказал он и повторил тихо: — Стой...

Дохлый остановился. Все ждали, что скажет Зверь.

— Ты смелый, — начал Зверь так же тихо, — смелый... Никого не боишься... Может, думаешь, за тебя Скрипкин заступится или Томка твоя. Да я всех вас поубиваю! А тебя первого! — закричал он. — Если ты... на колени сейчас не встанешь и башмак мне не поцелуешь. Ну... — Зверь вытянул ногу в большом черном ботинке и начал расстегивать кожанку. Сначала на свет появилось дуло с большой мушкой, а потом и весь немецкий автомат — «шмайсер».

Серый и Борис загнутоизированно смотрели из-за дров на оружие.

Зверь вытащил обойму и, наставив дуло на Витьку, начал вставлять обойму в гнездо.

Неожиданно быстро Витька выхватил из-под рубахи свой поджигной пистолет, спичечный коробок, направил пистолет в ничего еще не понимающего Зверя и чиркнул коробком по приготовленной «подкормке». Сера, зашипев, вспыхнула — стало ярче чем днем. Все увидели перекошенное белое лицо Зверя и его руки, лихорадочно вставляющие в автомат обойму. Оглушительный выстрел ослепил всех на мгновение, но еще через мгновение все увидели... Зверь по-прежнему сидел на мотоцикле, а Витька стоял, согнувшись в поясе, прижав к животу черную кровоточащую руку, его обожженное, без

бровей и ресниц лицо сморщилось от боли и ненависти к себе. Он смотрел невидящими глазами на Зверя и шептал:

— Разорвало... разорвало...

Щелчок — Зверь вставил обойму и щелкнул затвором. Витька, не отрывая руки от живота, распрямился, подставляя грудь выстрелу. Зверь прищурился, прицеливаясь. Все вздрогнули от внезапного крика Серого.

— Не стреляй! — кричит он и, выйдя из-за дров, встает перед Витькой, заслоняя его. И смотрит на Зверя, прижав руки к туловищу, вытянув тонкую шею. По ней прокатывается мальчишеский кадык. Дуло автомата медленно опускается. Ударом ноги Зверь заводит мотоцикл, разворачивается и уезжает. За ним, сорвавшись с места, исчезает и другой мотоцикл.

Большие и пацаны стоят у подъезда дома. Все невеселы. Из открытого окна доносятся басовитые вопли Рыбы и шлепки ремня по голому телу.

— А ты стой! Куда? Вернись! — кричала мать Рыбы и Вилипутика. — Ну, ты еще вернешься, жрать запросишь! Я тебя накормлю, я тебя накормлю, паразит такой!

По лестнице с грохотом скатился и выскочил на улицу Вилипутик, на ходу подтягивая штаны. Лицо его было по-прежнему невозмутимо.

— Брата лупцуют, — объяснил он, хотя его никто и не спрашивал.

— Господи, свалились на мою голову! Полосатики и есть полосатики! Кормишь, поишь их, одеваешь, а они мать родную скоро зарежут, — прорывались причитания матери сквозь сочные удары ремня.

Следом под крики матери скатился Рыба, подтягивая штаны и морщась, слегка приплясывая от боли. Под глазом у него был здоровенный синяк, а верхняя разбитая губа до смешного толста. Ему надо было на ком-то сорвать злость, и он налетел на Мишку.

— Чего же ты?! Чего же ты не прикрывал? Ты не видел, как он сзади подбежал, ты ж с ним, с Рыжим дрался!

— Я? Я и с Рыжим дрался, и с Тарасом. Это только ты бегал и кричал!

— Я?

— Это вы получили, потому что нам ничего не сказали, — прервал их Вилипутик и продолжил назидательно: — Нельзя маленьких обманывать... — закончить он не успел, так как получил звонкую оплеуху от брата.

— Чего ты дерешься, он правду сказал, — вступился за Вилипутика Петька.

— И ты захотел?! — заорал Рыба, подбегая к нему.

— Захотел! — закричал Петька в ответ, показывая, что он ничего не боится.

— Кончайте вы,— остановил их тихо Витька. Он появился совсем неожиданно. Рука его была замотана тряпкой, лицо обожжено, в ссадинах.

Все замолчали.

Взгляд Витьки встретился со взглядом Серого.

— Зачем ты вышел?..— тихо спросил Витька.

Серый опустил глаза.

— Зачем ты вышел? Зачем ты вышел? — повторял Витька, идя на Серого, и вдруг схватил его за воротник рубахи замотанной в тряпку рукой и, повторяя срывающимся голосом: «Зачем ты вышел? Зачем ты вышел?!», затряс его. Голова Серого запрокидывалась назад и падала вперед, как на тряпичной жалкой кукле. Витька оттолкнул его и кинулся в подъезд.

Вновь наступила тишина.

К дому быстрым, даже торопливым шагом подошел солдат, высокий, красивый, в ладно сидящей гимнастерке, с двумя орденами Красной Звезды на груди. На плече — вещмешок. Заметив детей, солдат пошел медленнее и остановился в нескольких шагах, стал растерянно всматриваться в лица. Похоже, солдат искал кого-то среди них, но не мог найти. Его глаза беспомощно скользили по лицам.

— Юра? — спросил он тихо.

Юрик опустил глаза и спрятался за спину Рыбы.

Первым все понял Вилипутик.

— Вы — дядь Ваня Платонов, Юриков отец?

Солдат кивнул странно, по-птичь, по шее катнулся кадык.

— Не пугайтесь, живой он. Вот он стоит.— Вилипутик указал пальцем на Юрика, который стоял за спиной Рыбы.

Солдат удивленно смотрел на Рыбу.

— Да не я это,— с досадой сказал Рыба и отошел в сторону.— Вот он, ваш Юрик.

— Юра,— говорит солдат с каким-то горловым клекотом, становится перед Юриком на колени, зажимает его лицо ладонями и часто повторяет: — Сынок... сынок... сынок...— Он подхватывает Юрика на руки, прижимает к себе и говорит радостно: — Ну вот, я и увидел тебя... И ты меня увидел... Теперь будем жить вместе!

— А мать на работе,— отвечает, не глядя на отца, Юрик.

На шахтах в начале всякой дороги и в конце — терриконы, горы шахтерского пота. Серый и Борис быстро взбираются на крутую гору. Порода под ногами местами размыта дождями до глубоких поперечных трещин. И чем выше, тем тяжелее идти и дышать кислым воздухом перегорающей внутри се-

бя породы, но они идут быстрее и быстрее, а потом начинают бежать, чтобы скорее достичь вершины. Под рубахой Бориса скачет вверх-вниз банка.

На вершине они замирают, глотая воздух, подставляя себя вольно гуляющему здесь ветру.

— Во-он наша шахта, во-он пятая-бис,— Серый показывал на почти невидный в дымке террикон — так далеко ушли они от дома.

Борис поднял голову и, шурясь, посмотрел на слепящее, набравшее свою полную силу солнце. Он смотрел неотрывно и уже не шурился, видя его золотой диск, и лицо Бориса вдруг исказилось обидой и ненавистью.

— Сожги!!! — закричал он вдруг вверх.— Сожги десятника!! Сожги мамкиного десятника!

...Они сидят тихо на терриконе и смотрят вниз. Они видят всю землю. Они видят поле с созревшим, наполнину скошенным хлебом, видят пестрые лоскуты картофельных огородов, видят маленькие сады, видят шахты с такими же терриконами, видят фабрики и заводику, видят дороги... И везде люди. Сверху их можно сравнить с муравьями. Их можно сравнить с муравьями и потому, что все они — работают. На полях они убирают хлеб, на огородах копают картошку, в садах собирают яблоки. Крутятся шахтные колеса, опрокидываются вагонетки с породой на вершинах терриконов, а из ворот шахт выходят паровозы, груженные углем, дымят фабричные трубы, и на заводах рабочие таскают какие-то тюки, а на стройках носилки с раствором и кирпичи — люди строят дома, чтобы в них жить, и живут в них, чтобы работать. По узким дорогам бегут редкие машины, а где-то далеко, кажется, пропылили два мотоцикла... По дороге мимо деревянных домов идут люди, много людей. Над головами плывет гроб. Впереди — венки, на большой красной подушке три или четыре медальки.

...Серый и Борис видят всех и видят себя среди всех. Из деревянных домов выходят люди, больше женщины да пацаны. Они стоят и смотрят на похороны. Наверное, жарко — одеты и женщины и пацаны легко. Но сзади, за гробом, идут люди в темносиних, длинных, ниже колен, толстых шинелях, застегнутых на все пуговицы. Никто из милиционеров не плачет. В их опущенных в землю глазах — скорбь.

Трубы оркестрантов помнят. Они играют, дуют в трубы, надувая щеки, барабаник бьет в большой барабан на животе, но будто кто выключил звук. Тихо.

У дома две женщины со скорбными лицами тихо разговаривают.

— Он, говорят, наган с собой никогда не брал, говорил, на войне настрелялся. Он кирпичи в портфеле носил. Так его, го-

ворят, теми кирпичами и убили. Изуродовали так, что гроб не разрешили открыть.

— Господи, войну прожили, а такого зверства не видели. Чего еще людям надо?..

— Ждали-ждали мира...

Процессия останавливается. Прямо посредине дороги ставят две табуретки, на них опускают гроб.

Все стоят полукругом. Милиционеры не плачут. Они смотрят на гроб. А один, молодой, поднял глаза к небу, будто хочет там увидеть Скрипкина.

По лаве идут, тяжело ступая, несколько шахтеров. Они подходят к клетке, помогают втащить в нее какие-то трубы и сами устраиваются в клетке. Она с воем ползет вверх. Наверху сначала вытаскивают трубы, а потом выходят чумазые до черноты шахтеры с не загашенными еще лампами «вольф». Ночная смена.

— Здравствуй, Федь,— сказала мать Бориса одному из них, большому, сутулому.

— А, здоров, Ань,— сказал он, вскинувшись от лежащей на плечах усталости, увидев ее, и, сутулясь, ушел.

— Чего задержались, ночники? — крикнул им кто-то в спину.

— А у них там девки в закутке спрятанные,— хохотнул другой.

— И гармония! — добавил первый.

Шахтеры засмеялись.

Федька вместе с остальными шахтерами, работавшими в ночную смену, пошел через шахтный двор к конторе, где они будут сдавать лампы и противогазы, пить газировку, мыться в бане.

Крутится, крутится шахтное колесо...

...Федька вышел из ворот шахты вместе со всеми, но как-то сразу отделился от других и пошел стороной. Он в старом кургузом пиджачке — из рукавов торчат длинные руки и большие ладони, в выцветшей кепке с пуговкой. Он в коротких брюках, на ногах стоптанные ботинки. Идет — сутулится.

Он идет по тропинке через поле, по которой шли недавно шахтеры, работающие в первую смену. Только они шли к шахте, а он — от шахты. На двери здешней столовой — большой замок, и рядом с ней пусто, уныло. Федька только мельком, по привычке взглянул на нее и, опустив голову, пошел дальше.

Он открыл дверь своей квартиры, снял ботинки, повесил кепку на гвоздик, вбитый в стене. Жена стояла в маленькой кухне у большой плиты, варила суп.

— Чего так поздно? Картошка уже остыла,— сказала она, не глядя на него.

Он положил мокрый сверток на одну из табуреток, сел за самодельный некрашенный стол. На столе стояла черная сковорода, накрытая железной миской, рядом — боль-

шой кусок хлеба. Он поддел край миски ножом, снял ее. От упревшей жареной картошки поднялся пар. Он взял ложку и стал есть.

— Чего так поздно-то? — повторила жена свой вопрос.

— Работали,— спокойно, прожевав сперва, ответил он.

— Работали-работали,— проворчала жена.— Нет, чтобы по-хорошему поговорить, как люди.

Он продолжал есть.

— У нас вчера еще одна курица сдохла,— пожаловалась жена.— Прихожу вечером кормить, а она — лежит, околела уже. А у Нинки Козловой две сдохло. Говорят, чума это куриная... А если травят?.. А чего?!

Он продолжал есть.

— Нинка говорит — это точно отравили... Этак ведь к зиме ни одной не останется... Может, рубить их начать, а, Федь?..

Он продолжал есть.

— Чего молчишь-то?.. Вот, господи, молчун. Еще мать-покойница говорила: хуже нет, когда молчун, лучше, говорит, пусть поет...

А он продолжал есть и молчать.

— Надо бы дрова сегодня начать пилить. Козловы вон уже все попилили, а мы еще не начинали. Осень скоро... Кухню топить уже нечем. Угля тоже мало привезли на зиму... Боюсь, не хватит. Может, еще машину привезешь? А?.. Вот молчун-то, господи, достался...

Перед ним стояла пустая сковорода. Он встал, подошел к стоящему на самодельной некрашенной лавочке ведру, поднял крышку, зачерпнул полную кружку воды и, медленно выпив, вышел из кухни.

— Ты, если ложиться будешь, раздевайся, а то бухнешься так на койку... — не останавливаясь, говорила ему вслед жена.

Он вошел в комнату. Здесь стояли стол, две кровати. На одной из них «валетом» спали Вилипутик и Рыба. Он подошел к кровати, снял рубашку, брюки и в одних трусах и майке лег поверх лоскутного одеяла на спину. Лежал, глядя неподвижно в потолок с облупившейся побелкой. Вдохнул, закрыл глаза и заснул.

Рыба только проснулся, в трусах, босиком, прошел на кухню, взял кружку, попил из ведра воды, но, когда ставил кружку обратно, она выскользнула из рук и упала, громыхнув по ведру.

— Черт, гремишь! Отец спит! — заругалась на него мать и замахнулась ложкой, но не ударила.— Иди Генку буди, спит как хомяк.

Рыба пошел в комнату, потряс брата за плечо.

— Чего трясешь-то, не груша,— запротестовал Вилипутик, разлепляя веки.

— Не ори! — зашептал Рыба и замахнулся, но не ударил. — Отец спит.

Отец лежит все так же на спине, голова запрокинулась, он долго и глубоко втягивает воздух открытым ртом, внутри что-то хрипит, не дает вдохнуть и, так и не вдохнув полной грудью, бесшумно выдыхает и носом, и ртом. Спит.

Серый и Борис стоят перед черной сплошной стеной леса, перед тем, что в этих местах называют «елками».

Это была густая лесополоса, прикрывающая железную дорогу, большую, настоящую двухколейку. Дорога старая, давняя, и лесополоса посажена неведомо когда, и за многие десятилетия своей жизни она разрослась до размеров небольшого леса в ширину, а в длину ей, верно, вообще нет конца. Среди подлеска и колючего кустарника часто торчали высокие черные ели, с которых, видимо, и начиналась когда-то посадка и за которые она была названа «елками».

Сзади лежало скошеное поле, можно было вернуться. Серый покосился на Бориса.

— Не трусь, — сказал он зло и прибавил: — Пошли...

Они вошли в посадку молча, осторожно отодвигая от лица колючие ветки кустарника и не замечая от страха дремучей, жгущейся крапивы.

Кроны подлеска и лапы елей сомкнулись над головами, и сразу сделалось темно. Впереди, вдалеке что-то гудело и погромыхивало. Идти там, где росли ели, было легче, потому что они не пускали в близкие соседи никакие другие деревья, а тем более кусты.

Серый и Борис прибавили шагу и незаметно для себя, не глядя друг на друга, перешли на бег. Шум и гул впереди приближался и нарастал.

Сбоку от Бориса что-то вдруг треснуло и зашумело.

— А-а-а! — закричал Борис в ужасе и кинулся вперед, обгоняя Серого.

— Ты чего? — сумел спросить Серый, но ужас схватил и его, и он, взвывая, бросился вслед за Борисом.

Они летели, не видя друг друга, а только слыша по шуму листвы, по треску кустарников, они уже не выбирали дороги и не уклонялись от колючек, а царапали лица и руки и рвали рубахи.

А шум и гул впереди нарастал и заполнил собою мир, но шума они не боялись, а неслись ему навстречу, как к спасению.

Солнце, свет, тепло возникли мгновенно, как только они вырвались на узкую полоску высокой нескошенной травы между посадкой и линией, и тотчас же налетел, несясь по рельсам, поезд: он был не таким, какие ползали у них от шахты к шахте, он был

стремительным, длинным, огромным, но легким, с алой остроконечной звездой на тендере.

— Э-э-э-эй! — закричали Серый и Борис, замахав руками и запрыгав от счастья и восторга.

Они успели даже увидеть машиниста, который выглядывал из окна, — усатого и носатого, в новой железнодорожной фуражке с опущенным, чтоб не слетела от ветра, ремешком, а когда пошли вагоны, они успевали увидеть в каждом из окон разных людей в их непонятной и счастливой жизни: они смотрели в окна, курили, пили чай, разговаривали, смеялись, спали на полках, разбросав во сне руки, а в последнем вагоне, в последнем окне, открыв его и высунувшись чуть не до пояса, торчал мордатый пацан и, сжимая рукой алый флажок, держал его, развевающийся, трепещущий, на ветру. Пацан, конечно, увидел Серого и Бориса, но сразу отвернулся, сделал вид, что не замечает, а смотрел только, задрав высоко голову, на свой бьющийся на ветру флажок.

Поезд уходит, покачиваясь и затихая.

Мать Бориса сидит за столом и строчит на швейной машинке. Когда машинка замолкает, в комнату через открытую форточку врывается звук гармони. Борис сидит у окна и с тоской смотрит на улицу.

Днем женщины и дети убирали двор — подметали землю, белили корявые стволы тополей, и теперь, вечером, — он чистый и даже нарядный. Через весь двор песком написано большими неуклюжими буквами: «ДЕНЬ ШАХТЕРА!!!».

Самый главный праздник. Под тополем составлено несколько столов, на которых выпивка и закуска. Все уже хорошо выпили и хорошо закусили, а сейчас вышли из-за стола и плясали с частушками.

Гармонист, длинный и смешной, положил голову на меха, будто спал, и, счастливо улыбаясь во сне, играл. Рядом с ним сидел, терпеливо улыбаясь, его сын, лет десяти, похожий на отца как две капли. Между пляшущими носились, балуясь, пацаны.

Борис смотрел в окно и сделал еще одну попытку.

— Мам, ну можно я пойду погуляю?

Мать молчала, украдкой глянув в окно. Какая-то смеющаяся женщина тянула в круг Федьку, а он неуклюже упирался.

— Ну мам?

— Сиди, — отрезала мать.

Дверь без стука распахнулась, вбежала красивая и веселая тетка Ира.

— Ань! — крикнула она весело, призывно махнула рукой и притопнула ногой, продолжая плясать. — Ну-ка, пошли!

— Нет, Ир, не хочется, что-то желудок у меня болит...

— Ладно-ладно, завирай, желудок у нее болит! Когда болел — не сидела так небось! Небось машинку у Нинки нарочно взяла, чтобы не слышно было, как гармонь играет! — и засмеялась.

Мать растерялась, заморгала. Теть Ира подбежала и потащила мать за руку из-за стола. Сзади кинулся помогать Борис, подталкивая мать в спину.

— Мам, ну пойдем, ну мам...

— Ой, брось, Ир, не пойду я, — отказывалась мать и прибавила: — Да и не одета я...

— Ну так одевайся, какого черта стоишь! — приказала тетка Ира и снова притопнула ногой.

...Борис уже носился вместе с остальными пацанами по двору, когда вышла одетая в красивое шелковое платье мать. Сзади ее шуливо подталкивала тетя Ира. Мать присела на край лавки. Пляшущие женщины, смеясь, что-то кричали ей.

Музыка прекратилась. Все остановились, ожидая, что же будет дальше. Сын гармониста не вытерпел, потрогал отца за плечо и попросил гармонь. Приладил ее на коленях и заиграл — закрыв глаза, положив голову на меха, как отец. И все закружились в вальсе.

Из подъезда медленно, явно волнуясь, выходят трое. Впереди Серый, а за ним его мать под руку с высоким сугуловатым мужчиной. Танцующие останавливаются. Серый подводит их ко всем, что-то говорит и оставляет. И мать Серого и тот мужчина начинают танцевать вместе со всеми.

Серый и Борис ползают на четвереньках по полю, ищут в траве что-то.

И страшные «елки», и линия остались позади, а здесь было поле, бескрайнее, чуть холмистое и овражистое местами и потому, наверное, не засеянное, не засеваемое.

В траве, на взгорках редкими каплями крови аела земляника. Борис ползал на четвереньках, двигая перед собой банку, оглянулся из-за плеча на Серого и тайком кинул две ягоды в рот.

— Борь, иди сюда! — позвал Серый.

Борис подбежал к нему с готовностью.

Серый сидел в траве, одной ладонью прикрывая макушку от зависшего в зените солнца, в другой держа горсть ягод.

— Подставляй...

Борис подставил банку, и Серый высыпал в нее ягоды. Они только-только прикрывали дно.

— Не ешь? — строго и подозрительно глядя, спросил Серый.

— Не, — Борис отвернулся.

— Гляди, знаю тебя... Лучше рядом соби-

рай или банку отдай...

Они ползают на четвереньках по полю и собирают землянику.

Темнеет. Черный террикон возвышается над поселком. Не крутится шахтное колесо.

Некоторые ушли уже домой. Веселье несколько утихло. И в этой тишине стали особенно слышны крики из Витькиного окна. Кричал Витькин отец — дядя Сережа.

— Не ходи, не ходи, слышишь! Не ходи, тебе говорю!

Хлопнула дверь и из подъезда выскочила Томка с небольшим белым узелком в руке. Дверь снова хлопнула, и во двор выскочил дядя Сережа — маленький плешивый мужичок, а за ним его жена Клавка. Она в голос, по-дурному, редела.

— Иди домой, иди домой, слышишь! — кричал дядя Сережа.

Дочь смотрела на него вызывающе, издевательски выставив одну ногу вперед и подперев рукой бок.

— Я сказала — поеду, значит — поеду.

Дядя Сережа замолчал. Видно было, что ему очень хотелось стукнуть дочь, но никак он не мог решиться. Сзади тянула за рукав Клавка, но дядя Сережа двинул ее локтем, и она, взвизгнув, отбежала в сторону.

Во двор въехали на мотоциклах Зверь, Кот и Дохлый. Зверь остановил мотоцикл между Томкой и дядей Сережей.

— Садись, — бросил он Томке.

Но она почему-то не двигалась.

— Не надо, парень, — обратился дядя Сережа к Зверю. — У меня против тебя зла нет. Случилось — ладно. Твое дело мужицкое, а ее бабье... Не хочешь жениться — не надо. Никто про это не говорит. Но не трогайте вы... дите ведь будет... Она ведь глупая еще, ничего не понимает. И себя изуродует и дитю жизни не даст... а родит когда — поймет... Может, и ты тогда поймешь... Дите не трогайте...

Томка попыталась сесть на мотоцикл, но дядя Сережа потянул ее за руку к себе.

— Стой, не ходи!

— Зверь! — крикнула зло Томка. — Дай ему!

Зверь несильно толкнул дядю Сережу в грудь. Но тот вдруг взмахнул руками и, смешно пятась назад, споткнулся обо что-то и упал на спину.

— Садись, — приказал Зверь Томке.

Но она опять почему-то стояла, смотрела на лежащего отца.

Дядя Сережа лежал несколько секунд так, с открытыми глазами, потом поднялся и медленно пошел на Зверя.

— Сынок... — говорил он тихо. — Ты... меня... А я... я ж воевал за тебя... За нашу Со-

ветскую Родину, за товарища Сталина, за детей наших... А ты... меня?..

Он медленно размахнулся, чтобы ударить в ответ, но Зверь опередил его резким ударом в лицо. Дядя Сережа не упал, а с поднятым кулаком, шеvelя разбитыми губами, пошел на Зверя. После второго удара дядя Сережа упал и не двигался. Клавка визжала, показывая на лежащего мужа пальцем.

Все движения у стола прекратились. Еще никто ничего не понимал. Первым к Зверю пошел гармонист. Одной рукой он держал под мышкой гармонь, а вторую протянул ладонью кверху, словно собирался у него что просить. Но навстречу ему высочил Дохлый и ударил с ходу в лицо. Гармонист откинул длинное туловище назад, как будто удивился чему, но второй удар нанес Кот, и гармонист упал. Они стали бить его ногами. Гармонист не шевелился, молчал, только гармонь вскрикивала. Двое мужчин побежали на помощь, но и их сбили и теперь топтали ногами.

Какая-то женщина согнулась, держась за голову, и тянула страшно, как на похоронах:

— Ой-ёй-ёй-ёй!

— В милицию, в милицию звоните! — кричала еще какая-то женщина.

— Ивана зовите! — кричала другая.

Кто-то сильно застучал в дверь квартиры, так что было слышно даже здесь, на улице.

Из подъезда выскочил Иван, босой, голый, в одних длинных трусах, смешной и страшный.

— Где они?! Где они?! — закричал он, озираясь, широко расставив ноги. За ним выскочила жена — маленькая, тоненькая, как девочка. Она прижимала к груди сорочку, прикрывая свое совсем голое тело, цепляясь за его сильную руку, висла на ней и повторяла быстро одно и то же:

— Ванечка, не ходи! Ванечка, не ходи! Ванечка, не ходи!

Все произошло очень быстро. Иван подбежал с отведенным назад кулаком и ударил стоящего ближе всех Дохлого. Тот, как кукла, отлетел на несколько метров. Кот размахнулся, хотел ударить, но упал, раскинув руки, снесенный страшным ударом Ивана. Зверь пытался завести мотоцикл. Иван схватил его одной рукой за кожанку, другой изо всей силы ударил в лицо. Зверь упал вместе с мотоциклом.

Стало тихо. На земле сидела жена Ивана, трясущимися руками прижимая сорочку к лицу, не сводя глаз со своего мужа. Во двор, погромыхивая, въехала черная милицейская машина, из нее выскочили двое милиционеров.

Один подбегает к Зверю, берет его пятерней за волосы и отрывает лицо от земли.

— Всё, Зверев, всё...

Кирпичники и деревянники молча, без крика, сходятся на насыпи. С силой швыряют камни. Лица и тех и других как никогда решительны. Это самый главный бой, самый последний, самый страшный.

Кирпичники первыми достали поджигные пистолеты и стали стрелять. Звуков выстрелов не слышно, лишь над вытянутыми руками поднимаются сизые дымки. Деревянники отбежали, достали свои поджигные и стали стрелять в ответ.

— Сейчас, — пообещал Петька, — сейчас, сейчас. — И кинулся назад — к сараям.

Он открыл дверь своего сарая, стукнувшись об колоду коленом, и, взвывая и рассыпав высокую, сложенную на зиму поленицу дров, достал со дна ее что-то круглое, завернутое в тряпку. Он развернул тряпку и отбросил.

В руке его была круглая граната «лимонка»... Он спрятал ее под выпущенной рубахой и, держа там, побежал к насыпи, сильно припадая на ушибленную ногу.

Кирпичники и деревянники уже сходились на линии. Петька опередил своих, кинулся к кирпичникам и, выхватив гранату из-под рубахи, выдернул чеку. Оставалось только отпустить скобу и бросить гранату.

— Бибики!!! — закричал вдруг Колька. Все остановились, повернули головы в его сторону.

— Би-би-и-и!..

Он совсем рядом, полубежит, замедляя у стрелки ход.

— Чух-чух-чух-чи-ш-ш, — Бибика остановился, издавая паровозные звуки.

Убедившись, что стрелка переведена, он дал задний ход, как бы для разгона, дернулся, как состав, резко затормозив, и пошел вперед, набирая скорость.

Сзади, совсем неподалеку, идет настоящий паровоз, пуская пар, но Бибика его не замечает. Он бежит мимо замерших кирпичников и деревянников, убыстряя ход.

— Чух-чух-чух!!! — И оставляет их позади.

Они стоят, глядя ему в спину, и вдруг срываются с места, бегут за ним. Они быстро догоняют его и бегут с двух сторон рядом. Время от времени то один, то другой выскакивают вперед и бегут так, повернув голову, смотрят внимательно на его ноги в калошах, подвязанных веревочками, и галфе, на позвякивающие на груди медали и значки, смотря в его усталое от непрерывной дороги лицо с маленькими, внимательно глядящими вперед счастливыми глазами.

Сзади, буквально в нескольких метрах, тянется паровоз, гудит, пускает пар, а из окна высунулся машинист и, размахивая кулаком, разевает рот — матерится. Но никто не слышит ни паровоза, ни машиниста, а слышат только частое громкое дыхание Бибики.

И бегут, бегут...

Банка почти наполнена земляникой. Серый и Борис сидят в траве, смотрят на банку и едят хлеб, взятый из дома бесконечно далеким сегодняшним утром. Хлеб подсох на жаре, царапает язык и обдирает горло, они давятся, кадыки бегают по худым шеям, но съедают хлеб быстро и слизывают с ладоней колючие мелкие крошки.

— Попить бы,— пожаловался Борис.

Серый нахмурился, повернулся, спросил:

— А ты знаешь, что такое тэка? Тэ и ка...

— Знаю,— кивнул Борис,— это значит: торпедный катер... Я в книжке про моряков читал...

Серый опрокинулся на спину на теплую землю, в живую щекочущую траву.

— Борь,— спросил он снова,— а твоей матери сколько лет, знаешь?

— Знаю,— Борис лег на спину рядом.—

Тридцать два...

— Старая... Моя еще старше — ей тридцать три...

— Старая...— согласился Борис и спросил: — А ты завтра со мной пойдешь сюда?

— Пойду... Все двадцать пять дней ходить будем. Только бы земляника не сошла.

— Не сойдет.

Серый помолчал.

— Закурить бы...— вздохнул громко.—

До темноты бы вернуться... Куры некормленые... Мать убьет.

— Ага...

Вверху вольно, радостно и торжественно плыли на своем небесном параде облака. Где-то за облаками гудел самолетик — маленький черный крестик, как букашка, он полз по небесной тверди.

— Самолет,— сказал тихо Борис.

— Чего? — не расслышал Серый.

— Самолет,— повторил Борис громче.

— Ага...

Самолет остановился прямо над ними, застыл, и от него отделилась маленькая черная точка. Точка стала расти, приближаясь, заблестела и завывала. Свист и вой заполнили поле, темнеющие вдали елки и весь белый свет; и все зашаталось здесь, зашумело, прижалось к земле, не желая этой встречи. Но она уже настигла землю, и земля в смертельном страхе вздрогнула и вздыбилась, защищая себя. А она все рвала черную плоть, разбрасывая живые теплые куски, сиюсь добраться до самого земного сердца...

Тихо... Серый и Борис лежат на самом краю огромной и страшной воронки. Края ее уже заживают, округляясь на разрыве, сглаживаясь, залитые дождями и ветром, затягиваемые милосердной, терпеливой травой, но глубина, нутро земли чернеет мертвой плотью.

Тихо... Серый лежит на спине и улыбается во сне. Рядом на боку лежит Борис, положив руку на плечо друга.

1976 г.





Андраш
КОВАЧ

ХОЗЯИН КОНЕЗАВОДА

(A MÉNESGAZDA)

ЭПОХА 50-х И ДРУГИЕ «ОПАСНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ

Поднявшись в мае 1986 года на трибуну Кремлевского дворца, чтобы передать участникам V съезда советских кинематографистов привет Союза работников кино и телевидения Венгрии, его тогдашний глава, известный режиссер Андраш Ковач сказал: «Если бы смонтировать кадры, отснятые сейчас здесь, на вашем съезде, с одним из заседаний Венгерского Союза кинематографистов, то только место действия и язык позволили бы различить оба мероприятия. Поэтому я чувствую себя как дома».

Он тогда не договорил: «как дома» Ковач чувствует себя на любой бурной дискуссии. И всю свою кинематографическую жизнь он их сам устраивает. Бросается очертя голову с убежденностью в какую-нибудь «опасную» проблему (выражение из лексики венгерской критики) и вызывает на себя огонь. Так было в свое время с его документальной лентой «Трудные люди» и с производственно-публицистическим, даже политическим игровым фильмом «Стены», поставившими вопросы, которые потом попыталась в Венгрии решить хозяйственно-экономическая реформа 1968 года. Так было с «Холодными днями», этим, можно ска-

зать, национальным покаянием, — картиной о недавнем прошлом, о конкретном эпизоде второй мировой войны, в котором венгерской армии случилось сыграть постыдную роль. При этом Ковачу мало вступать в принципиальную полемику только фильмами, он всегда искал непосредственного диалога с оппонентами — ездил с фильмами по стране, затевал диспуты в печати. Его последняя по времени, 1987 года, игровая картина «Где-то в Венгрии» (второе название — «Арьергардный бой») тоже вызвала в стране дискуссию, так как Ковач в ней раскрыл — нам ли не оценить это сегодня! — механизмы политической борьбы в ситуации выборов в Народное собрание.

Надо признать, все венгерское кино ведет себя, как Андраш Ковач. Теперь уже кажется, что не было в его истории периода, когда оно обходило «опасные» проблемы. Во всяком случае, еще в 60-е годы, когда к поколению Золтана Фабри, Кароя Макка, Миклоша Янчо, Ференца Мариашши, Андраша Ковача и других киномастеров послевоенного призыва присоединилось поколение Иштвана Сабо, Ференца Коши, Иштвана Гаала (не путать с писателем Иштваном Галлом), венгерское кино тем и привлекло мир, что с постоянным упорством подступа-

Сценарий написан по одноименному роману Иштвана Гаала.

лось, часто опираясь на отечественную литературу, к самым трудным, самым большим проблемам национальной истории и современности, разрушало мифы и иллюзии, сверяло идею социализма с практикой, активно формировало общественное сознание.

Та счастливая эпоха венгерского кино (кстати, тогда же заглянувшая и на наши экраны — такими, например, ошеломившими нас фильмами, как «Без надежды», «Холодные дни», «Двадцать часов», «Отец») стала уже историей. Остались позади и 70-е годы, унаследовавшие от 60-х стремление к исторической правде, какой бы «неудобной» она ни была, и к доскональному бескомпромиссному анализу. В это время пришла и с разной полнотой высказалась следующая режиссерская генерация, которую украсили такие имена, как Золтан Хусарик (рано ушедший из жизни киноживописец и кинопоэт, создатель знаменитого «Синдбада»), Марта Месарош, Пал Габор, Пал Шандор, Ливия Дярматти, Янош Рожа, Иштван Дардаи... Открытие второго, а точнее сказать — третьего дыхания у венгерского кино пришлось на рубеж 70—80-х годов, когда перед обществом, а значит и перед кинематографом, встали новые вопросы, над которыми Венгрия продолжает биться сегодня.

Может быть, слова Андраша Ковача, процитированные в начале, всего лишь «дипломатическая» шутка, которой он расположил советских слушателей? Нет, не шутка. Основания для тревоги, для споров до хрипоты у венгерских кинематографистов есть. И первое основание — исключительно трудная производственно-экономическая ситуация, в какой оказался ныне, вместе со страной, венгерский кинематограф. Вопрос идет о том, выживет ли он в нынешних условиях. В Венгрии предпринимаются разнообразные реорганизационные акции — в системе киностудий и управления ими, в системе кинопроката, в отношениях кино и телевидения. Положение, однако, остается тревожным.

Тревожит еще определенная растерянность венгерского киноискусства перед лицом сегодняшней венгерской общественно-политической и духовной реальности. Как ему в ней себя вести, как на нее реагировать? Догонять ли средства массовой информации, которые сегодня в Венгрии идут семимильными шагами по пути гласности, или искать свой путь, уточнять свои обязанности?.. Общественная ситуация при этом меняется стремительно, и времени на передышку, на раздумье у венгерского кино нет.

Состояние растерянности сказывается. Еще вчера на венгерское кино сыпались

золотым дождем призы авторитетных международных фестивалей. Апофеозом этих триумфов в начале 80-х годов стало привезенное на родину Иштваном Сабо, постановщиком фильма «Мефистофель», целое собрание победных зарубежных трофеев, в их числе — американский «Оскар». Не то чтобы венгерские фильмы в последующие годы, соревнуясь на зарубежных фестивальных экранах, не добивались успехов. Добивались, и заслуженно. Сужу хотя бы по наградам «Полковника Редля», следующей после «Мефистофеля» картины Сабо, или по призам, которыми было недавно удостоено на разных фестивалях «Проклятие» Белы Тарра. И все же список зарубежных премий венгерского кино с середины 80-х стал скромнее. Пусть косвенный, но все-таки показатель перемены состояния.

В принципе такие перемены неизбежны, даже необходимы. Напомню, что процессы, характеризовавшие венгерское кино, и прежде не были неизменно и гарантированно плодотворны. Были в них и спады, и не обогатившие экран изгибы, и, случалось, прямота, признанная одним из достоинств венгерского кино, переходила в ритуал, а то и в своеобразную игру. Сейчас, в нелегкую для него пору, венгерское кино, по моему впечатлению, находится на пороге нового этапа, и опять, как в 70-е годы, его заряжает «прямое» слово.

Думаю, что нынешнее брожение умов в венгерском обществе, взрыв политической активности, горячее и чуть ли не всенародное обсуждение вопросов, связанных с недавним, еще дышащим в затылок прошлым и с тем, какой дальнейший путь выведет страну из экономического кризиса, в незначительной степени спровоцировано отечественным кино. Ведь и последние годы оно решительно нарушало заговор молчания вокруг «опасных» проблем, фокусировало разлитые в воздухе противоречивые общественные настроения, оформляло их в неотвратимые вопросы.

Я пишу эти строки, вернувшись с очередного, двадцать первого по счету, национального киносмотра, который подводил итоги минувшего года. Уже привыкший к учащенному пульсу венгерского кино, к его открыто публицистическому пафосу, стремлению называть вещи своими именами и договаривать до конца (не только в документальных лентах, которые в последние годы становились едва ли не главными событиями, но и в заряжающихся от них художественных), я тем не менее удивился его еще более решительному повороту к политике и новому уровню остроты. Венгерские газеты после единодушно признавали в заголовках: «был политический

киносмотр». Может, это за счет «полочных» картин, пролежавших в коробках по пять-шесть лет и составивших в будапештской программе 1989 года отдельный выразительный блок (среди них загадочно-притягательный, беспощадно-язвительный «Сон о бригаде» Андраша Елеша, соединение игрового «соцарта» и абсурда, парадоксальный сюжет которого спроецировала, к нашей неожиданности, гельмановская «Премия» — в сущности, вокруг нее все тут и крутится)? А может, потому, что встретились в одной программе, определили ее тон документальные и игровые картины, которые, словно по сговору, как одна, обращены к «опасным» проблемам: вчерашним, позавчерашним и непосредственно сегодняшним? Впрочем, вчерашние и позавчерашние «опасные» проблемы — тоже сегодняшние, коль скоро к ним вновь возвращается неуспокоенное сознание нации. Тому подтверждение — вспыхнувшая накануне будапештского кинофестиваля и неизбежно окрасившая его, проникающая в его ожидания и споры всевенгерская дискуссия о событиях 1956 года, начало которой положило коснувшееся этой темы выступление по радио члена Политбюро ЦК ВСРП, государственного министра Имре Пожгаи.

Будапештский фестивальный экран и всё, что происходило в эти дни вокруг него, имели одну температуру, — от нее раскалялся градусник. Трагические 50-е, включая обжегший нацию 56-й год, были в эти дни у венгров на устах и были на экране: в «Эльдорадо» писателя и режиссера Гезы Беремени (с его именем, напомним, связан едва ли не лучший венгерский фильм 80-х годов, во всяком случае, один из ключевых, — «Время останавливается», поставленный Петером Готаром); в суровой автобиографической ленте Ференца Теглаши «Нигде, никому, никогда» — о тех, кто в эпоху беззаконий под конвоем выселялся из Будапешта и переживал беспримерные унижения; наконец, в четырехчасовой документальной картине «Речк. 1950—53 гг., история одного секретного лагеря принудительных работ», сделанной Ливией Дярматти и Гезой Бёсёрмени (не по решению, но по материалу и открытому нерву она в прямом родстве с нашей «Властью соловейкой»).

С «Хозяином конезавода», сценарий которого перед вами, их разделяет десятилетие. Однако встревоженный голос той картины с необходимостью встраивается в обеспокоенное многоголосье нынешнего венгерского кино, и вопросы, которые тогда были с экрана заданы, никуда не ушли, не списаны в исторический архив — за ясностью, мол, ответов; вопросы эти вот они,

рядом, в драматизме вновь поведенных венгерскими фильмами судьбах и в вопрошающих взглядах невыдуманных жертв.

Венгерское кино обращалось к «опасным» 50-м еще раньше. Например, в 1970 году появились «Любовь» Кароя Макка и «Любовный фильм» Иштвана Сабо, где герои как раз в обстоятельствах смутных 50-х проходили испытание на человечность, терпение, веру и верность любви. Именно поэтому одну картину тогда не купили для нашего проката, а другую купили и не выпустили (так, между прочим, часто поступали у нас с венгерскими фильмами, и не только с ними), хотя это произведение редкой художественной выразительности, богатые эмоциями и смыслами. Были, разумеется, еще венгерские фильмы, их немало, где хотя бы боковой сюжетной пристройкой, обмолвкой, ожившим коротким воспоминанием, вставленным куском хроники, эпизодом в биографии героя возникали 50-е. Но истинную полноту звучания эта тема обрела в венгерском кинематографе во второй половине 70-х.

В 1977 году наделал шуму роман Иштвана Галла «Хозяин конезавода». Андраш Ковач, кажется, не дав высохнуть типографской краске, сел писать о нему сценарий, и через год уже говорили о его фильме — в прессе, в кино клубах, в университетах, в среде историков и политиков. А спустя еще полгода на экраны вышла «Вера Анги», знаменитая теперь картина Пала Габора (она тоже лежит у нас по сей день «на полке»), поразившая тогда своего отечественного зрителя и мирового не тем даже, что пролила новый свет на эпоху, в которую спустя тридцать лет венгерское кино еще не осмеливалось в полной мере взглядываться, а тем, что всмотрелась в рядового человека той эпохи: как он было выпрямился, открыл простодушное сердце лозунгам дня, постигал политическую азбуку, любил, а потом, сбитый лозунгами с толку, напуганный, ломался и предавал. Вскоре на венгерские экраны вышла еще одна лента о ломавшей человека «эпохе культа» — на этот раз убийственно-саркастическая, трагифарсовая, ко всему пролежавшая «на полке», уже у себя в Венгрии, десять лет. Я имею в виду «Свидетеля» Петера Бачо, реабилитацию которого «Хозяин конезавода» и «Вера Анги» самим своим выходом подготовили.

С этих трех картин и началась в венгерском кино во второй половине 70-х годов волна фильмов об «опасных» 50-х, которая к сегодняшнему дню не только не сошла, но обрела, как видно, второе дыхание. «Потолок с трещиной» Пала Габора, «Реквием» Золтана Фабри, «Две истории из прошлого» Кароя Макка, «Позавчера» и «Ты, прокля-

тая жизнь!...» Петера Бачо, «Счастливики Даниэль» Пала Шандора, «Матч» и «Другой человек» Ференца Коши, «Дневник для моих детей» и «Дневник для моих любимых» Марты Месарош, «Коклюш» Петера Гардоша, «Мельница в аду» Дюлы Маара, «Крыши на расвете» Яноша Дёмёлки, «Крик и крик» Жолта Кезди-Ковача... Я назвал далеко не все фильмы 80-х, и только игровые, хотя венгерская документалистика, особенно в последние годы, существенно продвинула вперед осмысление этой страницы прошлого, обнаружив и большую остроту зрения, и несравнимую со всеми сочиненными сюжетами жизненную убедительность, и ненавязываемую живому материалу, а извлекаемую из него зрелую оценку вещей. В добавление к «Речку», о котором уже говорил, назову здесь хотя бы еще три документальные ленты — призеры прошлогоднего будапештского киносмотра: «В духе закона» братьев Гуйяшей, «У Дуная» Мадьяра Балинта и Пала Шиффера, «Поэт Дьёрдь Фалуди» Ливии Дярматти и Гезы Бёсёрмени.

Фильмов на эту тему в венгерском кино-

репертуаре уже немало, и снимаются новые. Удач, однако, меньше. В иных картинах создателям не удалось удержаться от поверхностного скольжения по фактам, от упрощения, от дежурных форсированных выводов, от подмены человека персонализированным тезисом.

Андраш Ковач — потому ли, что обратился к этой теме одним из первых или что опорой тут ему была, как когда-то в «Холодных днях», полнокровная психологическая проза — упрощений и плоской тенденциозности избежал. В его трагическом фильме о 1950 году (так датируют вступительные титры) есть воздух, есть люди, есть время, есть правды, одна другую не отменяет. Есть видение истории как лично пережитого. Есть вопросы, есть художнические догадки, которые и нам способны что-то своевременно сказать, к чему-то нас в наших собственных нынешних делах подготовить, от чего-то, быть может, даже уберечь.

Александр ТРОШИН

* * *

Одновременно с заглавными титрами мы видим приближающихся пограничников. За ними тянется граница — заграждение из колючей проволоки с заминированной и заботливо обработанной граблями полосой распаханной земли, а на заднем плане наблюдательные вышки, где стоят часовые с автоматами. Пограничники останавливаются и что-то рассматривают.

Вдали виднеются постройки конезавода.

Аги и Кюльман-Ковач, «Маленький барон», подходят к ожидающим их у конюшни Бажи и Эёру.

Аги. Здравствуйте, господа!

Бажи. Привет, Кальмюш!

Эёр. Добро пожаловать!

Маленький барон. Приветствую, господин старший лейтенант!

Эёр. Наконец-то вы здесь.

В конторе конезавода Янош Бушо, новый директор конезавода, говорит Кабику, человеку лет пятидесяти, который и при прежнем директоре был заместителем:

— Я видел на дворе чужих.

Кабик. Прибыли Аги и Кюльман-Ковач.

Янош. Маленький барон? Неужели он?

Кабик. Маленький барон?

Янош. Так звали его мы, ребятишки в Майоре. Их сиятельства, то бишь его прием-

ные родители, посылали его в ту же школу, куда ходили и мы.

Кабик. Вот как?

В контору заглядывает Бажи и, не решаясь обратиться к Яношу, говорит Кабику:

— Послушай! Привезли двадцать мешков овса. Надо, чтобы кто-то принял, потому что накладной нет. Сказали, из села...

Янош. Это из кооператива прислали, я просил брата. Пусть сгружают, а после оформим.

Бажи уходит, вслед за ним и Янош с Кабиком. По пути Кабик разговорился:

— Они не знают, как вас называть. «Господином Бушо» или «господином директором». И Бажи еще не знает... С вашим предшественником тоже была трудность. Он был полковником, но ему подошел и титул «сиятельство», ведь его еще Францу-Иосифу представляли на скачках...

— Меня Францу-Иосифу не представляли, так что проблема намного легче...

В коридоре Кабик показывает Яношу табличку.

— Прошу прощения, забыл... Так подойдет? «Янош Бушо, директор конезавода»...

— Подойдет.

Кабик прикрепляет табличку на конторскую дверь.

В боксе конюшни привязывают лошадь. Она неспокойна. К ней подходит Аги, от-

вязывает цепь и переводит лошадь в другой бокс. Привязывая ее, он говорит Маленькому барону:

— Словом, хама посадили нам на шею.

Эёр. Шесть классов начальной и партшколы. Остальное можешь себе представить... — И затем, обращаясь к Маленькому барону:

— Ты наверное, его знаешь. Какой-то Бушо. Он интересовался тобой, когда увидел твоё имя в платёжной ведомости.

Маленький барон. Янош Бушо?.. Что ты говоришь... Они работали у нас в Майоре...

Эёр. Ну, тогда ты будешь иметь у него протекцию...

Маленький барон. Увидим.

Бажи. Не радуйся. Он не долго продержится на ферме.

Маленький барон. Все равно. А теперь покажите нам нашего жеребенка.

Аги. Его не обнаружат?

Бажи. Здесь дисциплина, господин старший лейтенант...

Они подходят к закрытому отсеку, где привязан красавец жеребенок. Маленький барон пытается его погладить, однако жеребенок не проявляет удовольствия. Маленький барон укоряет его:

— И это благодарность за то, что мы тебя спасли?

Янош и Кабик направляются к конюшне.

Кабик. У господина полковника тоже была персональная лошадь... Да и село далеко. Поверьте, вы можете спокойно испытать Капитана... Наш питомец...

Янош заходит в конюшню и возвращается с конем. Рабочие конезавода с интересом наблюдают, как новый директор пытается оседлать коня. В их взглядах подозрительность и злорадство, особенно когда конь не хочет повиноваться Яношу, а тот, видно, не опытный наездник. Тем не менее ферму Янош покидает на коне.

В ближнем лесу он слезает с коня, ведет его под уздцы, останавливается.

— Порядок, Капитан! Мы подружмся, правда?

В милиции Янош, получив револьвер, расписывается, затем пробует его: без патронов, вхолостую щелкает спусковым крючком. Милиционер выдает ему патроны.

По двору конезавода, освещенному неяркой луной, с лаем бегают собаки. Янош из окна своей комнаты пытается разглядеть их в темноте. Собачий лай тревожит лошадей — из конюшен доносится топот и бряцание ясельных колец.

Время от времени то из одного окна, то из другого слышится яростная ругань и, как только собаки скрываются, воцаряется тишина. Собачий лай теперь доносится издалека.

Янош отходит от окна и готовится лечь спать. Он сел на стул, чтобы снять сапоги, когда из коридора вдруг донесся подозрительный шорох. Янош резко повернул голову, затаил дыхание, но звук не повторялся. Было похоже, что за дверью кто-то ходил, а теперь, остановился. Янош нащупал под подушкой револьвер и осторожно подошел к двери. Снова послышался шорох, однако, едва Янош сделал пару шагов, он опять прекратился. Янош на цыпочках подбирается к выключателю и быстро тушит свет. Затем мгновенно отскакивает от двери и стоит некоторое время, прижавшись к стене и не сводя глаз с темного дверного проема, затем по стенке добирается до кровати. Садится, напряженно вслушивается, потом смеется над собой. Прячет револьвер под подушку, решительно подходит к выключателю, зажигает свет, идет к окну, распаивает его и высовывается наружу. Затем начинает ходить по комнате, чтобы снять с себя недавнее напряжение. Но едва он завершает первый круг, в дверь стучат.

Янош резко останавливается и испуганно шепчет:

— Кто там?

За дверью его не слышат, и стук повторяется. Он делает шаг к кровати, хватается было за револьвер, но передумывает и громко спрашивает:

— Кто там?

Снаружи тихо отвечают:

— Врач...

Янош открывает дверь — там стоит смущенный Кабик.

—...Извините. Я видел, что вы высунулись в окно, и решил, что вам нездоровится. Если нужно болеутоляющее...

Янош, рассерженный, отворачивается к окну.

— Нет, благодарю, ничего у меня не болит.

— Прошу прощения... я только ветеринар, но помочь оказать могу.

Янош замечает мелькающую во дворе женскую фигуру. Он с удивлением окликает ее:

— Кати!

Но женщина не оборачивается и растворяется во тьме.

Кабик тоже замолк, встал рядом с Яношем у окна и посмотрел во двор.

Пересекая двор, Янош слышит свист. Видит Бажи, который стоит у конюшни, наблюдая за собачьей сворой. Большая

дворняга, белая с серым, на некотором расстоянии трусит за остальными, как бы не имея к ним отношения.

— Вожак! Вожак! — кричит Бажи.

Собака неожиданно оглядывается.

Янош подходит к Бажи:

— Хорош вожачок, плетется сзади...

— Но по его знаку, если что не так, все пустятся наутек. Поэтому он и вожак...

— Ваша собака?

— Как же! Такую собаку уже не приручишь. Это вам не человек, чтобы сегодня один ей приказывал, завтра другой. Эту дворнягу высек ее хозяин, вот она и стала жить сама по себе. Больше того, стала вожакостай. Она презирает нас и скорее сдохнет, нежели еще раз доверится человеку.

Теперь в кадре только лошади, совсем близко. Одна, другая, третья... Молодая кобыла словно рисуется, и на нее наскакивает жеребец.

Янош и Кабик, стоя в стороне, рассматривают лошадей.

Янош. Не волнуйтесь. Ответственность я возьму на себя.

Кабик. Эта кобыла бесплодная, она никому не нужна. Если у нее будет жеребенок, мы можем и не отчитываться. Но с тех пор как тут прекратили разведение, мы не имеем права...

Янош. Это же замечательно, если у нас будет жеребенок. Увидите, как все будет рады.

Кабик. После того, что случилось, я не очень-то в этом уверен. Но если вы так думаете...

Жеребец оставляет кобылу.

Янош. Может, у нее все же будет?

Кабик. Может быть.

К ним подбегает служащий конезавода: — Вас просит к телефону товарищ Шоберт.

Янош уходит в контору. Жеребец, стоя рядом с кобылой, вскидывает голову и скалит зубы — это у самца знак радости.

В корчме Кати собирает со столов пустые стаканы. Сливают остатки вина в один и ставит перед стариком, который отрешенно дует в губную гармошку. Янош стоит у стойки и не спускает глаз с Кати. Видно, что он уже пьян. Кати сует ему в руки плетеную бутылку и исчезает за дверью. Янош следует за ней.

Едва они выходят во двор, Янош обхватывает Кати.

Кати. Кыш ты! Может, темноты боишься, что в меня тычешься?

Она увлекает его в сарай, чтобы их не увидели. Янош прилипает к губам Кати. Та увертывается.

Кати. Сумасшедший! Почему не сказал, что хочешь... это. Все по желанию дорогого гостя...

Кати рукой отводит лицо Яноша, однако тела их сплетаются.

Кати. Что, в темноте и классовый враг гонит?

Янош. Кому ты враг?

Кати. А мой муженек? Забрали ведь.

Янош. Мы здесь ни при чем. А впрочем, зачем ему надо было вступать в драку с милицией?

Тема эта, однако, охлаждает Яноша. Почувствовав это, Кати сильнее прижимается к нему и прикладывает руку к его груди.

Катя. Ну хорошо, хорошо...

Янош. Лучше бы ты стала моей женой.

Кати. Но ведь...

Янош. Я бы подарил тебе жеребенка. Ты же любишь всех обихаживать. самого красивого.

Кати (*удивленно*). Какого еще жеребенка?

Янош. Ну, который родится, первенца.

Кати. Да нужен мне твой жеребенок!

Янош. А если бы я был офицером, взяла бы?

Катя. Офицером? Ты?

Смех вырывается у нее с такой силой, что объятия Яноша совсем ослабевают. Кати высвобождается и выбегает из сарая. Янош в недоумении глядит ей вслед.

В кухне дома Бушо много народу; одни расселись на лавках вокруг стола, другие стоят у двери. Криштоф Мате, секретарь местного райкома партии, сидит за столом с пожилым крестьянином. Тут и Матьяш, брат Яноша, он о чем-то переговаривается с Петером Визи, старшиной-пограничником.

Вошедший Янош обращается к Мате:

— Добрый вечер, дядя Криштоф. Ваш шофер уже нервничает. Говорит...

Мате. «Говорит-говорит»... Хорошо, что пришел, хозяин конезавода. А то твой дружок Петер и брат боялись...

Янош. Да нет у меня конезавода.

Мате. У тебя есть только жеребцы...

Янош садится за стол в ожидании ужина. Старшина подсаживается к нему.

Визи. Понятное дело, что боялись... Послушай... Когда твоего предшественника, полковника, судили за саботаж, еще не знали, но теперь выяснилось, что у хортистских офицеров есть какая-то организация, полковник тоже к ней принадлежал. Группа «Д». Это их кодовое название.

Матьяш. И люди с фермы в ней?

Визи. Это еще не выяснено, но все равно наверху бурчат, что рискованно дер-

жать вблизи границы столько бывших офицеров вместе.

Мате сердито вмешивается:

— Рискованно! А что не рискованно? Я поручился, что ничего не случится, с этим послал туда Яноша, он их возьмет в руки. Что теперь-то наверху хотят? Будем развивать конеферму. Правда, Яни?

— Но для этого,— встречает Матьяш, брат Яноша,— все же не повредило бы лучше приглядывать за их когтями... Яни, скажи нашему дяде Криштофу, как они ведут себя с тобой.

Янош. Зачем говорить, он и так знает...

Матьяш. Ты не слышал, что сказал Петер Визи? Или оставил ум в корчме?

Янош. Да! Там оставил!

Разозлившись, он встает и выходит за дверь.

Мать. Ну что ты его ругаешь? Сами отправили туда, к чужим. Еще чудо, что держится, бедняга.

В разговор вступил пожилой крестьянин:

— Послушай, Криштоф, если бы вы дали мне участок земли в два клочка, это бы еще куда ни шло.

Мате пробует его успокоить:

— Ну, хорошо-хорошо... Сейчас принесло сюда Шоберта, в земле он не смыслит... Нужно делить, говорит.

— Пусть так. Нужно. Но нужно ли, чтобы моя земля состояла из пяти клочков? Вот этими двумя руками задушу!

Мате кивает на старшину:

— А он вас арестует. Этими двумя руками.

— Меня? Почему не Шоберта?

— Да это шутка. Не беспокойтесь, я разберусь...

— А ну как тебя не послушают? Люди в таких штанах не больно советуются с друзьями. Вспомни, его преподобие тоже...

— Да говорю же, приму меры. Между прочим, сейчас я здесь и священник, и уездный предводитель, а если этого недостаточно...

— Я только хочу сказать, что если вы не сделаете хоть что-нибудь...

— Знаю. «Этими двумя руками»... Знаю.

Муром с женой топчутся в дверях конторы, Янош приглашает их войти.

Муромне. Я его жена, вы, наверно, догадались.

Янош. А я Янош Бушо.

Муромне. Храни вас господь таким!

Янош. Почему? А каким же я еще могу быть?

Муромне. Покойным Яношем Бушо.

Янош громко смеется.

— Присаживайтесь.

Муромне садится, Муром остается стоять.

Муромне. Не правда ли, в вашей власти

отпустить мужа домой на рождество?.. На солдатской службе ему так отбили кишки, что он теперь рта не раскрывает,— говорить должна я. Ему не надо было бы идти на ферму, что правда, то правда. В реакцию он был старшиной, но при лошадях. В демократию с него форму сняли, дали шесть сотен, он мог пойти работать куда угодно. Мужик крепкий. Но когда образовался этот конезавод, господин Бажи только разок свистнул, и мой побегал... Ну так отпустите или нет? Янош. Если смогу...

Муромне. «Если сможете»? Не понимаю. Тот, кто прежде был господин, был господин! А теперь...

Эту сцену из коридора наблюдает Бажи.

Муромне. Не понимаю, как это так, чтобы люди теперь не могли отсюда выйти.

Янош. После той истории с милицией никто не уходит, такой порядок.

Муромне. Кто это сказал? Что, закон есть такой?

Янош. Нет, закона нет, но это каждый знает.

Муромне. Ну, тогда вы сами можете разрешить Михая, потихоньку.

Янош. Попробую.

Офицеры во дворе с любопытством глядят в сторону конторы.

В конюшне конюх смазывает бока одной из лошадей. Янош спрашивает:

— Что с ней?

Гёрёг. Седлом натерло.

Янош. Как же это?

Гёрёг. Лошадям этой породы, у которых высокая холка, не надо бы такие седла...

Янош больше ни о чем не спрашивает, идет к выходу. Конюхи с опаской наблюдают, как он проходит мимо того бокса, где они прячут жеребенка, но Янош ничего не замечает.

В конторе конезавода, кроме Яноша, находятся Бажи и Кабик.

Янош подписывает разные бумаги, которые кладет перед ним Кабик, затем говорит с огорчением, причем так, чтобы слышал Бажи:

— Я вдруг понял, как мало знаю. Одной глупой седло натерло спину.

Бажи. У этой породы такое бывает очень часто.

Янош (Кабик). У нас нет никакой специальной литературы об этом?

Кабик. Бажи, ты лучше знаешь...

Бажи подходит к шкафу, роется в нем, затем протягивает Яношу книгу:

— "The story of horses family in the modern world"*.

* «История лошадиной семьи в современном мире». (англ.)

Книга уже у Яноша в руках, когда Кабик, чтобы предупредить скандал, хватается со стола другою.

— Пожалуй, эта лучше. Поменять?

— Нет, благодарю, подойдет и эта. И Янош вылетел из конторы.

В бешенстве он расхаживает по двору с книгой в руках, затем решительно направляется к конторе, но внезапно останавливается перед дверью. Кто-то сорвал с двери табличку с его именем. Смятая, она лежит на земле. Янош хватается ее, возвращается в контору и в ярости кладет на стол.

Кабик. Что это?

Янош. Сорвали с двери!

Кабик еще не совсем понимает, что случилось, но, видя искаженное гневом лицо Яноша, старается изобразить понимание из страха разозлить его еще больше.

Кабик. Сорвали?... Безобразия!

Янош. Они думают, что я это так оставлю? Ошибаются! Ведь и слепому видно, кто это сделал! Кто бы это грязное дело ни совершил, он будет со слезами вспоминать ту минуту, когда мать на божий свет его выпихнула. Это говорю я!

Бажи тихо, но с затаенной усмешкой спрашивает:

— Надеюсь, вы не думаете, что это сделал я?

Янош. Я не сказал, кто именно сделал. Я сказал только, что тот, кто это сделал...

Кабик. Успокойтесь, прошу вас... И доверьте это нам...

Бажи берет скомканную табличку, какое-то время разглядывает ее, потом приказывает одному из рабочих:

— Пошлите сюда Муром.

Рабочий. Слушаюсь!

Бажи и Янош выходят за дверь. За ними спешит Кабик. Бажи осматривает дверь с наружной стороны, чтобы понять, каким образом сорвали табличку. Обнаруживает след ножа, которым скovyрнули кнопки. Появившийся в дверях Маленький барон наблюдает за действиями Бажи. Все молчат, пока не приходит Муром и не вытягивается перед Бажи: руки по швам, пятки сдвинуты, как по команде «Смирно!».

Бажи. Подойди сюда! Скажи, сынок, зачем ты это сделал?

Двумя пальцами Бажи цепляет Муром за отворот куртки. У Муром дергаются руки. **Муром.** Я ничего не знаю! О чем вы говорите?

Бажи сует ему под нос измятую табличку.

— Не болтай!.. Это видишь? Я нашел на двери след твоего ножичка. Дай его сюда!

Муром вынимает из кармана ножик, отдает его, Бажи сличает след с кончиком ножа, затем хлещет Муром по лицу. Прежде чем Янош успевает вмешаться, звенит вторая пощечина, затем еще и еще... Двумя паль-

цами левой руки Бажи держит Муром за куртку, а вторая рука ходит туда-сюда. Муром стоит при этом не шелохнувшись. Руки, прижатые к бедрам, вцепились в одежду, но в лице нет ни испуга, ни боли. Скорее, послушание и даже покорность.

Янош. Довольно! Сейчас же прекратите!

Когда Бажи останавливается, Янош в негодовании выходит из конторы и направляется к конюшням. Бажи честит Муром, который внимает ему, сохраняя по-прежнему стойку «Смирно!».

— Ты, скотина! Хочешь так, по-идиотски?... Отдает ему ножик. — Можешь идти.

Муром. Слушаюсь!

Разворачивается и выходит.

Кабик. Не надо было, слышишь, не надо было так с Муромом...

Бажи. Да что вы говорите!

Вечером Янош стоит у окна своей комнаты и смотрит во двор. Где-то слышится собачий вой, но собак не видно. Янош выходит из дома, медленно идет к конюшне. Останавливается, услышав взрыв. На двор вышел Михай Муром и на приветствие Яноша лишь пробормотал:

— Опять собака залезла на минное ограждение...

Янош повернулся и направился к дому. Из комнаты, где живут офицеры, донесся громкий хохот. Яношу даже показалось, что он услышал смех Кати. У окна стояли и разговаривали Бажи и Аги. Янош повернулся и пошел к себе. Бажи и Аги в окне тоже заметили его, поглядели ему вслед.

Здание райкома партии — бывшая усадьба с колоннами у входа. Беспрестанно хлопают двери — люди входят и выходят. Янош направляется к кабинету Мате. Приемная полна народу — все тоже ждут партсекретаря. Секретарша, не обращая ни на кого внимания, занимается своим делом.

Янош. Привет, Магда! Где начальник?

Магда. Выехал к вам.

Янош. На ферму?

Магда. Да нет, в кооператив. Там какая-то проблема с замком. Но товарищ Шоберт на месте...

Янош. Нет, мне нужен дядя Криштоф...

Дверь соседнего кабинета распахивается. Шоберт, аккуратно одетый мужчина, провожает гостя. Учиво распрощавшись с ним, он поворачивается к Яношу.

Шоберт. Добрый день, товарищ Бушо! Ко мне? Хотя вы и не записаны, но если у вас что-то важное, прошу...

Янош. Нет, я пришел к товарищу Мате.

Он просил меня, чтобы я его разыскал.

Шоберт. Правильно. А что нового на ферме? Вы только решительнее с ними, твердой рукой, нужно их сломить.

Возле разрушенного замка, у которого выбиты даже оконные рамы, прогуливаются Янош и Мате.

Мате. Мало того, что разнесли, теперь еще хотят по кирпичику растащить. Чудеса демократии, не правда ли? По сто кирпичей на брата! Далеко мы ушли бы этак! Музей тут сделаем или школу, но не разнести же?! Так ты говоришь, чтобы мы убрали этого...

Янош. Бажи. Он их злой дух.

Мате. Ну, рассказывай дальше. Уберем. Хорошо.

Янош. Я уже все рассказал.

Мате. Так это не много.

Янош. А если бы из меня гуляш сделали, это удовлетворило бы дядю Криштофа?

Мате. Камни можно толочь у них на голове, такие это люди. Это и я знаю...

Янош. Ну, тогда что же вы говорите, что...

Мате. Я говорю только, что то, что ты знаешь о них, не много.

Янош. Что сделать, чтобы вы поверили мне? Может, убить себя вместе с ними?

Мате. И мои глаза спотыкаются об этого Бажи. Я видел, что он любит лошадей. Это верно. Он понимает в них, это тоже верно. Тебя не любит, и это верно. И из этого следует, что ты не лошадь... Говоришь, чтобы убрали Бажи... Это можно. Но ничего такого чудовищного он не совершил, чтобы удобрить им землю. А тогда куда его? Верю, что тебе не по нраву этот офицер, так что ж, посадить его кому-то другому на шею, кто будет его охранять? А там он еще и никакой пользы не принесет. Здесь он ценный работник, трудится на нас, потому что любит лошадей, и другого не может.

Янош. Не в воздух же я говорю, товарищ Мате! Мне не нужно, чтобы вы уничтожили Бажи. Я прошу только убрать его от нас — пусть идет на другой конезавод. Здесь у него слишком большой авторитет, двери сами открываются перед ним. А разве не для того вы поставили меня на это дело, чтобы я взял ферму в свои руки? Но пока Бажи там, ничего не выйдет. Или он, или я.

Мате. Заберу, если ты так хочешь. Мне это ничего не стоит. Заберу! Но только это и Шоберт сделал бы. Понимаешь? У Шоберта бдительность — мания. Ладно, я не возражаю. Но только от этого конезаводство не вырастет. Я же для того и забрал тебя от твоего брата Матяша, чтобы после наведения порядка ты принялся за разведение. Почему же ты в этом не просишь помощи?

Эржи, молодая учительница, проверяла школьные тетради, когда к ней постучался Янош. По тому, как он вошел, по-домашнему повесил куртку, ясно, что он здесь не впервые.

Эржи. Как хорошо, что ты пришел. Я не ждала тебя. У меня есть немного чаю, будешь?

Янош. Если и ты со мной.

Он бросил на стол принесенную с собой книгу и только тогда принял у Эржи чашку с чаем. Эржи придвинула к себе книгу, перелистала ее.

Эржи. Что это? Ух, какие красивые лошади!.. И у тебя такие есть?.. Постой, да ведь она по-английски.

Янош. Да это Бажи, та гнида, сунул мне. А ведь мог бы знать, что английскому меня не учили. И в партшколе тоже. Они такие!

Эржи. Почему ты не вернул ему?

Янош. Да я даже не успел сообразить, что ему сказать... А потом подумал, вдруг ты что-нибудь в этом поймешь.

Эржи. Жаль, я учила только немецкий. Но попробую. Warm blood. Warm — это по-немецки «теплый», а blood — это «кровь». «Теплокровный.»

— Смотри-ка... что это? — Янош произносит английские слова на венгерский лад.

Эржи. Vild... vild... это я не знаю. Подожди, посмотрю.

По радио исполняют «Вечера у секеев», Янош прислушивается.

Янош. Что это?

Эржи улыбается:

— Нравится?

Янош. Да.

Эржи. Барток.

Янош. Это не Барток.

Эржи. Да Барток.

Янош. Спорим! Бартока я слышал в партшколе! На что спорим?

Эржи. Не спорь, у меня это есть на пластинке.

Она достает пластинку, показывает Яношу название и устанавливает на граммофон. Выключает радио.

Оба слушают музыку.

У ворот перед домом Бушо повозка, запряженная парой лошадей. Матяш, попрощавшись с матерью, проводившей его до калитки, направляется к повозке. Янош останавливает брата.

Янош. Что это с тобой? Вырядился, как танцор в народном ансамбле!

Матяш. В прошлый раз товарищ Ракоши сделал мне замечание, что, мол, и я уже вылез из народной одежды. Потому что я тогда был в брюках. Ну, вот теперь я оделся так.

Янош улыбается.

Матьяш (*шутливо*). Дыхни на меня. Янош с притворным испугом дышит.

Матьяш. В порядке, браток. Это лишь за-пах женщины. Но теперь зато стоит по-браться.

Матьяш садится в двуколку, лошади трогают с места.

Парламент. Перерыв в заседании. Матьяш в крестьянском костюме и сапогах беседует у окна со знакомым депутатом.

Депутат. Что с твоим младшим братом?

Матьяш. Старый Криштоф Мате забрал его от меня. Знаешь, есть там один коне-завод...

Депутат. Значит, Криштоф еще держится?

Матьяш. Держится. Трудно ему, но дер-жится. А сверху очень наседают, говорят, что он гоняется за популярностью, что стиль работы не тот.

Депутат. Стиль работы... Не нужно за него беспокоиться. Он и в штрафном батальоне не терялся. Помнишь, когда тот старший лейтенант...

Вдруг депутаты повернулись все в одну сторону и только Матьяш остался стоять, прислонившись к окну. По мере того, как ка-мера движется сквозь толпу, люди поворачи-ваются к ней — это идет Ракоши. Их лица обретают праздничное выражение. Камера останавливается на Матьяше, и мы видим его глазами Ракоши.

Ракоши. Как дела, товарищ Бушо? Какие новости в кооперативе? Что хорошего вы мо-жете нам сказать о «Новой Борозде»?

Матьяш. Не много хорошего, товарищ Ра-коши... Но было бы долго все перечислять...

Ракоши. Не много хорошего? Расскажи-те же, а мы послушаем. Это будет очень интересно, не правда ли, товарищи?

Матьяш. Не такое легкое дело — крупное хозяйство. Ведь вот смотрите, что нас не-давно постигло. В Жирошдюло такой перво-сортный чернозем, что хоть ешь его. Поса-дили рассаду, посыпали удобрением, не по-жалели. А через два дня листья рассады завяли. Как это понимать, спрашиваю! Вся рассада пропала!

Ракоши. Так дело не пойдет, товарищ Бушо. Вы слишком вдаетесь в детали... вместо того, чтобы видеть большую пер-спективу.

Матьяш просыпается в гостинице от сильного стука. Еще в полусне он откли-кается:

— Открыто... Входите!

Дверь распахивается, из коридора вры-вается яркий свет. На пороге стоит под-тянутый лейтенант госбезопасности.

Лейтенант. Одевайтесь!

Матьяш. Почему?

Лейтенант. Прошу вас, одевайтесь, и по-скорее!

Секунду-другую Матьяш стоит в недоуме-нии, но потом быстро умывается и оде-вается. Выглядывает в окно. На рассветной улице безлюдно, у подъезда гостиницы стоит большая черная легковая машина с откры-тыми дверцами. Матьяш выходит в коридор. Его ждет лейтенант. На шум проснулись и другие. Знакомый нам депутат выглядыв-вает из соседней комнаты, но лейтенант го-ворит ему:

— Пожалуйста, продолжайте спать!

Тот без промедления закрывает дверь.

Машина едет по набережной Дуная на фо-не здания Парламента. Матьяш сидит на заднем сиденье и отмечает каждый момент движения. Они уже мчатся по окраинной улице. Лейтенант, сидящий рядом с Матья-шем, безмолвно глядит перед собой. Что-бы разрядить обстановку, Матьяш достает сигареты и предлагает лейтенанту, но тот движением руки отказывается. Матьяш сно-ва смотрит в окно.

Открываются массивные железные вора-та, и мы видим стоящую перед ними чер-ную легковую машину. У Матьяша провер-яют документы. Лейтенант возвращается с комендантом. Оба садятся в машину, и она медленно въезжает на территорию. Желез-ные ворота закрываются.

Машина останавливается у огромной ка-меноломни, где работают заключенные. Ра-бочая площадка окружена охранниками. Когда приехавшие выходят из машины, комендант в чине капитана обращается к лей-тенанту как к вышестоящему:

— Прошу в контору, товарищ.

Лейтенант. Нет, сначала сделаем дело...

Матьяш и сопровождающие проходят на площадку в центре каменоломни, где их уже ждет, вытянувшись по команде «Смир-но!», группа заключенных. Когда приеха-вшие приблизились к этой группе, капи-тан говорит одному из них, коренастому:

— Арендатор не нужен, он только сосал кровь батраков, а в земле не понимает... Исчезнете!

Коренастый выходит из шеренги, а капи-тан обращается к Матьяшу:

— Пожалуйста, выбирайте.

Матьяш оглядывает стоящих перед ним заключенных, затем внезапно спрашивает одного из них:

— Сколько хольдов земли было под ва-шим началом?

1-й заключенный. Тысяча шестьсот холь-дов...

Матьяш (обращается ко второму). А у вас сколько?

2-й заключенный. Восемьсот...

Матьяш. А у вас?

3-й заключенный. Ну, если брать так, то под моим началом было двести двадцать одна тысяча четыреста семьдесят один холд.

Капитан. Не валяйте дурака, заключенный!

3-й заключенный. Я работал в сельскохозяйственном центре родового имения князя Эстерхази. А у его сиятельства именно такого размера владение было в Венгрии. Не считая земель в Австрии и Моравии.

Матьяш. Вы работали в канцелярии?

3-й заключенный. Совсе нет. Отец мой тоже был у него главным агрономом.

Матьяш. Какое у вас образование?

3-й заключенный. Академия. У меня немецкий диплом. То есть был, потому что война ведь...

Он махнул рукой, на что капитан тут же отреагировал:

— Стойте смирно!

Матьяш решил:

— Этот подойдет.

Капитан распорядился:

— Соберите свои манатки и доложите дежурному!

3-й заключенный. Слушаюсь!

Капитан. Пожалуйста, пройдемте в контору. Не откажитесь посидеть хоть немного. Сюда ведь и птица не залетает. Я радуюсь, если иногда вижу человека. Когда меня перевели сюда из деревни, я и не думал, что это такая служба. Порой мне кажется, будто и я заключенный... У меня есть немного палинки, не пожалеете...

Лейтенант. Нам приказано сразу вернуться.

Матьяш и заключенный сидят на заднем сиденье и разговаривают, словно уже давно знают друг друга.

Матьяш. Скажите, может так быть, чтобы от удобрения, которое должно бы питать растение, листья рассады увяли?

Заключенный. Это что, экзамен?

Матьяш. Черта с два! Это был наш экзамен, на котором мы провалились.

Заключенный. Я должен знать все остальное, чтобы ответить. Какое удобрение и когда рассыпали. Например, некоторые удобрения, если сыпать на утреннюю росу и не к корням, а на листья, разрушают растение... Ну, так какую отметку я заслужил?

Матьяш. Хорошо, очень хорошо... Послушайте, ведь мы еще не представились. **Матьяш** Бушо.

Заключенный. Я тоже «М. Б.» Микша Браун.

Матьяш. У нас полсела были Брауны.

Вы шваб?

Браун. Есть и это. В моем роду все имеется. Отец мой, ему уже за семьдесят, в тридцатых годах уехал в Перу. А я, осёл, остался!..

Он косится на сидящего впереди лейтенанта и добавляет:

— Вот и дожил до фашизма, не так?

Браун ищет туалет. Сопровождающий его шофер в форме останавливается перед дверью «WC».

Матьяш заказывает:

— Три «фрëча» и апельсиновый сок.

Матьяш (лейтенанту). Я думаю, сработает с ним. За что он попал туда?

Лейтенант достает из кармана бумагу.

Лейтенант. Ничего серьезного. Насколько я понимаю, никаких конкретных обвинений. В сорок девятом, когда был процесс Эстерхази, арестовали и его. Суд приговора ему не вынес, но все-таки под стражу взяли.

Матьяш. Послушайте, товарищ лейтенант, по дороге сюда вы ни слова мне не сказали... Про себя я не говорю, но этот человек, может быть, сейчас точно так же раздумывает, куда мы его тащим.

Они получают свой «фрëч». Появляются Браун и шофер.

Лейтенант. Присаживайтесь, пожалуйста!

Браун выжидающе смотрит на лейтенанта и садится.

Лейтенант. Послушайте... это, правда, не очень подходящее место для официальных сообщений, но, думаю, в лагерной конторе вам не много сказали. Ну, так знайте... вы свободны. Шлепнем печать на этот документ, и готово. Отныне вы будете работать в кооперативе товарища Бушо, и если как следует, то неприятностей у вас больше не будет.

Дома **Матьяш** молча черпает ложкой суп. Сидящий за столом Янош некоторое время молча смотрит на него, потом спрашивает:

— Да что с тобой? Случилось что-нибудь? Я и вчера вечером из-за тебя сюда приходил. Скажи же наконец что-нибудь.

Матьяш вспылал:

— Да оставь меня!

Он кидает ложку, встает, идет к двери, выпивает ковш воды, снимая таким образом напряжение, затем молча садится к столу и продолжает есть. Янош и мать, ни слова больше не говоря, глядят на **Матьяша**.

В одном из загонов мы видим **Капитана**, коня Яноша. Янош зовет его:

— **Капитан!**

Конь замедляет шаг.

Янош подходит к нему, треплет его за шею, угощает сахаром. Конь спокойно стоит возле него.

Янош. Все хорошо, дружище!

Кабик улыбаясь смотрит на Яноша и спрашивает его с предупредительностью:

— Оседлать?

Янош. Благодарю. Потом, после обеда.

К Яношу подбегает служащий:

— Товарищ Шоберт просит вас к телефону.

Янош (*Кабику*). Пошлите ко мне Кюльман-Ковача.

В конторе никого нет, кроме Яноша, который разговаривает по телефону.

Янош. Не возвращают лошадей... Если бы вы в этом помогли... Пока только двое прибыли. Маленький барон... Кюльман-Ковач... его только усыновили, а настоящим бароном он не был... Да, конечно, я привык его так называть. До свидания.

Янош кладет трубку, но как бы еще продолжает телефонный разговор:

— Что я могу поделать, для меня он Маленький барон...

Янош молча стоит и как бы слышит детские голоса:

— Маленький барон!.. Маленький барон!..

Лошади скачут галопом, за ними бежит детвора.

Детские голоса. Маленький барон!.. Маленький барон!..

Голос Маленького барона. А помнишь рождение в имении? Не правда ли, у нас делали все, чтобы это был праздник сердечности.

Голос Яноша. Что правда, то правда, госпожа была доброй женщиной, она не допускала, чтобы хоть один батрацкий ребенок остался обойденным. Да и вам я обязан, что помогли мне получить хорошее распределение на фронте.

Маленький барон. А я вам завидовал, потому что мне никогда не разрешали взобраться на лошадь.

Дети любят мирно пасущимися на лугу лошадьми. На одну из них мужчина сажает ребенка, похожего на Яноша, который со счастливым лицом сидит на спине неторопливо шагающей лошади.

Они стоят рядом в конторе. Маленький барон улыбаясь говорит Яношу:

— Знаете ли вы, что я в детстве хотел быть кучером? Из-за лошадей.

Янош. А я хотел быть священником. Даже служкой был в церкви...

Маленький барон (*с горькой иронией*). Вам не удалось. Большая неудача, так?

А я вот стал кучером или почти им, приставлен к лошадям — держу их за веревку. Достиг цели своей жизни. Только для этого нужно было проиграть одну войну и затоптать одну тысячелетнюю страну.

Янош (*после некоторого молчания*). Знаю, что вам нелегко. Но этот конезавод все-таки мог бы быть таким местом... Послушайте, мы с вами могли бы держаться вместе, а почему бы нет — если так повернулся мир.

Маленький барон вскидывает голову:

— Детство это одно... А сейчас другое. Вы играете в шахматы? Даже если немножко, этого достаточно. Потому что тогда вы знаете, что перед офицерским превосходством беспомощна... Я не хочу вас обидеть, не поймите так! Я говорю о шахматах, где перед офицерским превосходством бессильна... пешка.

Гнев накачивается на Яноша. Он вскакивает и не Маленькому барону говорит, а скорее, убеждает самого себя:

— Мы не такие бессильные, не думайте! Мы можем справиться с кем угодно. Нам известно, например, что существует некая организация офицеров — «Д». Ну, что на это скажете? Вы, конечно, ничего об этом не знаете?

Маленький барон. Когда было следствие по делу вашего предшественника, выяснилось... Да вы и сами предполагаете, что я это должен знать. Хотите поймать?

Янош. До сих пор вы об этом не говорили...

Маленький барон. Из вопросов следователей, когда нас допрашивали, мы поняли, что бывший директор принимал участие в какой-то организации, но это дело старое, его закрыли. Ваш предшественник мог бы рассказать об этом больше...

Янош (*встает рядом с Маленьким бароном*). А Бажи?

Маленький барон. Кто?.. Почему именно Бажи?

Янош. Потому что он сейчас работает вместо того.

Маленький барон. Да что вы придумываете! Бажи не такой. Вы его подозреваете? И спрашиваете это серьезно?

Янош. Куда уж серьезнее!

Маленький барон. Я ничего не знаю, и из моих слов ничего такого вы понять не могли.

Янош. Я вам не верю!

Маленький барон, напуская таинственность, с иронией шепчет Яношу, который уставился в окно:

— Послушайте, главный шпион тут я, только никому об этом не говорите. Для чего я тут? Разве по мне не видно? Я веду подготовку к третьей мировой войне, а там только ждут, когда я щелкну пальцами. Вы это хотели услышать? Ну, вот теперь вы знаете.

Янош в ярости покидает контору. Минутой позже за ним выходит Маленький барон. Янош видит, что в одном из загонов готовятся к случке, и направляется туда. Белого жеребца подводят к кобыле, но жеребец не проявляет никакого желания покрыть ее. И на понукания кучера он не реагирует.

Янош говорит Бажи:

— Если у этого не пойдет, приведите на всякий случай другого. Это кобыла кооператива. Я обещал, что случу ее с самым лучшим жеребцом. Из двух какой-нибудь да покроет ее.

— Пожалуйста. Как прикажете.

Бажи идет к конюшне. И уже выводят Рамзеса, вороного жеребца. Кабик с тревогой спрашивает у Бажи:

— Беды не будет?

— Бажи. Все равно! Так распорядился господин начальник.

Рамзеса не нужно уговаривать, он вырывается из рук конюхов и тотчас вспрыгивает на кобылу. Тут же белый жеребец, до сих пор безразлично стоявший в стороне, вырывает из рук конюхов уздечку и устремляется к кобыле. Набрасывается на Рамзеса, спихивает его с кобылы. Два жеребца наступают друг на друга, кусаются и лягают друг друга. Конюхи пробуют их разнять, но поди приблизиться к двум расвирепешшим жеребцам. Кабик предлагает Бажи:

— Может, принести воды?

Бажи. Пусть господин начальник решает! Но когда жеребцы уже рвут друг друга до крови, Бажи не выдерживает и кричит одному из конюхов:

— Имре! Ведро!

Облитые холодной водой жеребцы отступаются.

Янош в отчаянии смотрел на двух окровавленных жеребцов. Снова он проявил свою полную безграмотность! Кабик попытался его утешить:

— Будем надеяться, раны несерьезные и ни одного из них не придется забивать.

Ни слова не говоря, Янош покидает ферму. Некоторые со злорадством глядят ему вслед.

В воротах перед знакомым нам особняком, где располагается местный райком партии, теперь стоит вооруженный часовой, а справочное бюро, где выдают пропуска, закрыто. Из окна райкома доносится громкий голос Криштофа Мате, но часовой преграждает Яношу путь.

Янош. Ну вы же сами слышите, товарищ Мате здесь.

Часовой. Приемные часы закончились, и никого нет, кто выдал бы вам пропуск.

Янош. Да поймите, он меня вызывал.

Часовой. Что я могу поделывать?

Мате (высунувшись из окна). Иди же скорее! Пропустите!

Часовой. Понял.

Он пропускает Яноша. В подъезде его уже ждет Мате.

Янош. Я твердо решил уйти с фермы, это место не для меня. Не любят меня эти люди.

Мате. Вот как! Разве не их нужно забрать?

Янош. Я не шучу...

Мате. Хочешь теперь улизнуть, так? Понимаю, парень! Мы поищем на это место другого человека.

Янош. Да послушайте, по крайней мере, почему...

Мате. Не сдавайся, дерись! Тебе легче, ты хотя бы знаешь, кому противостоишь, а у меня борьба с этой лисой Шобертом, который уже так распоряжается от моего имени, что и не спрашивает. Он надеется, что я сдамся. Вот и сейчас мы пытаемся выяснить кой-какие дела, так что я спешу вернуться...

Янош. Шоберт? Но ведь он только ваш заместитель...

Мате. И у нашего декана исповедником был капеллан, и если бы тот не отпустил грехи, душа его отправилась бы в ад. Шоберта сверху прислали, так что это ничего не значит, что он мой заместитель.

Янош. Но ведь вы, товарищ Мате, говорили, чтобы я приходил к вам, если у меня какая-нибудь беда...

Мате. И приходи, пока есть к кому идти.

Начинает смеркаться. Янош прогуливается перед школой, где под руководством Эржи репетирует детский хор. Дети снова и снова повторяют довольно трудное место одной народной песни. Янош больше не выдерживает и направляется в ближайшую корчму.

Янош молча сидит за столом, пьет вино большими глотками. Похоже, он уже изрядно пьян. Один из посетителей, тоже пьяный, громко поет. Ему подыгрывает на губной гармошке уже знакомый нам старик. За соседним от Яноша столиком идет разговор о нем, и довольно громко. Двое мужчин как бы слегка подтрунивают, но в интонациях слышится раздражение.

Первый. Не в этом дело. Кто счастливчик, тот счастливчик...

Второй. Да для этого не счастье нужно, а кумовство, не так ли, начальничек?

Вино уже ударило Яношу в голову, язык поворачивается с трудом.

Янош. Что? Как?

Первый. Хорошим уловом был этот конезавод. Скажешь, нет?

Янош машет рукой и отворачивается от них.

Янош. Хороший улов...

Первый. Мы потому так говорим, что ты получил одних первоклассных людей. Это такая повозка, что и сама по себе едет... Ты только для парада сидишь на козлах.

Второй. Скоро ты уже будешь не маленький начальник, а маленький бог!

Первый. Сплошь первоклассные специалисты. Как они разбираются в лошадях!

Второй. Потому что любят лошадей... Лошадь для них все.

Первый. Первоклассные люди...

Янош теряет терпение, привстает и бьет кулаком по столу. Подпрыгивают бутылки. От слишком сильного размаха он валится вперед, едва не падая на стол. Теперь уже взору всех посетителей обращены в его сторону. Даже парни, которые вертятся у стойки вокруг Кати, повернулись к нему.

Янош. Что вы тут болтаете? Переворачиваете все наизнанку? Какие они первоклассные специалисты? Первоклассные враги!.. Гниль! Все до единого! Да я бы лучше со стадом свиней возился, чем с этими...

Присутствующие лишь глядят на него с удивлением, никто не отвечает. Янош опирается руками о стол, встает, хочет что-то еще сказать, но лишь рассекает кулаком воздух и падает на стол. Тот разваливается под ним, и Янош грохается на пол, но продолжает:

— Гнилые офицеры они, а не люди.

Кати из-за пивной стойки кричит парням:

— Выведите его на воздух, там очухается!

Парни хватают его, тащат к выходу. Янош продолжает размахивать руками. Когда его волокут мимо стойки, он вцепляется в нее.

Янош. А тебе вот что скажу. Который из этих твой любовник? Или все?

Кати сердито отворачивается от него.

Парни оттаскивают Яноша.

Оставшись один во дворе корчмы, Янош идет к колодцу и припадает к ведру с водой.

Янош осторожно приближается к дому Эржи. Стучит в дверь. В доме тишина, и он стучит сильнее. Наконец Эржи открывает дверь и впускает его.

Эржи, в ночной рубашке, спрашивает сонным голосом:

— Так поздно?.. Я согрею чай...

Пока она греет чай, Янош привычным движением снимает куртку. Затем снимает рубашку и ложится в кровать.

Эржи надевает халат и, не оборачиваясь, говорит Яношу:

— Представь себе, Геза перевел самое важное в английской книге. Хочешь посмотреть?

Янош. После, утром.

Эржи только теперь оборачивается и видит, что Янош уже лежит в кровати и что он пьян.

Эржи. Ты пил?

Янош (торопя). Иди же сюда!

Эржи с минуту раздумывает, затем несет ему чай. Тот сразу же жадно выпивает его, возвращает чашку и обнимает Эржи.

Янош. Ты ждала?

Эржи неохотно принимает объятия Яни.

Эржи. Оставь меня, ты пьян!

Янош. Я не пьян... Уже не пьян. Не ждала?

Эржи. Да ждала.

Янош жарко обнимает Эржи, укладывает ее в кровать, срывает с нее ночную рубашку, целует. Эржи обнимает его, но Янош вдруг отворачивается от нее и говорит смущенно:

— Не сердись.

Эржи понимающе гладит его, целует.

Эржи. Не беда... Потом... Очень хорошо, что ты пришел... Слышишь? У тебя какая-нибудь неприятность, поэтому ты выпил?

Янош. Это не интересно... Служебные дела... Всякое...

Эржи. На конезаводе неприятности?

Янош. Оставь эту поганую ферму... Я провалился... Нужно уходить оттуда.

Эржи. Как это уходить... Ты все выучишь о лошадях.

Янош. Не с лошадьми у меня проблема...

С ними у меня сладилось бы...

Мы видим обычную утреннюю верховую езду работающих на конезаводе бывших офицеров и унтер-офицеров. Они красиво восседают на раздувающих ноздри и танцующих жеребцах.

Голос Яноша. Я мог бы любить лошадей, если бы они не принадлежали этим, потому что они богатые, что тут отрицать. Лошадь не заботит, офицер это или унтер-офицер. Она любит того, кто за ней ухаживает, черт побери... Кабик напрасно меня утешает... Он пробует успокоить тем, что и у английских господ случалось, когда выводили сразу двух жеребцов. Те сцеплялись, и один убивал другого. А тот, который оставался жить, покрывал кобылу, и в результате вывелась одна из самых известных английских чистокровных пород.

Голос Эржи. Ну видишь...

Внимание и забота Эржи смягчают Яноша, он обнимает Эржи, покрывает всю ее поцелуями, Эржи возвращает ему поцелуи.

Янош выходит во двор, ждет, пока Эржи закроет за ним, затем еще некоторое время, пока погаснет лампа. И только потом направляется через двор к улице,

лавируя между большой грудой ящиков и бочками для капусты. Он уже почти достиг улицы, когда заметил какое-то движение и услышал за спиной топот нескольких пар ног. Он резко поворачивает голову. Сбоку из-за ящиков кто-то выпрыгивает. Незнакомые люди окружают его, сбивают с ног. Янош падает в груды ящиков, ящики сваливаются на него, почти накрывают, а напавшие продолжают со всей силой пинать его ногами. Янош теряет сознание.

Янош лежит в постели, мать крутится около него.

Мать. Так опозорить человека ни за что ни про что. И зачем вам надо столько недругов наживать? Твоего брата Мати им недостаточно, теперь в тебя вцепились. Кому ты заноза в глазу? Ты хотя бы видел их, чтобы расквитаться?

Янош. Это могли быть только люди с фермы. А я все испробовал, чтобы поладить с ними.

Входит Матяш, в руках у него коробка с лекарствами, он отдает ее матери, а сам начинает бриться. После некоторого молчания он обращается к Яношу.

— **Матяш.** Это болеутоляющее. Не надо ли составить судебно-медицинский протокол?

Янош. Теперь уже все равно, черт бы их всех побрал.

Матяш. Это Кати их на тебя науськала... Вот за тобой и рыскали...

Янош. Кати? А те, с фермы?

Матяш. Да какое с фермы? Хорошо бы они выглядели, если б осмелились такое сотворить, да и потом ты б узнал их. А вокруг Кати всегда кто-то вертится в надежде, что и им что-то обломится. Путался с курвой, вот и заплатил. В милиции так и говорят.

Янош. Ты все же ходил в милицию?

Матяш. Если бы я не сообщил, у этих парней было бы еще больше неприятностей.

Янош (взволнованно и с надеждой). Кати? Так ты говоришь, что это были люди не с конезавода?

Матяш. Чему радуешься?

Янош. Радуюсь, что были не мои люди.

Матяш. Ты сумасшедший. Радуюсь, что били. Да ты и сам виноват. Остался бы со мною, ничего бы не случилось...

Янош. К тебе я еще успею вернуться. Если бы я был уверен, что били они, я и дня бы там не остался. Как раз вчера я просил дядю Криштофа, чтобы разрешил мне пойти обратно к тебе, потому что я ненавижу тех, с конезавода, и они не любят меня.

Матяш. Любят, не любят! А кого любят, кто поставлен начальником? Привыкнут, тогда полюбят. Попробуй еще... С каждым, если он знает толк в профессии, можно

договориться. По крайней мере, с большинством... Вон как вкалывает мой Браун. А ты знаешь, откуда я его вывез...

Янош откидывается на подушки и с улыбкой смотрит на бредущегося Матяша.

В конторе конезавода офицеры, перебивая друг друга, горячо спорят о чем-то. Один из них, Кальман Аги, настолько взволнован, что вцепился руками в столешницу.

Аги. Вы не знаете мою жену, она не могла меня бросить. Я должен непременно найти ее. Не пробуйте меня удерживать.

Увидев в окне приближающегося Яноша, они замолкают. Входит Янош и, ничего не подозревая, обращается ко всем:

— Хорошо, что вы все здесь. Я как раз хотел вас собрать.

Бажи хватает Аги за руку.

Бажи. Можно ли ему уйти?

Янош. Как так? Если бы его тут не было, я бы послал за ним. Я хочу поговорить именно со всеми присутствующими.

Эёр. Значит, только с нами? Выходит, офицерское собрание.

Янош. Можно сказать и так... Послушайте, мы уже немного знаем друг друга. Конечно, было бы лучше подождать, пока все придут, и те, кто временно отослан, но мы с ними потом продолжим или снова начнем... Конечно, желательно, чтобы это был первый и последний разговор... Нам нужно наконец поговорить друг с другом начистоту. Мы не можем больше играть в прятки, вы это должны понять.

Эёр в недоумении спрашивает:

— Позвольте, о чем речь?

Янош некоторое время молчит в замешательстве, затем твердо произносит:

— Поймите наконец, так не может продолжаться. Речь идет о конезаводе, о вашем собственном будущем, вам надо решить, как жить дальше, потому что терпение наше кончится и тогда...

Гёрёг смотрит на своих товарищей.

Гёрёг. А мы-то что можем сделать? Что мы должны делать?

Маленький барон. Принять за угрозу то, что мы услышали?

Кабик. Господа, не надо преувеличивать!

Янош. Ну да, вы должны решить. Есть хороший пример, который и к вам имеет отношение... Вы, наверное, уже слышали о новом агрономе у моего брата... Вы живете в этой стране, получаете зарплату, у вас есть возможность работать. Но можно ли так трудиться? С неохотой? Словно это повинность?

Аги поднимает голову.

Аги. Мы еще и аплодировать должны? Ну уж нет!

Офицеры смотрят молча, враждебно, и Янош тоже молчит — он не ожидал такой реакции. Тишину нарушает Бажи:

— Вы спрашивали, можно ли так работать? И я спрашиваю, можно ли так работать? Окните взглядом страну и вы получите ответ.

Янош. Вы — это еще не вся страна!

Эёр. Мы умерли, но и вы не живете! К чему тут говорить о будущем?

Аги. Лучше кончайте с нами побыстрей, и желательнее без лишней жестокости!

Янош стоит как оглушенный. К нему подходит Кабик и скороговоркой объясняет:

— Именно сегодня ни к чему этот разговор. Я не хочу вас осуждать, прошу прощения, но одно грустное событие, о котором именно сегодня мы узнали... Вы поймете, что это не самый подходящий момент...

Бажи, который все это время молчал, теперь перехватывает слово:

— Вы нас не знаете. И не хотите узнать. Но сейчас вам не спрятаться и придется выслушать до конца, если действительно хотите знать, чего можно ждать от нас. Я с доверием вернулся в эту страну и привел домысленный табун, который затем сожрали как убойный скот! А едва я воспротивился, меня упрятали в тюрьму...

Показывает на Эёра:

— Знаете, где его семья? Вы не можете знать, потому что он сам не знает. Где-то на белом свете. В Германии? В Испании?

Бажи подходит к Маленькому барону:

— Вы у них выросли, знали их. Его сиятельство еще жив, а бывшие его слуги воруют для него картошку, чтобы он не умер с голоду.

Показывает на Аги:

— Его свекровь и жену депортировали из Пешта, затащили в самое глухое место Сабольча, и они живут в овечьем хлеву.

Аги дрожащим голосом отзывается:

— Жили! Теперь же я и адреса их не знаю. От меня таят, чтобы я, не дай бог, не узнал, что с ними на самом деле. Но моя жена не такая женщина, чтобы оставить мужа. Это тот вооруженный бандит ее вынудил, но... я не верю ни одному их слову... Вот доказательство. Свой новый адрес она не написала. Письмо опущено в Будапеште, но что может делать в Будапеште женщина, которую выселили? Они боятся, что я встречу с ней. Но я все равно разыщу ее!

Янош. Покажите это письмо...

Аги. Вам? Что вы себе воображаете? Уж вас это вовсе не касается.

Аги выбегает из конторы.

Бажи говорит оставшимся:

— Идите за ним.

Все уходит, в комнате остаются только Янош и Бажи. Они молча враждебно смотрят друг на друга, затем у Бажи вырывается:

— Понимаете наконец, что произошло?!

Он тоже выходит, Янош остается в конторе один. Он не может двинуться с места. Звонит телефон.

Янош. Здравствуйте, товарищ Шоберт... А отчего мне будет хорошо?.. Вам оттуда легко давать советы!.. «Твердой рукой»... Попробуйте сами!

Янош спал, когда раздался нетерпеливый стук в дверь. Янош хватается за револьвер, но затем снова кладет его под подушку. Зажигает лампу и, шурясь от яркого света, идет к двери, приоткрывает ее.

Двое в штатском, стоя на пороге, поторавливают его:

— Да впустите же, боженька в пастушьих штанах! Не ждали?

Янош. Кто вы? Что вам надо?

— А вы не знаете?

Они толкнули дверь; тот, кто вошел последним, оглянувшись, не видел ли их кто в коридоре. Тот, что постарше, показал удостоверение авоша*, скорее как предупреждение.

Авош. Мы не надолго вас задержим. Но оденьтесь, все же не так быстро дело делается...

Янош натягивает штаны, в то время как другой авош продолжает:

— Мы прибыли вовремя, в ноль часов тридцать минут, как обещали. Вам не звонили?

Янош. Наверное, позже звонили, когда в конторе уже никого не было.

Авош. Я спрашиваю только потому, что иначе нам трудно будет вам помочь.

Янош. Помочь? В чем?

Авош. Ну, это вам лучше знать и тем товарищам, с которыми вы говорили. Нас в это не посвящают. Нас послали, и мы здесь, и сделаем все, что можно... Так в чем проблема? Драка?

Янош. Да нет... В воскресенье упал.

Авош. Так... Упали...

Янош. Да. Выпил немного... Рассказать подробно?

Авош. Речь не об этом, товарищ Бушо.

Янош. О чем же?

Авош. Так мы каши не сварим. Если даже и не звонили вам ваши начальники, можете предположить, что не для развлечения мы сюда прибыли. Наверху решили, а мы и вы — выполним. Понимаете? Стало быть, не будем тратить время, товарищ Бушо, послушаем, какая у вас проблема и кого мы должны...

Авош делает определенный жест.

Янош. Нет никакой такой проблемы, для

* «Авош» (разг.) — работник АВН: Комитета государственной безопасности.

чего вы были бы нужны. Тут какое-то недоразумение.

Авош. Ну что ж, ситуация знакомая. Проят принять меры, затем передумывают, когда уже поздно. Пай-мальчиками хотят остаться.

Янош. Я не просил ни о каких мерах...

Авош придвигает себе стул и кивает на другой Яношу. Тот садится на самый краешек.

Авош. Садитесь-садитесь! Меры мы примем быстро, быстрее, чем некоторые предполагают. Но сначала мы должны получить кое-какую информацию... Что за дело у вас было в партшколе?

Янош. Какое это имеет отношение?

Авош. Вы только отвечаете! Спрашиваю я.

Янош. Я сам ушел.

Авош. Исключили! Потому что вы оклеветали партию.

Янош. Это неправда! Неправда! Просто был спор на семинаре. Руководитель придрался ко мне. Будто я утверждал, что «Сабад неп»* не такими представляет кооперативы, какие они в действительности. На самом же деле это относилось только к одной статье, а не ко всей газете или к партии... Журналист мог и ошибиться... Разве нет? И это не было клеветой...

Второй авош (с отеческой мягкостью). Ну видите, во что вы впутались. А благодаря доверию партии вы теперь все же важная птица. И мы хотели бы вам помочь. Итак, что было здесь сегодня? Бунт? О ком речь, товарищ Бушо?

Янош. Что вы хотите?

Авош вытягивает руку и сжимает ее в кулак:

— Помочь.

Янош молчит.

Авош. Кто главарь?.. Мы слушаем!

Янош. Но как... как вы себе это представляете?!

Авош. Но ведь здесь была какая-то проблема, не так ли?.. Накажем кого-нибудь для примера. У вас есть оружие?

Янош. Есть, конечно.

Он тянется под подушку и достает револьвер.

Авош. Это подойдет. Мы обнаружим его, скажем, под подушкой данного лица. Готовился к покушению, это довольно яркое дело. Так подойдет?

Янош. Не подойдет.

Авош. И почему же?

Янош. Потому что я не разрешаю.

Авош. Скажите, что вы хотите? Вы были в американском плену, правда? Как вы туда

попали? Почему не ушли на Запад? И почему именно в последний момент? И затем вас завербовали? Забросили назад? Спрашивать еще? Вы думаете, вам все позволено только потому, что ваш брат большая шишка? Как видите, мы все знаем. К чему это умничанье? Обезвредим главаря, а с остальными вы уже сами справитесь. Ну, давайте посмотрим, что это за птицы...

Он вынимает из кармана список.

Авош. Старший лейтенант Петер Алмаши... Каков этот?

Янош. Не знаю.

Авош. Как так не знаете? Я предупреждаю, товарищ Бушо, что если вы отклоните нашу помощь, мы будем считать это сокрытием преступления.

Анош. Я говорю, что не знаю. Большинство офицеров временно отослано вместе с жеребцами...

Авош. В такое время, осенью? Покрытие, насколько я знаю, бывает весной.

Янош. Когда уличили в саботаже моего предшественника, здесь прекратили разведание, жеребцов переселили в другие области. Сейчас я пробую их вернуть, но до сих пор пока вернулись только двое...

Второй авош внезапно дергает на себя дверь. Врывается Эёр.

Второй авош (острит). Ну, ну! Прошу, проходите... внутрь!

Эёр обращается к Яношу:

— Ужасно... Такого еще никогда... Мы думали, нужно доложить... Уже конец, повесился...

Янош. Кто? Бажи?

Они бегут через темный двор. Эёр торопливо рассказывает:

— Я проснулся, когда они пришли, и увидел в коридоре, кто такие... Мне они сказали, чтобы я лежал и чтобы ни слова, а я сообщил остальным, чтобы были осторожнее, потому что что-то готовится... Я не заметил, когда он ушел, а наши кровати стоят рядом.

Кальман Аги лежал в каморке для инструментов, прямо на земле, с опухшим лицом — его только что вынули из петли. Тело обступили полуодетые офицеры и конюхи. Кабик говорит вошедшему Яношу:

— Ему уже ничем не поможешь.

Янош. Почему он решил, что именно его искали?

Кабик. Не выдержали нервы. Это было для него слишком много...

Бажи. Мы были ровесниками... Вместе прошли войну... Никогда не поверил бы... Подоспевшие авоши обыскали карманы Аги и нашли письмо. Пожилой пробежал его глазами:

* «Сабад неп» («Свободный народ») — название газеты, органа коммунистов. С ноября 1956 года, когда образовалась ВСРП, выходит под названием «Непсабашаг» («Народная свобода»).

— «Дорогой Кальмушка... Я не смогла бы больше смотреть тебе в глаза... у меня не было другого выбора, я забеременела...» Где спальное место этого господина?

Кабик отправляется показать комнату.

Кабик. Сюда, пожалуйста.

Один из авошей говорит стоящему в дверях Яношу:

— Могли бы сказать, что это и был главарь...

Лошади в конюшне почувствовали мертвеца и беспокойно забили копытами. Конюхи их успокаивают. Янош молча входит в конюшню. Даже если бы он попробовал говорить, лошадиный топот заглушил бы его голос.

Янош шагает по бетонному тротуару. Останавливается перед калиткой, нетерпеливо дергает ручку, спешит к дому. Стучит, но лишь на повторный настойчивый стук в доме зажигают лампы.

Дверь открыл Матьяш и сердито ворчит на брата:

— Всю улицу разбудил. С ума сошел? Они входят в кухню.

Янош. На ферме случилось такое, что ты даже не мог бы себе представить.

В комнате проснулась мать:

— Матьяш, это к тебе? Кто там?

Матьяш. Это Яни, спите, мама.

Голос матери. Что-нибудь случилось? Почему вы не идете ко мне?

Янош. Ничего не случилось, мама, сейчас я приду.

Матьяш. Теперь она все время так, всего боится... А сейчас еще с тобой... Так что там, господи? Что произошло?

Мать в комнате приподнимается, прислушивается, пробует разобрать доносящиеся с кухни голоса, но ничего не понимает, снова ложится на подушку, только в глазах беспокойство.

Матьяш. Мерзкое дело. Очень мерзкое. Не впутаться в такое ты не мог, Яни, черт тебя побери.

Янош. Почему ты меня ругаешь?

Матьяш. А кому еще тебя ругать?

Янош. Нужно что-то предпринять.

Матьяш. Эти люди знают, что и зачем делают. Получили приказ, и готово.

Янош. Но кто же выдумал эту подлость?

Матьяш подходит ближе к Яношу.

Матьяш. Не говори так, у стен тоже есть уши... С этими людьми нельзя связываться. Ты ведь не знаешь, что знают они? Не знаешь. И не можешь знать. Радуйся, что не за тобой пришли... Видно, что-то есть, о чем мы не ведаем.

Янош. Но я так не могу работать и находиться среди тех...

Матьяш. Не будь такой бабой. Ты директор конезавода и должен понимать: тебе хотя бы помочь...

Янош. Но куда я дойду с такой помощью?

Матьяш. А до сих пор куда ты дошел? Только жаловался. Теперь их прижали, чтобы они были послушными.

Янош. Меня тоже прижали. Как эти авоши говорили со мной! Будто я... Будто всего охотнее меня... А почему? Ты это понимаешь?

Матьяш. Я никогда не забуду ту автомобильную прогулку. Другому о ней не сказал бы. Признаться, и самому себе еще не осмеливался сказать. Послушай же, Яни!... Я много раз думал о том, что нас держат на коротком поводке. Мы на первой линии, разные там председатели, начальники, но за нами стоят другие. Это вторая линия. У тех руки далеко дотягиваются. И нас они ни во что не посвящают. Есть среди них те, кто знает, что делает эта вторая линия, есть связь с ними. У Шоберта уж наверняка. Но я? Или ты? Или Мате? Что знаем мы? Ничего. Только то, что должны танцевать так, как они нам велят, а иначе...

Янош. О какой «второй линии» ты говоришь? Товарищ Ракоши знает об этом?

Матьяш. Его из этого исключи! Не стремись знать то, что тебя не касается... Забудь, что я тебе сказал, нет второй линии, только иногда человек не понимает, что и почему происходит... Ты начальник. Так? И ты не все говоришь своим подчиненным. Каждый знает столько, сколько ему положено, таков порядок вещей. Мы должны верить только в одно... Но нет... Всего и мы не можем знать...

Янош. Сначала ты говорил по-другому.

Матьяш. Да нет же, нет!

Янош. Ты сам начал это...

Матьяш. Я был скотиной. Только путаю тебя. Есть вещи, о которых мы не говорим.

Янош. Я не ребенок!

Матьяш. А иногда ведешь себя, как ребенок.

Янош. Как я могу теперь вернуться к ним и посмотреть им в глаза?

Матьяш. Что ты ноешь? Они получили то, что заслужили!

Янош. Но ведь никакой подлости они не совершили.

Матьяш хватается Яноша за куртку.

Матьяш. Ты дурак! Ты знаешь, кто эти офицеры?

Янош. Знаю, что ты имеешь в виду.

Матьяш. Речь не только о них. Обо всех! О каждом поганом господине офицере! Меня дважды призывали в штрафной батальон, я перекопал всю Украину, они погнали нас на минные поля, потому что у них не было саперов. Знаешь, как мы с Мате бежали? Старший

сержант, лучше сказать одна гнида, послал нас чистить отхожее место, сказал, что мы все же венгерские дети и не должны подыхать вместе с жидами. Так вот я могу быть благодарен за то, что я здесь, только ему, а не твоим офицерам...

Янош. Знаю...

Матьяш. Они и сейчас украсили бы нами все деревья вдоль шоссе, если бы могли. Не бойся, и ты висел бы с нами.

Янош. Что ты болтаешь?

Матьяш. Ты думаешь, что мы только пугаем друг друга тем, что обостряется классовая борьба? А если снова будет война? Ведь мы сидим на лопате углей...

Из комнаты доносится зов матери. Они идут к ней.

Матьяш. Ей ни слова об этом. Нельзя ее волновать.

Мать уже привстала в кровати.

Мать. О боже, наш Яни. Все же что произошло, что вы так кричали?

Янош садится рядом с ней на кровать.

— Ничего, ничего, мама, только этот Матьяш знает все лучше любого. Но я все равно женюсь!

Мать. Вы из-за этого ссорились? Ночью?

Янош. Днем у меня нет времени, чтобы ссориться с ним...

Мать. А Матьяш не хочет?

Янош. Конечно, нет.

Мать. Что, такая плохая девушка?

Янош. Как же, он даже не знает Эржику. Вы не пожалеете, честное слово, если я женюсь.

Мать. Кто эта Эржика?

Янош. Учительница...

Мать. Учительница? А за тебя пойдет учительница?

Янош. Почему бы ей не пойти за меня?

Мать. Не слушай брата! Он слишком высокомерный, и бог знает, что из этого будет...

В конторе конезавода только Янош и Бажи. Янош кому-то звонит. Энергичным голосом он кричит в телефонную трубку:

— Всех троих отправьте назад и сразу прекращайте покрытие, если превысило пятьдесят. Слушайте! Если жеребцы придут в негодность, мы взыщем за ущерб...

Он бросает трубку. Входит Гёрёг. Встает перед Яношем.

Гёрёг. Надо бы господина Кабика, у Раро пришло время...

Янош. Он обещал, что к полудню вернется.

Гёрёг. Нужен кто-нибудь немедленно, мы не можем взять на себя ответственность... Через четверть часа начнутся роды.

Янош поднимает телефонную трубку и набирает номер.

—...Алло, алло, товарищ Кабик там? Где?..

Большое спасибо (Гёрёгу.) А если бы никого не было, кто помог бы?

Гёрёг. Не знаю, имеем ли мы право. А вдруг мы сделаем что-то не так, пришьют дело. Опасно...

Бажи, который до этого не вмешивался в разговор, сказал официальным тоном:

— Если не возражаете, я приму роды.

Янош (обрадовавшись). Прошу вас, помогите.

Кто успел из конезаводчиков, все пришли в конюшню посмотреть, как Бажи принимает роды. И вот на свет появился маленький жеребенок. Люди расходятся. Янош с Бажи тоже идут к выходу.

На улице Гёрёг сообщает Бажи:

— Они снова здесь.

Люди видят, как два пограничника поблизости от фермы бродят между стогов, посматривая в их сторону.

Бажи говорит Яношу:

— Не первый день кого-то выслеживают или, может, нас охраняют.

Янош. Я разберусь.

Люди возле конюшен наблюдают за удаляющимися Яношем, который окликает пограничников и вступает с ними в беседу.

Янош (с дружеской решительностью). У вас изменился маршрут? Не понимаю. Ведь граница в километре отсюда. Я не вмешиваюсь в ваши дела, хотя меня не предупреждали.

Патруль. Для нас это окольный путь, но если нужно, мы его проделываем.

Янош. А до перестрелки не дойдет? Лошади пугливы, и я бы не хотел...

Патруль. У нас нет обычая стрелять вслепую. Что вы придумываете, товарищ?

В конторе Янош и Муром идут навстречу друг другу между боксами с лошадьми. И еще издали Муром говорит:

— То, что вы сейчас здесь видите, это ничто. Разведение прекратили. Разве это хорошо? Я не обидеть вас хочу, просто спрашиваю.

Янош в удивлении не знает, что ответить. Муром продолжает:

— До каких пор мы будем играть в прятки? Другие, знаете, эти офицеры, они хранят выдержку, но я спрашиваю, потому что я имею право спросить. Правда?

Янош только кивает головой, он видит в глазах Мурома радость.

Муром. Я знаю, что вы хотите ферме хорошего. Вы выслали отсюда авошей, штатских, которые напугали бедного господина старшего лейтенанта, а теперь еще и солдат.

Янош. Конечно, я хочу ферме добра...

Я тоже был мальчиком у господ. Я хотел бы, чтобы конезавод имел не только название, но и ранг.

Муром. Тогда пойдете.

Муром ведет Яноша за собой и показывает ему жеребенка, которого прятали.

Муром. Это наш секрет, Радього. Из него вырастет конь. Настоящий... Пожалуй, я не должен был бы вам это рассказывать... Но теперь уж все равно, если так случилось. Когда здесь пропало много красивых кобыл, а господина полковника забрала милиция и авоши, уводили и жеребят, но этого мы не дали, он наша гордость... Не спрашивайте, какой породы. Если даже меня будут расстреливать, я и тогда не скажу. Ну все, пора, а то могут прийти наши.

Янош, сияя от счастья, идет к выходу. Через другую дверь в конюшню входит Бажи и говорит Мурому, который вытягивается перед ним по стойке «смирно».

— Михай! Ты говорил с ним?

Муром. Только о лошадях.

Бажи. Брось. Не о девушках?

Бажи показывает туда, где прячется жеребенок:

— И о нем проболтался?

Муром. Я только сказал, что...

Бажи врезает Мурому пощечину.

Бажи. Болван, мы же договорились!

Муром стоит перед Бажи, не шелохнувшись.

На дворе конезавода объезжают жеребцов. Все спокойно сидят верхом, словно ничего не случилось несколько дней назад. Янош наблюдает за ними из своей конторы.

Бажи стоит в центре круга и направляет движение. Картина почти идиллическая.

Янош и Кабик осматривают жеребят, когда снаружи слышатся ружейные выстрелы.

Лошади пугаются, дергают цепи, пробуют высвободиться. Янош и Кабик устремляются к выходу. Утихомирить лошадей не удастся, потому что стрельба продолжается.

Янош бежит в ту сторону, где стреляют. Видит старшину Визи. Конюхи, столпившиеся в дверях конюшен, наблюдают за шныряющими между стогов пограничниками. За домами, на краю луга, выстроилась шеренга вооруженных солдат. Они устроили облаву на собак, и, если какая-нибудь из них выбегает на открытое пространство, солдаты стреляют в нее.

Янош торопится к своему приятелю.

Янош. Вы с ума сошли!

Визи. Истребляем падаль, уж очень их много развелось... Ночью лают на наших патрульных, нет никакой возможности пере-

двигаться незаметно, взрываются на минах у проволочных заграждений. Тем более, я все равно собирался провести боевые учения.

Янош. Сейчас же прекрати!

Визи. Не вмешивайся, кум. Это наше дело. Хлопают выстрелы, одна за другой падают собаки.

Янош хватается за руку.

Визи. Да не дергай ты!

Янош. Я и так не могу навести порядок, а вы явились сюда устраивать цирк!

Визи. Мы больше не собираемся нежничать с твоими офицерами!

Визи оставляет Яноша. Тот стоит неподвижно и возвращается назад. Опозоренный, повергнутый, он идет вдоль конюшен, откуда люди угрюмо наблюдают за расправой. Когда Янош проходит мимо Бажи, тот говорит Гёрёгу, но так, чтобы и директор слышал.

— Выше голову, пока целы! Будем радоваться, что лишь собак...

Вдруг Бажи свистит одной:

— Вожак, ко мне! Вожак!

Лохматая дворняга внезапно останавливается на лугу, прислушивается к голосу, и ее тотчас настигает пуля.

Бажи (горячо). Лучше так! Смерть настигла не на бегу.

Янош бежит к конторе.

Янош в конторе кричит в телефонную трубку:

— Остановите эту охоту, товарищ Шоберт! Снаружи еще доносятся выстрелы.

Шоберт говорит в телефонную трубку:

— Все будет в порядке. Успокойтесь. Хорошо, что позвонили, я уже искал вас. Вы можете к нам приехать? Нужно поговорить о важном деле, речь и о вас... Отправляйтесь прямо сейчас!

Янош идет по дороге, ведущей через небурное кукурузное поле. У поворота неожиданно появляется Кати. Янош замедляет шаг и дружески приветствует ее. Останавливается.

Янош. Привет, Кати! Ты уже и днем к нам идешь?

Кати сердито отвечает:

— Тебя не касается, куда я иду.

Янош. Меня это потому касается, что ты путаешься у нас. А я, как тебе известно, тут директор конезавода.

Кати (с раздражением). Директор конезавода! Ты вскарабкаешься ничтожество! Знаешь, ты кто? Палач! Ты для того сюда пришел, чтобы уничтожить этих благородных...

Янош. Заткнись!

Кати. Убирать людей — на это ты мастер!

Янош. Я?... Кого я убрал?

Кати. А нет? А того, которого на соседней станции сняли с поезда? Его конь все еще стоит там, в вагоне.

Янош. О чем ты говоришь?

Кати. Не знаешь, о чем?

Янош. Нет, честное слово, не знаю. Откуда ты это взяла?

Кати. Тот вагон отцепили, а сопровождавшего уже ждали два товарища... Ты не знал?

Янош. Наверное, он сделал что-то. Или сказал что-нибудь такое...

Кати. Не все такие скоты, как мой драгоценный муженек. Ты стоишь за этим! Сворачиваешь им шеи поодиночке, как цыплятам. И еще бахвалишься этим? Директор конезавода? Знаешь, какая ты мразь?

Янош. Врешь! Я ни одного не убрал! А если ты пойдешь туда и будешь подстрекать их паническими слухами...

Кати. Пойду. Не угрожай!

Янош. Кати, не ходи туда, очень тебя прошу. Зачем тебе нужно бежать на гибель?

В приемной Шоберта сидят две секретарши. Янош нерешительно приветствует молодую:

— Привет... Магда...

Та, что постарше, спрашивает официальным тоном:

— Вы по какому делу?

Янош. Товарищ Шоберт сказал, чтобы...

В приемную выходит Шоберт, хватая Яноша за руку и увлекает за собой в кабинет.

Шоберт. Ну, проходите, разговор у нас, к сожалению, короткий, товарищ Бушо, так как я спешу выехать в Будапешт...

Шоберт поворачивается к секретаршам:

— Распорядитесь, чтобы машина стояла у входа.

Он обхватывает Яноша за плечи и говорит ему:

— Собственно, я вызвал вас, чтобы сказать только, что можете радоваться. Разнообразные реорганизации, в процессе которых... словом... конезавод мы закрываем. Мы не можем держать его, рядом с границей таким, как он есть, это ясно. Вольем его, скорее всего, в «Новую Борозду», и там вы можете быть начальником фермы. Или найдем какое-нибудь другое решение... Увидим.

Янош. Закрываете? А товарищ Мате знает об этом?

Шоберт. Это уже дело решенное...

Янош. Но это невозможно. Я пойду к товарищу Мате.

Шоберт. Он уже не работает у нас.

Янош. Его сняли?

Шоберт. Это к делу не относится, но могу вас успокоить, вопрос конезавода не связан

с делом Мате. Вот, собственно, и все об этом...

Янош. А мои люди? Что будет с ними?

Шоберт. Эту акцию проведут без вас неожиданно компетентные люди. Во всяком случае, вы уже туда не возвращайтесь ни в коем случае. Вам там нечего делать.

Янош. Но что будет с моими людьми?

Шоберт. Мы думали, вы будете тверже и возьмете их в руки... Но я не хочу учить вас. Теперь все решится, а каким образом, это уже не наше с вами дело... Вы ничего не теряете, вы ведь и до этого работали с братом. Я ему позвоню.

Шоберт обращается к секретаршам:

— Товарища Матяша Бушо из «Новой Борозды».

Молодая секретарша, Магда, тотчас набирает номер, но там занято. Входит мужчина, Шоберт отходит с ним в сторону и тихо переговаривается. Тем временем Магде удалось связаться.

Магда. Товарища Бушо прошу... Товарищ Шоберт... Привет, Пири!.. Ну нет, так нет...

Янош просит у Магды телефонную трубку:

— Дай-ка сюда. Пири! Это Яни. Ты не знаешь, где мой брат? Это верно?... Большое спасибо.

Янош приближается к дому Мате. Перед домом стоит машина. На крыльцо выходят Мате с Матяшем. Какие-то люди сопровождают его к машине. Матяш остается в дверях. Мате и сопровождающие садятся на заднее сиденье. Янош устремляется к Мате, но машина трогается с места и исчезает за поворотом. Янош подходит к стоящему на крыльце Матяшу и спрашивает с беспокойством:

— Куда его забрали?

Матяш. Забрали?

Янош. Шоберт сказал мне о «деле Мате».

Матяш. Не очень они любят таких ветеранов.

Янош. Кто не любит?

Матяш. Они. Там, наверху. Что ты хотел от него?

Янош. Просить помощи...

Матяш. У него? Он сам нуждается в ней. Для этого я и пришел... Ну, идем, успокоим тетю Юли.

Янош. Тогда и мне помощи. Они хотят забрать моих людей.

Матяш. Это Шоберт сказал?

Янош. Он самый. Не позволяй! Ты еще можешь помочь...

Матяш. Чего ты хочешь? Ты вообще знаешь, чего ты хочешь?

Янош. Чтобы ты сказал кому-нибудь.

Матяш. Кому, несчастный?!

Янош. Ты всех знаешь...

Матяш. Тут ничего не поделаешь... Нужно поджать хвост! Видишь, если уже так складываются дела...

Янош. Что значит «так складываются»?
Матьяш. Ничего не изменить. Приму конезавод, все разрешится... Поверь, так будет лучше...

Янош. Уж очень умным ты стал с тех пор, как тебя прокатили на машине...

Матьяш. Помалкивай, пока улягутся дела. Неужели трудно понять?

Янош. Что можно в этом понять? Дюдю Криштофа сняли... Моих людей забирают. Шоберт всегда этого хотел, только я этого не понимал... Попал в капкан... Но и ты тоже...

Матьяш. Знаешь, что делает иногда умный зверь? Прячется. Ложится на землю... и замирает. Если дергается, то гибнет.

Янош. Но они уже верят мне.

Матьяш. Будь умным, Яни.

Янош нетерпеливо ждет Эржи перед школой, но в классе никак не закончится репетиция хора. Снова и снова поют одно место из «Кантаты о Сталине». Янош оглядывается, затем быстро удаляется.

На дворе конезавода объезжают лошадей. Но ни одного офицера.

Янош входит в контору и с удивлением обнаруживает, что тут кроме Кабика и Бажи, Эёр, Маленький барон, Гёрёг и Муром.

Янош. Добрый день!

На его приветствие отвечает лишь Кабик.

Янош вешает свой плащ, поворачивается и видит, что никто не двинулся с места.

Янош. Вы меня ждете? Зачем пришли? Маленький барон вспыхивает:

— Вы сами знаете!

Бажи (*холодным, бесстрастным голосом*). Послушайте, мы всё знаем, нет смысла врать. Пока вас здесь не было, мы звонили по поводу наших товарищей. От вашего имени, разумеется. И из того, что нам сказали, нетрудно извлечь правду, потому что ваши товарищи тоже врут, но делают это неумело. Схватили тех, из отосланных, потому они и не прибыли сюда. Ликвидация! Когда придут за нами? Или они уже здесь? Тогда пойдем немедленно с поцелуем Иуды, и пусть закончится цирк!

Янош. Какой Иуда?.. Я пришел сам.

Маленький барон. Вы лжете.

Бажи. Вас послали сюда затем, чтобы вы прикончили нас. Не вы ли сами выдумали это свинство?

Янош. Нет! Клянусь! Правда, нет.

Бажи. Лжете! Хотя бы сейчас не вяляйте!

Янош. Я не вяляю.

Офицеры. Лжете! Лжете!

Эёр. Это вы донесли на нас!

Янош. Неправда! Вы могли бы уже за это время узнать меня!

Бажи. Каждое ваше слово — ложь.

Янош. Я не лгу! Послушайте! Успокойтесь.

Я поэтому и пришел сюда к вам...

Никто не обращает внимания на Муром, который стоит за спиной Яноша. Мурому

кровь ударила в голову.

Муром. Врет. Он и мне сказал, что разрешит пойти домой на рождество, а уже тогда знал, что нас заберут.

Дрожащей рукой он выхватывает нож и всаживает Яношу в спину.

Ноги Бушо подкашиваются, он пробует зацепиться рукой за стол, но падает на пол. Кабик хватается за голову, опускается на колени перед раненым.

Кабик. Господи! Заколот!

Бажи подходит к Мурому, Муром агрессивно поднимает руку с ножом.

Муром. Только не пробуйте ударить! Это уже не пройдет, потому что... Конец этому!

Бажи. А кто хочет тебя ударить?

Пожимает Мурому руку.

Кабик вскакивает, хватается за телефон, хочет вызвать «Скорую помощь». Бажи подходит и выдергивает телефонный шнур.

Кабик. Я хочу «Скорую»...

Кабик снова склоняется над Яношем.

Бажи решительно говорит:

— Господа, я принимаю командование.

Нам нечего терять, мы должны попробовать невозможное, нужно перейти границу. Не дадим схватить нас! Лейтенант Эёр, поднимите по тревоге остальных!

Гёрёг. А лошади?

Бажи. Пешком у нас больше шансов.

Они выбегают. Бажи идет в комнату Яноша, берет из-под подушки его револьвер.

Тем временем собрались остальные. Бажи подходит к Маленькому барону, стоящему в наблюдении у конюшни. Возле леса медленно прохаживается дальний патруль.

Маленький барон. Все будет в порядке. За границей положитесь на меня. У меня есть связи.

Бажи (*укоризненно*). Возможно, что из-за тебя мы и должны уходить. Я говорил, что ты провалишься.

Маленький барон. Кому-то надо было взять на себя. И если не ты...

Бажи. Теперь уже все равно, главный бойскаут... Можно отправляться.

Бажи пускается бежать. Остальные бегут вслед за ним в тумане в сторону границы.

Умирающий Янош еще шевелит губами, но голос уже не слышен.

Снаружи доносится автоматная очередь. Озверевшие жеребцы, топчя друг друга, носятся в загоне.

Топот лошадиных копыт все громче.

1977 г.

*Перевод с венгерского А. Трошина
(И. Галл, А. Ковач. Хозяин конезавода.
Серия «От замысла к фильму».
«Магветё». Будапешт, 1979)*

Лауреат конкурса
МОЛОДЫХ КИНОДРАМАТУРГОВ



Алла
КРИНИЦЫНА

ОСКОЛОК
«ЧЕЛЛЕНДЖЕРА»

...Завтра сто тонн железа под названием «Челленджер» оторвутся от земли и пойдут ввысь. А пока он торчит обледеневшим колом на мысе Канаверал, подпирая собой угрюмое темное небо. Метровые наросты льда застыли на раструбах двигателей, и те, кто копошится внизу, на стартовой площадке, продрогли от ветра и холода.

...Сегодня, 28 января 1986 года, сто тонн железа под названием «Челленджер» оторвутся от земли в голубое солнечное небо.

Военный летчик командир корабля Френсис Скоби и шесть человек экипажа пойдут к стартовой площадке. По пути Кристе Макколифф сунут из толпы яблоко. Она рассмеется, надкусит его и махнет рукой.

Семь человек — пять мужчин и две женщины — поднимут сто тонн железа на высоту пятнадцать километров. Оставшиеся на земле будут радоваться и плакать от счастья.

Семь человек — пять мужчин и две женщины, — надрывая жилы от перегрузки, будут тянуть стотонный «Челленджер» вверх, но на 73-й секунде он сорвется, разнесенный взрывом, и плотный змеящийся хвост дыма потянется вниз, к тем, кто стоял на земле с остановившимися глазами.

...Завтра, 29 января 1986 года, люди наденут черную одежду и приспустят флаги страны США.

Корабли береговой охраны выйдут в Атлан-

тический океан, и гидролокаторы укажут людям на крупные предметы. Мощное течение океана окажет людям сопротивление, но они опустят под воду автоматические роботы и поднимут вверх найденные обломки.

...Поиск остальных частей взорвавшегося корабля продолжается...

Ей было пятьдесят шесть лет, и теперь она была простоволоса...

В сумерках она сидела в ординаторской, ждала врача, смотрела через приоткрытую дверь в пустынный больничный коридор... За окном выл ветер, бил по стеклам дождь... Врач не шел, и только один толстобрюхий больной сиротливо маячил в коридоре. Он стоял у окна в вылинявшей пижаме, отщипывал из кармана куртки хлеб, бросал мякиш в рот, изредка озирался, не видит ли кто, и снова тянулся к карману.

Из манипуляционной вышел подросток с подтеками крови на согнутой после укола руке. Он увидел толстобрюхого и поплелся к нему. С осторожным любопытством заглянул через плечо.

— У меня день рождения сегодня, знаешь? Да? — сказал он ему в спину. — Я родился сегодня, знаешь? Да?

Толстобрюхий сунул руку в карман и замер.

— Дай хлеба,— сказал подросток.— Я родился сегодня! Да! Родился!

— Надоел! — взвизгнул толстобрюхий и неумело ткнул подростка кулаком в плечо.— Пошел вон! Прилипала! У тебя каждый день — день рождения!

— Дай хлеба! Я родился сегодня! — закричал подросток.— Смотри, если не веришь,— он рванул на груди пижамную куртку.— Смотри! Вот он я! Вот! Родился!

— Это еще что такое? — выглянула из манипуляционной сестра.— Ты опять? — спросила она строго у подростка.

— А он глистов кормит! Каждый день глистов кормит! Хлебом! А на человека ему плавать! Почему — я родился, а ему плавать?! Почему?..

...Она поднялась и закрыла дверь ординаторской, мельком взглянула на себя в зеркало: да... теперь она была простоволоса...

— Ради бога, извините, Зинаида Михайловна! — торопливо вошел рыжеволосый врач.— В этом вселенском ремонте ничего нельзя найти! — посетовал он и добавил добродушно: — Но я все-таки поднапрягся и «Историю болезни» вашего сына разыскал... Вот... — положил он перед собой толстую потрепанную папку, взглянул на Зинаиду Михайловну.— Ну-ну-ну... А что за слезы? Почему?

Зинаида Михайловна закивала с жалкой извиняющейся улыбкой, забормотала извинения, высморкалась и, втянув воздух, прямо посмотрела на врача.

— Успокоились?

— Да,— ответила она.

— Тогда давайте по порядку,— уже без тени суеты и сентиментальности предложил врач.— Согласны?

Зинаида Михайловна с готовностью кивнула.

— Сколько было вашему сыну, когда вы его оставили?

— Три месяца...

— Три месяца... — повторил врач, открыл папку и, пролистав бумаги, взглянул на Зинаиду Михайловну.— А сейчас ему тридцать два года, и он понятия не имеет, что у него существует мать... Я понял из вашего письма, что вы с тех пор не видели сына. Так?..

— Да,— тихо ответила она.

— А вам известно, что он воспитывался во вспомогательном интернате для умственно отсталых детей?

— Да... Я даже присылала туда деньги. Не всегда, но присылала. А потом интернат куда-то переехал и...

— Скажите,— выждав несколько секунд, спросил врач,— а почему вы отказались от него? Вам что, врачи сразу установили диагноз? Или на ребенке была видна какая-то аномалия, патология?

Женщина не ответила, пожала неопределенно плечами.

— Зинаида Михайловна, давайте начистоту: вы хотите обрести сына, вы специально из-за этого приехали из другого города, вы хотите, чтоб я вам помог, но я пока не могу этого сделать! Потому что у меня под рукой только одна «История болезни». Ее писали другие люди. Чужие. А вы? Что вы скажете мне?

— Но ведь там должно быть указано, что его отец был болен шизофренией.

— Указано,— сухо ответил врач,— но не более того... Он был вашим мужем? Как вы решились на связь с больным человеком?

У Зинаиды Михайловны повлажнели глаза, но она сдержалась.

— В молодости я работала поваром... вот в такой больнице,— окинула она комнату взглядом.— Не знаю, как сейчас, а тогда к нам на кухню за обедом приходили больные, развозили бидоны по отделениям... Ну... Я и влюбилась в одного из них...

— А что? Признаков болезни у него не было? — поинтересовался врач.

— По-моему, нет,— неуверенно ответила Зинаида Михайловна.

— Он кто был по специальности?

— Говорил, что конструктор космических кораблей... Чертежи показывал...

Врач вздохнул.

— И вы так любили его, что дотянули до родов?

— Я молодая была, не понимала ничего, а когда поняла, срок был большой. Я увлилась...

— А он остался в больнице?

Зинаида Михайловна отвернулась, закусила губу, чтоб сдержать слезы, и ответила глухо:

— Да. Он остался... Остался и повесился... Она взглянула на врача прямо и открыто глазами, полными слез.

Врачу больше не хотелось задавать вопросы, а хотелось помочь этой простоволосой молодой женщине.

— Всю жизнь я гнала от себя это, а сейчас не могу! Все! Предел! Понимаете? У меня такая рана внутри, Игорь Сергеевич, такая рана!.. Пусть debil, пусть ходит под себя, пусть мочится на ходу, пусть все, что угодно, но я должна ему! Должна! Обязана!

— Ну... Это вы чересчур,— мягко усмехнулся врач.— Ваш сын не стационарный больной, его не надо привязывать к кровати, хотя иногда и такое бывает. Но что касается Летева... Его болезнь никому не мешает. Он даже работает.

— Работает?

— Да,— подтвердил врач,— санитаром в медицинском НИИ. И могу вам сказать, что его жизнь устоялась, она обыкновенно нормальная, как у всех остальных...

— Но я так измучилась! — воскликнула Зинаида Михайловна. — Всю жизнь я несущу этот крест!

Врач развел руками, помолчав, спросил:

— Вы знаете его адрес?

— Знаю, — ответила она, — но боюсь. До обморока боюсь встречи.

— Хотите, чтоб я первый поговорил с ним?

Она кивнула.

— Хорошо... — согласился врач. — Я попробую...

Здесь трудились люди в белых халатах. В шестизэтажном здании из гранита и мрамора слепила глаза нержавеющей сталь научных приборов.

И животные трудились здесь. В комнатах с постоянной температурой на трехъярусных стеллажах, в ящиках, рожали и умирали, ели и испражнялись, дрались и мирились крысы, мыши, кролики.

Теперь, пообедав, они попритихли, перестали возиться, и только легкое шуршание да редкое постукивание доносилось в светлый кафельный коридор вивария.

И Летев трудился здесь. Он стоял в конце коридора, тянул на себя длинный резиновый шланг, сматывал аккуратно. В волосах его застряли опилки, в опилках был и черный поношенный халат.

Из лаборантской в веселом настроении вышли две подружки лаборантки. Одна, позвякивая ключами, закрывала дверь, а другая, с железным подносом в руках, заметила Летева, окликнула:

— Валюшка! Вынеси, а? А то мы со Светкой опаздываем.

— Вынесу, оставьте, — доматывая шланг, отозвался Летев.

Лаборантки торопливо застучали сапожками по плиточному полу, а Летев подошел, присел на корточки у железного поддона с мертвыми крысами, сказал беззлобно:

— Ну что, дети мои? Порезали вас Наташка со Светкой? А? И ты среди них, Сильва? — спросил он и перевернул одну из крыс. Та дернулась в судороге и застыла.

Летев подхватил поддон, вышел на лестничную клетку, спустился на пролет, к мусоропроводу.

— Ну, вперед, — сказал он и выбросил мертвых животных. Хлопнула крышка.

— Валюшка! Валюшка! — донеслось снизу, и на лестнице показалась рабочая кормухи тетя Надя. Похрустывая морковкой, она крикнула Летеву: — Ну, где ты ходишь?

— Я опилки выгружал...

— К телефону тебя, — сказала тетя Надя, но заметив в руках Летева поддон, набросилась сердито: — Опять за лаборантками убираешься, да? Животных им лень после

опытов в морозилку сбросить! На голову тебе сели!

Они спускались на первый этаж вивария. Летев молчал. Тетя Надя взглянула на него и покачала головой.

— На вот яблочко, — достала она из кармана засаленного халата яблоко. — Погрызи.

— Спасибо, — заулыбался он и негромко постучал в дверь заведующего.

— Да там нет никого! Иди! — подсказала тетя Надя, и Летев вошел.

— Да, — настороженно сказал он в телефонную трубку и тут же преобразился лицом, засиял. — Игорь Сергеевич, вы?.. Я думал, вы меня забыли... Хорошо чувствую... А вы хотите меня видеть?.. — Он засмеялся. — И я соскучился... Нет, не по больнице... По вас и по няне Кате. Дети мои? Дети мои трудятся... Да... А Сильва сегодня умерла... Расскажу... Приеду... Обязательно... — Он опустил трубку и, счастливо улыбаясь, вышел в коридор.

В лаборантской напротив пожилая сотрудница собиралась домой: красила губы, переодевала обувь, шелестела кулком.

— Домой? — поинтересовался Летев.

— Домой, — не глядя на него, ответила лаборантка.

— А они как? — кивнул он на стол, заставленный колбами. В закрытых воронках, свесив тонкие хвосты в колбы, трудились мыши.

— Что как? — не поняла лаборантка.

— Писают? Норму выполняют?

— Да ну, — недовольно отмахнулась она, — сиди здесь теперь с ними целое лето. Нет чтобы осенью начать, так ему обязательно надо людям отпуск сорвать, — помянула лаборантка кого-то. — Приберешься здесь, а, Валюшка?

— Приберусь, — ответил он и остался один.

Он окинул взглядом подопытных животных и спросил:

— Ну что же вы, дети мои?.. Что ж вы так плохо работаете? А? Почему я должен краснеть? Или бунтуете? — Осторожно приподнял он одну из колб, посмотрел, сколько в ней жидкости. — Не хотите, чтобы человек совершенствовался?

Он поставил колбу на место, взял в углу ведро, набрал воды из-под крана, окупнул тряпку, набросил на швабру и продолжал:

— А кто рабство отменил? А кто мосты строит, города? Кто поезд придумал, теплоход, ракету? Мы или человек? То-то. Ничего я не зазнался. Просто каждый должен на своем месте делать свою работу честно. Посадили в колбу — пидай. Не наша работа... А по помойкам бегать и жрать всякую пакость — наша? Значит, мы сами по себе, а человек сам по себе... Нет, дети мои, так не получится. Вы эти животные замашки бросьте: каждый для себя. Возврата не будет, —

бормотал он, протирая пол.— Только вперед, дети мои, только вперед...

Сюда, на окраину города с высокими соснами, в блочный восьмиэтажный дом с розовыми занавесками, приходили на ночлег люди.

Здоровая крепкая женщина охраняла их покой: дежурила на этаже, против лифта.

— Вы куда, гражданин? — спросила она у Летева.

— Мне в семьдесят третью комнату.

Дежурная выдвинула ящик стола и сообщила:

— Там никого нет.

— Ну, я подожду. Можно? — робко спросил Летев и хотел идти по коридору.

— Гражданин! — окликнула его дежурная.— Где вы подождете?

— Под дверью,— ответил он.

— Там нет никого! Говорю вам! Она обедать пошла. Внизу посмотрите, в ресторане...

Днем в большом гостиничном ресторане кормилось не много людей. Летев остановился в дверях, окинул зал взглядом и увидел одинокую женщину у окна. Он смотрел на нее несколько секунд, затем отряхнул брюки и направился к ней.

Зинаида Михайловна ела суп.

— Здравствуйте,— Летев остановился у стола.

— Здравствуйте,— ответила Зинаида Михайловна.

Летев молча смотрел на нее, она с недоумением — на него, но потом отвернулась и продолжала есть.

— Это же я, мама,— наконец сказал Летев.— Вы что, меня не узнали?

У Зинаиды Михайловны дрогнула рука, она расплескала суп и пробормотала:

— Господи...

— А вы обедаете? — спросил Летев.

— Обедаю,— с трудом ответила она.

— Приятного аппетита,— улыбнулся он.

— Спасибо,— машинально ответила Зинаида Михайловна.

Летев виновато топтался у стола.

— Можно мне к вам? — робко спросил он.

— Да-да... Конечно!.. — растерянно воскликнула она.

Он отодвинул стул и сел напротив Зинаиды Михайловны. Она беспомощно оглянулась.

— А мне лечащий врач позвонил,— сообщил Летев.— Это правда, что я — ваш сын?

— Правда...

— Поклонитесь, — неожиданно попросил он.

— Клянусь,— неуверенно сказала Зинаида Михайловна, и Летев облегченно рассмеялся.

Подошел официант, хотел забрать тарелку из-под супа.

— Не надо,— Летев остановил его руку,— лучше я доем. — И он поставил тарелку перед собой.

— Что за шутки? — не понял официант.

— А я не шучу,— улыбнулся ему Летев.— Что здесь смешного? То, что я после матери хочу доест суп? — И он поднес ложку к губам.

Официант покосился на Зинаиду Михайловну, поставил горячее и ушел.

— Я вообще не брезгливый,— сказал Летев.— А после человека — так особенно. Ведь все люди чистые, правда, мама?

Зинаида Михайловна со страхом посмотрела на сына. Смотрела, как он жадно ел, как жевал, как поднял тарелку и допил из нее. Она суетливо протянула ему курицу. Он разорвал ее пополам, одну часть протянул матери, другую оставил себе и тут же вгрызся в нее зубами. По подбородку у него потек жир.

Зинаида Михайловна к еде не притронулась.

— Не нравлюсь я вам, да, мама?

— Да нет, ну почему же? — попыталась улыбнуться Зинаида Михайлова, но неожиданно для себя заплакала.

Летев отодвинул тарелку. Достал из кармана замусоленный платок и молча протянул матери. Она посмотрела, замотала головой и взяла со стола салфетку.

— Я знал, что не понравлюсь,— огорчился Летев.— Я не могу нравиться.

— Почему же? — сквозь слезы удивилась Зинаида Михайловна.

— Потому что я — животное,— ответил он.— Двухное животное. А вы — человек! Мы не стыкуемся...

— Но как же?.. Я же твоя мать!.. Почему же ты животное?..

— Не знаю,— пожал он плечами.— Что-то не сработало в развитии. Я не дотянул до человека.

— О господи... — пробормотала она.

— Разве вам необходимо животное в доме? — спросил Летев.

Мать отвернулась к окну, провела салфеткой по лицу и неожиданно твердо ответила ему:

— Да.

Летев рассмеялся.

— Вы так любите меня?

— Да,— подтвердила она.

Летев снова рассмеялся.

— А хотите,— предложил он,— можно жить у меня в котельной. Там чисто. Мне разрешили. А кормиться можно в институте...

— Ну зачем же? — перебила его Зинаида Михайловна.— У меня свой дом, рядом море. Разве тебе врач не рассказывал?

Летев задумался.

— Но я так хотел стать человеком! — сказал он расстроено.

Зинаида Михайловна хотела что-то возразить, но Летев не дал ей:

— Нет, нет, вы меня просто не знаете...

Она невесело усмехнулась:

— Ну, хорошо... А что тебе мешает стать человеком в другом городе?

Летев пожал плечами.

— Я ведь рабочий. Рабочий по уходу за животными. Понюхайте мой рукав, — протянул он ей руку. — Чем пахнет? Мочой и пометом. Понимаете? Труд сделал из обезьяны человека. Раньше, после интерната, я работал в мастерских, сбивал табуретки. Я могу сбить табуретку за три минуты! Но я не стал человеком... А потом... Потом случайно попал в виварий, и после трех лет работы мне уже доверяли сортировать мышей. Сюда, допустим, самцов, а сюда самок, — показал он на тарелки. — Ведь это прогресс! А в прошлом году мою фотографию повесили на доску почета. Рядом с профессором, понимаете?.. Но я сорвал свое изображение, — добавил он.

— Почему? — удивилась Зинаида Михайловна.

— Потому что я смотрю на животных и вижу, что ничуть не лучше, чем они. Какое право я имею быть рядом с человеком?

— Да тебе просто не надо там работать! — воскликнула Зинаида Михайловна.

— Нет, — сказал Летев. — Надо. Я должен постоянно сверяться. Иначе я делаюсь еще хуже.

— Но ты ведь... поедешь ко мне? — настороженно спросила она.

— Поеду, — грустно ответил он. — Только я очень много ем, мама. Я проедаю полторы ставки. Я не могу жить за ваш счет...

Метрдотель включил магнитофон, заиграла негромкая музыка.

— Это «Собачий вальс»? — обрадованно спросил Летев.

— Не знаю, — растерялась Зинаида Михайловна.

— Это «Собачий вальс», — уверенно подтвердил Летев. — Я помню.

Он посмотрел на Зинаиду Михайловну и поднялся.

— Мама, можно я приглашу вас на вальс? — попросил он.

Она беспомощно оглянулась на пустой ресторан.

— Я здесь, мама, — позвал Летев.

— Но это не вальс, это... — попыталась воспротивиться она.

— Вальс... — упрямо сказал Летев и добавил: — Ну, пожалуйста...

Зинаида Михайловна поднялась, и они неуклюже застопились у окна.

— Вы простили меня? — спросил Летев.

— За что? — не поняла она.

— За то, что я такой родился.

Она не ответила, отвернулась в сторону.

— От вас так пахнет хорошо, — пробормотал он. — Совсем не так, как в детстве.

— А как от меня пахло в детстве? — удивилась она.

— Пóтом и хлоркой, — сказал Летев. — Вы были тогда толстая и все время ходили со шваброй. Мыли, мыли, мыли коридор.

— Но это была не я! — отстранилась мать.

— Вы, — сказал Летев. — Это были вы. Я помню.

В бледном свете зашторенных окон, на скомоканных простынях, среди разбросанных подушек мужчины и женщины отдыхали. Ему было двадцать семь лет, и у него были силы. Он положил руку ей на живот и спросил:

— Зачем ты надела рубашку?

Зинаида не ответила.

— Но я хочу еще, — прошептал он и дотронулся губами до ее плеча.

— А я не хочу, — сказала она и добавила: — Надо вставать, скоро Валюшка придет.

Валера убрал руку.

— Ты специально его привезла, чтобы он нам мешал?

— Я привезла его потому, что это мой крест, — ответила Зинаида и села на край широкого дивана, потрясла Валеру за голую ногу: — Ну, вставай, не балуйся...

— Я крошки хочу, — не поворачиваясь, ответил он.

— Сначала давление мне померяешь, а потом будешь крошку есть. — Зинаида поднялась и достала из шкафа аппарат. — Голова что-то кружится... — она присела к столу. — Ты слышишь?

— Слышу, — тяжело вздохнул Валера и откинулся на спину, пощупал руками живот.

— Что, опять болит? — заметила она.

— Ага...

— Меньше шампанского надо пить...

— Я с горя, — пробурчал Валера, — ты же кашку мне теперь с утра не варишь. Все! Теперь сынуле готовишь. — Он поднялся и пошлепал к столу.

— Он сам себе готовит, — ответила Зинаида и протянула руку.

Валера неуверенно обмотал ей черной повязкой руку выше локтя, вставил в уши фонендоскоп и накачал грушу, сосредоточенно глядя на шкалу.

— Ничего не слышно, — проворчал он.

— Колпачок сними, — подсказала Зинаида и добавила раздраженно: — Сто раз мерял, и каждый раз одно и то же!

Валера вздохнул и вновь накачал грушу. Присвистнул.

— Что? — беспокойно спросила она.

— Сто семьдесят на двадцать...

— Это от жары, — подытожила Зинаида и

стала собирать аппарат, а Валера тихо рассмеялся.

— Ты что? — не поняла она.

Но Валера не ответил, хохотал беззвучно, и Зинаида, глядя на него, засмеялась сама. Хлопнула его по голой спине и сказала сквозь смех:

— Ну хватит, хватит... Жеребец...

Она поднялась, забрала волосы в хвост и мельком взглянула на себя в зеркало...

— Вот! — неожиданно услышала она и повернулась.— А раньше зашивала.— Валера крутил в дырке носка пальцем.

— Хватит ныть! — раздраженно воскликнула Зинаида и подобрала с пола джинсы, бросила Валере.— Не маленький!

— А говорила, твоя любовь беспредельна,— снова сказал он и добавил, надевая носки: — Волосы покрасила, барахло продаешь, машину... и меня заодно туда же.

— Что ты мелешь? — возмутилась она.— Что я продаю? Я на пенсию ушла. Мне сыну помогать надо. На кой черт мне машина, если он инвалид! Ему витамины нужны...

— Но я ведь не инвалид...

Зинаида взглянула на него.

— Шучу, шучу,— рассмеялся Валера и тут же щелкнул пальцами.— Чик-чики-чик-чики-чик-чики-чик,— напел он мелодию и пошел на Зинаиду с поджарым голым животом, вихляя бедрами.— Помнишь?.. Ну, давай! Чик-чики-чик... — не останавливаясь, он взял ее за руку.

— Чик-чики-чик-чики-чик-чики-чик, — вильнула она бедрами и мягким животом.— Чик-чики-чик-чики-чик,— поддержала она Валеру, глядя ему в глаза.

«Чик-чики-чик-чики-чик» — наступали они друг на друга, и в движении сомкнулись их тела, терлись животы, и глаза смотрели в глаза.— «Чик-чики-чик»...

Внезапно из прихожей донесся длинный звонок.

— Ну что ты стоишь?!— воскликнула Зинаида.— Рубашку надень!

Она суетливо набросила халат и выскочила из комнаты.

На пороге веранды стоял счастливый Летев, вытирал ноги.

— А я вас разбудил, мама? — расстроился он.

— Да нет,— ответила Зинаида Михайловна.— Я просто сняла платье, в нем жарко.

— А меня на работу взяли,— сообщил он и снял сандалии. Потер нога об ногу и вдруг заметил Валеру.

— Это мой брат?— кинулся он к матери.

— Нет,— ответила она, а Валера уже вышел на веранду и сказал:

— Привет, сынок.

— Перестань!— одернула его Зинаида и объяснила сыну: — Это водитель. Когда я работала в тресте, мне положен был водитель.

— Но ведь вы больше не работаете?..— сказал Летев.

— Нет,— ответила Зинаида.— Я недавно ушла на пенсию...

— А водитель остался,— подтвердил Валера и пожал Летеvu руку.— И навещает твою маму. Ты не против?

— Нет,— улыбнулся Летев.— Я рад.

— Я тоже,— засмеялся Валера и посмотрел на Зинаиду.— Ну что, Зинаида Михайловна, я пошел?..

— Иди,— кивнула она и напомнила ему в спину:— О поездке помнишь?

— Угу,— оглянулся Валера и подмигнул Летеvu; — Пока, сынок!.. Береги маму...

— Приходите! — крикнул ему Летев вслед.

Она проснулась в лучах солнца, открыла глаза и тихо лежала, глядя в одну точку. Ей было семнадцать лет, и имя ее было Валерия.

В углу комнаты, напротив нее, скрипнула кровать, и Лерка встретилась взглядом со стариком. Заросший щетиной, он молча и не мигая смотрел на нее.

— Ну что ты смотришь?— спросила она.— Что? Ты и я — вместе целая страна, вместе дружная семья. Понял? Смотрит он... — Лерка поднялась, оправила смятую юбку и пошла в коридор, ударила пяткой в дверь соседней комнаты.— Ну хватит там дрыхнуть! Хватит!— зло заорала она.

Никто не отозвался. Лерка прислушалась и поплелась обратно.

Старик молча следил за ней глазами.

— Ну что ты смотришь? Обиделся, да? Вовремя утку тебе не дали? Хочешь, танец живота покажу?— и, приспустив юбку, Лерка несколько раз втянула-вытянула живот.

Старик слабо улыбнулся.

— Ну вот,— хмыкнула она.— А то лежишь, как мумия, только воздух портишь.

Лерка распахнула окно и достала из-под кровати старика утку, сдернула с него одеяло и тут же возмутилась:

— Ну, надул! Потерпеть, что ли, не мог? Да? Лежи теперь. Мне стирать тебе некогда!— И она запахнула одеяло обратно.

Взяла с тумбочки бутылку томатного сока, открыла о железную спинку кровати и жадно сделала несколько глотков.

— Фу!— выдохнула она и помотала головой.

Потом присела у изголовья старика и сунула ему бутылку в рот, стала поить соком.

Красный томат потек у него по подбородку, закапал на рубаху, растекаясь по старческой груди, но старик жадно сосал бутылку, и Лерка терпеливо ее держала. Вытерла ему губы замусоленным полотенцем и

неожиданно услышала в соседней комнате смех. Она торпливо сунула бутылку старику под мышку и бросилась в коридор.

Затарабанила кулаком в дверь.

— Ну, чего шумишь, маленькая?— Щелкнул замок, и на пороге появился длинный парень в джинсах, голый по пояс.— Мы что, вчера плохо погуляли?

— Кончай спать! Ко мне сейчас брат придет,— зло ответила Лерка и посмотрела в глубь комнаты.

Там, на широкой тахте, в скомканных простынях, спал другой, с курчавыми волосами цвета льна.

— Котя...— осторожно позвала его Лерка и вошла в комнату. Склонилась над ним и легонько погладила по голой спине.— Котя...

— Отстань от меня. Я спать хочу.

— Он на тебя обиделся, маленькая,— зевая и поглядывая на себя в зеркало, сказал Длинный.— Не захотела к нам ночью прийти...— И он натянул голубую майку.

— Котя...— снова позвала Лерка.

— Вставай, малыш,— Длинный пощекотал Котю за голую пятку.

Котя зашевелился и откинулся на спину.

— Ну, чего уставилась?— спросил он Лерку и потянулся за штанами, но она опередила его, подала одежду сама.

Настойчивый звонок раздался в квартире...

Лерка пошла открывать.

— Привет,— вошел в коридор Валера.— Ты чего закрылась?

— Ничего не закрылась,— пробубнила она, и Валера внимательно посмотрел ей в лицо.— Что? Опять вчера надралась?

Он сбросил с плеча сумку и прошел на кухню.

— А это что за бардак?— кивнул он на грязный, заставленный бутылками стол и вдруг увидел мелькнувших в коридоре Длинного с Котей.

— Я не понял!— воскликнул Валера и бросился за ними.

Но Котя уже был на площадке, проскочил мимо лифта и заспешил вниз по лестнице. А Длинный, не обращая внимания на Валеру, сделал его сестре воздушный поцелуй:

— Пока, маленькая...

— Ты, Длинный!— заорал Валера.— Еще раз увижу здесь — посажу!

Длинный повернулся и ответил спокойно:

— А я тебя... Ты понял?— добавил он с легкой угрозой.

— Не с твоим очком!— Валера хотел захлопнуть дверь, но Длинный подставил ногу.

— И в зоне встретимся...— чмокнул он губами.

Валера ударил ногой ему в колено, захлопнул дверь, молча взглянул на Лерку и пошел на кухню.

— Иди сюда!— позвал он.

Опустив голову, Лерка ползла за братом.

— В общем, так,— хлопнул Валера по столу.— Собирай шмотки и поедешь ко мне в коммуналку. А я сюда. На твоё место.

— А за стариком кто будет ухаживать?— хмыкнула она.

— Я,— ответил Валера.

— Уколы ему делать, да? Кормить из ложечки? Дерьмо выносить?

— Я! Я!— подтвердил Валера.— Давай собирай шмотки...

— Ну и пожалуйста! Напугал!— крикнула Лерка и хотела выскочить из кухни, но Валера перехватил ее за руку, толкнул спиной к стене.

— А ну стойте!— заорал он.

Лерка притихла и отвернулась.

— Малолетка паршивая! Притон здесь устроила! Как дал бы!— размахнулся он, но не ударил.— Ты хоть знаешь, кого ты в дом привела? Башка есть на плечах? Хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда?

— Кто меня вышвырнет? Я здесь прописана!— дернулась Лерка.

— А ну стойте!— прикрикнул на нее Валера, и сестра осталась на месте, уткнулась взглядом в пол.

— А если он не сегодня-завтра очоурится?— кивнул Валера на комнату.— И тебя в ЛТП выкинут за бардаки и пьянки? На кой черт тогда мать за него замуж выходила? А? Или ты на их жалость надеешься? Кому ты нужна? Кому?

— Никому,— не поднимая головы, проговорила Лерка, и по щекам у нее потекли слезы.

Валера тяжело вздохнул, отступил и присел к столу, напротив сестры.

— Чайник поставь,— наконец сказал он.— Я кофе хочу.

— У меня нет,— шмыгнула носом Лерка.

— Я сказал — поставь.

Валера принес из коридора сумку, выгрузил на стол банку кофе, чай, сгущенку, сухую колбасу.

— Зина дала?— буркнула сестра.

— Зине не до нас,— Валера понюхал грязный стакан и поморщился,— у нее свои проблемы...

— С шизиком, что ли?— продолжая дуться на брата, спросила Лерка.

— И с ним тоже.

Он присел к столу. Посмотрел Лерке в спину.

— А ты его хоть видел?

— Видел...

— Ну и как? Совсем того, да?— покрутила она у виска.

— Нормальный,— ответил Валера.— Ну, давай, что ты возишься?— прикрикнул он на сестру.

Лерка поставила перед ним чашку кофе. Валера сделал несколько глотков, закурил и молча посмотрел на Лерку.

— Ты что все время на меня так смотришь? — спросила она.

— Думаю, — ответил он.

— А-а-а, — протянула Лерка и впервые улыбнулась.

— Я завтра на Лиман уезжаю, — сказал ей Валера. — Помогу Зине машину толкнуть. Надо, чтобы ты с шизиком на море сходил. Рассвет встретила...

— Какой рассвет? — не поняла Лерка.

— Солнечный, — ответил брат.

— А зачем? — растерлась она.

— А затем, чтобы он не утонул. У него болезнь такая: рассвет на море встречать...

— А... это... — удивленно пробормотала Лерка и тут же замотала головой: — Нет! Я не пойду!

— Ну, не пойдешь так не пойдешь, — небрежно ответил Валера и допил кофе.

Лерка опустила на стул против брата.

— Ну, Валерочка...

— Что?... В конце концов, ты не мне одолжение делаешь, а Зине. Она тебя в мед-улице устроила, не я. Это ваши дела.

— Она что? Нанять никого не может?

— Почему не может? Она тебе четвертак передала, — Валера полез в бумажник. — Кофе, между прочим, тоже от нее. — И он положил перед сестрой двадцать пять рублей.

— Могла бы и полтинник дать.

Лерка забрала деньги, скрутила их трубочкой и, приложив к губам, подула на брата.

— Не балуйся...

— Я хочу сделать заявление на весь мир!

— Сначала тараканов выведи, — кивнул Валера на стену и поднялся.

Здесь трудились люди в белых халатах. В новом здании из стекла и бетона, устремленном ввысь, слепила глаза нержавеющая сталь научных приборов.

И собаки трудились здесь. В тускло освещенных комнатах полуподвала, в кафельных метровых боксах, на сыром от испражнений плиточном полу.

И Летев трудился здесь. Он втащил в комнату огромную кастрюлю и радостно сообщил животным:

— Ну что, дети мои, будем обедать?

Увидев Летева, собаки забеспокоились, залаяли, затрясли решетчатые двери передними лапами, норовя просунуть морды сквозь прутья.

Летев, не обращая на них внимания, щелкнул задвижкой первого бокса. Достал из клетки пластмассовый таз и налил в него похлебку.

— Ешь, родная, поправляйся, — ловко сунул он таз обратно.

Узнав его голос и принюхавшись к запаху еды, собаки пустили слюну, но успокоились, отпрянули от решеток, и только одна, пятнистая здоровая сука, все топталась на задних лапах, трясла решетку.

— Нет, нет, нет, — Летев протащил мимо ее бокса кастрюлю. — Ты сегодня без обеда, Стрелка... Ты сегодня работаешь...

Он дораздал еду, а остатки вылил в свободный таз, ополоснув его прежде из шланга. В комнате стояло дружное чавканье.

Летев присел на перевернутое ведро у стены, достал из кармана халата горбушку хлеба и обмакнул его в похлебку.

— Приятного аппетита, дети мои, — сказал он и сам принялся за еду.

Молодой рыжий кобель понюхал похлебку и отошел в глубь бокса, улегся, свернувшись клубком.

— А ты что же, Ржавый? — заметил его отказ Летев. — Ну и что, что в клетку тебя посадили? Мы все здесь из клетки. А ты как думал? Из одной клетки вышел — в другую вошел... Меня так в школе учили:

Поделилась, подробилась,

В червяка превратилась.

Потом рыбкой стала.

Головастиком сплясала,

В танце хвостик потеряла.

Тут же шерсти начесала,

Обезьянкой засакала.

Через месяц полиняла

И руками замахала.

Завертелась, и забилась,

И на свет народилась!

— Угадал? — спросил Летев, но Ржавый отвернул морду к стене. — Эх ты... — пробормотал Летев и доел похлебку. — Законов природы не знаешь... А еще собакой называешься... Кто еще не знает, дети мои? — окинул он комнату взглядом, но тут заглянул ассистент в белом халате.

— Давайте, давайте! У нас все готово, — поторопил он Летева.

— Эту? — кивнул Летев на Стрелку.

— Эту, — подтвердил ассистент. — Гуляли с ней?

— Гулял...

— Ну, давайте тогда, — повторил ассистент и скрылся за дверь.

Летев щелкнул задвижкой бокса, достал из кармана удавку и ловко набросил на шею собаке. Она ликовала.

Вместе они взбежали по ступенькам на первый этаж и пошли по коридору операционного блока. Неожиданно, на полпути, Стрелка остановилась, заупрямилась, оскалила зубы.

— Ну что же ты? — склонился к ней Летев. — Боишься, да? — Он ласково провел ру-

кой по ее дрожащей спине.— А кто науку будет двигать? Или человек должен на себе опыты проводить, а? Так ведь он проводит, Стрелка,— объяснял Летев.— Только умирает потом. Умирает, и все. А наука стоит... И вакцины нет... Мы с тобой, родная, в это время в стороне...

Стрелка вильнула хвостом, и он повел ее дальше.

— Человек вперед идет, а мы дрожим от страха... У нас инстинкты! Так получается! — сказал он и ввел собаку в операционную.

Лаборант перехватил у него удавку и потащил животное к столу...

В невеселом настроении, с уставшими глазами из операционной вышел молодой профессор Хавкин. Он снял с пожарного щитка пачку сигарет и не спеша пошел по коридору.

Летев выкатил вслед тележку с мертвой собакой и повез ее в противоположную сторону. Свернул за угол и уткнулся в тупик, в трупосжигательную печь. Нажал в стене кнопку, и дверь печи с грохотом поползла вверх.

Летев вкатил тележку с мертвым животным, сбросил лопатой. Вытрусил из корзинки окровавленные бинты, вату, мусор. Смахнул веником пепел с пола.

Дверь с грохотом поползла вниз и лязгнула, закрывшись. Летев нажал на красную кнопку, раздался щелчок, и печка ровно загудела. Он прислонил веник к стене и покатил тележку обратно.

— Это вы, Летев? — окликнула его в конце коридора женщина в белом халате. Она стояла у общего телефона и держала трубку.

— Я, — ответил он.

— К вам пришли!

— Кто? — не понял Летев.

— Не знаю. Вахтер по телефону позвонил...

В приморском городе ярко светило солнце, люди надевали светлые одежды, а женщины носили украшения.

Летев вышел из здания НИИ и зажмурился.

— Привет, сынок,— окликнул его Валера.

Летев заулыбался и поспешил ему навстречу.

— Любишь? — Валера протянул ему пачку мороженого.

— Очень! — восхищенно ответил Летев и тут же распечатал обертку.

Они спустились по ступенькам от центрального входа НИИ и пошли по тротуару.

— Ну, как жизнь? — спросил Валера.— Что нового в науке?

— Работаем,— гордо ответил Летев.

— А прокатиться хочешь? — спросил Валера и кивнул на припаркованные в тени деревьев «Жигули».

— Очень! — ответил Летев.

— Тогда — вперед! — рассмеялся Валера и распахнул перед ним дверцу машины.

На заднем сиденье читал «Огонек» крепкий загоревший парень в наглаженной рубашке. Он улыбнулся Летеву и похлопал его по плечу.

— Пришел, сынок...

— Пришел,— радостно отозвался Летев, а Валера уже завел двигатель и тронул с места.

Летев лизал мороженое, с восторгом смотрел по сторонам на городские яркие улицы и счастливо улыбался.

— Хочешь подержаться? — предложил Валера и кивнул на руль.

— А можно? — удивился Летев.

— Конечно, можно! — воскликнул Валера, и Летев положил свою руку рядом с его, засмеялся восторженно, глядя на дорогу.

— Нравится? — спросил сзади парень.

— Очень! — отозвался Летев, помогая Валере рулить.

— А ты когда-нибудь рассвет на море встречал? — спросил Валера.

— Нет,— ответил Летев.

— А хочешь? — посмотрел на него Валера.

— Очень!

— Ладно,— засмеялся Валера,— организуем... Ты как к девушкам относишься?

— Хорошо.

— Невеста у тебя есть?

— Нет...

— А хочешь?

— Очень! — воскликнул Летев, но задулся и убрал руку с руля.

— Ты что, сынок? — спросил его Валера.

— Только мне невеста не положена,— грустно ответил Летев.

— Почему? — удивился Валера.

— Не заслужил.

— Да брось ты,— засмеялся Валера.— Ты сегодня что вечером делаешь?

— Мама сказала, чтоб я дома был. Она уезжает на два дня.

— А-а-а... — протянул Валера,— жаль...

— Почему? — не понял Летев.

— Да тут одна девушка рассвет на море хотела сегодня встретить. Меня попросила, а я не могу... Маме твоей обещал помочь.

Летев задумался.

— А можно мне с ней пойти? — робко спросил он.

— Нет,— ответил Валера.— Ты должен дома быть, раз маме обещал... Может быть, ты сходишь? — повернулся он к парню.

— Я сегодня в ночную иду.— хмыкнул тот.

— Жаль... — снова повторил Валера и замурлыкал под нос: — «Как много девушек хороших, как много ласковых имен...»

Летев тяжело вздохнул и посмотрел на веселые улицы приморского города.

— А мама не узнает...— робко сказал Летев и посмотрел на Валеру.

— Что?

— Что я рассвет встречал...

Валера пожал плечами.

— Ведь вы не скажете ей? — с надеждой спросил Летев.

— Конечно, не скажу! — засмеялся Валера.— Только смотри, без глупостей,— добавил он.

— А я без глупостей,— растерялся Летев.

— Верю, верю,— посмотрел на него Валера.

— А цветы девушке надо купить? — спросил Летев.

— Конечно, надо! — воскликнул сзади парень, и Летев обеспокоенно посмотрел в окно.

— Я тебя на базар, сынок, подвезу,— предложил Валера,— согласен?

— Согласен,— кивнул Летев.

Здесь до обеда люди продавали товар, а после обеда считали деньги. Кто не считал, остался здесь до вечера, и Летев купил у них цветы.

Теперь от топтался у прилавка, рассматривая разложенные на нем причиндалы: краны, смесители, наждачную бумагу, ржавые конфорки, шурупы, прокладки, старые потрепанные книги, петли, шланг для душа...

Рыжебородый продавец выпивал с дружкой, закусывая арбузом, и с присвистом сплевывал семечки в сторону.

— Ну что? Берешь — нет? — спросил он у Летева, рассматривающего кран.— Бери! Хорошая вещь! В хозяйстве пригодится!

— А сколько? — спросил Летев.

Испитой дружкой рыжебородого, одетый в потертую кожаную куртку на голое тело, крикнул Летеву весело:

— Червонец!

— Цыц, Витюха! — сказал ему рыжебородый и поднялся, вытирая мокрые губы.— Три рубля...

Летев отдал ему трешку и хотел уйти, но неожиданно увидел среди сваленных в кучу шурупов, винтов, гаек неправильной формы железку. Он взял ее на ладонь и pokrutil, подставляя вечернему солнцу.

— А это что? — улыбнулся он.

Рыжебородый не знал, что ответить, и крикнул дружке:

— Эй, Витюха, а это что?

— Это? — переспросил Витюха и, сощурившись, поднялся.— Так это ж осколок американского космического корабля! — воскликнул он.— Ну, взорвался который... «Челленджер»!

— Точно! — засмеялся рыжебородый.— А я и забыл!

— А сколько? — робко спросил Летев.

— Что сколько? — не понял рыжебородый.

— Сколько он стоит?

— Да ему цены нет, парень! — удивленно воскликнул Витюха.— Ты что? Не веришь? — завелся он.— На! Смотри! Смотри! — И он рванул на себе куртку.— Я сам бывший летчик! Я сам в аварию попал из-за таких вот козлов, которые гайки не умеют подкручивать! А он еще спрашивает, сколько это стоит! Это жизнь стоит, понял?! Скажи ему, борода, скажи! — толкнул он друга.

— Ну ладно, ладно! — обнял тот Витюха за плечи и повел от прилавка, оглянувшись на Летева.— Иди, парень, не морочь голову...

В тихом саду на крыльце дома Летев сидел и ждал девушку...

Потом он прохаживался по дорожке мимо заросших травой цветов. От дома к калитке. От калитки к дому. Заложив руки за спину. Он ждал девушку...

Потом он гулял на улице, у забора... Изредка подходил к краю обрыва, смотрел на темное море и шел обратно... Ждал девушку...

Дома, в темноте, он ждал у открытого окна, но девушка не приходила, только шелестела листва в ночном саду и истошно орали кошки.

— Кыш, дети мои,— прогнал их Летев и, не раздеваясь, прилег на диван.

В лунном свете пробили часы.

Летев проснулся и услышал чьи-то шаги, тихий разговор, смех, негромкую мелодию музыки, звон бокалов...

Он поднялся, взял цветы и пошел на кухню.

Длинный и Котя сидели у стола, пили шампанское, закусывали ресторанным шашлыком, смеялись тихо...

— Здравствуйте,— пробормотал Летев.

— Привет,— отозвался Котя, а Длинный посмотрел молча.

— А где девушка? — спросил Летев и покрутил в руках букет.

— Девушка? — переспросил Длинный и улыбнулся Летеву.— Девушка блюет в туалете, ее тошнит...

Летев растерялся, а Лерка закричала из коридора:

— Он хочет отравить меня! Он купил мне в баре коктейль с прокисшим компотом! Она появилась на пороге с мокрым лицом.

— В компоте плавала такая прокисшая слива...

Лерка увидела Летева.

— У-у-у! — протянула она.— Какой ты красивый, шизо!

Летев смутился.

— Это ты мне?

Она взяла цветы и, уткнувшись лицом в букет, помотала головой.

— Понял?— с вызовом посмотрела она на Длинного.

— Я тебе завтра корзину таких куплю,— хмыкнул он, а Лерка уже подхватила Летева под руку, потащила к столу.

— А это ничего, что мы вместе пришли к тебе рассвет встречать?— неожиданно остановилась она и заглянула Летеву в глаза.— Ты не возражаешь?

— Нет,— улыбнулся он.— Я рад...

— Я тоже!— засмеялась Лерка и кивнула на Котю.— А тебе нравится Котя? Правда, он хороший?

— Хороший,— согласился Летев.

И Лерка снова засмеялась.

— А этот?— кивнула она на Длинного.— Нравится тебе?

— Нравится...

— А мне — нет!— воскликнула Лерка и тут же скомандовала: — Наливай!

Длинный усмехнулся и поднял бутылку.

— Я не пью... — испуганно пробормотал Летев.

— Ну и правильно,— поддержала Лерка.— Я тоже с завтрашнего дня бросаю. Правда, Котя?

— Ты каждый день бросаешь,— лениво ответил он.

Длинный разлил шампанское, а Летеvu поставил тарелку с шашлыком.

— Спасибо,— поблагодарил он и тут же взял кусок.

— Ну, за что пьем? — игриво воскликнула Лерка.

— За красный флаг над Белым домом,— мрачно ответил Длинный.

— Да ну тебя...— Лерка посмотрела на Котю.— Коть... Ну, скажи что-нибудь...

Он пожал плечами:

— А что говорить?.. Я не знаю... Ну, давайте за женщин, что ли?

— За женщин пусть Красная Армия пьет,— посмотрел на него Длинный, и Котя глупо засмеялся.

— А можно, я скажу? — спросил Летев.

— Давай!

Летев поднялся, посмотрел на всех и воскликнул торжественно:

— За человека!

— А поконкретней можно?— спросил Длинный.

Летев задумался.

— За вас!— сказал он наконец и посмотрел на Длинного.

— За меня?— радостно удивился тот.

— Да,— подтвердил Летев и сел.

— А давай лучше за тебя,— тут же вмешалась Лерка и хлопнула Летева по плечу.— Давайте за него, а?— подняла она бокал.

— За меня не надо!— испуганно воскликнул Летев.— Не надо. Я не человек!

— Здра-а-асьте!— растерялась Лерка.— А кто же ты?

— Я — скотина!— объяснил Летев и потянулся к мясу.

Компания переглянулась.

— А что?— хмыкнул Длинный.— Давайте выпьем за скотину! Мы ведь за скотину еще не пили? А?

— Дурак!— сказала Лерка и пить не стала, отвернулась.— Слушай, шизо, а где здесь дубовая мебель была?— неожиданно спросила она.

— Какая мебель?— не понял Летев.

— Здесь мебель должна стоять. Дубовая. Мне брат говорил...

— Не знаю...— пробормотал Летев.

— Постой... И в спальне мебели нет... белой такой...

— Нет,— улыбнулся Летев.

— Жаль...— вздохнула Лерка.— Я ее хотела Коте показать... Когда мы с ним поженимся, обязательно такую мебель в спальню купим. Длинный, будешь у нас свидетелем на свадьбе?

— Угу,— промычал он.— Если вы меня усыновите потом...

— Вот еще!— ответила Лерка.— Мы с Котей собственного ребеночка сделаем. Да, Котя?

— Ну ладно тебе... Кончай,— ответил он.

— Мария-Магдалина, пам-пам-пам,— Лерка нажала кнопку кассетника и подпела мелодии, взглянув на Котю.

Он сидел, откинувшись спиной к стене, крутил в руках бокал и смотрел на Лерку. Она заерзала на стуле в такт музыке, забарабанила пальцами по столу, и Котя улыбнулся. Лерка поднялась, пританцовывая, забрала у него бокал, допила шампанское и потянула Котю за руку.

— Пойдем?..

Но он не ответил. Сидел и молча смотрел на нее. А она на него. И руки у них были сцеплены.

Длинный закурил и пустил кольцо дыма. Летев увидел и радостно проткнул его на лету пальцем.

Лерка с Котей танцевали невпопад мелодии медленного танца, и Котя склонил ее голову к себе на плечо...

— А как насчет рассвета?— спросил Длинный у Летева.— Пойдешь встречать?

— А она хочет?— удивился Летев, кивнув на Лерку.

— Очень! — подтвердил Длинный и посмотрел на часы. — Вам пора, — постучал он по циферблату, — вот-вот выйдет солнце... Вам пора, — уже громче повторил он. — Слышишь, маленькая?..

Но Лерка не слышала.

— Скажи ей,— Длинный кивнул Летеvu.

— Нам пора!— радостно воскликнул Летев и поднялся.

Лерка отстранилась от Коти, взглянула в их сторону и неожиданно истерично закричала на весь дом. Отскочила назад...

— Там стоит кто-то!— показала она на окно.

Все оглянулись, но за приоткрытым окном никого не было.

— Парень какой-то,— со страхом пробормотала Лерка и прижалась к Коте.

Длинный потянулся к окну и распахнул его настежь, выглянул во двор. Летев поднялся на цыпочки, вытянул шею, тоже посмотрел. Но все было тихо.

— У тебя глюники, маленькая...— сказал Длинный.— Тебя отравили в баре...

— Но я же сама видела!

Лерка бросилась к окну и высунулась с подоконника до половины.

Длинный окинул взглядом ее бедра и легонько треснул по заднице.

— Да пошел ты!— сказала ему Лерка.— Коть, ты видел?

— Ничего я не видел!— зло ответил Котя.— У тебя точно глюники начинаются!.. — И он покрутил пальцем у виска.

Лерка беспомощно посмотрела на Летева.

— Нам пора!— радостно повторил он.

Длинный разлил шампанское.

— На посошок!— бодро сказал он и подвинул Лерке бокал.

Она взглянула на Котю и выпила шампанское.

— Идем, шизо,— обняла она Летева за шею.— Идем встречать рассвет! Пусть они здесь застрелятся вдвоем!— И она потащила Летева из дома.

Небо серело и наполняло землю светом. Они сидели на берегу за перевернутыми старыми лодками у заброшенной станции. Лерка курила сигарету и с тоской смотрела на штормовое море.

— А вы почему дрожите? Холодно?— спросил Летев.

Она не ответила, поднялась, постояла молча и сбросила платье.

— Держи!— швырнула она его Летеву и пошла к воде.

— Куда вы?— испуганно воскликнул он, но Лерка уже побежала и с разбегу бросилась в море. Волна подхватила ее.

Летев вытянул шею и с беспокойством поискал Лерку глазами. Но не увидел. Он посидел немного, разделся и пошел к воде.

Огромная волна обрушилась на берег, и Летев боязливо отступил. Снова пошел к воде и снова со страхом отступил.

— Ну, иди сюда! Иди!— услышал он Леркин голос.

Покачиваясь, она выходила ему навстречу.

— Я плавать не умею,— улыбнулся он и зябко поежился.

— А я тебя научу!— крикнула Лерка и резко схватила его за руку, потащила за собой.

— Не надо!— Летев увидел волну.

— Надо!— зло крикнула Лерка и потянула его в море.

— Ну, пожалуйста!— уперся Летев.— Прощу вас!— Но Лерка с силой толкнула его в воду.

Он упал, и волна накрыла его с головой, потащила к берегу, отшвырнула обратно. Он, оглушенный, вынырнул, хватил ртом воздух, увидел новую волну, закрыл со страху голову руками и побежал... Но Лерка схватила его сзади за трусы и поволокла назад.

— А ну, иди обратно! Иди!— зло смеялась она.

— Пустите меня! Пустите!— завопил Летев.

Но Лерка не слышала его, кричала в ответ.

— «Пустите меня! Пустите меня»,— передразнила Лерка.— Нам пора! Нам пора!— схватила его за шею и окунула головой в воду.

Летев сжался, и новая волна обрушилась на него.

Теперь они устроились на сухих водорослях, под первыми лучами солнца. Лерка вытянулась на животе, отвернулась в сторону, а Летев, дрожа всем телом, вытирался рубашкой.

— Эй, шизо!— не поворачиваясь, позвала она.— Почешите мне спину.

Летев подвинулся ближе к ней и боязливо почесал.

— Не там,— сказала она.— Левее.

Летев почесал. Лерка притихла... Он почесал правее... Потом погладил... Склонился и поцеловал... У нее задрожали плечи.

— Я не хотел,— пробормотал Летев.— Честное слово, я не хотел...

Она повернулась к нему лицом.

— А почему ты не хотел?— спросила она.— Я что, такая противная?

— Нет,— не глядя на нее, ответил Летев,— вы не противная.

— А какая?.. Какая?

— Вы — красивая...

— А ты, значит, не хочешь красивую?

— Нет,— ответил он.

— А я хочу!— сказала Лерка.

— Почему?— он посмотрел ей в глаза.

— А так... Интересно...— И она провела рукой по его плечу.

Летев сидел не шелохнувшись. А она все гладила ему плечо, гладила руку, гладила

пальцы и усмехалась. Летев не выдержал и рванулся к ней.

...Потом он расслабленно ткнулся лицом в темные водоросли, в его голую спину полетел с обрыва камень, ударил до крови между лопаток, и чей-то злой мальчишеский голос закричал:

— Размножаетесь, скоты?

И тут же со стороны высокой горы раздался свист, хохот, девичий визг, хрюканье.

— Пусти,— прошептала Лерка.— Да пусти же ты!— оттолкнула она Летева и быстро прикрылась платьем.

Наверху, на горе, зашевелились кусты, посыпались вниз мелкие камни.

Летев сидел нагой, согнув в коленях ноги, Лерка дотянулась до брук и бросила ему. Но он не пошевелился, а с горы снова захрюкали и засвистели.

Летев посмотрел вверх, поднялся и голый пошел к горе. Там затрещали кусты, затопали убегающие ноги и все стало тихо...

Летев остановился и неожиданно яростно заорал в тишине:

— Да здравствует человек!— и топнул ногой.

Прислушался. Было тихо.

— Да здравствует человек!— снова крикнул он и снова топнул ногой.

И снова было тихо.

Лерка натянула платье и поднялась. Летев мгновенно оглянулся на шорох.

— Да здравствует человек!— заорал он ей и топнул ногой.

Она посмотрела на него и отвернулась к морю.

А Летев со сжатыми кулаками опустился на камни и замер, глядя в одну точку.

В окно барабанил дождь, заливал в открытую форточку, собирался на подоконнике и стучал каплями в пол.

Лерка выгатила из упаковки лезвие и склонилась к старику.

— А хочешь,— спросила она,— хочешь, я покончу жизнь самоубийством?— И она легонько оцарапала руку до крови.

Старик испуганно замычал, замотал головой, а Лерка засмеялась.

— А почему?— спросила она и вставила лезвие в станок, намылила лицо старика пеной.— Почему ты не хочешь? Ведь я отдам тебе свое сердце... почки... легкие... Печень тоже... Пусть тебе пришьют. Ты проживешь еще сто лет и сделаешь новую революцию. Хочешь?— Она брила ему щеки.

Он слабо дернул головой.

— Ты что, против революции или против моих почек?.. А сердце возьмешь?.. Только надо, чтоб все было еще тепленькое, чтоб свеженькое было, понимаешь? Тогда прижи-

вется.— И она промакнула ему лицо полотенцем, собрала помазок и бритву.— Видишь, какая я добрая?— спросила она.— Не то что ты, жмот. Копченую колбасу из пайка крутил на мясорубке и банку под кровать прятал. Жалко было для меня, да?— Лерка усмехнулась.

В коридоре раздался звонок в дверь. Она набросила полотенце на плечо и пошла открывать.

На площадке стоял Котя и держал корзину красных роз.

— На... Это тебе Длинный передал, — поставил он цветы к ее ногам.

Лерка молча посмотрела на прекрасный букет и перевела взгляд на Котю.

— Ну, пока...— невесело усмехнулся он.

Она не ответила. Присела на корточки у корзины и потрогала влажные от дождя цветы.

Котя отфутболил огрызок яблока на полу, повернулся и пошел к лифту. Выглянул в открытые двери и пропел, ерничая:

— Она была женой Ивана Гро-о-озного...— Он засмеялся и нажал кнопку, а Лерка молча посмотрела ему вслед.

Здесь трудились люди в белых халатах. В новом здании из стекла и бетона, устремленном ввысь, слепила глаза нержавеющей сталь научных приборов...

Теперь в тусклом полуподвале нового здания шла уборка: резиновым шлангом Летев вымывал из боксов нечистоты и подгонял их струей к стоку.

Собака, выпущенная из клетки, сидела на мокром полу и остервенело чесалась.

— Ну что ты все чешешься и чешешься?— посмотрел на нее Летев.

Он бросил шланг, подтолкнул собаку к свету, провел рукой против шерсти.

— Развела...— пробормотал он и тут же резко хлопнул себя по руке, ткнул собаке в нос: — Смотри, что творится! Видишь? Мы что, в конце концов, в цирке, и нас из любопытства здесь держат? Да?.. Человек вакцину ждет... болеет... Жить не может, а мы ему вместо результата блох под микроскоп дадим. Марш на место!— подтолкнул Летев собаку в бокс, щелкнул задвижкой.— Сегодня же под хлорофос после обеда пойдем! Все слышали, дети мои? — посмотрел он на собак.

В комнату заглянул ассистент.

— Летев, мы уже закончили. Поднимайтесь наверх...

Из операционной в хорошем настроении вышел профессор Хавкин. Он снял с пожарного щитка пачку сигарет и не спеша пошел по коридору...

Навстречу ему в операционную спешила молоденькая лаборантка с пробирками. Профессор резко отступил в сторону и столкнулся с ней на дороге. Она ойкнула, смущенно засмеялась, выглянула из-за его плеча, сделала вместе с профессором шаг вправо... влево и, приснув в ладошку, помчалась дальше...

Летев выкатил тележку с мертвой собакой и повез ее в противоположную сторону. Свернул за угол и уткнулся в тупик, в печь. Нажал на стене кнопку, и дверь печи с грохотом поползла вверх.

Летев вкатил тележку в печь и сбросил животное лопатой.

Дверь с грохотом поползла вниз и лягнула, закрывшись. Раздался щелчок, загорелась красная кнопка, и печка ровно загудела.

Летев отставил лопату, вскочил одной ногой на тележку, второй оттолкнулся от пола и поехал обратно.

В сумерках он ждал девушку у подъезда высотного дома. Она пришла еще до восхода луны, шла прямо на Летева, в красных колготках и черном коротком платье, размахивая бутылкой «Фанты».

— Привет,— сказала она.— Ты зачем пришел?

Летев неопределенно пожал плечами.

— Я терпеть не могу, когда за мной бегают,— сказала Лерка раздраженно и добавила:— И вообще, считай, что это была шутка. Понял?

— Я знаю,— ответил Летев.

— Тогда зачем пришел?— снова спросила она.

Летев взглянул на нее и, не зная, что ответить, полез в карман рубашки.

— Осколок хотел показать...— пробормотал он.

— Какой осколок? Любви?— хмыкнула Лерка.

— Нет... Американского космического корабля,— и Летев протянул ей железку на подрагивающей руке.— Смотрите, он взорвался...

Лерка взяла железку и расхохоталась. — На!— сунула она ее обратно Летеву в карман.— И никогда больше не показывай! Понял?

— Понял,— кивнул Летев.

— Тогда — чао,— усмехнулась она и пошла к подъезду.

А Летев остался и не уходил.

Лерка оглянулась.

— Ты что, теперь так и будешь меня как собачка караулить?— крикнула она.

Он пожал плечами.

— Ну и зря! Я, между прочим, замужем! И муж у меня очень строгий. Понял?

— Понял,— ответил Летев, но не уходил.

— Не веришь?!— воскликнула Лерка и пошла к нему.

— Нет,— ответил он.

— Тогда идем, познакомлю!

— Не надо,— пробормотал Летев, но Лерка уже схватила его за руку.

— Идем, идем... Чего ты? Или боишься?

— Я не боюсь,— ответил он.

— Тогда пошли,— кивнула она, и они вместе пошли в подъезд.

— Сла-а-аденький мой, а, сла-а-аденький мой!..— заорала она в темной прихожей и потянула Летева в комнату, щелкнула выключателем.

Старик лежал на кровати и неодобрительно смотрел в их сторону.

— Вот,— кивнула на него Лерка.— Видишь, как строго смотрит, а ты мне не верил.

Летев взглянул на старика и сказал через мгновение:

— Он мертвый.

Лерка вздрогнула, попятилась к двери, перевернула стоящую на пороге утку и закрыла лицо руками.

— Мамочка!..— испуганно прошептала она и высочила из комнаты.

— Человек умер!..— схватился Летев за голову.— Человек умер,— повторил он, повернулся и пошел к Лерке.

Она стояла на кухне, у окна, курила, и плечи у нее подрагивали.

— Человек умер,— снова повторил Летев, но Лерка не оглянулась.— Вы слышите?— позвал он и положил ей руки на плечи.

— Да пошел ты!— резко дернулась она.— «Человек! Да здравствует человек!» — передразнила она Летева.— Человека нет! Есть мусор! Ты понял?

— Он не мусор!— воскликнул Летев.

— Мусор!— крикнула ему в лицо Лерка.— Мы все мусор! Весь мир! Ползающий двуногий мусор!

— Мир — не мусор,— прошептал Летев.

А Лерка истерично захохотала:

— Да ты дурак... Ты просто дурак! Ты таким родился, полудурком, и ничего не видел в этой жизни, а я видела... Свою мертвую мамочку, у которой в морге вырос вот такой живот, как у беременной. И Валерка отказался ее брать, пока не посмотрят, отчего это она так раздулась? А там были просто апельсинные шкурки! И вот это!— грохнула она пепельницей, рассыпав на стол окурки.— А чем он лучше?— кивнула она в комнату.— Чем? Или я?! Или все остальные?!

Летев молча посмотрел на нее, повернулся и пошел в комнату.

Склонился к старику, закрыл ему глаза, пригладил набок волосы, уложил ровно на постели и накрыл тело одеялом. Присел в

ногах. Лерка нерешительно топталась на пороге.

— Человек умер,— взглянул на нее Летев.— У вас есть чистое белье?

— Нет,— пробормотала она.

Летев поднялся и пошел в ванную. Взяв таз, открыл воду, насыпал порошок.

— Давайте грязное!— крикнул он.— И включите утюг.

— Валюшка, ты дома? — постучала Зинаида в ванную, оттуда доносился шум воды.

— Это вы, мама?— откликнулся Летев.

— Я! Я!— ответила она и бросила сумку.

— Вы приехали!— обрадовался он, но Зинаида не ответила, прошла по комнатам.

Дом был чист и светел, но ей показалось, что здесь кто-то был, и она обеспокоенно искала глазами. Не увидела ничего в комнатах и заглянула на кухню.

Под раковиной стояли пустые бутылки из-под шампанского. Зинаида подняла одну, покрутила в руках и бросилась в комнату сына.

Не снимая обуви, она встала на стул и осторожно сняла со шкафа синюю вазу, придерживая снизу. Повертела ее в руках. Ваза была в пыли. Зинаида поставила ее на пол и, оглянувшись на секунду, приподняла тяжелую крышку шкафа... Заглянула вовнутрь...

...Вытирая мокрый лоб, она расслабленно сидела на стуле.

Летев распахнул дверь ванной, выпустил пар в коридор и, счастливо улыбаясь, предстал перед матерью в трусах.

— Мама! — воскликнул он.

Зинаида посмотрела на него строго, поднялась, взяла за руку и повела к окну. Приложила к его лицу свои ладони и заглянула в глаза.

— Кто здесь был?

— Люди,— растерянно пробормотал Летев.

— Какие люди? Кто? — тихо спросила Зинаида.

— Мужчины и женщина...

— Как они здесь оказались? Ты что, их пригласил? Да? Ну, смотри, смотри мне в глаза...

Летев кивнул.

— Зачем? А?

— Рассвет встречать... — тихо ответил Летев.

— Ты что, с улицы их привел? — допытывалась Зинаида.

Летев опустил глаза.

— Что вы здесь делали?.. Пили, да?

— Да...

— И ты пил?

Летев покачал головой.

— Ну, а что же ты делал? Что?..

— Любил.— Он снова опустил глаза.

Зинаида убрала руки и легонько оттолкнула сына.

— Кого ты любил?! — воскликнула она.— Я тебя строго-настрого предупредила: дверь никому не открывать! А ты неизвестно кого в дом притащил!

Летев стоял у окна, виновато теребил штюпу.

— Ты хоть знаешь, с кем ты дело имел? Как ее зовут? — спросила Зинаида и опустилась на стул.

— Знаю.

— Как?

— Лера,— посмотрел он на мать.

— Лера?.. — растерянно переспросила она.— Лера?.. А где ты с ней познакомился, Валюшка? — ласково спросила она у сына...

Гора пуговиц — больших и маленьких, черных и белых, красных и зеленых, матовых и блестящих — высилась на полированном столе. Рядом лежала перевернутая жестяная коробка.

— И это все, что от него осталось? — спросил Валера, набрал пригоршню пуговиц и высыпал обратно.

Лерка кивнула.

Брат хмыкнул, отошел от стола и, не раздеваясь, прилег на пустую кровать старика. Сбросил туфли, пошевелил пальцами ног.

— А цветы откуда? — кивнул он на корзинку привядших роз.

— Подарили,— тихо ответила Лерка.

— За что это тебе такие шикарные подарки делают? — спросил он, но она не ответила, сидела понурившись, еле сдерживала слезы. — Ты что, теперь до конца жизни будешь старика оплакивать? — спросил Валера.— Иди лучше мне пожрать что-нибудь приготовь. Ты слышишь? — крикнул он сестре.

— Не кричи на меня.

— Что-о?! — вскинулся Валерка и неожиданно наотмашь смахнул пуговицы Лерке в лицо.

Она отшатнулась.

— Ты скажи спасибо, что я тебя вообще не убил! — заорал он на сестру.— Дура недоношенная!

— Что я тебе сделала? Что? — заплакала она.

Но Валера не ответил, повернулся и пошел из комнаты.

В утренних лучах солнца на влажном от росы крыльце Летев, в трусах и майке, сидел на ступеньках и ел кашу. Где-то рядом упало в траву яблоко, вспорхнула, чирикнув, недовольная птица, а за воротами остановилась машина.

Двое ребят, гладко выбритых и свежих

с утра, открыли калитку и пошли по дорожке к дому.

— Привет, сынок, — сказал один из них, — а мама дома?

— Дома... — узнал Летев парня из «Жигулей», — но она спит, — улыбнулся он.

— Ничего... — пробормотал парень, а другой ласково потрепал Летева по голове.

Летев посмотрел им в спины и поднялся.

— Но она спит. Не надо ее будить, — тихо попросил он, но ребята уже вошли на веранду и распахнули дверь в коридор...

Летев с тарелкой в руках бросился им наперез.

— Мама спит! — шепотом вскрикнул он.

Ребята переглянулись. Один из них взял Летева за плечи и осторожно подтолкнул в боковую комнату.

— Мама! — заорал Летев и бросился вперед, но тут же получил тупой удар поддых, зашатался, получил по голове и рухнул лицом в разбрызганную на полу кашу.

Один остался у двери, а второй вскочил на стул и поднял тяжелую крышку шкафа.

— Ноль, — повернулся он к другу.

Тот усмехнулся и молча кивнул в коридор...

...Зинаида подскочила от крика, но ребята уже вошли в комнату. Один из них сел у порога на стул, а второй направился к Зинаиде.

— Что-о-о?! — истошно заорала она и вскочила ему навстречу в ночной рубаше.

— Привет, мама, — поздоровался парень и несильно толкнул ее обратно на постель. Она присела с полными ужаса глазами. — Привет, мама, — повторил парень и встал перед ней, — у тебя память хорошая?

— Что вы хотите?! — закричала Зинаида. — Что вы хотите?!

— Не надо кричать, — сказал он и защемил ей пальцами нос.

Она ойкнула, вцепилась ногтями в его руку, но парень не отпускал ее, и она от боли застонала. Он держал ее молча, а когда отпустил, из носа у нее брызнула кровь, потекла по подбородку на шею, залила рубашку.

— Я спрашиваю, у тебя память хорошая? — повторил парень.

— Что вы хотите? Что вы хотите? — заплакала Зинаида.

— Мама, — парень опустил перед ней на корточки, — ты думаешь, ты проскочила, да? Думаешь, ушла на пенсию и пустила корень, да? А бабки? Где бабки, мама?

— У меня нет! У меня ничего нет! — забормотала Зинаида.

Парень похлопал ее по голому колену.

— Расскажешь это следователю, мама. Когда тебя потянут. А ведь тебя потянут... потянут, мама... — повторил он. — Ты уже приготовилась, а? Хочешь сдать деньги государству?

— Но я клянусь! — вскрикнула Зинаида.

Парень поднялся и ударил ее по лицу.

— Слушай, мама, я не ищейка, чтоб обнюхивать здесь углы, но если хочешь жить спокойно, завтра сдашь нам сорок кусков. Поняла?

— У меня нет, у меня ничего нет... — закрыв лицо руками, покачивалась на постели Зинаида.

— Мама! — ворвался в комнату Летев, увидел мать в крови и бросился на парня. — Не трогайте ее! — закричал он. — Не трогайте! Она человек! Она жить хочет!

Он вцепился зубами парню в плечо и зарычал. Тот вскрикнул, ухватил Летева за волосы, ударил коленом в пах. Второй подскочил, с размаху дал выгнанной ладонью по ребрам, но Летев рычал и не разжимал зубы.

— Скотина! — взревел от боли парень. — Скотина! — не разбирая куда, бил он Летева, а второй бил разбирая.

И Летев упал. Его еще раз напоследок толкнули ногой.

Зинаида в ужасе забилась в угол.

— Родила выродка! — корчась от боли, крикнул парень и кивнул второму: — Пошли... — На пороге он оглянулся на Зинаиду: — Думаешь, кретина прописала и домик навсегда твой? Потянут, но не заберут, да? Но кирпич, между прочим, тоже хорошо горит, — ударил он по стене, — ты поняла?..

Зинаида сидела оцепенев. Хлопнула дверь, скрипнула калитка...

— Вонючка! Ах, какой же он вонючка! — неожиданно крикнула она и уткнулась лицом в постель, завывала.

Летев неподвижно лежал на полу. Зинаида всхлипнула и посмотрела на него. В тишине комнаты тикал будильник.

— Сынок... — шепотом позвала она.

Но он не ответил. Зинаида сползла к нему и перевернула на спину. Он слабо застонал.

— Сынок! — закричала она, обняла и прижала его к себе.

Здесь трудились люди в белых халатах... Профессор Хавкин вышел из операционной, хотел снять с пожарного щитка пачку сигарет, но задержался на пороге и крикнул в открытую дверь:

— В конце концов, не я буду первый! Клара Фонти сделала это, когда мы все здесь еще под стол пешком ходили!... — И, забрав сигареты, профессор торопливо пошел по коридору.

Лаборант в белом халате выкатил вслед тележку с мертвым животным и повез ее в противоположную сторону...

В жилище коммунальной квартиры жили разные люди. Теперь они спали, а в ванной

комнате, в старом, изъеденном пятнами зеркала, отражалось ошарпанное лицо Валеры. Пошатываясь, он отхлебнул из горлышка шампанского, остальное вылил в ванную. Серая эмаль ванны со следами ржавчины покрылась шампанским до половины. Со злым смехом Валера распечатал новую бутылку и пробормотал:

— Малолетка поганая... я тебя научу, как должен жить человек... Ей жалко... А брата своего не жалко? — воскликнул он и взглянул на себя в зеркало. — Не жалко? А? — повторил он и вылил шампанское в ванную. Допил остатки из горлышка и сбросил на двери крючок.

Пошел по темному коридору, бормоча ругательства... Достал из джинсов ключ и открыл комнату.

С зареванным лицом и ссадиной под глазом Лерка сидела на диване в рубашке брата.

— Ну что, сиротка? — покачиваясь, пошел к ней Валера. — Значит, шизофреника тебе жалко, а родного брата нет? А?

— Отвали от меня! — крикнула Лерка и хотела отпихнуть его голой ногой, но Валера схватил ее за руку и потянул за собой. — Иди сюда! — кричал он. — Иди! Я покажу тебе, как должен жить человек, ни в чем себе не отказывая!..

Лерка выкрутилась, но зацепила на пороге мешок с пустыми бутылками, и он с грохотом упал на кафель.

— Да что же это такое! — открылась дверь напротив, и в коридор вылетела возмущенная соседка в ночной рубашке. — Валера! — крикнула она. — Ты что себе позволяешь?! Три часа ночи. Мне на смену к завтра!

— А-а-а, — протянул он с перекошенной улыбкой и пошел ей навстречу, — знатная ткачиха... Тетя Наташа!

— Я сейчас милицию вызову, хам такой! Коля! — крикнула она мужу в темную комнату.

— Коля! — крикнул за ней Валера. — Иди сюда! Будем купаться в шампанском! Ты слышишь, рабочий класс?!

И он, пошатываясь, пошел по коридору, бешено заколотил кулаками в двери, заорал:

— Эй, вы! Рабы! Хватит дрыхнуть! Вставай! Подъем, интеллигенция!

За одной дверью заплакал ребенок, а в коридоре уже включили свет.

— Что такое... Что случилось, а, Валерочка? — пробормотала растрепанная сонная старуха.

— Вся власть народу! — захохотал Валера и обнял ее за плечи. — Я совершил революцию, баба Соня! Но ведь революция не бывает без жертв, а? — заглянул он старухе в глаза.

— Успокойся, успокойся, — погладила она его по щеке.

— А вы скажите ей, скажите! — показал он на свою комнату и крикнул в ту сторону: —

Я хочу, чтоб она курила хорошие сигареты, а не дерьмо!

— Кончай, идем спать, — хлопнул его по плечу Коля, но Валера крикнул ему в лицо: — Хватит вонять жареным луком и потеть в очереди! Старый! Мы сделаем в этой крысоловке ремонт! У тебя же руки! И купим японский микроавтобус! На всех! — Он схватил Колю за грудки, а тетя Наташа закричала и бросилась их разнимать.

...Лерка тупо сидела в комнате на мешке бутылок.

— Да вы рабы! — кричал в коридоре Валера. — Я же принес вам народные деньги! Купайтесь в них! Ну? Кто первый? — распахнул он дверь ванной и содрал со стены мочалку. — На! На! — сунул он ее худой маме с ребенком на руках. — Тебя же всю жизнь грабят, Светка! Окрести его в шампанском, чтоб вырос человеком, а не вонючкой! Ну, окрести-и-и...

— Алло? Это милиция?! — крикнула в телефонную трубку тетя Наташа. — У нас хулиганство здесь...

Лерка не дала ей договорить, нажала на рычаг. Она стояла рядом с ней и держала руку на телефоне.

— Не надо, — тихо попросила она, — не надо звонить. Я сама... — И она пошла в ванную.

Не раздеваясь, перелезла через край и опустилась в шампанское.

— О господи! — всплеснула руками баба Соня. — Леронька! Куда ты? Да что это такое с вами сегодня? — беспомощно запричитала она.

А Лерка уселась поглубже и втянула шампанское губами. Валера вошел за ней, присел на перевернутую выварку и смотрел на сестру... Свесил голову.

Соседи столпились на пороге.

— Ну и как? — хмыкнул дядя Коля.

Не отрываясь от шампанского, Лерка исподлобья взглянула на него и засмеялась.

Коля прошел в ванную, взял с полки пластмассовый стакан, вытряхнул из него в раковину зубные щетки и зачерпнул из ванны.

— Ты что?! — бросилась к нему жена. — В ней же мозоли парят! — ткнула она по ванне ногой, но Коля молча отстранил ее крепкой рукой и допил шампанское. Вытер мокрые губы, засмеялся, глядя на соседку, и зачерпнул еще.

Теперь пришла осень и покатила листья на больничной аллее.

Летев сидел на скамейке, в темном байковом халате, с кошкой на руках.

— Соскучился я по вас, дети мои, — похлопал он кошку по спине, погладил ласково, — соскучился... Ну ничего... скоро будем вместе... Начнем новую жизнь...

Лерка сидела рядом.

— А тебя когда выпишут?

— Послезавтра.

— Домой хочешь?

Летев покачал головой.

— Нет... Я в виварий хочу. К ним,— посмотрел он на кошку и погладил ее,— там мое место.

— Там твоя работа! — сказала Лерка.

— Нет,— улыбнулся Летев,— там мой дом.

— Почему?

— Потому что я кусаюсь,— объяснил он.— В детстве я только царапался. Меня даже привязывали к кровати, чтоб отучить, а сейчас... Все впустую...— пробормотал он.

— Да что впустую? Что впустую? — возмутилась Лерка.— Ему башку проломили, а он страдает! В виварий собрался! Ну кто тебе сказал, что ты не человек? Ну посмотри на себя и посмотри на нее.— Лерка схватила кошку за холку и подняла.

Та задергалась, замыкала.

— Вот четыре лапы, смотри... Вот шерсть... А вот хвост... Смотри, какой длинный. Похожи, да?

— Похожи,— улыбнулся Летев.

— Очень похожи! — хмыкнула Лерка и отпустила кошку.— У тебя что, тоже хвост есть?

— Был,— сказал Летев.

— И куда делся?

— Рассосался,— объяснил он.— Мне тогда было всего шесть недель, и я еще жил в животе. Я помню, как мне было жалко, что он исчез. С хвостом было так весело! Я думал, что я рыба и живу в океане.

Лерка засмеялась:

— А хочешь, я тебе докажу, что ты человек?

Он испуганно посмотрел на нее, пробормотал тихо:

— А как?

— Рожу от тебя ребенка, и посмотришь, на кого он похож — на кошку, собаку или человека.

Летев ошарашенно молчал.

— Ну, хочешь? — насмешливо спросила Лерка.

— Очень,— тихо ответил он и взглянул ей в глаза.

— А я пошутила,— засмеялась она.

Летев потерянно молчал, потом взглянул на Лерку и попросил серьезно:

— Ну, если вы не хотите человека... Родите мне, пожалуйста, собаку...

— А крыску не хочешь? — хихикнула Лерка.

— Хочу,— серьезно кивнул он,— только, если сможете, девочку...

— Ладно,— согласилась Лерка.— А как ты ее назовешь?

— Сильва,— улыбнулся Летев.

— Ну, а собаку как?

— Стрелка,— уверенно ответил он.

— А человека?

Летев снова растерялся, а Лерка неожиданно увидела в конце аллеи Зинаиду и поднялась.

— Ладно, шизо, я пошла...— заторопилась она.

— Подождите! — Летев хотел идти за ней, но Лерка его остановила.

— К тебе мама идет... вон... видишь? — кивнула она вдаль аллеи, но Летев даже не взглянул в ту сторону, и Лерка добавила: — Я тебя послезавтра встречу... Обязательно встречу... Согласен?

Он кивнул, а она заспешила по тополиной аллее, деревья шелестели ей вслед, и ветер катил вдогонку листья.

— Привет, маленькая,— стоял на лестничной клетке Длинный и улыбался Лерке.

— Привет,— невесело ответила она.

— Котя у тебя? — спросил он.

— Нет,— ответила Лерка.

— А я думал, вы помирились...

Лерка не ответила, спросила грубо:

— У тебя все?

Длинный посмотрел на нее и улыбнулся:

— А почему так грубо, маленькая? Я что, тебя обидел? — И он неожиданно широко распахнул дверь, переступил порог.

— Ну, что надо?! — вскрикнула Лерка.— Нет его у меня! Нет!

— А может быть, все-таки есть? — спросил Длинный и пошел по коридору.

Лерка осталась у порога, а он заглянул в комнаты, на кухню, распахнул дверь ванной.

— Значит, мы остались с тобой вдвоем, маленькая? — повернулся он к Лерке. Она не ответила, а он усмехнулся и неожиданно резко захлопнул входную дверь.

— Не подходи ко мне! — испуганно зашептала она.

Длинный засмеялся и резко кинулся на Лерку, но в последний момент выбросил вперед руки и уперся в стену, не дотрагиваясь до Лерки.

— Боишься? — усмехнулся он, но вместе с его вопросом раздался настойчивый звонок в дверь.

— Пусти,— вывернулась Лерка и щелкнула замком.

— Что ж вы, девушка, скрываетесь, а? — спросила ее молодая крепкая женщина с завивкой на тусклых волосах и папкой подмышкой.

— Где я скрываюсь? — не поняла Лерка, а Длинный сел на стул и вытянул ноги.

— Не знаю где! — ответила завитая.— Неделю к вам хожу... Расчетную книжечку вашу по оплате квартиры покажите.

Лерка притворила дверь и пошла на кухню, но завитая уже по-хозяйски вошла в коридор.

— Здравствуйте, — увидела она Длинного, — ноги уберите, пожалуйста.

— Я инвалид, — ответил он и ноги не убрал.

Завитая переступила через них, открыла папку и прошлась по квартире, сверяя что-то с документами.

— Перепланировку не делали? — поинтересовалась она у Длинного.

— Перечто? — спросил он.

— Перепланировку квартиры.

— Нет, не делали, — покачал головой Длинный.

Завитая отметила карандашом в бумагах и взяла у Лерки расчетную книжку.

Вытирая руки о фартук, из квартиры напротив прошаркала пожилая соседка, остановилась на пороге.

— Привет, мамаша, — сказал ей Длинный, — закрой дверь с той стороны.

— Сиди! — махнула она на него рукой.

— Так-так-так, — пролистала Леркину расчетную книжку завитая женщина, — значит, задолженность за три месяца так и не погасили?

— Я оплачу, — пробормотала Лерка, — у меня стипендия послезавтра.

— Ну уж нет! — повысила голос завитая. — Теперь будете после суда оплачивать! Пусть там решают, способны вы содержать двухкомнатную квартиру или нет, — и она хотела сунуть книжку в сумку.

— Э-э, Маруся, — вмешался Длинный и подобрал ноги, — так не по закону. — Он поднялся и резко выхватил книжку. — Что значит — после суда? Она тебе сказала: оплатит послезавтра — значит, оплатит! Поняла?

— Да что же это за хулиганство такое! — возмутилась завитая.

— А квартиру она по закону получила? — поддержала завитую соседка с порога. — Ихняя мамаша старика окрутила, прописалась тут! Теперь эта пьянки-гулянки развела, покоя нет! Еще и не платит! Да выселить ее отсюда к чертовой матери, чтоб не поганила жилплощадь!

— Да заткнись ты! — крикнула ей Лерка.

— Мамаша, иди домой, у тебя там самогонный аппарат взорвется, — посоветовал Длинный, и соседка ахнула возмущенно.

— А вы не кричите, девушка, — сказала завитая, глядя на Лерку. — Вам ЖЭК после смерти жильца сразу предлагал в однокомнатную квартиру переехать. Вы же отказались! Теперь разделят на суде лицевой счет и будете жить с подселением!

— Да заберите вы хоть все! — крикнула Лерка и пошла в комнату.

— Да что ты их слушаешь, маленькая? — засмеялся Длинный. — Мы с тобой поженимся сегодня! А-а? — посмотрел он на завитую.

— Прости, господи... мошенники, — покачала головой соседка. — Что мамаша по-

койная... что она. — И добавила погромче: — А мы вот еще всем домом письмо в прокуратуру напишем, как ты заслуженного человека со свету сжила, голодом морила...

— Кто? — выглянула из комнаты Лерка. — Я?! — И она пошла на соседку.

— Не прикасайся ко мне, шалава! — взвизгнула та и отскочила на площадку, а Длинный успел перехватить Лерку, крикнул:

— Вам что, мамаша, делать нечего? Милицию на вас вызвать? А ты что, Маруся, стоишь, карандашом царапаешь? — набросился он на завитую. — Она в квартире самогон варит, а ты на девочку напала, — прижал он Лерку к себе.

— Идите, идите сюда, — распахнула соседка дверь своей квартиры, — смотрите! — приглашала она, и завитая неохотно пошла.

Длинный захлопнул ногой дверь и, обняв Лерку, повел ее в комнату.

— Ну что ты, маленькая, что ты... — усадил он ее на диван. — Что ты... Они же тебя пугают... Ну, перестань, моя крошечная, перестань... а хочешь, я тебе массаж сделаю?.. хочешь?.. ложись... я знаешь какой массаж спины делаю... и мальчика нашего вместе подождем... ведь ты же мальчика любишь? а?.. любишь?.. значит, и меня любишь... давай вместе его подождем, полежим... давай...

Лерка, всхлипывая, без сопротивления уткнулась лицом в подушку, поджала ноги, а Длинный поднялся, молча постоял над ней и стянул голубую майку.

Въедливый затяжной дождь размыл очертания города... Зинаида в легком плаще прохаживалась в беседке детской площадки напротив Леркиного подъезда, посматривала на часы, но Лерка не шла, а шел дождь... Зинаида щелкнула мокрым зонтом, раскрыла его и опустила на пол беседки. Подняла голову и неожиданно увидела Лерку.

— Лера! — крикнула она.

Лерка, с растекшейся по лицу краской, в промокшем свитере, приостановилась, увидела взмах руки и пошла к беседке.

— Зачем вы пришли? — узнала она Зинаиду. — Зачем? Я все равно ничего не знаю! Ничего! — И она повернула обратно.

— Постой! — выскочила к ней Зинаида. — Ты о ком?

— О Валерке, о ком же еще? — оглянулась Лерка.

Зинаида подозрительно заглянула ей в глаза.

— Но я пришла поговорить не о нем, — тихо сказала она, — а о сыне...

Лерка усмехнулась, откинула назад со лба мокрые волосы и вошла в беседку.

Вокруг все затуманил дождь, а они стояли в сухой беседке, где на полу лежал раскрытый желтый зонт.

— Это правда, что ты беременная от него? — спросила Зинаида.

— Правда, — ничуть не смущаясь, ответила Лерка. — А что?

— И ты что же, решила от него родить? — не ответила на ее вопрос Зинаида.

— Да, — вызывающе сказала Лерка, — решила...

— Но разве ты не знаешь, что он... болен? Лерка громко засмеялась.

— Тебе не кажется, — спокойно продолжала Зинаида, — что ты поступаешь легкомысленно?..

— А это уж мое дело, — ответила Лерка.

— Ну уж нет, — протянула Зинаида, — я в этой истории не посторонний человек... Ты не кому-нибудь, а лично мне собираешься родить внука. Не собачку, не мышку, не кошку, а внука! Ты это понимаешь?! — воскликнула она.

— Вы что? Деньги мне на аборт принесли? — спросила Лерка.

— Какая же ты глупенькая еще, — покачала головой Зинаида и, вздохнув, неожиданно погладила Лерку по плечу.

Отошла молча, подняла зонтик и сложила его.

— А что мне делать? Что? — глядя на ее сутулую спину, воскликнула Лерка.

— Но ведь надо соображать! — крикнула ей в ответ Зинаида. — Если ты хочешь родить здорового ребенка, надо лечь на обследование! К хорошему врачу! А не болтаться черт-те где! — возмущенно добавила она.

Лерка вытерла краску под глазами, спросила тихо:

— А вы думаете, он родится здоровый, да? Зинаида подошла к ней.

— Надо ложиться в больницу, под наблюдение. С такими вещами не шутят. У тебя есть хороший врач?

Лерка молча покачала головой.

— Ну а что ты себе думаешь? — тихо спросила Зинаида. — Завтра же собирайся и чтоб в десять часов была у меня. Поняла?

Лерка кивнула, а Зинаида горько усмехнулась, обхватила ее рукой, прижала к себе.

— В конце концов, что может быть лучше горячего чая на террасе... Когда все вместе... За круглым столом... — задумчиво проговорила она и кивнула на улицу: — Идем?

Они пошли по дорожке, под руку, вместе под желтым зонтом, и затяжной въедливый дождь скоро размыл их очертания.

Заросший щетиной, с целлофановым кульком в руках, поэзьявивая чистыми, вымытыми после передач банками, Летев прохаживался у больничных ворот. Ждал девушку...

Потом он стоял на остановке, встречая людей из автобуса, но девушка не приходила...

Потом он подбежал к подъезжавшему к больничным воротам такси...

Потом оглянулся на женский смех...

Потом стоял у больничного забора...

Потом прохаживался, опустив голову...

Потом побежал навстречу, но обознался...

Девушка не приходила...

В женской больнице, в смотровой комнате, две подруги, две ровесницы сидели друг против друга. Врач-гинеколог и Зинаида.

Оправляя короткую юбку, Лерка вышла из-за ширмы.

— Иди, деточка, подожди в коридоре, — ласково кивнула ей врач.

Зинаида поднялась, приотворила поплотнее за Леркой дверь и тревожно посмотрела на подругу.

— Ну что, Галь?

— Срок небольшой, конечно... но сделаем, Зин, сделаем... Сейчас оформлю ее по «скорой» и... Не волнуйся! Ты выписку из его истории болезни принесла?

— Я же тебе еще вчера отдала!

— А-а! — вспомнила врач и похлопала себя по карману белоснежного халата, вытаскивала выписку, пробежала глазами, покачала головой.

— Представь себе! — сказала Зинаида. — И она еще хочет от него родить!

— Ну, знаешь! — возмутилась врач. — У нас что? Дураков не хватает? Кто ей разрешит? У отца будущего ребенка шизофрения...

— А ей что, ребенок нужен? — тихим голосом воскликнула Зинаида. — Ей дом мой нужен! Вот родит, — постучала она пальцем по столу, — и попробуй потом от нее отвяжись. Не хочет она, Галь, аборт! Не хочет! — убежденно добавила она.

— Ну-у, — усмехнулась врач, — у нас и не такие попадают. — Она поднялась и кивнула подруге на электрочайник: — Поставь пока... Отведу ее в приемный покой, и чайку попьем. У меня к тебе разговор имеется, — кокетливо добавила она.

— Идем, деточка, — услышала Зинаида ласковый голос подруги из коридора.

Теперь, покачиваясь вперед-назад, он сидел в своей комнате на диване, а целлофановый кулек с банками стоял у его ног. Простоволосая мать пыталась его успокоить, сидела рядом и поглаживала по плечу.

— Понимаете, мама, — бормотал Летев, — она должна была прийти сегодня, но не пришла... Я знаю, что она пошутила. Она всегда шутит. Но, может быть, с ней что-то случилось?.. Что-то случилось! — посмотрел он на мать. — И надо идти ее спасать!

— Никуда не надо идти, — убаюкивающим

тоном сказала Зинаида.— Никого не надо спасать. Она просто легла в больницу.

— Зачем? — вскинулся Летев.

— Ну как тебе сказать,— пожалла плечами Зинаида.— Она не хочет от тебя рожать. Ни кошку, ни собачку, ни ребенка. Она делает аборт.

Летев опустил голову и задумался.

— Да, да... — пробормотал он.— Она права... От меня нельзя рожать! Мы проходили это в школе. Я помню... Амебы размножаются делением тела... Они делятся и делятся. Миллионы лет и тоже никогда не умирают... И человек делится и делится миллионы лет и тоже никогда не умирает... Да, да... Человек — бессмертная протоплазма... Мне поставили за это пятерку!.. Но ведь мне нельзя делиться, правда, мама?.. — посмотрел он на мать.

Она неопределенно пожалла плечами...

— Да! Да! Она права! — воскликнул Летев.— Мне нельзя делиться! Нельзя!

Он шел по темному городу. По улице, ведущей вверх, к новому зданию из стекла и бетона. Там было темно, светились только два окна на последнем этаже, но Летев не стал стучаться в стеклянные двери входа, а перелез через блочный забор и спрыгнул во двор.

Над входом в полуподвал тускло светила в разбитом плафоне лампа. Летев сбежал по ступенькам вниз, открыл ключом дверь и вошел в полутемный коридор.

— Дома! — засмеялся он.— Наконец-то я дома!

Он толкнул дверь в одну из комнат и включил свет. Собаки спали в боксах, одна только черная тощая сука визгливо залаяла, вытянув вверх морду.

— Привет, Кармен! — сказал ей Летев.— Я вернулся! Я вернулся, дети мои! — сообщил он всем и прошелся мимо клеток.

Но собаки привыкли спать в этот час, проснулся один только Ржавый. Он потянулся, размял мышцы и сел, глядя сквозь решетку на Летева.

— Ты жив, Ржавый?! — обрадовался Летев, щелкнул задвижку и вошел к собаке в бокс.— Ах ты саботажник... — обнял он Ржавого за шею, потрепал по спине.— Ну, ничего, ничего... Я завтра с тобой поговорю...

Он закрыл клетку, выключил свет и вышел в коридор. Толкнул дверь напротив, в темную кладовку, и лег на потертый топчан.

В женской больнице, в два часа ночи, крепкая медсестра в коротком халате поверх голого тела потрясла Лерку за плечо:

— Вставай. Идем на осмотр.

Попшатываясь, Лерка побрела за медсест-

рой по коридору. Мимо палат, мимо ординаторской, мимо смотровой, мимо манипуляционной...

— А зачем? — сонно спросила она. — Мне же дали снотворное. Я спать хочу...

— Ты на обследовании,— не поворачиваясь к ней, сказала сестра.— Врачам лучше знать, когда тебя смотреть.— И она распахнула дверь в операционную.

Белый свет ламп ослепил Лерку, она зажмурилась, а врач сказала ласковым голосом, кивнув на кресло:

— Садись, деточка... Телько халатик сними... Сними халатик...

Лерка сбросила халат и пошла к креслу.

Анестезиолог взял ее руку, провел ладонью, нащупал вены, потом повернул к себе Леркино лицо и заглянул в глаза.

— Покажи глазки,— сказал он.— Какие у тебя глазки красивые... Ты сегодня не ужинала?

— Нет,— пробормотала она.

— Ну вот и молодец,— улыбнулся он и перетянул ей резиновым жгутом руку. Взял шприц и ввел иглу в вену.— Спокойно, спокойно,— внимательно следил он за Леркиным лицом, а ласковая врач уже сидела напротив расставленных голых колен, и медсестра везла к ней по плиточному полу тележку, и стерилизованный металл инструментов мелко дребезжал в тишине операционной.

В темном здании из стекла и бетона, в два часа ночи, в полуподвале, Летев ворочался на топчане и не мог уснуть.

— Нет, нет,— вскинулся он.— Я же дома, дома... — Он со страхом осмотрелся и пошел к собакам.

Лег на холодный пол у стены, поджал ноги и затих. С улицы в высокое окно под потолком пробивался мутный свет, освещал клетки боксов, тревожил Летева.

— Я трус, дети мои,— неожиданно сказал он в тишине.— Я трус. Хотите посмотреть на труса?! — вскочил он и включил свет.— Смотрите, как я прячусь за ваши тощие спины! — закричал он и затряс решетки боксов.

Собаки вскочили с мест, бросились на двери, остервенело залаяли со сна.

— Я трус! — кричал им Летев.— Уродливый трус! А там человеку делают больно! Там делают больно, дети мои! — показал он на дверь.— А я маленький... совсем маленький... Я спрятался,— потянул он рубашку на голову.— Меня нету... Меня не найдешь! Я в маме... Я еще в маме! Где мой хвост?! Где?! — воскликнул он и завертелся быстро-быстро вокруг себя. Заплакал.— Мне хорошо быть животным. Я люблю вас, дети мои! Но там ведь больно! — яростно закричал он.— Там

больно! А я не знаю дороги!.. Не знаю... Не знаю!.. — Он топнул ногой и упал на колени, закачался.

Из кармана его разодранной рубашки звякнул о плиточный пол осколок. Летев замер, глядя на него, наклонился и положил осколок на ладонь.

Поджав хвосты, собаки испуганно притихли в клетках...

Покачиваясь, Летев поднялся с колен и щелкнул задвижкой первого бокса... второго... третьего...

Собаки сбились в узком проходе, зарычали друг на друга, задергались...

— След! — неожиданно яростно крикнул Летев и сунул им в морды осколок. — След! — повторил он, и собаки ткнулись в осколок мокрыми носами. — След! — приказал Летев и распахнул дверь.

Собаки выскочили из темноты, взбежали по ступенькам на первый этаж и бросились в открытые двери операционного блока. Понеслись по коридору.

— Сле-е-ед! — кричал им Летев и не отставал.

Собаки свернули за угол и уткнулись мордами в тупик, в трупосжигательную печь. Залаяли со вздыбленной шерстью, оскалились, завывли.

— Врешь! — заорал им Летев. — Врешь! — захохотал он, расстегнул штаны и размашисто помочился на печь.

Ржавый взвыл от страха, поднял заднюю лапу и оставил желтый развод на кафельной стене у печи.

А визгливая сука уже повела стаю за собой.

ночной город, и Летев остервенело кричал им: — След!

...Собаки вывели его к штормовому морю и, срывая глотки, хрипло залаяли на волны.

Пограничный прожектор ударил светом и ушел в сторону, а Летев уже тащил лодку к темной воде.

Налегая на весла, Летев плыл в рассветном тумане. Волны утихли, и чистая спокойная вода теперь стелила ему путь. Стая спала, один только Ржавый сидел на носу лодки и смотрел вперед...

Белые размытые огни показались невдалеке. Ржавый вильнул хвостом, оглянулся на Летева, и лодка ударилась о борт парома... Закачалась...

Собаки подняли морды, встрепенулись, сгрудились бок о бок. Из молочной мглы к ним опустился трап. Стая бесстрашно взбежала по нему и растворилась в тумане.

Летев оставил весла и поднялся по трапу.

Обгоревший, ржавый, тяжелый кол под названием «Челленджер» стоял на пароме. Справа и слева вокруг него рассыпалась огнями сварка, падала в воду, шипела.

Собаки вертелись у корабля, а от него к Летеву шел командир Фрэнсис Скоби.

В тишине рассвета бил тяжелый молот, правил искореженный металл.

Два человека шли навстречу друг другу, и сквозь туман было видно, как они долго стояли обнявшись...

1988 г.

Под темным небом люди спали в своих домах, а животные неслись и оглашали лаем

В 1988 г. состоялся очередной уже традиционный конкурс на лучший сценарий художественного фильма среди участников Объединения молодых кинодраматургов при СК СССР.

Первую премию разделили сценарии: «Будь и думай!» Т. Ваулина (будет опубликован в следующем номере нашего журнала), «Седой» Ю. Короткова (будет опубликован в журнале «Искусство кино»).

Вторая премия присуждена сценарию «Осколок Челленджера» А. Криницкой. Третья — «Любовь» В. Тодоровского (сценарий будет опубликован в журнале «Искусство кино»).

Все четверо лауреатов будут приняты в Союз кинематографистов.

Кроме того жюри конкурса рекомендовало к публикации в журнале «Киносценарии» работу Н. Покорной «Не рыдай меня, Мати».



**Елена
ЛОБАЧЕВСКАЯ**

ИНТЕРНЫ

Тринадцатилетняя Светка Дзугутова бежит вдоль длинного забора. Она бежит, то и дело спотыкаясь, проваливаясь в глубокий снег.

За забором — серые каменные здания (три корпуса интерната: учебный, лечебный и спальный), бассейн, котельная. Рядом еще забор, а за ним еще один интернат, тоже три корпуса, только бассейна нет.

Светка бежит по заснеженному полю. Вдалеке виднеются силуэты домов-новостроек.

Двор интерната, на территории которого находится бассейн, пуст. В окнах учебного корпуса горит свет.

А за соседним забором гуляют дети. Двое ребят, прильнув к забору, внимательно следят за бегущей Светкой. Один из них высокого роста, с заячьей губой, на вид ему лет восемнадцать, просовывает руку между железными прутьями забора и, показывая на Светку, сильно шепелявя, кричит:

— Шегешница, шегешница!

— Шегешница! — орет мальчишка поменьше и высовывает язык.

Светка видит впереди шоссе, автобус, подъехавший к остановке...

У забора стоит уже человек пятнадцать, и все они нестройным хором, одни шепелявя, другие заикаясь, кричат:

— Шегешница! Шегешница!

Светка всем корпусом поворачивается к ним:

— Шедешники паршивые! Восемилетка за одиннадцать лет! Школа дураков!

— Школа горбатых! — не остаются в долгу ребята за забором.

Светка была в распахнутой шубе, без шапки. Подбородок ее был закрыт гипсовым головодержателем. Шею ограждали две железные планки. Она уже было открыла рот, чтобы ответить новой тирадой, но ей мешали смотреть сбившиеся на глаза волосы. Она попыталась движением головы откинуть их. Но головодержатель мешал, и она с силой рванула его. Он не сломался, лишь покосились железные планки. Светка собралась с силами, лицо ее напряглось, глаза сузились, и она еще раз рванула головодержатель. Теперь она могла свободно вертеть головой. Светка оглянулась на светящиеся окна учебного корпуса интерната, бросила кусок головодержателя в снег и, не обращая внимания на кричащих и улюлюкающих ребят за забором, резко повернулась и побежала к автобусной остановке.

Светка стояла на корсетном станке. Станок напоминал виселицу. Ноги ее еле касались пола, а кожаный воротник, укрепленный веревками на верхней перекладине, тянул голову вверх так сильно, что, казалось, вот-вот оторвет ее от тела. А тело покрывали толстым слоем гипса. Гипс застывал быстро, и Светке было невыносимо трудно дышать.

Эту несложную работу выполняли две женщины в белых халатах. Они туго запеленывали Светкино тело в тряпки, покрытые гипсом.

Корсетная мастерская была большой комнатой. Вдоль стен на стеллажах, словно рыцарские доспехи, стояли в ряд гипсовые слепки торсов совсем маленьких детей и ребят постарше. На белом гипсе выделялась написанная химическим карандашом фамилия владельца торса, а чуть ниже — класс, в котором он учился. На полу валялись гипсовые кровати с такими же надписями. На столе лежали готовые корсеты.

В углу комнаты на фоне нескольких торсов юных акселераторов на табурете примостился корсетный мастер, мужик лет сорока в черном халате, с папиросой в зубах. Он равнодушно смотрел на загипсованную Светку и насвистывал какую-то мелодию.

— Починил ей головодержатель? — не поворачивая к нему головы, спросила одна из женщин.

— Угу,— ответил мастер в пространство.

Светка попробовала скосить глаза в его сторону, но увидела лишь слепки на стеллаже.

Женщины заканчивали свою работу.

— Стягивай крепче.

— Что-то сегодня плохо схватывает.

Светка заставила себя улыбнуться, потому что дверь в корсетную мастерскую открылась и на пороге появилась ее подруга Вера Колосова, девочка в интернатской форме — в черных брюках и серой куртке, в корсете. Железные планки корсета были прикрыты длинными пепельными волосами. У Веры были печальные взрослые глаза, а лицо совсем детское, с пухлыми щеками, надутыми губами. Вера оглядела комнату и низким голосом, медленно растягивая слова, сказала:

— С возвращением, Светик,— особой радости по поводу возвращения подруги в ее голосе не чувствовалось.— Тебя Ираида вызывает. Советую не связываться...

— А где Пеле? — перебила ее Светка.

Она говорила с трудом. Гипс мешал ей.

— Закрой дверь,— попросила Веру одна из женщин.— Как подсохнет — придет.

— Пелецкий тебя уже час ждет у кабинета Ираиды,— сказала Вера.— Я в палате буду, приходи.

Вера окинула всех высокомерным взглядом и медленно вышла. Дверь осталась открытой.

Одна из женщин захлопнула за Верой дверь, а вторая взяла в руку карандаш, постучала Светке по животу. Гипс застыл. И начала писать у нее на животе. Светка дико завизжала.

— Ты что, взбесилась?! — прикрикнула женщина.

— Щекотно! Ой, щекотно!

Но надпись была уже готова: «Дзугутова Светлана. 7 «А».

Смеркалось. По асфальтовой дороге, пересекающей заснеженное поле, пробиравась «Волга». Машина остановилась у запертых ворот. Из «Волги» выпорхнула девочка в белой шубке и пушистом капоре. Следом за ней появились элегантная дама и мужчина в пыжиковой шапке, плотно натянутой на уши.

— Ну, я пошла, ребята! — бодро сказала девочка.

— Илоночка, деточка... Может быть, мы тебя проводим,— взмолилась дама.

— Ирина, мы же договорились! Ираида Кузьминична все сделает,— строго сказал мужчина жене.

Он нажал на звонок у калитки. Шофер открыл багажник и вынул из него большую дорожную сумку.

На звонок к калитке бежала женщина небольшого роста в накинутах на плечи пальто.

Мама бросилась целовать дочь, а отец забрал сумку у шофера, передал ее Илоне и похлопал дочь по спине.

Женщина приоткрыла калитку:

— Вам чего?

— А вы кто? — спросил Илонкин папа.

— Дежурный воспитатель Корнеева,— доложила женщина.

Воспитательница Корнеева была в черном в завитушках парике. Парик съехал набок, она залихватским жестом поправила его и сказала:

— Родители на территорию интерната допускаются только по вызову или по субботам,— Корнеева букву «р» не выговаривала совсем.

— Товарищ Корнеева, вот направление из ЦИТО, а вот Сергеева Илона. Она будет у вас учиться. Ираида Кузьминична в курсе.

Воспитательница взяла направление, посмотрела на бумагу, потом взглянула на Илонку. Девочка вежливо улыбнулась ей.

— Понятно. Проходи,— воспитательница приоткрыла калитку пошире.

Илонка прошмыгнула на территорию интерната, а воспитательница захлопнула калитку перед носом у рванувшейся было за Илонкой мамы.

— Илоночка...— простонала мама.

Корнеева уже крепко держала Илонку за руку и на ходу спрашивала:

— В каком классе?

— В седьмом,— улыбалась Илонка.

— Значит, ко мне в седьмой «А»,— решила Корнеева.— Какая степень?

— Что? — не поняла Илонка.
— Искривление позвоночника сильное?
— Нет, что вы! Меня сюда профилактически, — объяснила Илонка.
— Профилактически — витамины пьют. Дома!

Илонкина мама все еще стояла у калитки, папа чуть поодаль, запустив руки в карманы пальто, а шофер сел в машину и завел мотор.

Воспитательница Корнеева и Илонка стояли в холле интерната у раздевалки.

— Раздевайся, — приказала Корнеева. — Сумку давай, — она показала на кресло.

Илонка поставила сумку, сняла шубу и шапку, тряхнула головой, чтобы распушить длинные жгуче-черные с фиолетовым отливом волосы. Илонка была очень красивая — белокожая, с точеным личиком, с огромными голубыми глазами.

Корнеева тщательно исследовала ее сумку, вынимала свертки, разворачивала. Илонка удивленно наблюдала за действиями воспитательницы. Улыбка не сходила с ее лица. Казалось, что если она перестанет улыбаться — она заплачет. Поэтому она улыбалась.

— Еду в интернат приносить не положено. У нас спецдиета. А насчет вещей, — Корнеева двумя пальцами вынула из сумки кофту, — так у нас форма: черный низ, серый верх. На первый раз отбирать не буду, но чтоб в следующий понедельник я этого не видела. У нас все равны. Исключений ни для кого делать не будем.

Корнеева скинула с плеч пальто. Воспитательница была в зеленом платье, обтягивающем ее плотную приземистую фигуру. Корнеевой было тридцать шесть лет, она была женщиной сильной и резкой в движениях.

— Ты посиди, — показала она на нишу справа от входной двери. — Ираида Кузьминична скоро будет. Я на самоподготовку, — воспитательница устремила к лестнице.

Холл украшал гигантский стенд. Он назывался «Родной интернат». Центральное место на стенде занимала большая фотография женщины лет сорока пяти в платье, отороченном мехом. Женщина смотрела пристально, чуть прищурив один глаз. Вокруг были фотографии поменьше. Урок в классе: ребята лежат на обтянутых кожей кушетках и внимательно слушают учительницу. Кабинет ЛФК (лечебно-физкультурный комплекс упражнений): девочки, стоя перед зеркалами, делают упражнения. Занятия в бассейне. Торжественный вечер: мальчик в корсете отплясывает на сцене. Дети в столовой, на утренней зарядке, на осмотре у врача...

Илонка рассматривала стенд, а ее внима-

тельно разглядывал мальчик. Он вышел из ниши. Мальчик был маленького роста, белобрысый, в корсете и интернатской форме.

— Эй, — тихо позвал он.

Илонка вздрогнула и повернулась. Увидев мальчика, она растянула губы в приветливой улыбке.

Мальчик развязал головодержатель и уселся в кресло возле журнального столика, положив ногу на ногу. Рядом стояли еще несколько кресел, кадки с пальмами, фонтанчик для питья и мраморная урна. Илонкино внимание привлекла обитая черной кожей дверь с золотой табличкой: «Кандидат педагогических наук, директор спецшколы-интерната № 67 Боброва Ираида Кузьминична».

— А тебе корсет оденут? — спросил мальчик.

— Нет! — ужаснулась Илонка.

Послышался топот — к ним бежала Светка Дзугутова. Она остановилась, уставилась на Илонку. Илонка приветливо улыбнулась.

Светка была в корсете, в интернатской форме. Мокрые волосы были собраны в хвост. К челке прилип кусок гипса. Оглядев Илонку с ног до головы, Светка бросила взгляд на мальчика:

— Пеле, ты чего здесь делаешь?

— Ираида скоро придет. Ты подожди. Лучше сразу отлучиться, — попросил Светку Пеле.

Светка подскочила к фонтанчику, неловко склонилась над ним (корсет мешал), попила воды.

— Это наша новенькая, — представил Пеле Илонку.

— Илона, — улыбнулась Светке девочка.

— Дзугутова Света, — буркнула Светка и легла на журнальный столик.

— А здесь у вас ничего, — попыталась поддержать беседу Илона.

— Ничего, жить можно, — Пеле посмотрел на Светку. — Правда?

Светка, насупившись, молчала.

— Завязать головодержатель! — раздался голос воспитательницы Корнеевой. Воспитательница, подбоченясь, приближалась к ребятам.

Пеле встал с кресла и нехотя завязал головодержатель.

— Все уроки делают, а он со своей Дзугутовой прохлаждается! Развалилась, как дерьмо на сковородке!

Пеле покраснел. Илонка испуганно отступила в сторону. Светка не шелохнулась. Она подняла глаза на воспитательницу и спросила:

— Зоя Григорьевна, у меня к вам вопрос: что такое «рефрижератор»?

Корнеева схватила Светку за железные планки корсета, стащила со стола, встряхну-

ла, поставила перед собой и, туго затягивая ей головудержатель, объяснила:

— Рефрижератор — это холодильник.

Корнеева не выговаривала «р», и Пеле засмеялась.

Светка, сохраняя серьезность, стояла перед воспитательницей навтыжку:

— Спасибо. А то я все время забываю.

— Ты еще здесь?! — прикрикнула воспитательница на Пеле.

— Я пошел, — тихо сказал Светке Пеле, — до ужина.

В нишу вошла Ираида Кузьминична — женщина, портрет которой Илонка рассматривала на стенде.

Корнеева поправила съехавший набок парик и доложила:

— Вернувшаяся Дзугутова... Новенькая...

— Здравствуйте, ребята, — прервала ее спокойным и строгим голосом Ираида Кузьминична.

Ребята робко поздоровались с ней. Директрису боялись.

— Илона, я сейчас с девочкой разберусь, а ты зайдешь ко мне завтра с утра. Иди в палату и располагайся. Мальчик тебя проводит, — сказала Ираида Кузьминична.

Пеле покорно взял Илонкину сумку.

— Пошли, — позвал он Илонку.

Директриса открыла дверь своего кабинета маленьким ключиком.

Светка посмотрела вслед Пеле и Илонке, резко повернулась и шагнула в директорский кабинет. За ней вплотную, будто опасаясь, что Дзугутова сбежит, двинулась Корнеева.

Ираида Кузьминична зажгла свет.

Кабинет был просторным и скорее походил на зал, чем на комнату. На стенах висели фотографии. Почти на каждой в центре композиции была Ираида Кузьминична. Ираида Кузьминична с иностранной делегацией, Ираида Кузьминична с космонавтом, Ираида Кузьминична с генералом... Вдоль стен стояли стулья и небольшой диванчик.

Директриса села за большой полированный стол в высокое кресло с резной спинкой.

— Садись, — указала она Светке на низкое мягкое кресло, стоявшее с другой стороны стола.

Светка села и почувствовала себя удобно сидящей на полу. Повернуть голову к Ираиде Кузьминичне она не могла — кресло стояло боком к столу, а головудержатель был завязан. Светка видела перед собой лишь кусок стены и фотографию Ираиды Кузьминичны с африканскими детьми.

Воспитательница Корнеева примостилась на стуле у стены.

— Ну, рассказывай, Светлана, — вздохнула Ираида Кузьминична.

— Что рассказывать? — спросила Светка.

— Рассказывай, почему ты совершила по-

бег? И куда. Мы твоим родителям звонили — дома ты не появлялась. Мама плакала...

Светка молчала.

Ираида Кузьминична смотрела на ее профиль не моргая, будто желала загнипотизировать Светку.

— Мы, учителя, воспитатели, врачи, Иван Иванович Лось, наконец, всё, кажется, для вас делаем. Не может же быть, чтобы ты без причины нас всех так оскорбила. Весь интернат на ноги подняла! Где ты была?.. Может быть, тебя кто-нибудь обидел? Ты расскажи, мы все вместе разберемся.

— Никто меня не обижал. Мне просто захотелось сбежать, и я сбежала.

— Ее обидишь! — подала голос Корнеева.

— Подождите, Зоя Григорьевна, — жестом остановила воспитательницу директриса. — Куда сбежала? Зачем? К кому?

— На свободу, — тихо ответила Светка.

— А о нас, о своих родителях тебе не пришло в голову подумать? Или ты считаешь, что можешь делать все, что тебе заблагорассудится? — спросила Ираида Кузьминична.

— Конечно, хотела бы... — сказала Светка.

— Теперь мне понятен твой образ мыслей, — скорбно сказала Ираида Кузьминична, — у тебя неправильный образ мыслей.

— За образ мыслей не судят, — выпалила Светка.

— Ты так считаешь? — прищурилась Ираида Кузьминична.

— Это сказал Оппенгеймер, — потупила глаза Светка.

— Да, Оппенгеймера ты читала, — покачала головой Ираида Кузьминична.

— Нет, мне подружка рассказывала книгу про него.

— Это Колосова Вера, — вмешалась Корнеева. — Она только и знает книжки читать и в палате по ночам рассказывать, режим нарушать. А эти, — она кивнула на Светку, — уши развесили...

— Нарушение режима и курса лечения ваш недосмотр, Зоя Григорьевна, — сделала выговор воспитательнице Ираида Кузьминична. — Светлана, может быть, ты лечиться не хочешь? У нас интернат единственный в Союзе! Годами в очереди стоят, чтобы к нам попасть. А ты сбегаешь! Да еще корсет сломала! Государству твой корсет сто двадцать рублей стоит. Ты, если не хочешь лечиться, так прямо и скажи.

— Ну я же вернулась, — устало пробормотала Светка.

— А тебе, Светлана, некуда деваться. В нормальной школе ты учиться не можешь — позвоночник не выдержит. Домашнего обучения тебе родители обеспечить не могут, и бассейн тебе возле дома никто не построит. Некуда тебе бежать, — подвела итог Ираида Кузьминична.

— Я знаю,— сказала Светка.

— А хотя бы извиниться за случившееся в голову не приходит? — спросила Ираида Кузьминична.

Светка молчала.

— Ничего вы не цените,— заговорила Корнеева Светке в спину,— за вами ухаживают, лежат вас, учат. По-гуманному относятся. А вот во время войны фашисты больших детей...

Ираида Кузьминична поморщилась и бросила на Корнееву строгий взгляд, приказывающий ей замолчать.

— Педсовет и совет воспитателей предложил исключить тебя за побег и нарушение режима,— сказала директриса.— Но врачи вступились, просили принять к сведению неполное окостенение и возможность резкого ухудшения. Мое решение: вынести тебе выговор с занесением в личное дело и оставить в интернате, если ты дашь мне честное слово исправить свое поведение.

— Я постараюсь,— покорилась Светка.

— Можешь идти,— сказала Ираида Кузьминична.— До первого чепе. И не забывай о своем обещании.

Светка была уже у двери и чувствовала себя посвободнее:

— Я не обещала, а сказала «постараюсь».

Светка повернулась и выскочила из кабинета.

Светка бежала по длинному застекленному переходу, соединяющему учебный корпус со столовой и спальным корпусом. Ребята в сопровождении воспитателей шли в столовую на ужин. Многие здоровались со Светкой. Она не отвечала ребятам, а злобно, как на врагов, смотрела на них.

Ее остановил мальчик-девятиклассник. Он был высокого роста, в форме, но без корсета.

— Светка, тебе мой папашка обещал через несколько дней новый корсет сделать, а то, говорит, ты из этого совсем выросла,— мальчик говорил со Светкой снисходительно, как говорят с больными или с маленькими детьми.

— Ненавижу я вас всех, и тебя, Матыцин, и твоего папу, за то, что он эти корсеты делает! — обрушилась на него Светка.

— Не шуми,— улыбнулся Миша Матыцин.— Скажи лучше, что это за новенькая у вас объявилась?

Светка не удостоила его ответом и пошла дальше.

Она свернула в коридор. Коридор был длинным и темным. В середине коридора Светка выскочила на лестничную клетку. Здесь горел яркий свет. Ей навстречу шагнул Пеле. Он был ниже Светки на голову.

— Светка, мы уже поужинали, я тебя жду,— виновато сказал он.

— Ненавижу...— начала было Светка, но запал уже прошел, и Пеле как-то не получалось ненавидеть.— Ну, показал новенькой наши хоромы? — поджав губы и изображив на лице обиду, спросила она.

— Показал,— смущенно ответил Пеле.— А куда ты сбегала?

— В один знакомый притон.

Пеле испуганно посмотрел на Светку, секунду подумал и уверенно сказал:

— Врешь.

— Почему?

— Потому что сбегала в корсете и вернулась в корсете. А в нем ты бы ни в какой притон не пошла и даже ни в какие гости.

— Зачем же спрашивал?

— Я просто очень волновался. И мне было очень тоскливо без тебя.

— Было б тоскливо — тоже бы сбегал. — Ты ведь даже не предупредила...

— Фиг бы я сбегала, если б стала всех предупреждать.

— Значит, я — «все»? — обиделся Пеле.

— Значит.

— Значит, между нами ничего не было?!

— А что было? В «кис-мяу» играли? Так это мы по правилам целовались,— Светка смерила Пеле взглядом.

— Тогда я пошел в палату,— сказал Пеле и не двинулся с места.

— Валий! — Светка побежала вверх по лестнице.

В палате — пять кроватей вдоль одной стены, пять — вдоль другой. Справа от двери — большой шкаф со множеством ящиков. У окна — в «коррекции» — стояла Надя Римская, девочка с длинными черными косами: руки подняты вверх, шея вытянута, ноги на ширине плеч.

Вера Колосова лежала на кровати на белом покрывале и, не обращая ни малейшего внимания на девчонок, собравшихся в кружок вокруг Илонки, читала книжку.

Марина Шутова, болезненно худая девочка в корсете, слонялась по палате. Она дернула Римскую за косу, но та не шелохнулась.

Илонка разложила на своей кровати конфеты, домашний пирог, бутерброды и угощала девочек.

Девчонки робко брали угощение и зачарованно слушали рассказы о вольной жизни.

— ...Пришла из театра со своим поклонником, а родители сообщают, что решили меня сюда положить. Профилактически...

— Прямо из театра к нам? — восхищенно спросила Лена Ступишина, тихая светленькая девочка.

Шутова подошла к Лене Ступишиной и шелкнула ее по носу. Лена заслонила лицо рукой. Шутова толкнула плечом Галю Малышеву, над кроватью которой висела большая фотография Плисецкой. Но никто не обращал внимания на Шутову. Все слушали Илонку.

— Нет, я в театре вчера была,— объяснила Илонка.— Но все равно ни с кем не успела познакомиться. Мы с мальчишками из класса сегодня на тусовку собрались, а меня сразу после школы — в машину. Ну, ничего,— сама себя успокоила Илонка и улыбнулась,— это ненадолго.

— А мальчишек у вас в классе много? — примостилась к Илонке на кровать Люба Ходакова, шустрая, кокетливая девчонка.

— У нас в классе тридцать два человека, пятнадцать девочек... значит, семнадцать мальчиков.

— Ни фиги себе! — присвистнула Ходакова.— У нас в первом классе тоже... семь было, а к седьмому один Пеле остался. Мальчишки у нас не выдерживают. Им чего?! Плевать им на свою фигуру. У Пеле родители — интеллигенция, вот и мучают его здесь.

— Он у вас такой плюгавенький,— пожалела девчонок Илонка.

Девчонки смутились.

— Почему? — робко спросила Лена Ступишина.

А у двери стояла Светка.

Вера, не отрываясь от книги, помахала ей рукой, приглашая к себе, но Светка смотрела на девчонок, собравшихся вокруг Илонки.

— Ой, Дзугутова вернулась! — всплеснула руками Люба Ходакова.

— Привет! — подскочила к Светке Марина Шутова и изо всех сил стукнула ее по плечу.

— Здравствуй,— сказала Светка, схватила Шутову за железную планку корсета и долбанула об стенку.

Илонка завизжала.

Вера, продолжая читать, басом сказала: — Заткнись.

Шутова набросилась на Светку, и они сцепились.

Для всех девчонок в этой драке не было ничего удивительного.

— А ты в Большой театр ходила? — спросила Илонку Галя Малышева.

— Нет, на Таганку,— автоматически ответила испуганная Илонка.

Римская продолжала невозмутимо стоять в коррекции лицом к стене.

Шутова дала Светке коленом в живот и издала победный вопль, но не тут-то было... Светка вцепилась ей в волосы и пригнула ее к полу. Шутова ухватилась за планку Свет-

киного корсета, и они вместе грохнулись под ноги Римской.

— Ничья,— не отрываясь от книжки, сказала Вера.

Римская опустила руки, повернулась к лежащим на полу в обнимку Шутовой и Дзугутовой и спокойно сказала:

— Поищите, пожалуйста, другое место. Я занимаюсь элфэка.

Светка и Шутова поднялись с пола.

— Единоличница! — крикнула Шутова.— Тоже мне, великая пианистка! Вылечиться хочет!

— Да,— твердо сказала Римская.— Я здесь для того, чтобы вылечиться. А вы так на всю жизнь и останетесь...

Вот здесь обернулись все, даже Вера приподнялась на кровати.

— Кем мы останемся? Ну, скажи... Скажи! — потребовала Шутова.

Римская молчала.

— Чтоб ты подавилась своим пианино! — крикнула Юлия Тимченко под одобряющие вопли остальных.

— Кому твой позвоночник нужен при такой роже! — засмеялась Ходакова, показывая на Римскую пальцем.

— Тебе этого не понять,— ровным голосом ответила Римская.— Я буду играть!

— Фанатичка! Не нравится в нашей палате — катись отсюда! — встала во главе травли Светка.

В перебранке не принимали участия лишь Вера, перепуганная Илонка и Галя Малышева, которая улучила время привести в порядок свою коллекцию портретов балерин в красивом кожаном альбоме.

Шутова сняла с кровати покрывало и сзади набросила на Римскую. Девчонки кинулись заматывать пианистку. Ходакова потушила свет. Юлия Тимченко схватила жертву за ноги, ей помогла Ходакова. Шутова и Светка схватили Римскую за плечи и за голову, остальные подхватили тело. Лена Ступишина распахнула дверь.

— Тяжелая, мумия,— брезгливо бросила Светка.

Девочки торжественно вынесли Римскую из палаты. Галя Малышева захлопнула альбом, прыгнула с кровати и побежала за ними. Она была крошечная, почти горбатая.

Вера встала с кровати, включила свет, закрыла дверь.

Илонка спросила, сиюсь улыбнуться:

— За что они ее так?

— Сама сообрази,— ответила Вера и легла на кровать.

В палату гурьбой ввалились девчонки. Светка подскочила к Илонке, взяла самый большой кусок пирога и пригоршню конфет и направилась к своей кровати, которая стояла вплотную с Веринной.

— А где девочка? — спросила Илонка.
— В сортире, в коррекции лежит, — давясь от смеха, ответила Ходакова.

У девчонок было прекрасное настроение. Они весело переговаривались, смеялись.

— Я же говорила: Дзугутова вернется, и сразу весело станет, — сказала Марина Шутова и подошла к Светкиной кровати.

За ней потянулись все остальные. Илонка осталась одна.

А Светке вдруг стало скучно. Она, насупившись, сидела на кровати и исподлобья смотрела на девчонок, обступивших ее.

— Ну, рассказывай, — Ходакова взяла у нее несколько конфет.

— Ступня, постели мне постель, — попросила Юля Тимченко Лену Ступишину и присела к Светке на кровать.

Светка уплетала пирог.

Илонка решила лечь спать и надевала ночную рубашку.

Лена Ступишина стелила Юле постель и ворчала:

— Почему всегда я? Могла бы сама постелить.

Юля услышала и строго спросила:

— А контрольные по математике и физике кто тебе решает, а, бестолочь?

И Ступишина поправила простынку на Юлиной гипсовой кровати.

— Тебе у директрисы влетело? — спросила Светку Наташа Зубова.

У нее на шее был высокий толстый кожаный воротник.

— Выговор с занесением. Если еще раз режим нарушу, шею свернут, — улыбнулась Светка.

Зубова рассмеялась:

— Не-е, у них так, как у моего папашки, не получится! — она шелкнула себя по кожаному воротнику. — Пусть его из тюраги пригласят. Он в этом деле у меня профессионал!

Девчонки захихикали.

Распахнулась дверь, и в палату вошла воспитательница Корнеева.

— Так, опять бардак! — оценила она обстановку. — Убрать еду! Что, Дзугутова, новенькую обжиралась?

— Она сама угостила, — вступилась за Светку Марина Шутова.

— Без адвокатов обойдемся, — прикрикнула на нее Корнеева. — Умываться и по кроватям! Куда покрывало дели? — ткнула воспитательница в кровать Ходаковой.

Все молчали и враждебно смотрели на нее. В палату вошла Римская с покрывалом в руке.

— Надя, ты чего? — спросила ее Корнеева.

— Я умывалась, — ответила Римская.

— А покрывало зачем с собой носишь?

Девчонки, затаив дыхание, смотрели на Римскую. Вера оторвалась от книги.

— Я пятно Любе застирала, — ответила Римская и протянула Ходаковой покрывало.

Корнеева, воспользовавшись тем, что Вера выпустила книжку из рук, подскочила к ее кровати и схватила книжку.

— Антуан де Сент-Экзюпери. «Земля людей!» — прочитала она вслух. — Это не про вас.

— Отдайте книгу, — сказала Вера.

— Утром отдам. А сейчас отбой.

Девчонки с полотенцами побрели в умывалку.

Воспитательница Корнеева сняла парик, повесила его на спинку кровати, подошла к окну, выдохнула и замерла.

За окном бушевал ветер, шел сильный снег. Фонарь освещал забор и кусок поля.

Свет от фонаря просачивался в палату. Девочки спали. Все они, кроме Илонки, спали в гипсовых кроватках, лежали на спине прямо, как фараоны в саркофагах.

— Верочка, почему все так? — шептала Светка. — Почему меня все обижают?

— А ты никого не обижаешь? — спросила Вера.

Шутова бормотала что-то во сне. С закрытыми глазами она медленно поднялась, села на кровати и позвала:

— Девочки, девочки!

Светка и Вера затихли, притворились спящими.

Шутова звала:

— Девочки, девки!

— Чего? — отозвалась с другой половины палаты Наташа Зубова.

— Господи, поспать не дают, — просто-на-просто Лена Ступишина.

— Девочки, мне страшно, — с закрытыми глазами четко и громко сказала Марина Шутова.

— Кретинка, — зло прошипела Ходакова.

— Если вы не прекратите, я расфиссируюсь и позову дежурную, — пригрозила во сне Надя Римская.

Но Марина Шутова снова начала бормотать что-то невнятное и легла в гипсовую кроватку.

В палате стало тихо.

Снег на поле растаял. Было промозгло, слякотно и мрачно. Моросил дождь. Окна спального корпуса зажигались одно за другим.

— Подъем! Семь утра! На зарядку!

Воспитательница Корнеева врубила свет в палате седьмого «А».

Римская быстро вскочила и встала в коррекцию.

Девочки, щурясь от яркого света и ворча, поднимались с кроватей.

...По двору интерната группами шли ребята. Они поживались от холода, сонно переговаривались.

— Побыстрой! Пошевеливайтесь! — подгоняли их воспитатели.

Младшие классы уже построились возле спального корпуса. Ребята постарше шли медленно, еле передвигая ноги.

— Построиться, седьмой «А»! Построиться! — кричала воспитательница Корнеева.

Девочки лениво становились в ряд друг за другом. Корнеева подталкивала их

— Где Пелецкий? — волновалась воспитательница.

— Здесь я, — на ходу надевая куртку, подбежал Пеле и встал между Верой и Светкой.

— Доброе утро, — сказал он Светке в затылок.

— Равняйся! Смирно! — скомандовал физрук, стоявший на крыльце спального корпуса.

Светка повернулась к Пеле.

— Привет, Алешка...

— Дзугутова! — крикнула воспитательница Корнеева.

— Вдох — выдох! Раз — два! — командовал физрук. — Руки вверх, на плечи, на пояс, вниз!

Все, даже малыши, делали упражнения кое-как, чисто символически. Римская старалась вовсю.

— Приседания. Раз, два, три... четыре! — командовал физрук.

Илонка стояла за Римской и лениво приседала. В соседнем ряду приседали девятиклассники. Среди них — один мальчик, Миша Матыцин. Он переговаривался с Илонкой:

— Пошли сегодня в тихий час в спортзал, в пинг-понг поиграем.

— Пойдем, — улыбалась Илонка. — Зайди за мной в палату.

Ходакова прислушивалась к их разговору.

— Ходьба на месте! — командовал физрук.

Ребята с энтузиазмом замаршировали. Зарядка разбудила их.

— Вдох, выдох! В столовую марш! — весело сказал физрук.

Светка взяла за руку Пеле. К ним присоединилась Вера, и они пошли ко входу в учебный корпус.

— Что новенького? — спросила Светка Пеле.

— Не знаю, — ответил Пеле.

Их догнала Люба Ходакова.

— Во, новенькая дает! — сообщила она. — За месяц сына корсетного мастера окрутила.

Илонка шла с Мишей Матыциным.

— У Матыцина тоже губа не дура, — взяла Ходакову под руку Юлия Тимченко. — А чего им? Оба здесь «случайно и ненадолго», — передразнивая Илонкину интонацию и голос, сказала она.

Двор опустел. Ребята толкались у дверей учебного корпуса.

А за соседним забором зарядка продолжалась.

— Вдох, выдох! Раз, два! — доносились оттуда громкие команды.

Длинные ряды столов. Каждый ряд — класс.

В столовой было самообслуживание. Ребята брали ложки, вилки, алюминиевые миски и становились в очередь на раздачу.

— Следующий! — кричала повараха, плюхая в миску два половника каши.

Седьмой «А» сидел за столом. Во главе стола сидела воспитательница Корнеева и разливала по стаканам чай.

Юля Тимченко быстро проглотила свою порцию и что-то записывала в тетрадку, которую она держала на коленях, пряча от воспитательницы.

— Вер, — позвала она, — так можно, в конце концов, считать Чацкого декабристом или нет?

— Если б он не шатался по заграницам... — авторитетным голосом заговорила Вера Колосова.

— Так и писать? — перебила ее Лена Ступишина.

— Пиши как хочешь, — сказала Вера. — Лучше всего как в учебнике, а то запутаешься. Я тебе помочь не смогу, за пятерых писать надо. И каждому свою версию.

— Мне напиши, что можно, — попросила Люба Ходакова. — У меня уже два тройка — исправить надо.

— Нам с Пеле пореволюционной, — потребовала Светка. — Правда, Алешка?

— Не обязательно, — засомневался Пеле.

Светка толкнула его локтем в бок.

Илонка ковырялась в своей миске.

— Зубик, съешь, пожалуйста, я не могу, — попросила она Наташу Zubову.

— Давай, — подала знак Zubова.

Илонка осторожно подвинула ей миску.

— Сергеева! Ешь сама! — поймала их на месте преступления воспитательница Корнеева.

Илонке пришлось взять миску обратно. С гримасой страдания она снова принялась водить ложкой по миске.

— Кто не подлизет до конца, сегодня на вечер не пушу! — пригрозила Корнеева. — Сергеева! Чтоб сегодня же одела форму! В таком костюмчике езжай в Америку лечиться!

Илонка с усмешкой взглянула на воспитательницу и уткнулась в тарелку.

— Зоя Григорьевна, а правда, к нам на вечер мальчишек из школы приведут? — спросила Люба Ходакова.

— Будут тебе, Ходакова, кавалеры, — поправила парик Корнеева.

— Ты сегодня не хулигань, а то на вечер не пустит, — шепнул Светке Пеле.

— Постараюсь, — согласилась Светка.

Римская встала из-за стола, подошла к Корнеевой, показала ей чистую миску и стакан.

— Можешь идти в класс, — сказала воспитательница.

За Римской потянулись остальные.

— Зоя Григорьевна, мне писем от папашки не было? — спросила воспитательницу Наташа Зубова, показывая ей миску.

— Нет, — ответила Корнеева.

За столом осталась одна Илонка. Она загнула в рот всю кашу, с набитым ртом подошла к Корнеевой и показала ей чистую миску.

— Спасибо за одолжение, — рявкнула воспитательница.

В классе стояло три ряда топчанов. Большинство девочек уже лежали. Римская ходила по классу между рядами и делала упражнения. Вошли Светка, Пеле и Вера. Следом за ними появилась Илонка. Она подошла к своему топчану, достала из подставки тетрадку (на топчанах лежали кожаные подставки, в которых хранились учебные принадлежности, их подкладывали под грудь, чтобы удобнее было писать), села на топчан и заплакала.

— Что с тобой? — подскочили к ней девочки.

— Со мной никто в жизни так не обращался! — плакала Илонка.

— Что он тебе сделал? — воскликнула Ходакова.

— Пеле ему морду набьет, — Светка подтолкнула Пеле.

— Господи, при чем тут Миша! — рыдала Илонка. — Эта плебейка не имеет права заставлять меня есть всякую гадость и носить эту мерзкую форму! Мне Ираида Кузьминична разрешила. Мне здесь противно. Тюрьма какая-то...

— Не плачь, — утешил ее Пеле, — это ерунда, — и погладил Илонку по голове.

— Нет, не ерунда! — Светка отошла от Илонки, встала у стены, закрыла головой часть плаката «Социалистические обязательства седьмого «А» (первый пункт обязательств гласил: «Соблюдать ортопедический режим») и возмущенно сказала:

— Но ведь в этой тюрьме тебя лечат!

— Она здесь профилактически, — хмык-

нула Люба Ходакова и тоже отошла от Илонки.

Вера лежала на топчане и внимательно следила за девочками.

Илонка достала из кармана платочек, вытерла слезы и, продолжая всхлипывать, надменно спросила:

— Да, профилактически, а что?

— А то, что у нас не тюрьма. Ты что, хочешь сказать, что мы все заключенные? Фиг тебе! Здесь делают все возможное, — Светка встала на топчан, — чтобы ты была здорова! Государство...

Вера засмеялась.

— А что, она правильно говорит, — не поняла ее смеха Наташа Зубова.

— Прямо как Ираида, — нервно засмеялась Марина Шутова.

Светка на секунду замолчала и продолжала уже спокойнее:

— Я тоже многое ненавижу. Мне тоже не нравится, как с нами обращается Корнеева, но меня от нее никто не защитит, а тебя всегда прикрывает Ираида. Ты думаешь, мы не знаем? Мне тоже не нравится еда в столовой, но у тебя в палате есть вкусная, из дома, а у нас — ни хрена.

Девочки отошли от Илонки. Они явно соглашались со Светкой и были на ее стороне.

— Правильно, Дзугутова, — поддержала ее Марина Шутова и звезданула по плечу.

Светка не обратила на это внимания:

— Тебе не нравится форма — ты ее и не носишь, а мы в этих хламидах с утра до вечера. Мы спим в гипсовых кроватках, а не ты! Мы носим корсеты, а не ты! Ты не имеешь права быть недовольной!

Илонка прямо смотрела Светке в глаза, пытаясь усмехнуться.

— Ты хочешь, если ты мучаешься в корсете, одеть в корсеты всех людей? — спросила Светку Вера.

Илонка встала, высокомерно оглядела девочек и сказала:

— Я не виновата в том, что жила, живу и всегда буду жить лучше вас, и мне противно подчиняться порядкам вашего обожаемого монастыря. Конечно, ведь вас здесь облагодетельствовали корсетами и бассейном!

Римская подошла ближе и перестала делать гимнастику. К всеобщему удивлению, она заговорила громко и патетически:

— Бассейном?! Да ты знаешь, как его построили?!

— Не знаю, — фыркнула Илонка.

— А мы знаем! Однажды Иван Иванович Лось, основатель нашего интерната, вылечил внука одного самого знаменитого маршала. И маршал пригласил Ивана Ивановича к себе домой, — Римская рассказывала так, как рассказывают притчу или легенду. Все, затаив дыхание, слушали. — Собрал маршал за сто-

лом всю свою семью, а на этом столе чего только не было!

— Икра была! — подсказала Марина Шутова.

— Вобла, — мечтательно сказала Наташа Зубова.

— Все было! — продолжала рассказ Надя Римская. — Маршал встал, обнял Иван Иваныча и говорит: «Ты, Иван, спас моего внука, и за это, Иван, я любое твое желание исполню. При всей своей семье обещаю! Проси что хочешь!» Маршал, конечно, думал, что наш Лось попросит у него шубу, или машину, или квартиру. Иван Иванович тогда очень бедно жил. Лось встал и говорит: «Спасибо тебе, маршал. Есть у меня к тебе просьба. Вели построить в нашем интернате плавательный бассейн с кварцевым залом, чтобы все дети вылечились, как твой внук!» Маршал чуть не упал! Такой просьбы он не ожидал. Но слово дано, куда деваться?.. Махнул рукой и... отозвал из армии целый полк...

— Два полка! — вспомнила Юлия Тимченко. — И они в рекордные сроки построили наш бассейн!

Римская кивнула и замолчала, ожидая реакции Илонки. Илонка огляделась. Все стояли молча, почти по стойке «смирно», отдавая дань бескорыстию и самоотверженности основателя интерната. Только Вера продолжала лежать и грустно смотрела на Илонку.

Илонка передернула плечами и презрительно бросила:

— Я вашего Лося не видела и видеть не хочу.

Это вывело девочек из почтительного оцепенения.

— Как ты смеешь?! — закричала Марина Шутова, кинулась к Илонке и толкнула ее. Илонка упала на топчан.

Пронзительно зазвенел звонок. Но девочки во главе со Светкой воинственно нависли над Илонкой. Пеле стоял чуть в стороне. Светка схватила Илонку за ворот блузки. И вдруг Вера соскочила с топчана и отшвырнула подругу от Илонки.

— Не смейте ее трогать! — сказала Вера.

— Почему? — возмутилась Светка.

— Я тебя очень прошу, — смягчилась Вера. — Я вас всех прошу, исполните единственную мою просьбу — не травите ее.

Светка посмотрела на девочнок. Те ждали ее решения. Но тут в класс вошла учительница литературы.

— Девочки, здравствуйте, — потребовала она внимания к себе.

— Здравствуйте, — ответил ей Пеле.

— Девочки, ложитесь по местам, — сказала учительница. — Сегодня у нас сочинение. Тема: «Можно ли считать Чацкого декабристом?»

Девчонку трудно было узнать. Все были накрашены, в юбках, платьях, туфлях на каблучках. Только Вера, Римская и Галя Малышева остались в корсетах. Вера сидела на кровати и читала книжку. Римская внесла некоторые коррективы в свой внешний вид: она уложила волосы в пучок и подложила под головудержатель красивый носовой платок. Галя Малышева сидела на кровати и сосредоточенно наклеивала фотографии балерин в свой альбом, стараясь не обращать внимания на суетившихся девочек. А девочки нанесли последние штрихи. Наташа Зубова красила глаза акварельными красками. Люба Ходакова любовалась на себя в большой осколок зеркала, восторженно и удивленно приговаривая:

— Ой, ой, ой! Какая у меня шея длинная! Просто шарман! Бьютифул!

— А мне Пеле театральный грим презентовал! Правда, хорошо? — похвасталась Светка.

Ее лицо было размалевано гримом: огромные голубые круги вокруг глаз, яркие губы, мушка на щеке, и еще цветочек нарисовала.

Девчонки подскочили к Светкиной кровати и молниеносно расхватали краски. Ходаковой достался коричневый тон, и она принялась мазать им ноги, напевая:

— Стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой...

Светка подошла к Вере:

— Ты чего не одеваешься?

— Все равно Корнеева заставит всех корсеты надеть, — ответила Вера.

— Тсс! — приложила палец к губам Светка. — Ты что! Ведь вечер! Нельзя, Верочка, быть такой...

— Пессимисткой, — подсказала ей Вера.

— Вот именно.

Девчонки чувствовали себя неотразимыми и, вилля задницами, расхаживали по палате. У Илонки на кровати лежала груда вещей и косметики, но у нее никто ничего не просил. Она была одета красиво и модно и с недоумением наблюдала за девочками. Во всех их нарядах было что-то дикое: немыслимые сочетания цветов, накрашенные акварелью ногти, грандиозный начес на голове Юли Тимченко, а на плечах кошачий воротник, срезанный с пальто...

— А Сергеева все равно самая красивая, — тихо и грустно сказала Вере Светка.

— Я готова! — бросила клич Ходакова, любуясь своими коричневыми ногами.

— Подождите! — взмолилась Лена Ступишина, влезая в лакированные туфли.

Светка схватила за руку Веру, стащила ее с кровати и устремилась к двери.

На девочнок глазами, полными отчаяния, смотрела горбатая Галя Малышева. Она сидела на кровати, поджав под себя ноги и прижимая к груди драгоценный альбом.

В палате творилось нечто невообразимое.

Светка распахнула дверь и наткнулась на воспитательницу Корнееву. Корнеева, как всегда, была в зеленом платье и сдвинутом набок парике. Она остолбенела, увидев надвигающееся на нее шествие.

— Зоя Григорьевна, а вы что в будничном, ведь праздник! — сообщила воспитательнице Светка.

Корнеева грудью втолкнула Светку в палату и захлопнула за собой дверь.

— Вы не имеете права не пускать нас! — запротестовала Светка.

Корнеева поправила парик, подбоченилась и закричала:

— В ШД, тыфу, в соседнем интернате вам надо учиться! В лечебном заведении находиться, а не на панели!

Корнеева вытаращила глаза на ноги Ходаковой. Люба поплевала на руку и попыталась стереть грим.

— В умывалку! — воспитательница схватила ее за волосы и вытолкнула за дверь. — Грязь смывать и в корсеты! Я за вас выговор получать от Ираиды не намерена! Кузьминичны...

— А другие классы!.. — вступила было в пререкания Светка.

Но она оглянулась на девчонок. Те от крика Корнеевой погрузтели. Юлия Тимченко пригласывала руками начес. Лена Ступишина слизывала краску с ногтей.

— Будешь выступать, Дзуготова, тебя не в другой класс переведут, а вообще из интерната вышвырнут. Понятно? — заткнула Светку воспитательница.

Светка взяла со спинки своей кровати полотенце и вышла из палаты.

— Вот Малышева — молодец, на нормального человека похожа, — похвалила Корнеева Галю.

Девочка вся съезжилась от ее похвалы и потупила глаза.

— Нормальные люди на вечер в корсетах не ходят, — буркнула Марина Шутова, проходя мимо Малышевой к двери.

Ворота были распахнуты. На территорию интерната строем вошли курсанты военного училища. Колонна остановилась у входа в учебный корпус.

— Вольно! — дал команду командир курсантов.

Актный зал был ярко освещен. Седьмой «А» снова был в корсетах и интернатской форме. Девчонки стояли печальные и понурые. Лишь нарядная Илонка выделялась в их стайке, охраняемой грозной Корнеевой. Девятиклассницы чинно сидели на стульях в углу зала, неподалеку от сотрудников интерната. Почти все они были без корсетов, на-

рядные и надменные. Рядом с ними стоял их воспитатель — коренастый лысый мужик. Интернатские мальчишки, а их было всего четверо, стояли у противоположной стены. Пеле был в корсете и в форме, а Миша Матыцин в джинсах и ярком свитере. А рядом с интернатскими, блистая выправкой, выстроились курсанты. Они бросали критические взгляды на девчонок, обменивались мнениями и были явно недовольны.

— Чего это они у вас все в намордниках? — спросил один из курсантов.

— Не все, — сказал Миша Матыцин.

На сцене ансамбль готовился к выступлению.

Ираида Кузьминична и командир курсантов, дав музыкантам последние наставления, подошли к микрофону.

— Дорогие ребята! — громко и проникновенно заговорила Ираида Кузьминична. — Сегодня у нас торжественная встреча с курсантами военного училища! Поприветствуем их!

Ираида Кузьминична хлопала в ладоши. Воспитатели и ребята разразились бурными аплодисментами.

— Ничего солдатики, — хихикнула Ходакова.

Вера не хлопала и мрачно пробасила:

— Какой ужас.

Ираида Кузьминична подала знак рукой, и аплодисменты стихли.

— А теперь танцы! — объявил командир курсантов.

Ираида Кузьминична и командир сошли со сцены. Ансамбль заиграл вальс. Командир пригласил Ираиду Кузьминичну, и они закружились в танце.

— Веселей, ребята! — подбодрил командир курсантов.

Воспитатель девятого класса пригласил полную медлительную медсестру Раису Николаевну. Корсетный мастер, папа Миши Матыцина, танцевал с одной из воспитательниц. Из ребят не танцевал никто. Они с тоской и презрением смотрели на взрослых.

Ансамбль заиграл другую мелодию. Курсанты освоились и стали приглашать девятиклассниц. Трое курсантов подошли к Илонке, но она не пожелала с ними танцевать. К ней медленно направился Миша Матыцин. Илонка радостно заулыбалась и шагнула ему навстречу.

Илонка танцевала очень хорошо. Девчонки с завистью наблюдали за ней. Корнеева решила подбодрить их:

— Чего стоите как столбы? Ходакова, хочешь, я тебя приглашу?

Ходаковой очень хотелось танцевать. Она даже тихонько напевала и пританцовывала на месте. Но воспитательнице она ответила резко и недоброжелательно:

— Я с женщинами не танцую.

Корнеева смутилась, поправила парик и ушла на танцующих.

— Лично я здесь время убивать не намерена. Пойдем в палату,— предложила Вера Светке.

Надя Римская словно окаменела. Казалось, она ничего вокруг не видит и не слышит. Рядом с ней стояла Галя Малышева.

— Действительно скучно. Может, пойдем отсюда? — уговаривала она девочек.

Светка хотела уже было согласиться с ней, но тут ансамбль заиграл очень заводную мелодию.

— С какой стати я должна скучать! — сказала Светка и через весь зал решительно направилась к Пеле.

Пеле преданно смотрел на нее. Она подошла, схватила его за руку и потащила на середину зала.

— Танцуй! — приказала она.

Светка не могла повернуть головы, позвоночник ее оставался неподвижным, но она решила танцевать и танцевала, вернее, играла в танец. Пеле стал ей подыгрывать. Все смотрели на них. Курсанты перестали танцевать и глазеги на Светку и Пеле.

— Во дают! — изумился один из курсантов. Римская направилась к выходу.

Ходакова схватила за руку Марину Шутову, и они тоже выскочили на середину зала. А за ними — большинство девочек. Они окружили курсантов и, подбадривая себя криками и визгами, запрыгали вокруг мальчишек, вовлекая их в свой дикий танец.

В зале возникла и нарастала атмосфера разгула.

Воспитательница Корнеева пробормотала в растерянности:

— Бешеные!

К ней, под руку с командиром курсантов, подошла Ираида Кузьминична:

— Под твою ответственность, Зоя!

Светка и Пеле бежали по темным коридорам интерната, по застекленному переходу, через раздевалку, мимо душевой... Они вбежали в бассейн и замерли. В бассейне было темно, поблескивала вода. В ней отражался свет уличного фонаря. Светка и Пеле запыхались от бега.

— Как здесь здорово! — прошептал Пеле.— Как будто мы у реки.

— Как будто,— согласилась Светка.— Почему ты меня не пригласил танцевать? — спросила она во весь голос, и слова ее разнеслись эхом по бассейну.

— Я боялся, что ты не захочешь танцевать в корсете,— тихо ответил Пеле.

Светка шла по бортику бассейна. Она пристально посмотрела на Пеле:

— Ты все-таки, Алешка, какой-то слишком пассивный.

Пеле развязал головодержатель.

Светка спрыгнула с бортика бассейна. Она попыталась развязать головодержатель.

— Помоги мне, узел очень тугой,— попросила она.

Пеле развязал ей головодержатель и погладил ее по подбородку.

— Больно,— прошептала Светка.— Мне этот новый корсет так натирает...

Пеле поцеловал ее. Светка обняла его. Лязгнули корсеты. Светка и Пеле соприкасались не грудью, а железными планками корсетов. Светка крепко держала Пеле за железные планки на спине. А он целовал ее.

Светка таращила свои большие, блестящие в темноте глаза. Она внезапно отстранила от себя Пеле и, не отпуская планки его корсета, прямо посмотрела ему в глаза и спросила:

— Скажи честно, тебе Илонка нравится?

— Она красивая,— ответил Пеле,— но она чужая.

— В каком смысле? — допытывалась Светка.

— Что тебе далась эта Илонка? Я же тебя люблю,— Пеле обнял Светку и хотел поцеловать.

Но Светка резко отбросила его.

Пеле беспомощно опустил руки, сел на бортик бассейна. Вода в бассейне убывала. Светка встала на бортик рядом с Пеле.

— Воду меняют. Завтра в чистой будем плавать,— сказала Светка.

— Светка...— заговорил Пеле.

— Тихо,— прошептала Светка.— Кто-то идет.

Послышался звонкий смех.

— Илонка с Матыциным,— уверенно сказала Светка.— Надо сматываться.

Она подала Пеле руку, он встал, и они скрылись в душевой.

Воды в бассейне уже не было. Кафельный пол белел в темноте.

В бассейн вошли Илонка и Миша Матыцин.

— Илонка, ты здесь самая красивая,— положил руку на плечо Илонке Миша.

— Только здесь? — кокетливо смеялась Илонка.

— Здесь это особенно заметно. Мы с тобой здесь единственные здоровые. Тебя профилактически положили, меня отец пожелал держать при себе на период переходного возраста. А они все ущербные. Многие в интернате с первого класса — ничего в жизни не видели. Мужиков нет. Весь твой класс в Пеле влюблен, так Дзугутова, как самая активная, его и сцапала. Ничего себе любовь! В корсетах...

Илонка вдруг перестала улыбаться и испуганно взглянула на Мишу.

— Не надо так, Мишенька. Они несчастные. Нам нехорошо так о них говорить.

Миша улыбнулся, повернул к себе Илонку и обнял ее.

Бассейн наполнялся чистой водой. Илонка и Миша стояли у бортика, прижавшись друг к другу, и целовались.

Светка распахнула дверь в палату. Здесь собрались все девчонки, кроме Илонки и Нади Римской. Лена Ступишина переписывала песню из журнала в толстенный песенник. Галя Мальшева стелила постель. Люба Ходакова сидела на кровати и безразлично смотрела на свое отражение в осколке зеркала. Вера, как всегда, читала книгу. Настроение у всех было кислое, и выражения лиц соответствовали настроению.

— Вы чего такие понуры? — крикнула Светка.

— А чего нам веселиться? — сказала Наташа Зубова.

— Веселиться надо! — приказала девчонкам Светка.

Но никто не развеселился.

— Душно как! Окно откроем!

Светка подскочила к окну, распахнула его и молниеносно вспрыгнула на подоконник.

— Вер, быстро сюда! — приказала она.

Вера подошла к ней. Светка что-то зашептала ей на ухо. Вера с усмешкой посмотрела на нее и кивнула. Светка шагнула с подоконника на карниз, а Вера спокойно закрыла за ней окно и повернула шпингалет.

— Ты что делаешь! Она убьется! — закричала Марина Шутова и кинулась к окну.

Девчонки завизжали.

Вера рукой отстранила от окна Марину Шутову и пошла к своей кровати.

За окном на узком карнизе стояла Светка, одной рукой она держалась за стену дома, другой — за приоткрытую форточку. С высоты пятого этажа она видела корпус соседнего интерната и светящиеся окна домов-новостроек. Светка хихикала от радости и страха. Светился в темноте переход из спального корпуса в учебный. По переходу шли сотрудники интерната. Появилось зеленое пятно — Корнеева. Внезапно Корнеева остановилась, подняв глаза на окно палаты седьмого «А». И стремительно побежала по коридору.

Девчонки метались по палате, не решаясь подойти к окну. Вера сидела на кровати с книжкой в руках.

В палату ворвалась Корнеева, следом за ней вошла Илонка.

— Зоя Григорьевна! Зоя Григорьевна! — кинулись к воспитательнице девочки.

— Тихо! — приказала им Корнеева.

Они моментально замолчали. Корнеева бросила сумку, сорвала с головы парик, швырнула его в сторону и медленно, как пантера, стала подкрадываться к окну. Она повернула шпингалет, распахнула окно, схватила Свет-

ку за планку корсета и рывком стащила ее с карниза в палату.

— А-а-а! — заорала Светка.

Но она была уже на полу.

Светка стояла покачиваясь, испуганно глядя на воспитательницу. Корнеева была страшна: редкие растрепанные волосы, перекосенное лицо, дикие глаза. Она развернулась и дала Светке подзатыльник. Светка от боли закусил губу.

— Зоя Григорьевна! — вскочила на ноги Вера.

Корнеева подняла с пола парик и вышла из палаты.

— Все из-за вас! Чтобы вас встряхнуть и развеселить, я даже мордобой терплю. А вы... — Светка махнула рукой, презрительно сплунула, подошла к своей кровати и плюхнулась в нее.

— Светик, лучше не надо так веселить, — ошалело сказала Марина Шутова. — Вер, а ты-то хороша! Как ты могла шпингалет повернуть?!

— Кому суждено быть повешенным — тот не утонет, — невозмутимо ответила Вера.

Девчонки разбрелись по палате. Илонка принялась стелить постель. Она не могла скрыть радостной улыбки.

Светка лежала поверх гипсовой кровати и покрывала, задрав ноги на спинку кровати, и смотрела на Илонку.

Люба Ходакова тоже взглянула на Илонку.

— Да, каждому свое, — вздохнула Ходакова.

Лена Ступишина подняла с пола сумку Корнеевой. Из сумки выпала тетрадка и конверт. Лена хотела положить их обратно, но взгляд ее остановился на конверте.

— Зубик! — сказала она. — Тебе письмо.

Наташа Зубова подскочила к ней.

— Это от папашки! — обрадовалась она. — Уже распечатанное.

— Корнеева ваши письма читает? — удивилась Илонка.

— Как распечатанное?! — встрепенулась Светка. — Зубик, значит, она твое письмо читала!

Наташа Зубова, погруженная в чтение письма, ничего не ответила.

— Она совсем распоясалась! — вскочила с кровати Светка.

— Гадина! — присоединилась к ней Марина Шутова. — По морде бы ей дать за такое!

— Она ведет себя безнравственно, — пожалла плечами Илонка.

— А что мы можем сделать? — сказала Люба Ходакова.

— Ну, сейчас она придет!.. — встала в угрожающую позу Марина Шутова.

Наташа Зубова оторвалась от письма и грустно сказала:

— Папашка по мне скучает...

— Не сейчас! — осенило Светку. — Надо

при всем классе, при Пеле. Завтра! Соберем экстренное собрание!..

Дверь в палату распахнулась. Наташа Зубова спрятала письмо.

Корнеева втащила в палату Надю Римскую. Лицо Римской опухло и покраснело, по щекам катились слезы, головодержатель был развязан. Язык ее заплетался, но она все же пыталась объяснить с Корнеевой:

— За что мне эту му-у-ку терпеть?..

— Во! Алкоголиков мне только не хватало! — возмущалась Корнеева.

Воспитательница наконец доволокла Надю до кровати. Римская плюхнулась на постель.

— За что? — Римская мутными глазами посмотрела на девочку.

Девчонки нервно хихикали.

Корнеева увидела на кровати Римской листок, взяла его в руки и прочитала вслух:

— «Девочки, до свидания! Простите меня, если что было не так. Я не фанатичка, просто я очень хотела вылезть. У меня больше нет сил добиваться своей цели и видеть, что меня никто не любит. Вещи можете взять себе, а ноты отдайте маме. Надежда Римская», — Корнеева разжала кулак и показала девочкам пустой пузырек. — Весь спирт для протирки лица вылакала! Товарищи, называется! У вас в палате человек пропал, а вы даже не заметили! Если бы не я, она бы так и сидела в темноте на лестнице. Нашла чем гравиться, дура стоеросовая! Пропись, завтра разберемся, — она дернула Римскую за косу. — С тобой, Дзугутова, тоже завтра. Соседний интернат по вас плачет, припадочные!

Воспитательница огляделась, ища глазами сумку.

— Вот, — протянула ей сумку Лена Ступишина.

Корнеева выхватила сумку, подошла к двери, открыла ее, повернулась к девочкам:

— Сегодня другой воспитатель дежурит. Если мне про вас хоть слово скажут!.. — она показала девочкам кулак, потрясла им и захлопнула дверь.

— Кто с кем разберется, посмотрим! — мстительно сказала ей вслед Светка. — Римская-то... Никогда бы не подумала!

— Она, оказывается, чувствительная, — изумилась Марина Шутова.

— Раздеть ее, что ли, — предложила Юлия Тимченко.

— Давайте я, — сказала Наташа Зубова, — у меня опыт.

Она подошла к Римской и принялась расстегивать ей куртку.

Римская брыкалась, отмахивалась и кричала:

— Отстаньте! Лучше я так умру!

Светка стала помогать Наташе.

Зубова смеялась:

— Ну точно как мой папашка, когда пьяный

домой приходил! Только я с ним и могла справиться!

— Девки! Завтра на уроки не пойдем. С Корнеевой будем разбираться, — решила Светка.

Дверь была закрыта на швабру. В палате собрался весь класс.

Светка, комкая в руке исписанную бумажку, громко, с большим пафосом, читала:

— Товарищи дети!

Вы все в ответе,

За то, что творят воспитатели эти.

Как им не стыдно так издеваться!

Знают: не смеете вы защищаться!

Довольно терпеть беззаконье

и хамство!

Долой ненавистное нам тиранство!

Всеобщей жалости нам не надо!

Горбатые! На баррикады!

— Ура-а! — завопила Марина Шутова.

Светка весело смеялась.

— А чего ты ржешь? Хорошее стихотворение, — одобрила Ходакова. — Только в последней строчке надо заменить одно слово.

— Это не стихотворение, а воззвание, — сказала Светка. — А менять ничего не надо. Если кто посторонний так о нас скажет, то обидно, а это же мы сами о себе.

— Я думаю, будет лучше «интерны», — подала голос Вера.

— А что это такое? — спросила Наташа Зубова.

— Интерн — это ученик, воспитывающийся в закрытом учебном заведении и живущий в интернате, — объяснила Вера, — или же врач, который живет при больнице, или...

— Интерны! — слово очень понравилось Светке. — Слушайте, ведь мы все интерны! Даже Корнеева. Она все время в интернате торчит. Значит, интерны против интернов! Здорово!

— А как? Как мы ей все скажем? — волновалась Марина Шутова.

— Пеле, — попросила Светка, — придумай!

— Я не знаю, — сказал Пеле.

— «Я не знаю», — передразнила его Светка. — Без тебя обойдемся.

Она положила руки в карманы, прошлась по палате.

— Встать! Суд идет! — крикнула она.

Ходакова и Шутова вскочили.

— Судить ее будем?! — обрадовалась Наташа Зубова.

— Пеле, приготовь зал суда! — приказала Светка.

— А как? — растерялся Пеле.

— Кретин!

Светка схватилась за спинку кровати и поволокла ее:

— Места для судей!

Пеле помог Светке развернуть кровать. Схватился за другую:

— Шутова, помоги!

Девчонки включились в работу.

— Место адвоката! — командовала Светка.

И Тимченко с Ходаковой волокли кровать.

Зубова и Лена Ступишина схватились за кровать, на которой сидела Илонка:

— Чего развалилась?! Помоги.

И Илонка потащила кровать вместе с ними. Светка руководила:

— Ряды для публики ровнее! — Она схватила за руку Юлю Тимченко: — Ты, Шутова, ну и Пеле — суди!

Светка силой усадила Пеле на кровать для судей:

— Тебе как мужчине сам бог велел председательствовать. А я, пожалуй, буду прокурором!

Девчонки рассаживались на кроватях для публики.

— Зубик, ты же пострадавшая! Садись сюда. А ты, Верка, будешь адвокатом, — командовала Светка.

— Мне эта затея вообще не нравится. Вряд ли что-нибудь изменится, — сказала Вера.

— Ты против нас? — изумилась Наташа Зубова.

— Я за вас, потому что Корнеева сильнее, — заявила Вера. — Но я оставляю за собой право на собственное мнение.

Девчонки зашептались. Мелькнуло слово «предательница».

— Может, без адвоката обойдемся? — предложила Ходакова.

Но Светка прикрикнула на одноклассниц:

— Но-но, полегче! — И милостиво сказала Вере: — Ладно, имей свое мнение. Девчонки, надо быстренько прорепетировать, какой мы вынесем приговор!

— Нельзя репетировать решение суда, — вновь подала голос Вера.

Светка недовольно поморщилась:

— Ты слишком справедливая... А что нам делать с этим приговором... или решением?..

— Направим к Ираиде, — предложила Наташа Зубова. — Нам дадут другого воспитателя.

— Ты уверена, что другой воспитатель будет лучше? — спросила Вера.

Все молчали.

— А что Ираида! — вдруг вскочила с места Лена Ступишина. — Не ей нас рассудить! Взятчица она!

— Как взяточница? — поразилась Светка.

— Ой, — испугалась Лена. — Мне родители запретили говорить. Я просто так скал...

— Дача ложных показаний на суде карается законом, — зловеще проговорила Наташа Зубова.

Дверь дергала воспитательница Корнеева:

— Откройте немедленно! Вы что там, померли?

Лена Ступишина прошептала:

— Моя мама ей триста рублей заплатила, чтобы меня в интернат взяли.

Галя Малышева на цыпочках подошла к Светке:

— А у моих родителей она двадцать пять метров занавесок взяла.

— Что ж вы раньше молчали? — укоризненно сказала Светка.

Корнеева барабанила в дверь:

— Дебилки! По-хорошему прошу!

— Слушайте, если Ираида взяточница, надо направить наш приговор самому Лосю, — нервно хихикая, прошептала Марина Шутова.

— А где мы его найдем? — спросила Люба Ходакова.

Корнеева колотила в дверь ногой.

— Девочки, если честно, кто хоть раз его видел? — спросила Светка громким шепотом.

Все растерянно смотрели друг на друга.

— Так, может, его вообще... нет! — сделала открытие Светка.

— Какнет? — пробормотала Римская.

— Очень даже возможно! — подхватила Марина Шутова. — Врачи есть, воспитатели есть, учителя есть — их все видели. А Лося нет!

Поражена была даже невозмутимая Вера.

— Это уж слишком, — вздохнула она.

— Нас обманули! Его нет! — перешептывались девчонки.

Илонка смотрела на них, как на сумасшедших.

— Если Лося нет, — шептала Светка, — то остается министерство здравоохранения, министерство просвещения и, наконец, правительство!

— Пока придет ответ, мы состаримся, — опечалилась Ходакова.

— Да, им некогда, — согласилась Светка. — Придется действовать самостоятельно. Надо, чтобы все классы объединились и все вместе всё переменяли!

Стук в дверь прекратился.

— И шедешники, и все школы и интернаты! — подсказала Марина Шутова. — Мы бы им показали!

Пеле подошел к Светке и, указывая на дверь, спросил:

— Чего это она затихла?

Светка поправила головодержатель и на цыпочках направилась к двери.

Воспитательница Корнеева стояла у двери, прижавшись ухом к дверной щели. Она еле успела отскокить от распахнувшейся двери.

Перед ней стояла Дзугутова:

— Зоя Григорьевна, проходите, пожалуйста. Мы вас сейчас будем судить.

Корнеева ворвалась в палату, как в захваченную крепость.

— Дегенератки! Прогуливать вздумали!..
— Сядьте на скамью подсудимых,— строго сказала ей Наташа Зубова и указала на пустую кровать.

«Публика» в корсетах сидела спиной к Корнеевой. Только Илонка повернула голову. Светка проговорила торжественно:

— Мы решили судить вас за аморальное поведение, которое выражается в грубом обращении с нами, в частности, в чтении чужих писем...

— Чего?! Какие еще письма?! — надвигалась на «судей» Корнеева.

— Мое письмо от папашки,— сказала Наташа Зубова.

— Так вы ко мне в сумку вздумали лезть?! — Корнеева погрозила Наташе кулаком.— Кровати по местам, и марш в класс. А кому в интернате не нравится, катитесь на все четыре стороны! Все равно приползете, как Дзугутова!

Пока Корнеева кричала, все сели к ней лицом. Светка жала кулаки и уже готова была кинуться на воспитательницу, но тут раздался истеричный голос Шутовой:

— Сама приползешь!

— Пора снять все и всячески маски! — призвала Юлия Тимченко.

Девчонки завопили:

— Мое письмо родителям в прошлом году тоже читала!

— Меня зимой на всю ночь в коридор выставила!

— Оскорбляла!

— По башке стукнула!

— Хватит терпеть! Живем, как в тюрьме! — Светка поймала на себе удивленный взгляд Илонки и поправилась: — Как рабы!

Марина Шутова положила руку на плечо Римской:

— Нас большинство!

— Она меня не пускала в актовый зал на пианино играть,— вспомнила Римская.

Девчонки топали ногами. Пеле засвистел.

— Тише! — призвала Вера.

Корнеева растерялась и отступила к двери.

Дикий шум перекрыл Светкин голос:

— Вон отсюда! Наша палата! Катись к своей Ираиде! Трепещите! Мы придем!

Корнеева выскочила из палаты.

По лестнице, вскинув голову, схваченную головодержателем, медленно, вразвалку спускалась Светка. А за ней весь седьмой «А». Светка держалась за Верину руку.

Девчонки вышли в коридор лечебного корпуса. Несколько девчонок отделились от колонны и нырнули в кабинеты ЛФК.

Восьмиклассницы в купальниках готовились к занятиям: стелили на пол простыни, доставали из шкафов медболы, эспандеры.

— Одевайтесь немедленно! — влетела в

кабинет Люба Ходакова.— И зовите всех к кабинету Ираиды. Занятия отменяются.

— А кто сказал? — спросила недоверчиво одна из восьмиклассниц.

— Мы.

— А что будет?

— Придете — увидите!

Медсестрам и врачам, идущим навстречу седьмому «А», приходилось прижиматься к стенам. Шествие девчонок было похоже на обход шайкой подвластных ей владений.

Пронзительно звенел звонок.

Девчонки неторопливо двигались по застекленному переходу, соединяющему лечебный корпус с учебным.

Наташа Зубова преграждала путь детям, бегущим из столовой, и давала им указания.

У лестницы, ведущей в учебный корпус, Светка поймала за шкуру малыша, торопящегося на урок, развернула его и подтолкнула в сторону кабинета директора.

Марина Шутова вбежала в бассейн. В бассейне плавали пятиклассники. Шутова перегнулась через бортик. К ней подплыла девочка. Шутова зашептала ей что-то на ухо. Девочка внимательно слушала, загнув уголок купальной шапочки, и кивала.

Тренерша в белом халате засвистела в свисток.

Шутова скрылась в душевой.

А девочка, подтянувшись на руках, выпрыгнула из бассейна и жестами стала звать за собой одноклассников.

Светка дергала дверь кабинета директора. Дверь была заперта. В холле, кроме седьмого «А», уже толпились ребята из других классов.

— Что происходит? Уже уроки начались! Что вам надо? — пыталась призвать детей к порядку учительница.

— Ираиду! — требовательно сказала Светка.

— Как ты разговариваешь?! Ираида Кузьминична в РОНО, будет только к двум... Корнеева, расталкивая девчонок, пробралась к Светке:

— Девки! Я психовозку вызову!

К девчонкам приближалась стайка медперсонала в белых халатах во главе с врачом Ниной Константиновной.

— Девочки, что случилось? Что вы собираетесь делать? — спросила Нина Константиновна.

— Сместить Корнееву, Ираиду, всех воспитателей... — заявила Светка.

— Врачей не надо... — подалась вперед Надя Римская.

— Вас не тронем,— пообещала Нине Константиновне Светка.— Но будет самоуправление! — Она повернулась всем корпусом к Шутовой: — Маринка, организовывай массы, а мы пока прошвырнемся, подготовимся.

Шутова кивнула.

Светка, вцепившись в Верину руку, направилась к дверям учебного корпуса. За ними поспешил Пеле.

— Я с вами,— догнала ребят Наташа Зубова.

Пробираясь сквозь кустарник к забору, Светка заметила Илонку и Мишу Матыцина. Услышав треск веток, они отскочили друг от друга.

— Свои,— успокоила их Светка.

Пеле ощупывал прутья забора.

— Здесь,— прошептал он, когда один из прутьев подался под его рукой.

— Куда вы? — спросил Миша Матыцин.

Пеле пролез между прутьями, за ним — Вера. Светка взглянула на Илонку и великодушно предложила:

— Пошли с нами.

Илонка вопросительно посмотрела на Мишу.

— Прогуливать так прогуливать,— сказал он.

...Светка, Пеле, Наташа Зубова, Вера, Илонка и Миша Матыцин брели по небольшому кладбищу.

— Мы с Веркой сюда со второго класса сбегает,— рассказывала Светка Илонке.— Весной здесь очень хорошо, как в парке. Никто не дергает. Можно собраться с мыслями.

Ребята вышли к церкви. В церкви шла служба.

— Зайдем? — предложила Наташа Зубова.

— А что? Я ни разу не была. Всегда закрыто было,— сказала Светка.

У церкви несколько старушек просили милостыню. Илонка принялась раздавать монетки.

Ребята вошли в церковь. В церкви отпевали покойника.

— Головы-то покройте,— заворчала на них старушка.

Ребята растерянно мялись у стенки. Вера принялась рассматривать убранство церкви. Наташа Зубова повязала на голову пионерский галстук, перекрестилась и попросила Илонку:

— Дай пятьдесят копеек на свечку.

Илонка протянула ей деньги.

Светка пробралась поближе к гробу. Она была преисполнена любопытства.

Наташа Зубова купила свечку и шепотом спросила служительницу:

— А чудотворная икона у вас есть?

— Божья Матерь,— ответила служительница.

— А которая именно? — спросила Наташа.

Служительница повела ее в глубь церкви. Илонка и Миша Матыцин пробирались за ними.

Наташа Зубова поставила свечку, опустилась на колени, поцеловала икону, перекрестилась и зашептала:

— Чудотворная Матерь Божья, сделай, пожалуйста, так, чтобы нам не влетело, чтобы мы всех победили... И чтобы мы выздоровели. И еще... Чтобы папашку быстрее освободили. Сделай так, чтобы все было хорошо — сотвори, пожалуйста, чудо.

Наташа Зубова поклонилась иконе. На нее с усмешкой смотрел Миша Матыцин.

Ребята шли через поле к интернату. Они шли молча, сосредоточенно смотрели себе под ноги. Поле было все в буграх и ямах. Чтобы не споткнуться, они поддерживали друг друга.

Вдалеке у забора маячила какая-то фигура.

— Там Корнеева,— предупредила ребят Илонка.— Сейчас будет скандал.

Корнеева тоже заметила ребят и резво побежала им навстречу.

— Сейчас она вам покажет! — не без злорадства, тоном старшего сказал Миша Матыцин.

Запыхавшаяся Корнеева подбежала к ребятам и, вопреки ожиданиям, не закричала, а ждала, что разговор начнут они. Но они молчали. Корнеева пошла рядом с ними.

— Снимать меня с работы идете? — неожиданно миролюбиво заговорила она.

Ребята смотрели себе под ноги.

А Корнеева вдруг заговорила каким-то растерянным, словно не своим голосом:

— Так я же обязана все ваши письма читать. Мало ли что там папаша-уголовник напишет... Или вам вожжа под хвост попадет, напишете родителям, что вас здесь обидели, они с места сорвутся, деньги на билет истратят, работу прогуляют. Иногородних-то у нас много. Как же я могу ваши письма не читать?

Корнеева вовсе не пыталась разжалобить ребят и не заискивала перед ними. Она просто говорила, с трудом, с горечью, неловко прыгая по кочкам на поле.

— Нажалуетесь вы сейчас на меня... Вам что, у вас папы, мамы. А я одна, меня кормить некому. И бежать некуда. Совсем с работы Ираида меня, конечно, не выгонит. На младшие классы переведет. Там на двадцать рублей зарплата меньше.

Ребята молчали.

У ворот интерната Корнеева остановилась, посмотрела на Светку:

— Ну, скажи, Дзугутова, разве можно с тобой по-хорошему? Тебе же палец дашь, так ты руку откусишь...

Корнеева открыла калитку и пропустила ребят вперед.

...В холле интерната на полу, на столах, на подоконниках сидели дети.

Марина Шутова подлетела к Светке:

— Я организовала сидячую забастовку. Если станут растаскивать, можно снять корсет и драться ими — они тяжелые.

Воспитательница Корнеева заметила Ираиду Кузьминичну, появившуюся в дверях, и с виноватым видом попятилась к стене.

Ираида Кузьминична пристально посмотрела на гадающих ребят. Каждый, на кого падал ее взгляд, моментально замолкал. Шум в холле начал стихать. Но Ираида Кузьминична молчала и ждала, пока наступит абсолютная тишина. И она наступила. В тишине прозвучал спокойный и уверенный голос директрисы:

— Седьмой «А», ко мне в кабинет! Всем остальным немедленно на тихий час!

Она говорила тоном не терпящим возражений. Малыши испуганно повскакали с мест. Воспитатели, осмелев, стали поторапливать старшеклассников.

— Я прошу в каждом классе на самоподготовке провести собрание и дать должную оценку сегодняшнему инциденту, — бросила Ираида Кузьминична воспитателям, направляясь к двери своего кабинета.

Ребята под охраной воспитателей побрели к лестнице.

— Стойте! Мы же договорились!.. — попыталась остановить их Марина Шутова.

— Шутова, завяжи головудержатель, — взглянула на нее директриса.

И Шутова завязала головудержатель. Седьмой «А» смотрел на Светку. Даже Илонка чего-то ждала от нее. Миша Матыцин похлопал Илонку по плечу и убежал.

А Светка смотрела себе под ноги.

Ираида Кузьминична открыла дверь:

— Прощу.

Ребята поплелись в кабинет.

Светка, продолжая смотреть в пол, тихо спросила Веру:

— Вер, неужели они, ну, Ираида и все остальные, забыли, что они умрут?

— Наверное, забыли... — сказала Вера.

—...Произошло чепе. Наша с вами задача — разобраться и найти виновных, — говорила Ираида Кузьминична, испытующе глядя на седьмой «А», выстроившийся у стены напротив ее стола. — Ростки того, что произошло, я замечала давно. Теперь мы собираем урожай. Ну что ж... Верно мне говорил один военный: солдат может обидеться на своего генерала, а генерал на солдата

обижаться не имеет права. Давайте разбираться. Ведь вы сами пришли ко мне.

Ребята молчали. Воспитательница Корнеева стояла по стойке «смирно», прижавшись спиной к двери.

— Что, не хватает смелости держать ответ за свои поступки? — прищурилась Ираида Кузьминична.

Марина Шутова подтолкнула Светку.

Светка сделала шаг вперед.

— Мы прогуляли, потому что нам не нравятся порядки в интернате, не нравится, как с нами обращаются воспитатели и учителя, — Светка говорила устало и уже без прежнего накала.

Но ребята все равно были довольны ее речью.

— Кто именно с вами плохо обращается? — спросила Ираида Кузьминична.

Корнеева вся сжалась и ждала, что скажет Светка. Светка молчала.

— Может, у вас не сложились отношения с Зоей Григорьевной? — допытывалась директриса. — Мы должны говорить откровенно. Мы ведь одна семья.

Светка резко повернулась к Корнеевой, встретилась с ней глазами и, обращаясь к Ираиде Кузьминичне, громко сказала:

— С Зоей Григорьевной у нас нормальные отношения.

Воспитательница Корнеева переступила с ноги на ногу и поправила парик, который вот-вот мог свалиться у нее с головы.

— Кто же тогда с вами плохо обращается? — требовала ответа Ираида Кузьминична.

Все молчали.

— Нечего вам сказать, — торжествовала победу Ираида Кузьминична. — И нечего перекладывать вину с больной головы на здоровую. Лучше честно признайтесь, кому пришла идея нарушить режим интерната, сорвать уроки... Не тебе ли, Дзугутова?

Светка молчала.

— Нет, мы все вместе решили, — срывающимся от волнения голосом выкрикнула Галла Малышева.

— Все вместе, — поддержал ее нестройным хором класс.

— Покрываете друг друга? — сказала Ираида Кузьминична. — Что ж, мне придется поставить вопрос в медицинском корпусе о пребывании многих из вас в интернате. Не забывайте, скоро весенняя выписка. Подумайте как следует.

Девчонки молчали. Пеле теребил головудержатель и смотрел на Светку.

— Разговаривать, я чувствую, бесполезно, — вздохнула Ираида Кузьминична. — Зоя Григорьевна, отведите их на «тихий час». Пока вы в интернате, извольте соблюдать режим.

Директриса встала.

— Я не ожидала, Илона, что ты будешь

принимать в этом участие,— укоризненно сказала она Илонке, когда та проходила мимо ее стола к двери.

Илонка сделала вид, что не слышит.

В умывалке, повиснув на Вере, рыдала Светка. Вокруг нее толпились девочки.

— Вот все и получилось, как ты предсказывала,— сквозь слезы говорила Светка.— Ничего не получилось.

— Меня это совсем не радует,— пыталась утешить подругу Вера.

— Почему, почему мы ей не сказали? Я струсил, да? Почему не страшно наорать на Корнееву, а перед Ираидой немеешь? Получилось, что я все испортила, но мне Корнееву жалко стало.

— Мы всё понимаем,— успокаивала Светку Люба Ходакова.— Я бы вообще рта раскрыть не смогла.

— Что случилось? Почему Дзугутова плачет? — сгорала от любопытства девочка из параллельного класса.

Марина Шутова вытолкала ее из умывалки.

— Не надо,— попыталась остановить ее Светка.— Не понимаете вы!.. Я понимаю! Надьку Римскую до самоубийства довели, потому что боимся, что она вылетится, а мы нет.

— Да что ты! Я сама виновата,— Римская готова была тоже заплакать.

— Илонка, Илонка...— Светка рыдала все пуще.— Илонке мы все завидуем потому, что она красивая и богатая, да, Верка? А чего не порадоваться, что хоть кто-то прилично живет!.. Илонка!..

— Нет ее. Она с Матыциным,— сказала Марина Шутова.— Не надо, а то я сейчас тоже разревусь...

— Я поняла... Я сейчас, сейчас, я не буду...— билась Светка в Вериних руках.

Ее поддерживала Наташа Зубова, у которой по щекам тоже катились слезы.

Из окон кабинета ЛФК лился мягкий утренний свет. Работал магнитофон. Женский голос объявил:

— Индивидуальные упражнения.

Зазвучала музыка.

Девчонки, стоя перед зеркалами, подкидывали медболы, поднимали гантели, растягивали резиновые бинты. В углу кабинета, за столом, сидела медсестра и со скучающим видом поглядывала на девчонок. Рядом с ней — врач Нина Константиновна подкручивала корсет Гале Малышевой, орудуя отверткой и плоскогубцами.

Надя Римская подтягивалась на шведской стенке. Девчонки делали упражнения в такт музыке, старались изо всех сил.

Илонка засмотрелась на себя в зеркало. — Илона, встань в коррекцию,— зевнула медсестра.

Нина Константиновна поднялась с места:

— Ну-ка, все встали в коррекцию. Тянитесь, тянитесь! Выше голову... Представьте себе, что вам надо головой дотянуться до потолка! С силой... Напрягите мышцы, вытягивайте позвоночник, вытягивайте... Вот так... Чтобы дотянуться до потолка и прошибить его! Давайте, давайте, еще немножко...

Девчонки с поднятыми вверх руками что есть сил тянулись к потолку.

Наступила настоящая весна. Зазеленели деревья. На поле выросла трава. И самое главное: на поле была сделана футбольная площадка. Поставили ворота, скамейки для зрителей.

Ворота обоих интернатов были распахнуты. Сначала появились «шедешники», конвоируемые многочисленными воспитателями. Через несколько секунд во двор интерната высыпали ребята в корсетах и направились к футбольному полю. Впереди шли футболисты, они были в шортах и белых физкультурных майках, надетых поверх корсетов. Чтобы набрать команду, пришлось взять мальчишек из шестых и пятых классов.

Девчонки очень волновались и давали футболистам последние наставления.

— Совсем эти шедешники обнаглели — на соревнования нас вызвали! — возмущалась Марина Шутова.

— Думают, умом не вышли — так силой возьмут! Покажите им, ребята! — беспокоилась за честь интерната Люба Ходакова.

— Сразу нападайте! — советовала Светка, бегущая рядом с Пеле.

Команда «шедешников» выстроилась на поле, а их болельщики заняли места на скамейках.

На площадку выбежали футболисты в корсетах.

Раздался свисток судьи.

Капитан команды «шедешников», высокий парень с заячьей губой, сильно шепелявя, прокричал:

— Команде ш-ш-ш... интерната номер шестьдесят семь физкульт...

— Привет! — пробасила его команда.

Ребята были спокойны и мрачны. «Шедешники» были гораздо здоровей и старше своих противников.

Миша Матыцин окинул взглядом свою хилую, закованную в железную сбрую «армию» и скомандовал:

— Команде интерната номер шестьдесят восемь физкульт...

— Привет! — прокричали мальчишки.

Девчонки не могли усидеть на месте и прыгали возле скамеек.

— Спокойно! — уговаривала их Корнеева, а сама волновалась не меньше их.

Игра началась. «Шедешники» сразу пошли в атаку.

— Куда нашим до этих громил, — сказала Вера. — Не надо было принимать вызов на соревнования.

Девчонки завизжали, закричали. Мяч влетел в ворота Миши Матыцина.

— Не говори под руку, Колосова! — разозлилась на Веру Светка.

— Отнимай у него мяч, отнимай! — закричала Корнеева.

Кричали все — девчонки, воспитатели, медсестры, а их команде не удавалось даже завладеть мячом. «Шедешники» наступали. На их трибунах царило спокойствие. Они были уверены в победе.

Пеле попытался отнять мяч, но его оттолкнули, и он упал на землю. Второй гол влетел в ворота Миши Матыцина.

Девчонки были на грани истерики. Надежды на победу не было.

— Я и то лучше играю! — возмущалась Марина Шутова.

— Девки, за мной! — закричала Светка. Она выбежала на поле, за ней — Шутова, Ходакова, Юлия Тимченко, Лена Ступишина и еще несколько девочек.

Судья засвистел.

— Смена состава! — крикнула ему воспитательница Корнеева.

Девчонки уже гнали с поля своих мальчишек.

— Мы сами, — сопротивлялся Пеле.

Но Светка не желала его слушать и волокла к трибуне.

Ходакова кинулась к Мише Матыцину, и он добровольно покинул ворота.

«Шедешники» невозмутимо ждали окончания инцидента.

— Одного человека не хватает, — подбежала к Светке Марина Шутова.

— Илонка хорошо бегает, — предложила Светка.

— Она после уроков куда-то пропала. Кого возьмем? Вратарь нужен.

Светка на мгновение задумалась.

— Зоя Григорьевна! — позвала она. — В ворота!

Воспитательнице Корнеевой не надо было повторять дважды. Она мигом выскочила на площадку.

Судья свистнул. И понеслось...

Сначала мяч оказался у «шедешников». Удар по воротам... Но Корнеева отбила мяч. Мячом завладела Светка, передала его Ходаковой, та Шутовой, и под оглушительные вопли болельщиков мяч влетел в ворота «шедешников».

Юркие, худые девчонки ловко обдуривали

«шедешников», всей командой набрасывались на того, кто ухитрялся завладеть мячом.

— Светик! — кричала Вера, которая невольно увлеклась игрой.

И Светка забила мяч в ворота своего долгоязого противника. Воспитатели «шедешников» повскакали с мест.

— Девчонкам проигрываете! А ну соберитесь! — кричали они.

Третий гол почти беспрепятственно забила Лена Ступишина.

Ликование трибун шестьдесят седьмого интерната было неопишваемым.

...«Шедешники» шли к воротам своего интерната такие же спокойные, как и перед началом игры. Только еще более мрачные. Их воспитателей очень огорчило поражение, и они зло покрикивали, подгоняя ребят:

— Быстрее!

— На процедуры!

Победители были счастливы. Они толпились на своей территории и поздравляли друг друга.

— Думала, проиграем! — упрекала Веру сияющая Светка. — Выиграли ведь! Выиграли!

— Я ошиблась, — признала Вера. — Поздравляю.

— Поздравляю, — улыбался Светке Пеле.

Светка обняла его и потащила к девчонкам, собравшимся вокруг вратаря — воспитательницы Корнеевой.

— Чтоб на ужине тихо было! — возвращалась Корнеева к своим обязанностям. — А то Ираида приедет — скандал будет. Футбол без санкции провели.

— Ладно. Как мяч-то отбили! — не могла успокоиться Марина Шутова.

На крыльце учебного корпуса, никем не замеченная, стояла Илонка. Она глазами искала кого-то в толпе.

Светка заметила Илонку и, перескочив через три ступеньки, очутилась рядом с ней.

— Мы победили! — похвасталась она. — Ты где была?

— У Нины Константиновны, в медкорпусе, — ответила Илонка.

Улыбка исчезла со Светкиного лица. Она увидела, что у Илонки красные глаза, а к щеке прилип кусок гипса.

— Где Миша? — спросила Илонка, стараясь казаться веселой.

— Неужели?... — прошептала Светка. — У тебя гипс на щеке...

— У меня же ничего не было... А сейчас, сказали, ухудшение. Ты только не говори никому, — попросила она Светку.

— Честное слово, — поклялась Светка. — Матыцин где-то здесь был. Может, он в канцелярии документы забирает, скоро ведь выписка...

Илонка, понурив голову, спустилась с крыльца и сквозь толпу пошла к спальному корпусу.

В лечебном корпусе возле кабинета врача собрался весь седьмой «А». Пеле забился в угол и неотрывно смотрел на дверь.

— Чего они там так долго делают? — нервничала Марина Шутова.

Дверь распахнулась, и появилась Надя Римская. Она была без корсета. За ней Светка и Вера, тоже без корсетов.

— Рассказывайте, — подлетела к ним Ходакова.

— Шутову и Зубову вызывают, — сказала Надя Римская.

Шутова проشمыгнула в кабинет, а Зубова перед дверью помедлила и тихонько перекрестилась.

— У Римской все в ажуре. В музыкальную школу разрешили ходить! — рассказывала Светка. — Вера практически здорова, а меня за поведение... выписывают!

— Как за поведение? — не понял Пеле. — У тебя нет улучшения?

— Улучшение есть, большое, сказали, но Нина Константиновна хотела еще на год оставить для закрепления, а Ираида настояла, чтобы выписали, — объяснила Светка. — Там целый консилиум собрался: все врачи, учебный корпус, Корнеева...

— Может, всех выпишут, — понадеялась Галя Малышева.

Но тут из кабинета вышла Илонка в корсете и в интернатской форме. Она двигалась с трудом. Девчонки охнули и замолчали.

— Обрядили все-таки, — с досадой сказала Светка. — Ты, главное, не хандри. Лечись, как... как Римская!

Из кабинета выскочила Наташа Зубова. У нее на шее по-прежнему был кожаный воротник.

— Анохину, Малышеву и Тимченко, — объявила она. — Там на Шутову кричат! У нее ухудшение!

— А у тебя что? — перебила ее Вера.

— Что у меня, — махнула рукой Зубова. — Мы с папашкой через два года вместе домой вернемся.

Светка вертела головой, словно желая удостовериться, что она в самом деле без корсета. В конце коридора она увидела стремительно идущего Мишу Матыцина.

Илонка отделилась от девчонок и сделала несколько шагов навстречу Мише.

— Чего ж ты раньше не сказала! — подошел к ней Матыцин. — Зашел вчера вечером к отцу в мастерскую... Бац! Там твой слепок.

— Да, — растерянно сказала Илонка.

— Какая степень? — по-деловому спросил он.

— Вторая, — тихо ответила Илонка.

— Это года на полтора-а, — посочувствовал Миша.

— Пойдем во двор, — робко предложила Илонка.

— Ты извини, — заторопился Миша. — Не могу. Дела... Счастливо тебе...

Миша махнул ей рукой и быстро пошел прочь.

— Светка, тебя не узнать без корсета! Красавица! — улыбнулся он, проходя мимо девчонок.

Светка не обратила внимания на его комплимент. Она, да и все девчонки пытались заставить говорить Марину Шутову, а та упорно молчала.

— Корсет сняли, а говорят, ухудшение. Они, наверное, тебя пугали, — пыталась разобраться Юлия Тимченко.

— Так выписывают или нет? — требовала ответа Светка.

— Выписывают, — наконец заговорила Марина Шутова. — Нина Константиновна сказала, что корсет не имеет смысла, когда закончилось окостенение, но просила, чтобы меня еще на год оставили, а Ираида ни в какую. А Корнеева как заорет на меня: «Что ты наделала, дура! Думаешь, все хиханьки-хаханьки! У тебя так позвонки сдвинуты, что у тебя детей быть не может», — Шутова увлеклась рассказом и очень похоже изобразила воспитательницу. — Вот, — подвела она итог и снова замолчала.

— Нашла кого слушать! — засмеялась Наташа Зубова. — Ты что, Корнееву не знаешь? Она вечно что-нибудь ляпнет для устрашения.

— Она правду сказала. Я знаю, — Марина Шутова сказала это так уверенно, что возражать было бессмысленно.

— Маринка, — сказала ей Ходакова, — мы тебе родим ребенка. Нас же много, что мы, тебе одного ребенка родить не сможем! Я тебе рожу, или Зубик, или Светка...

— Лучше Илонка, у нее покрасивей получится, — посоветовала Светка. — Илонка! Родишь Шутовой ребенка?

Илонка стояла на том месте, где оставил ее Миша. Она подняла глаза на девчонок и кивнула.

Светка и Пеле стояли на лестничной клетке. Пеле был в корсете и в форме.

— Я думал, нас вместе выпишут, а я еще, оказывается, не окостенел.

Светка засмеялась:

— Я тоже. Ничего, скоро окостенеем.

— Ты будешь приезжать в интернат, ко мне? — спросил Пеле.

— Да, а как же... — весело начала Светка.

На грустном лице Пеле появилась радостная улыбка.

Светка посмотрела на него и решительно сказала:

— Нет, Алешка, к тебе не буду.

— Почему? — не понял Пеле.

— Потому что я тебя не люблю. Нет, я тебя люблю, но, как тебе объяснить, по-человечески люблю, а не влюблена... Ты не расстраивайся. Лучше ведь честно сказать, правда?

— А как же раньше? В шестом классе, весь этот год... — бормотал Пеле.

— Раньше я боялась. Я боялась, что в меня никто никогда не влюбится и перед девчонками хотела повообразить, что у меня роман.

— Значит, сейчас... — прошептал Пеле.

— Сейчас я не боюсь, — уверенно сказала Светка.

Пеле повернулся всем корпусом и пошел вниз по лестнице.

— Пеле, прости меня, — еле слышно сказала Светка.

Пеле медленно спускался по лестнице.

Во дворе интерната собрались все его воспитанники, медперсонал, воспитатели, родители. На трибуне перед лечебным корпусом стояла Ираида Кузьминична и проникновенно говорила в микрофон:

— Сегодня для всех нас знаменательный день. Мы прощаемся с нашими воспитанниками. Много слов благодарности услышали мы сегодня от родителей. И большая часть их по праву принадлежит основателю нашего интерната профессору Ивану Ивановичу Лосю.

Ираида Кузьминична повернулась к стоящему рядом с ней высокому худощавому седому мужчине в накинутом на плечи белом халате, улыбнулась ему и захлопала в ладоши.

Пока директриса говорила, дети в толпе жили своей жизнью.

— Вы в Большой театр ходите, говорят, там красиво, — просила выписывающихся девочек Галя Малышева.

— Ой, без корсета так непривычно. Я по нему уже скучаю, — уверяла закованную в корсет Илонку Марина Шутова.

Светка хихикала и приставала к воспитательнице Корнеевой, стоящей среди своих воспитанников:

— Зоя Григорьевна, а что такое рефрижератор?

— Дзугутова, отстань!

На Светку неотрывно смотрел печальный Пеле.

— Это холодильник. Я запомнила. Скучать по мне будете, воспитательница Корнеева.

— Еще чего! — поправила парик Корнеева.

Наташа Зубова дергала Светку за рукав:

— Посмотри, посмотри, живой Лось!

Светка приподнялась на цыпочки, чтобы разглядеть профессора.

Профессор Лось занял место Ираиды Кузьминичны у микрофона. Он очаровательно, чуть смущенно улыбнулся и заговорил:

— Дорогие дети!.. Каждый раз, когда у меня появляется возможность присутствовать на проводах выпускников, я ужасно волнуюсь... Еще бы! Ведь я воочию вижу то, о чем мечтал много-много лет назад, когда работал над созданием медицинской системы, основанной на капитальных исследованиях ученых: ортопедов, психологов, социологов... Но разработать методы лечения, сконструировать корсет — полдела. Самым трудным, дети, было воплотить все это в жизнь. Я бесконечно благодарен моим соратникам: коллегам-медикам, учителям и воспитателям, Ираиде Кузьминичне. Они, я вижу, многое сделали для того, чтобы мои мечты стали реальностью. Сейчас, пока говорила Ираида Кузьминична, я смотрел на вас и с радостью замечал улыбки на лицах выписывающихся ребят. Заметил я и несколько печальных лиц... Я знаю, что вам нелегко ходить в корсетах, но пройдет время, и вы поймете, что строжайшее соблюдение ортопедического режима, обязательная фиксация в гипсовой кровати — необходимые и единственно возможные меры пресечения недуга. — Он сделал паузу. — Не грустите, дети. Я глубоко убежден, что человек обязан быть счастлив! В любых обстоятельствах и несмотря ни на что. Сейчас я вернулся из-за рубежа, где организовывал интернат по образцу вашего. Через несколько дней я еду в Латинскую Америку. Мною задуман целый город, в котором будет лечиться около миллиона детей!..

Ираида Кузьминична дотронулась до руки профессора и тихонько сказала:

— Иван Иванович, у вас симпозиум через час.

— Да, да, спасибо. Дети, я хотел бы сфотографироваться с выпускниками на память.

— Снимемся все вместе на фоне нашего бассейна, — объявила Ираида Кузьминична в микрофон.

Первые фразы речи профессора семиклассницы слушали внимательно, замерев, вытянув шею и закинув головы. Не обращали внимания на профессора только Илонка, следящая за каждым движением Миши Матыцина, и Пеле, тупо уставившийся на ставшую вертлявой, подпрыгивающую на месте Светку.

— Давайте мы вас до автобусной остановки проводим, — предложил Пеле.

— Вот здорово будет! — обрадовалась Шутова.

— Вас не пустят за территорию, — сказала Вера сочувственно.

— Пустят,— уверенно сказал Пеле и побежал к трибуне.

— Давайте, давайте, фотографироваться сказали,— поторапливала девчонок Корнеева.

Пеле подлетел к профессору Лосю, который вместе с Ираидой Кузьминичной спустился с трибуны и направился в сторону бассейна.

— Иван Иванович, скажите, чтобы нас пропустили девочнок проводить!

— Ну, разумеется, какой может быть разговор!..— улыбнулся профессор мальчику.

— По режиму, составленному вами, Иван Иванович, у нас через двадцать минут начинается тихий час,— вежливо напомнила профессору Ираида Кузьминична.

Профессор посмотрел на часы:

— Точно! Минута в минуту. Ровно через 20. Никуда не денешься, мальчик. Режим нарушать нельзя.

— Но один раз!

— Один раз повлечет за собой второй и третий,— сказала Ираида Кузьминична ласково.

Она обняла Пеле и повлекла за собой к бассейну.

— Пошли отсюда,— позвала Вера Светку. Светка кивнула.

Светка, Вера, Марина Шутова, Люба Ходакова и Лена Ступишина пошли к воротам. Интерны выстраивались в ряды на фоне бассейна. Фотограф руководил ими:

— Ближе друг к другу, ровнее.

Пеле вырвался из объятий директрисы:

— Не трогайте меня! Отпустите!.. Я ненавижу вас!.. Вы злой, нечестный человек!.. Вы... взяточница!

Профессор Лось обернулся. Ираида Кузьминична еще крепче прижала Пеле к себе и, встав в центр композиции рядом с профессором Лосем, сияя улыбкой, тихо сказала:

— Об этом мы поговорим завтра.

Фотограф щелкал фотоаппаратом.

Профессор Лось улыбался, обнимая Илонку и Галю Малышеву. Улыбалась Ираида Кузьминична, посмеивались выпускницы, смущалась перед объективом Корнеева.

Светка и девочки, выскользнувшие за калитку, смотрели на съемку сквозь прутья забора.

За калитку выскочил Миша Матыцин:

— Отец обидится, но нечего нам с ним светиться, правда, девочки?

— Пошел ты!..— прорычала Светка.

— Пошли,— торопила Светку Вера.

Но Светка не могла сдвинуться с места. Она смотрела на Пеле, зажатого в объятиях Ираиды Кузьминичны, на Корнееву,правляющую парик.

Светка выдохнула:

— Пошли.

И пять девочек прямой осанкой, уверенной, твердой походкой, не оборачиваясь, держась плотной кучкой, стремительно пошли по дороге, ведущей к шоссе.

Фотограф закончил съемку:

— Все, спасибо.

Ираида Кузьминична ослабила объятия, Пеле вырвался и, повернувшись всем корпусом к Лосю, выпалил:

— Если моя просьба не уместится в этой вашей медицинской системе, то я по ней выздоравливать не хочу.

Профессор Лось растерянно обернулся на Ираиду Кузьминичну.

А Пеле побежал к забору. Все смотрели ему вслед.

На дороге никого не было. Пеле обернулся. Воспитательница Корнеева и Ираида Кузьминична шли за ним. Взгляд Пеле упал на трубу котельной, и он побежал к ней. Схватился за железные скобы и стал подниматься.

— Слезай немедленно! Зоя Григорьевна, снимите его! — закричала директриса.

Пеле поднимался все выше и выше. Все, задрав головы, смотрели на него.

Пеле схватился за последнюю скобу на трубе.

— Иван Иванович, что же делать? — прошептала Нина Константиновна.

— Не знаю!..— сказал профессор растерянно.

Пеле с высоты смотрел на шоссе.

По шоссе мчались машины. У автобусной остановки собралась огромная толпа. Девчонки стояли кучкой.

Подъехал автобус. Толпа бросилась на штурм дверей. И разъединила девчонок. Они пытались увидеть друг друга, подпрыгивали, махали друг другу руками.

Светка вертела головой, но не могла увидеть своих девчонок. Люди оттесняли ее в сторону. Она пропустила вперед женщину, мужчину, парнишку... Ее отбрасывали все дальше от автобуса.

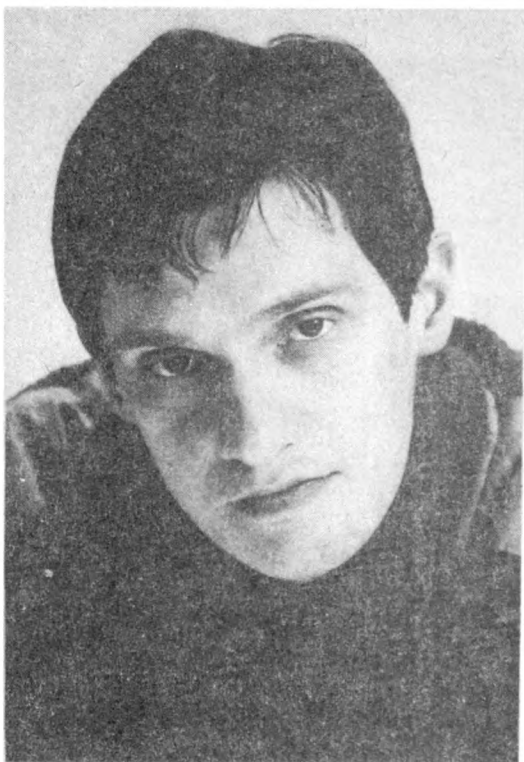
— Пожалуйста!.. Извините!..— пропускала людей Светка.

И вдруг лицо ее напряглось и она, расправив плечи, врезалась в толпу:

— Да не толкайтесь вы! Пропустите! Какого черта!..

Она шла сквозь толпу, орудуя плечами, вытянув шею, задрав голову.

И Пеле увидел Светку. Потому что даже в толпе человек с прямой осанкой виден издали.



Юрий
АРАБОВ

АНГЕЛ ИСТРЕБЛЕНИЯ

«И он к устам моим приник...»
А. С. Пушкин

...Тогда отец решил поставить капкан.

В те времена мы еще не были пригородом, а были обычной деревней, рабочим поселком. Резиновая фабрика дымила каждый день, и во рту горчил тяжелый привкус резиновой пыли.

Река, доползавшая до фабрики, казалась чище, чем сейчас. Я помню, как ребята ловили в ней шук. И только перевалив за красные кирпичные стены, она начинала дымиться, становясь тяжелее и теплее. Фабрика спускала в нее какие-то красители, и река несла все это в город. Сам же город можно было увидеть с холма недалеко от леса. На закате, как и фабрика, он отливал багряным.

— Не попадетсЯ,— сказал сосед.

— Влипнет, сука,— не согласился отец.

Он очистил капкан от грязи и смазал. Поставил его у сарая, замаскировав травой. В качестве приманки решил использовать цыпленка, защемил ему лапу, и цыпленок оглушительно заверещал. На его писк начали сбегаться куры, но отец прогнал их метлой в сарай и ушел в дом.

Я на цыпочках приблизился к капкану.

— Не бойсь, Вовк. Будет твоей матери воротник,— криво усмехнулся сосед.

Он всегда усмехался, тяжело и недовольно,

словно навеки был уязвлен этим враждебным для него миром.

Я хотел дотронуться до цыпленка и даже, более того, освободить, но встретился глазами с отцом, что глядел через окно во двор.

Фабрика дымила, заволакивая небо и солнце. Приближался вечер...

Заснуть я, конечно, не мог. Вера сломалась сразу и спала как сурок. Уже тогда она была на две головы выше меня и ложилась всегда на левый бок, лицом к стене. Отец с матерью спали в комнате рядом с кухней. Луна смотрела на меня в упор своими выклеванными глазами. Над моей головой висели Буденный и Каганович, им тоже было не до сна, впрочем, они никогда и не спали.

Пробило двенадцать. Я зевнул и, закрывая рот, вдруг услышал со двора какое-то урчание, как урчит собака на солнцепеке, когда чувствует кого-нибудь незнакомого.

Вьюн залаял, закудахтали куры. Отец вскопчил и в нижнем белье выбежал во двор. Я толкнул Веру в бок:

— Попалась!

Но она не захотела вставать.

А я, натянув трусы, бросился на улицу. У капкана стояли мать, отец и сосед. У матери на плечи был накинута плед.

— Тащи керосин, Клава.

— Ага...

Она бросилась исполнять отцовый приказ.

Она вообще все делала, что бы он ни приказывал.

— Иди в дом, — кинулась мать ко мне, но я увернулся от ее цепких рук.

В капкане трепетало что-то рыжее и пушистое. Рыжее настолько, что даже при луне оно было огненно-рыжим. Я не мог подойти ближе, чтоб рассмотреть. Они бы загнали меня в дом как пить дать.

А мама уже спешила назад, неся в руках канистру.

— Сейчас ты побегаешь, сука, — усмехнулся отец.

Он вылил из канистры керосин и чиркнул спичкой.

— Не надо! — заорал я.

Огненный столб взвился над сараем, так что мужчины едва успели отпрянуть. Начали сбегаться соседи.

Я громко и горько ревел. Мать властно взяла меня за руку и потащила в дом.

— Вы... зачем?... Ф-фашисты...

— Что? — требовательно спросила мать, желая, чтобы я повторил.

— Фашисты! — сказал я. — Чтоб вы все...

На севере от фабрики выросли блочные дома. Их было три, и они напоминали зубы исполинского существа. Сама же фабрика уже не дымилась, да и от поселка почти ничего не осталось. Несколько покосившихся деревянных нор с навеки прокопченными стенами доживали свой век за гнилыми заборами. Лес и холм были те же. Река стала мутной, бензиновой, однако рыбы в ней еще жили.

В одной из комнат крупноблочного дома сидел круглолицый лысоватый человек и клеил обложку у толстой книги. За его спиной висело аляповатое деревянное распятие, которые обычно продаются на наших базарах-толкучках. На серванте стояли пара гипсовых кошек и несколько фотографий — в картонных рамках. На одной из них был навеки запечатлен тот, кто сжег капкан вместе с попавшей в него добычей. Внимательные и суровые глаза, смотрящие из-под армейской фуражки, тонкая полоска упрямых губ...

Человек оторвался от своей работы, потому что услышал ковыряние ключа в замке.

— Кто здесь?..

— Да я...

Это была его мать с переполненной хозяйственной сумкой, прикрытой газетами.

— Верка не появлялась?

Он мотнул головой. Мать отодвинула со стола книгу, но неудачно, так что та грохнулась на пол и недоклееная обложка треснула.

— Гляди, какие симпатяги.

Сумка была доверху набита резиновыми игрушками.

— Вот это гордый, скупой...

И она вытащила медведя с небольшим присоском вместо левого глаза.

— А это красивый, военный...

Она говорила об одноухом зайце цвета хаки.

— А это что? — спросил он.

В его руках была резиновая сфера с длинной лапой, из которой торчали пластмассовые когти.

— Калоша, — сказала мать.

— Это — оборотень, дракула...

— Они все не прошли ОТК. А я взяла. Может, детям твоим сгодятся...

— У меня не будет детей, — сказал он.

Среб монстров в охапку и отнес в угол, туда, где стояли другие неведомые существа, однорукие и безносые, грязных расцветок, но бравые на вид.

Зазвонил телефон. Сын снял трубку.

— Что?..

— Ничего не слышно.

— Дай-ка... — и она стала слушать сама. — Это он!

— Кто?

— Это ты, что ли? — сказала мать в трубку.

Были явственно слышны разряды и трески телефонной линии.

— По-моему, он где-то здесь! Рядом!

Лицо ее, до того бледное и осунувшееся, зажглось. Глаза увлажнились. Не объясняя своих действий, она бросилась на лестничную площадку. Хлопнула входная дверь.

Он взял молчаливую трубку, которую мать забыла положить на рычаг. Растерянно поднес к уху. Тут же послышались короткие гудки.

Поднял с пола книгу. Разгладил титульную страницу. Только взялся за клей, как раздался требовательный звонок в дверь.

— Ключи забыла! — воскликнула счастливая мать.

Рядом с ней стоял худощавый гражданин с испытанным лицом и моргающим взглядом.

— Это Вильям Артурович, — сказала мать, — троюродный брат Машки. Он пока у нас поживет. Познакомьтесь.

— Володя...

Гость, однако, представляться не стал. Отстранив человека, стоявшего на его пути, он проник в комнату и широкими шагами начал мерить ее, к чему-то внимательно принохиваясь.

— Он ничего не слышит и не говорит, — пояснила мать. — Но все понимает, сволочь.

— Э-э... Не надо, вы что? — закричал Володя, бросаясь к гостю.

В руках Вильяма билась золотая рыбка, выловленная им из аквариума.

— Ы-ы-ы... — сказал хлопотливо гость, показывая на рыбу.

— Ну да, — согласился Володя, — рыба. Только и ей жить хочется.

— Может, ему поесть надо? — с тревогой спросила мать.

Володя вырвал у глухонемого рыбу и бросил ее обратно в аквариум.

— Ты его пока развлеки, а я ужин сготовлю.

Мать ушла на кухню. Гость по-прежнему с беспокойством осматривал комнату, махая длинными руками. Неловким движением сбросил гипсовую кошку с буфета. Но Володя успел подхватить ее.

Потеряв терпение, он решил применить силу. Бросился и крепко обнял гостя, уняв тем самым его беспокойство. Посадил напротив себя. Достал колоду карт, стасовал их и жестом предложил немому вытащить любую карту.

Тот неподвижно сидел перед ним, поглядывая на колоду с тревожным недоверием. Тогда Володя сам вытащил карту, причем зубами, положил ее к себе на ладонь и сделал два быстрых движения... Карта исчезла.

Однако на гостя это не произвело особого впечатления. Вместо того чтоб развеяться и заинтересоваться, он надул обидчиво губы, будто его проводили на явной мякине.

Володя вытащил из колоды еще одну карту, и она исчезла на ладони точно так же, как и первая.

И тут он вскрикнул от боли, потому что немой вдруг вцепился в него мертвой хваткой. Как опытный самбист, он завернул за спину руку, и из рукава Володи посыпались спрятанные там тузы и дамы.

— Ы-ы-ы! — укоризненно сказал немой, пробуя карты на зуб.

— Дурак ты, — вздохнул Володя.

Здесь позвонили. Досадуя на странного гостя, Володя открыл.

— Добрый вечер...

— Да-да, все готово...

Он бегом возвратился в комнату, взял со стола переплетенную книгу и, поглаживая ее, вручил посетителю.

— Тут обложка немного треснула, а так все в порядке.

— Ага... — невнимательно согласился клиент, суя Володе измятый рубль.

— Мы, по-моему, договаривались на два...

— Разве?.. Я всегда один платил...

— Может, и один... Ладно, — и хозяин со вздохом спрятал рубль в нагрудный карман рубашки.

Возвратился к себе. Вырвал у него одного зайца, у которого гость хотел оторвать последнее ухо, положил честно заработанный рубль в копилку.

Из кухни пришла мать с яичницей. Тихонько поделилась с Володей своими впечатлениями от гостя:

— А он мне нравится... Главное, что тихий...

Немой на это вытащил из кармана персо-

нальную вилку и отхватил здоровый кусок яичницы.

...Молил меня к нему явиться,
Услышать жаждал, увидеть,
Я сжалился, пришел и, глядь,
В испуге вижу духовидца!

Он лежал на матрасе, на полу, и, освещая страницу карманным фонариком, учил наизусть сцену из «Фауста».

Ну что ж, дерзай, сверхчеловек!
Где чувств твоих и мыслей пламя?
Зачем, взомнив сравниться с нами,
Ты к помощи моей прибеж?..

Немой, лежащий на кровати Володи, голубоко и ровно дышал. Мать спала в своей комнате. Володя закрыл глаза и, прижимая «Фауста» к сердцу, как это делают школьники, повторил, запоминая:

Ну что ж, дерзай, сверхчеловек...

И тут же все забыл, потому что почувствовал на щеках чьи-то руки, к тому же шершавые и холодные. Испугался и вскочил со своего ложа.

Перед ним было странное продолговатое лицо, некрасивое и накрашенное, лицо, большую часть которого занимали глаза, источавшие обильную влагу.

— Что?! — сказал он.

— Конеч, — ответило лицо перекошенными губами. — Его проиграли... в карты!

— Кого?

— Да человека! Че-ло-ве-ка!.. — и она беззвучно зарыдала. — Поедем, а?.. Ты... Только ты можешь помочь... Или я сама... пойду на нож!

— Поедем... — подтвердил он, загнипнотизированный ее горем.

Встал и, шатаясь, начал напяливать брюки.

— Деньги возьми, — сказала сестра, сморкаясь, — выкупать придется...

Он взял в руки гипсовую кошку с буфета.

На улице не было ни души. Холодный колкий ветерок дул со стороны города. Уцелевшие фонари раскачивались над головой, уголовным светом подчеркивая темноту глухой окраины.

Они прыгнули с последнего трамвая и побежали в глубину покосившихся одноэтажных домов. Вера бежала впереди. Она была на голову выше брата, сутулой и длиннорукрой. Он едва поспевал за ней, прижимая к груди злополучную кошку.

Переступив через груды черного шлака, вбежала в подъезд, разрисованный угольной похабщиной. В длинный коридор выходило

множество дверей. Вера открыла одну из них...

Густой туман, как в Лондоне, сразу же забил горло и легкие. Окурки на столе подмигивали, как угли в печи. Разбросанные карты и чья-то плешивая голова, храпевшая на них. Еще кто-то спал на полу у окна. А на кушетке находился совершенно голый молодой человек, задрав остроносое лицо в потолок.

— Это он...— шепнула Вера.

Кинулась к молодому, начала целовать его, тормошить, приводя в чувство. Он наконец застонал и попытался сесть.

— Уводим,— приказала сестра,— помощи.

Она подперла молодого человека под левую руку, Володя же взял под правую и тихонько, шаг за шагом, они вытолкали его в коридор.

Спящий на столе застонал и обхватил голову руками. Мутным взором засек движение у порога комнаты. Захотел подняться.

— Деньги!— шепнула Вера, видя нетерпеливое движение хозяина.

Володя понял. Возвратился и поставил копилку на стол. Хозяин сложил губы буквой «о» и сделал звук, с каким выходит воздух из шины. Володя не стал дожидаться продолжения и выбежал в коридор.

Схватив с вешалки то, что первым попало в руки, Вера кое-как прикрыла бледную наготу пленника. Когда выбрались на улицу, Володя разглядел: это была мантия Деда Мороза, истрепанная, но с сохранившимися кое-где блестящими звездами.

— Хозяин, сука, массовик-затейник,— пробормотала Вера на безмолвный вопрос брата.

Молодой человек стал похож на колдуна, но на колдуна-неудачника, сбившегося с гелиоцентрической орбиты и попавшего на какие-то задворки вселенной. К тому же он находился в глубоком трансе и, видимо, смутно понимал, что с ним происходит.

Трамваев не было. Возвращаться домой пешком, да еще с задубевшим Дедом Морозом, представлялось проблематичным. Вера выскочила на шоссе и стала ловить попутку.

Ей повезло. Визжа тормозами, рядом с ними остановился милицкий «воронок». Володя подался назад. Самое худшее произошло — их сейчас явно загребут в отделение. Однако Вера была, как никогда, радостной. Брат видел, как она забралась в кабину и расцеловалась с шофером, по виду азиатом.

— Это Видади,— закричала она брату,— мой лучший друг. Залезай!..

Видади, ухмыляясь, открыл «воронок» и помог Володе загрузить туда молодого человека. Забрался в кабину, и машина тронулась. Вера сидела рядом с водителем и без умолку говорила о чем-то. Ехали долго. Моло-

дой человек сидел на скамейке напротив Володи и кашлял. Между ними чернела большая клетка, накрытая какой-то рваной, промасленной тряпкой.

— Чего везешь-то? — поинтересовалась Вера у шофера.

— Лису везу.

— Лису? — поразился Володя, услышав разговор через металлическую сетку, что отделяла его от кабины.

— Сучка она. Собака бешеная, рыжая... Трех человек перекусала.

— Убьете, наверное,— предположила Вера.

— Стрельнем. Было б чем,— сказал Видади, похлопывая по пустой кобуре.

Володя поглядел на клетку. Губы его внезапно пересохли от ощущения, что это уже было в его жизни.

Он откинул тряпку... Клетка была пустой.

— Эй, начальник!..— И Володя, подняв клетку, показал ему.

Видади грязно выругался.

«Воронок» занесло на повороте, и шофер с трудом вывернул руль.

Ходики показывали начало третьего.

— Чего это? — спросила сонная мать, приподнимаясь на локте.

— Это... человек,— пробормотала Вера в свое оправдание.

— А-а...— протянула мать и больше ни о чем не спрашивала.

— Клади его на матрас,— сказал Володя.

От сырости и позднего времени его трясло.

— А ты? — обрадовалась Вера.

— А я у Лехи переночую.

Захватив «Фауста», Володя вышел на лестничную площадку. Сосед Леха жил этажом ниже и отличался тем, что мог принять Володю в любое время дня и ночи.

Позвонил... Долго стоял под дверью, переминаясь, чтобы дать время сонному человеку одеться и открыть. Нажал звонок еще раз... Глухо.

Вышел на улицу. Давясь зевотой, стал тяжело соображать, куда пойти. Выбрал единственное, что оставалось,— железнодорожную платформу.

Когда-то это была большая станция, последняя на пути к городу. Но лет десять назад она потеряла свое значение и превратилась в обычную, дачную, у которой останавливалась не каждая электричка. Скамейки, однако, остались...

В маленьком зале ожидания не было ни души. Володя открыл «Фауста» и прочитал:

Я в буре деяний,
в житейских волнах,
В огне, в воде,
всегда, везде...

Далее читать он не мог. Лег на скамейку и сразу же заснул.

Назавтра была назначена репетиция. Их кружку дали бывший красильный цех, наскоро переоборудованный под театральную площадку. Наверху дрожали разбитые стекла и выл ветер. Фабрика уже в течение многих лет умирала. Производство сокращалось, ненужное никому, за исключением тех, кто остался работать здесь.

Их режиссером и руководителем была молодая девушка, закончившая институт культуры. Глаза у нее были затравленными, а веки — опухшими даже тогда, когда она смеялась.

— Володенька, твоя сцена... Фауста прошу, вот так, у камина...

Камином служила старая заводская печь с тяжелой железной дверцей.

Фауст сел на табуретку и сложил руки на груди. Это был рослый молодой парень с добродушным и грубым лицом, похожий на десантника. Трудно было вообразить, что из такого получится толк, во всяком случае, на этом поприще. Опасаясь провала, но не имея выбора, режиссерша нервничала еще больше.

— Давай, Петя, — обреченно сказала она. — Начинай.

Нужно заметить, что роль свою Фауст знал назубок и бойко отгарабанил:

Желанный Дух, ты где-то здесь снуешь.
Пахнуло жутью замогильной!

Явись! Явись!

Как сердце ноет!

С какою силою дыханье захватило!

С первой же фразой режиссерша взяла с табуретки листок бумаги и начала тереть, а потом рвать его на мелкие части.

Все помыслы мои с тобой слились!

Явись! Явись!

Явись! Пусть это жизни стоит!

— Не то, Света, — сказал Володя.

— А что тебе не нравится?

— Не чувствует он моего присутствия. Ты, Петь, зовешь меня, как девчонку. А я ведь не любовница твоя, а Дух! Понимаешь? В моей власти — превратить тебя в пепел! Стереть в порошок. И если я пришел на твой зов, Петь, значит, в тебе — сила, заставившая меня повиноваться!

Володя вошел в мистический раж. Под глазами его чернели круги. Левая щека дергалась. Он вдруг дико захохотал, изображая всемогущего, и раскинул над Фаустом руки.

— Володенька, ты успокойся, — Света кинулась на эти страшные руки и привела их в исходную позицию.

— Не могу я это играть, — сказал Петя, почесывая затылок. — Пойду я.

— Петенька, милый! Ну потерпи. Премьеру отыграем, и все. Ведь у тебя получается. Она причитала так, будто просила отложить исполнение смертного приговора.

— Лучше бы братьев Вайнеров поставили, — сказал Петя.

— Материальный ты человек, — вздохнул Володя. — Невозможно с тобою мистику играть.

— Володенька, теперь твой текст... Прощу, — режиссерша умоляюще сцепила свои кулачки.

Володя нахмурился, входя в состояние замогильное, грозное...

— Не смотри на меня, — сказал он Петьке. — Я роль из-за тебя забываю.

Медленно возвел глаза к потолку, к битым закопченным стеклам, которые одним своим видом настраивали на мистический лад. Света, судя по стесненному дыханию, должна была вот-вот расплакаться.

— Кто звал меня? — подсказала она.

— Ну? — спросил Володя, припоминая.

— «Ужасный вид!» — оттараторил Петька, как выстрелил.

— «Заключая меня своим призывом, — вспомнил Володя и торжественно помрачнел, как и подобает Духу, — настойчивым, нетерпеливым...»

— Ужасный вид, — сказал Петя, щелкнув семечкой.

— Уберите его! — закричал Володя. — Я не могу при нем играть.

— «Молил меня к нему явиться! — подсказала Света. — Услышать жаждал, увидеть...»

Володя нахмурился, стараясь вспомнить текст, который он учил прошлой ночью. Но материальный взгляд Фауста не давал выхода мистическому чувству.

— Все, — сказал Володя. — Баста.

— Ну тогда и я пошел, — заметил Петя. — Следователя могу, рыцаря, а этого...

— Убирайтесь! Все убирайтесь! Мне никто не нужен! Уходите все! А-а!.. — забилась Светлана в истерику.

Петя стушевался и вмиг изменил свое решение. Принес воды, начал поить клацавшую зубами режиссершу. Володя же пронизал Светлану огненным взглядом и наложил руки над ее головой.

— Тепло? — требовательно спросил он.

Та робко кивнула. Слезы высохли, дыхание стало ровнее... Внезапно Володя почувствовал на себе чей-то взгляд. В углу, на куче битого кирпича, сидел тот самый парень, которого они вытащили из пьяной квартиры прошлой ночью...

Подошел и представился:

— Николай...

Репетиция была скромна и закончилась быстро. Когда расходились, новый знакомый пошел следом.

На улице проглянуло солнце. Так случилось часто в эту осень: весь день дует и моросит, а под вечер вдруг устанавливается неяркая розовая тишина.

— А что с руками? — спросил вдруг Николай, будто они были знакомы не первый день.

Он слегка заикался и был моложе Володи лет на десять.

— А с руками вот что...

Внезапно быстрым жестом Володя заломил свои пальцы назад, почти дотянувшись кончиками до внешней стороны запястья.

— Это — от расстройства центральной нервной системы, — буркнул вдруг Николай, демонстрируя полную бестактность.

— Это — от ума, — сказал Володя.

Они пошли берегом реки. Справа желтело высохшей осокой небольшое болотце, слева виднелся редкий лесок.

Добрались до слияния двух рукавов, один вытекал из-под земли, по-видимому, из труб, и был бензиново-черный, другой, зеленоватый и более чистый, тек из старицы — основного русла, как его здесь называли.

— Это Стикс, — сказал Володя, указывая на подземный источник.

— Тебе сколько лет? — поинтересовался вдруг Николай.

— Я тебе в отцы гожусь...

— А пальцы гнешь... — хмыкнул новый знакомый.

Володя сверкнул на него черным глазом.

— Господи! — трагически распростер он руки. — Почему мне вечно попадают материалисты?

— Пойдем, — сказал вдруг Николай и увлек его через мосток на другую сторону реки.

Там было кладбище на краю леса.

— Вот здесь, — пробормотал Коля, оставившаяся у серой плиты, — лежит моя мать.

Могила была неухоженной. Выбитые в камне буквы давно уже не подкрашивали. Засохшие цветы стояли в грязной банке.

Володя, выдержав паузу, взял его за рукав и отвел на другую линию.

— А здесь лежит мой отец...

За аккуратной свежеекрашенной оградой чернел небольшой обелиск.

— Много, наверное, денег потратили...

Володя зыркнул на Николая глазом.

— Прах нужно держать в чистоте... На Страшном суде это зачтется...

— Они никогда не воскреснут, — сказал Николай.

Володя не стал спорить с материалистом. По узкой размокшей дорожке возвратился к реке и направился к небольшому холму.

— Я раньше электриком был на фабри-

ке, — признался он вдруг, — проводка у нас горела, и меня сильно побило... После этого вот книги научился переплетать...

— А зачем в этом кружке играешь?

— Я с детства хотел стать актером.

Николай прыснул.

— Везет мне. У меня отец актер...

— Как фамилия?

— Фролов...

— Тот самый? Народный артист?.. — не поверил Володя.

— Тот самый, — с внезапной ненавистью пробормотал Коля.

После паузы добавил:

— Мы раньше здесь жили, вот там... На другой стороне старицы.

— Что-то я вас не помню, — пробормотал Володя.

Поднялся на холм. Сел прямо на траву, скрестив ноги по-турецки. Николай огляделся. Прямо перед ними висело розоватое марево пустырей, уходящее в туманное небо. Позади, у горизонта, оскалился город. Слева была какая-то свалка. Справа — лесок и кладбище.

— Это — холм Силы, — сказал Володя.

— Что это такое?

Вместо ответа Володя вытянул руки к закатам, растопырил пальцы и начал их медленно сжимать, шумно дыша через нос.

— Я подзаряжаюсь, — ответил он на безмолвный вопрос Николая.

Сделав свое упражнение несколько раз, встал.

— А ты отведешь меня на спектакль твоего отца?

— На какой?

— На любой. Я ничего не видел.

— Хорошо, — согласился Николай.

В мастерской варился клей. Несколько распотрошенных книг лежало на столе. Еще здесь была огромная зеленая машина для обрезания страниц, которая вечно не работала, и приходилось обрезать вручную, специальным ножом...

Надев нарукавники, Володя начал брошюровать страницы, приносясь к терпкому запаху клея, который очень любил.

В дверь постучали. Вспомнив, что он закрылся на ключ, Володя щелкнул замком. На пороге мастерской стоял их новый постоялец — глухонемой.

Володя очень удивился и протянул руку для приветствия. Глухонемой на это вынул из потертого портфеля толстый сверток и дал его вместо руки.

Володя развернул газету и прочитал заглавие рукописи «Ритуальные действия народов Ближнего Востока». Поднял глаза на него.

Тот, как никогда умно, смотрел ему прямо в глаза.

— Я понял,— сказал Володя.— Все сделаю.

Гость издал нечленораздельный звук, вынул из клея кисточку и попытался сунуть в рот. Володя вовремя вырвал ее, оставив в цепких пальцах гостя кусок щетины.

Немой неожиданно рассмеялся и ушел.

Перед известным академическим театром, которым славился этот город, была обычная оживленная толкотня. Володя, подходя к ярко светящемуся вестибюлю, ожидал, что у него сейчас начнут спрашивать лишний билетик, и сердце его сладко ёкнет: мол, вы не попадете, а я вот попаду...

Однако случилось обратное. Прямо перед стеклянными дверями ему предложили два билета в партере, и он уже полез в карман за деньгами...

— Сбрэндил? — выскочил из вестибюля Николай.— За такую муру деньги платить?

В руке его был пропуск на два лица. С первых же шагов в храме искусства у Володи защемило сердце, и он вынужденно прислонился к белой колонне.

Николай сунул ему бутерброд, купленный в буфете, но Володя только головой мотнул.

— Ты что, в театре никогда не был? — спросил Николай.

Прозвенел первый звонок, и зрители неспешно потекли в зал.

— Программку,— вдруг вымолвил Володя одеревеневшими губами.

— Да ладно тебе,— дернулся его новый друг.— Я тебе и так все фамилии назову.

Тяжелый академический занавес слегка дрожал и шевелился. Свет начал медленно гаснуть, бархат налился багряным, а потом медленно пополз в разные стороны, поднимая пыль со сцены.

Показался стол, за которым сидел чернявый человек в пенсне и что-то писал.

— Яков Свердлов,— сказал Николай,— заслуженный артист Мелентьев.

К нему в кабинет вошел другой, высокого роста и с дон-кихотской бородкой. Он привел матроса, обвязанного патронами.

В зале раздалась аплодисменты. Захлопал и Володя. Щеки его порозовели. Только и спросил:

— Он?

Николай смущенно потупился.

— Вот, Яков Михайлович,— сказал длинный с бородкой,— я привел к вам того, о ком вы говорили.

Человек в пенсне встал и пожал морячку руку. Осведомился:

— Готов ли ваш крейсер к выполнению боевого задания?

— Готов-то он готов, только в братве един-

ства нет,— сказал морячок.— Воду мутит, черт поддонный.

— Это кто ж таков?

— Да меньшевик с эсером. А я ведь говорить не обучен. Я же простой комендор...

— Говорить не надо. Руководить будете,— сказал ему человек в пенсне.

— Ну я пошел,— пробормотал Николай, не выдержав.

Сзади зацыкали. Володя попытался удержать его за руку, но Николай вырвался и зашагал по чужим ногам, чертыхаясь и оправдываясь...

— Лучше вот так,— сказал морячок и прочертил на карте восстания, что висела на стене, жирную стрелку.

Народ после спектакля выходил озабоченный, серьезный. Озабоченный тем, как бы быстрее получить пальто, а серьезный оттого, что на улице пошел дождь.

— Ты куда теперь? — окликнул Володю Николай.

Тот неопределенно махнул рукой.

— Пошли со мной. Неохота возвращаться к отцу одному. Тебе понравилось?

— М-м-м...— пробормотал Володя и пустил лоб складками.

Они направились к автобусной остановке. Моросило. Вода и грязь летели из-под колес машин.

— Как ты думаешь,— спросил вдруг Володя задумчиво.— Я мог бы сыграть Якова Свердлова?

Николай хихикнул и ничего не сказал.

...К ужасу Володи, народный артист Фролов уже был дома, потому что добрался сюда на своей машине. Кроме него еще приехала какая-то восторженная голландка, которая через фразу спрашивала: «Что это?» Сидел еще задумчивый тип с трубкой, а четвертым был — лысоватый, вертлявый — из массовой на крейсере, что час назад в театре кричал сорванным голосом: «Полундра! Фараоны наших бьют!»

— Где шлялся? — спросил Фролов у сына, но тот, не став отвечать, сказал:

— А вот это мой новый друг Вольдемар. Твой поклонник...

— Михаил Михайлович,— представился Фролов, подавая руку.

У Володи от смущения отнялся язык.

— Ты проходи, не стесняйся,— приказал Коля, стянул через голову куртку и пошел в ванную смывать с себя грязь.

— Это друг моего сына,— представил гостя Фролов и потрепал по плечу.

— Вы видели пьесу? — спросила голландка.

Володя кивнул.

— Как она есть? Хорошая?

Володя хотел соврать, но Михаил Михайлович опередил его:

— Жуткая бодяга, вчерашний день. А режиссура — вообще ни к черту.

— Что это? — не поняла она.

— Слишком комплиментно по языку и слишком убого по замыслу, — сказал человек с трубкой. — Но актерская игра скрашивает суггестивность режиссуры.

— Что это? — спросила голландка.

— Мы возили этот спектакль во Францию, — сказал Михаил Михайлович. — Буржуазия в брильянтах и мехах смотрела на наших морячков. Ничего не понимала и оттого хлопала.

— Один анекдот! — воскликнул лысоватый. — Про Мирзояна. Вывезли этого дурака в Рим. И пошел он в платную уборную по своей нужде. Все сделал, а выйти не может. Не соображает, что нужно опять заплатить, чтобы выйти. А самолет уже вылетает на Москву. Мирзояна ждут и волнуются: похитили, убили... Перед самым отлетом прибежал весь, извините за выражение, в дерьме. Оказывается, он как-то там через подвалы выбирался, решетку ломал...

— О! — удивилась голландка интересному рассказу. — Кто есть Мирзоян?

— Это автор того фарса, который вы сегодня смотрели, — объяснил, улыбаясь, Михаил Михайлович.

Прибежал пушистый спаниель. Из всех гостей он выбрал Володю, начал тереться и лизать руки. Володя вцепился в него, чтобы хоть чем-то заняться и скрыть смущение.

— Весь маразм идет от нашего главного режиссера, — сказал Фролов голландке. — Только маразматик в наше время будет ставить р-революционных братишек...

— Дело не в братишках, — сказал вдруг Володя, может быть, оттого что спаниель ушел.

Все обратились к нему.

— ...Дело в том, по-моему, что вы играете ложь...

— Так и мы говорим, молодой человек, что пьеса плохая, — заметил тип с трубкой.

— А зачем за нее братья? Во Францию возить? — Володя тряхнул головой. — Вы ведь, по-моему... — он наморщил лоб, припоминая, — и стали лауреатом из-за этой пьесы...

Воцарилась неловкая пауза. Одна лишь иностранка недослышала, но переспросить на этот раз не решилась.

— От моего Бакунина появился достойный сатрап, — криво улыбаясь, заметил Михаил Михайлович.

Володя поднялся и, чувствуя себя Мирзояном, который выбирался на волю через канализацию, ушел.

Он возвратился в свой пригород в начале

второго. Подходя к дому, заметил, что окна его квартиры ярко светились. Это было ему не в диковинку, в его семье ложились поздно, и он вечно недосыпал.

Лифт не работал, и пришлось подниматься по лестнице. Дверь открыла возбужденная мать.

— У нас гости, — сказала она, делясь радостью.

Володя сбросил в прихожей ботинки и вошел в комнату. За накрытым столом сидел немой, а рядом с ним была немая, не знакомая до этого никому из них.

Вера пыталась разговаривать с ними на жестях, и это, признаться, у нее получалось. Немой хранил молчаливое достоинство, не выходящая в женский разговор, а его подруга, напротив, вся отдалась непринужденной беседе.

— Как это... как это у нее получается? — пробормотал Володя, имея в виду Веру.

— Не знаю, — сказала мать. — А как тебе невеста его, красивая, правда?

Володя кивнул. Невеста косила на левый глаз, и ее хотелось помыть.

— Тогда я к Лешке пойду переночую, — вздохнул Володя.

— Иди, — согласилась мать.

Он и ушел. Спустился к Леше, позвонил. На этот раз сосед оказался дома.

— А-а, Вольдемар, — радостно сказал он. — Опять ночевать где?

Володя, не ответив, вошел в квартиру. Здесь был, как обычно, страшный бардак. Оборванные обои свисали клочьями. Невыключенный телевизор светился белым экраном. Книжные полки лежали на полу вместе с отверткой и дрелью.

— Пивца хочешь? — спросил Леха.

Был он в кальсонах и голым по пояс. Судя по наливающей голубизне глаз, не совсем трезвым. В белобрысых волосах запутались хлебные крошки.

— Хочу, — сказал Володя.

Леха щелкнул пальцами и вынул из холодильника, в котором больше не было ничего, две бутылки. Открыл их об стол так, что пробки полетели в Володю. Плеснул жидкость в кружки и чокнулся.

— Прихотливый ты человек, Володька, — сказал, хрустнув сухарем. — Недалекий, но пронзительный. Если у тебя какие трудности, скажи: так и так, мол, Леша, трудности у меня. Помоги. И Леша сделает. Все сделает. Жижей кровавой харкать будут, — он бережно обнял Володю за плечи, как обнимают невесту перед свадьбой. — У меня в буфете спрятано два хромированных лезвия. И оба — для тебя. Ты понял, понял Лешу?

— Понял, — ответил Володя. — Я спать хочу.

— Не извилистый ты, а честный, — пробормотал Леша. — Одного я только не пойму,

отчего у тебя баб нет? Не знаешь, как их взять? Так я научу. А ты запишешь. И назовешь «Рассказ бывшего мясника Леша». Ладно? Как сказал поэт Пушкин: «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь».

Володя кивнул, чувствуя, что в ближайший час не заснуть.

Рассказ бывшего мясника Леша, подкрепленный одним примером.

— Заведи ты себе сберкнижку, — начал Леша, внимательно рассматривая свои ногти.

— Невозможно, — возразил Володя, — денег нет.

— Пятерка есть?

— Нету.

— Ну тогда я тебе займу. Сберкнижку дадут тебе на руки. Приходи домой и припиши к этой школьной цифре нуля так... — он запнулся, прикидывая, — нуля четыре.

— Ты с ума сошел? Меня же возьмут за приписки!

— Так ты же эту книжку в сберкассе не предъявишь. А когда захочешь забрать свою трудовую пятерку, скажешь, что книжку потерял...

Володя заморгал от сна и напряжения. В таких хитрых вещах он был не очень силен.

— Ты слушай Лешу. Он худому не научит, — продолжал сосед, вычищая свои ногти финкой. — Знакомишься с бабой и ведешь ее домой.

— Невозможно, — опять возразил Володя, — у меня дома — глухонемые.

— Я уступлю тебе для этого свою квартиру. Приходите, располагаетсяе... И вдруг ты говоришь: «Что-то, радость моя, у меня спина зачесалась. Не пойти ли помыться?» И уходишь в ванную. А на столе, как бы ненароком, оставляешь свой паспорт и сберкнижку, на счету которой сколько?

— Сколько? — тупо спросил Володя.

— Пятьдесят тысяч, — щелкнул пальцами Леша.

Володя нахмурился, оттого что против своей воли начал постигать дьявольский план бывшего мясника.

— Скажи мне, где такая женщина, которая не заглянет в чужую сберкнижку, ввиду отсутствия ее хозяина? Как писал поэт Пушкин, «слыхали ль вы?» Нет, не слыхали. А когда ты возвратишься из ванной, то можешь делать с ней, что хочешь. Вот была у меня одна, гордая... — голубой взгляд Леша затуманился. — Я для нее десять нулей приписал. Она аж остекленела. Это, говорит, все твое? Не мое, говорю, а твое. Мне нужно, чтобы ты меня отвозила на работу и привозила. Для этого куплю тебе тачку. Работать не будешь. Зато дом постерегешь. Усекаешь?

— Ну и... — пробормотал Володя, чтобы разрядить паузу.

— Ну и сказал я ей через час: «Нет, Дуся. Не сходимся мы характерами. Мне другая нужна, честная...»

Леша закрыл финку, давая понять, что разговор окончен.

— Ладно, — прошептал Володя, вставая и снимая с себя пиджак. Открыл платяной шкаф. Оттуда с грохотом вывалился человеческий скелет и лег к ногам всеми своими костями.

— Это... ч-что? — заикаясь от ужаса, спросил Вольдемар.

— Это Дуся, — задумчиво сказал Леша.

В дверь позвонили.

— А это менты пришли, — сообщил бывший мясник и вынул из письменного стола черный пистолет.

Пошел открывать... Трясаясь от ужаса, что он может не успеть, Володя стал заталкивать скелет в шкаф. И только сейчас увидел на нем железную бирку с инвентарным номером.

— Это тебя, — сообщил Леша, появившись в дверях.

Володя погрозил ему кулаком и вышел в прихожую.

На пороге стоял Николай. Сообщил, улыбаясь:

— Мне твоя мать сказала, что ты пошел сюда ночевать.

Володя заскрежетал зубами, потому что ходики в прихожей показывали половину третьего.

— Я презираю своего отца, — сказал Николай. — Он душу мне вытряс. Если бы не он, из меня бы еще мог получиться какой-то толк...

— Да ты проходи, не стесняйся, — предложил Леша, с любопытством его рассматривая.

— Он всегда лжет, — продолжал Николай. — Он сеет вокруг себя одни интриги и клевету, он...

Неизвестно, что бы еще они узнали в этот поздний час о народном артисте РСФСР. Неизвестно, потому что Володя вдруг всплеснул руками и страшно закричал, кривя рот:

— Оставьте! Оставьте меня в покое!...

Выглянуло солнце. Оно всегда выглядит, чтобы дошибить меня. Целое лето не показывается, и только тогда, когда все уже кончено и предрешено, вылезает, напомним о себе часок и закатится до будущего года. Я думаю, что жить не стоит хотя бы потому, что солнце в наших широтах бывает все реже.

Наступила суббота. Я проснулся поздно, около десяти. Матери и Веры не было дома. Немой лежал с открытыми глазами, неподвижно уставившись в потолок. Натянув штаны, я вытащил из портфеля книгу, что дал мне этот странный тип. Я сделал обложку

синей. А на ней еще выдавил золотое тиснение: «Ритуальные действия».

Перелистал... Я любил свою работу, особенно, когда ладно получалось. Выглянул в окно. Во дворе детишки играли в песок. Не дам я ему эту книгу сейчас, подумалось вдруг. Хоть сам немного посмотрю. Взял кусок хлеба с кухни и полез на крышу. Я всегда вылезал на нее, когда светило солнце и находилось свободных полчаса. У меня были ключи от чердака.

Зазвенело битое стекло под ногами — опять, наверное, пили. Может, новый замок повесить?.. Крыша была плоской, как у большинства многоэтажек. С нее я видел на многие километры вперед.

Красная молчаливая фабрика. Река, подползающая к лесу. Желтая сухая трава... Постелив газету, я опустился прямо на нее и раскрыл книгу на середине. Ощутил запах свежего клея. Ксерокопия чернела своими жирными ятями. Бумага была свежей, еще не измятой. Я открыл на параграфе одиннадцатом: «Как погубить здорового человека...»

— «Для этого брали куклу, — прочел я, — и воображали ее человеком, которого требуется известить...»

Заскрипела дверь, ведущая на крышу. Я вздрогнул и оторвался от интересной книги... Это был немой.

И я разозлился. Ужас моей жизни заключался еще и в том, что у меня не находилось времени, чтобы побыть одному. Ни минуты, ни секунды на собственную душу.

Чувствуя, что прогнать его будет трудно, я напустил на себя холодность. Книгу прятать не стал; мало ли, что я читаю. Отсел в сторонку и повернулся к нему спиной.

Он подошел к загородке. Заглянул вниз. Потом нагло приблизился ко мне и вдруг отчеркнул своим крючковатым пальцем как раз тот параграф, который я читал... Про загубление человеческих душ.

Отчеркнул и хитро так на меня посмотрел, всепроникающе хитро. И вдруг я понял, что передо мною отнюдь не debil. И мне стало страшно. Это всегда случается, когда хорошо знакомые вещи вдруг поворачиваются к тебе своей неизведанной стороной.

Он вдруг выбросил длинные руки вперед... В лицо мое пахнуло теплом сухого испепеляющего полдня. Я вскочил на ноги, прижимая книгу к себе. Вскочил, пронзенный чувством того, что я понимаю каждый его жест, как не понимал до этого любое слово, произнесенное на родном языке.

Немой положил мне руки на плечи. Из глаз моих брызнули слезы. Я все, я все понял... Он был огромен, и мне показалось, что с каждой минутой он становится все больше. Он придвинул ко мне свое лицо... Только сейчас я заметил, какие глубокие

морщины его пересекают. Они были похожи на высохшие русла рек, на старые разрушенные каналы в пустыне...

Пододвинув свое испепеленное лицо вплотную, он вдруг крепко поцеловал меня в губы.

Ноги мои подкосились. Я упал и заплакал. Он неподвижно смотрел на меня, как с вершины горы. Грудь моя разрывалась от необыкновенной печали, которую он поселил в моем сердце.

— Но почему? — закричал я. — Почему я должен тебе верить?!

Закричал, но сам не услышал собственного голоса...

Мне показалось, что он усмехнулся. В одну секунду с лицом его произошла странная метаморфоза. Глаза стали пустыми и изменили цвет. Длинный подбородок уменьшился и пополз к глазам. На лоб спустилась белесая непослушная прядь... Передо мною стоял мой собственный отец, умерший десять лет назад.

...Не знаю, что со мной произошло. Как будто бес обуял. Видимо, разум, чтобы спастись от безумия, потребовал от тела какого-то действия.

С хриплым криком я ударил его прямо в грудь. Он отлетел к загородке и, нелепо взмахнув руками, упал вниз. На секунду передо мною возникли подошвы его грязных тапочек...

...Я стоял на коленях, обхватив голову руками. Рот мой был открыт, но ни один звук не мог исторгнуться наружу. Одно чувство завладело мной: я убил человека! Все остальное — не важно.

Прижимая к груди проклятую книгу, я бросился по лестнице вниз, поминутно оступаясь и рискуя свернуть шею. Выскочил на улицу, ожидая увидеть толпу людей...

Солнце светило в зените. Двое мальчишек сделали из песка город. Труса не было, да и толпы тоже. Он не приземлился...

Чувствуя в груди непереносимую боль, я пошел домой.

— Достали! — сказала мать, закрывая за собою дверь, и сунула ему под нос брошюру «Язык немых. Самоучитель».

Володя, не сказав ни слова, пошел в свою комнату.

— Чего это он? — спросила мать Веру.

Та лишь плечами пожала. Мать включила телевизор. Забралась на стул с ногами и раскрыла купленный самоучитель.

— Так... — пробормотала она и сложила пальцы определенным образом, как того требовала картинка.

Вера присела рядом. По телевизору, между тем, показывали интервью с народным ар-

тистом РСФСР Михаилом Михайловичем Фроловым.

— Мне кажется, что сегодняшняя молодежь,— говорил он, обворожительно улыбаясь,— как никогда нуждается в революционной теме, в романтической патетике первых лет революции.

— Можно ли назвать эту тему главной в вашем творчестве? — пискнула журналистка, истекая счастьем.

— Она и есть главная,— сказал Михаил Михайлович.— Только не надо пересматривать историю. Сейчас в моде — вводить в нее новых действующих лиц, обелять наших идейных противников, затушевывать классовые противоречия...

— Можно и так,— заметила Вера, растопыривая пальцы.

Мать на это ответила тем, что описала руками невидимый полукруг.

На пороге комнаты стоял Володя и внимательно слушал телевизор.

— Что дала вам роль Федора в пьесе Мирзояна «Крейсер»? — продолжала журналистка свое черное дело.

— Надо заметить,— ответил Фролов,— что эта пьеса — одна из самых любимых моих пьес в репертуаре нашего театра. Некоторые говорят, что она устарела и не отвечает духу сегодняшней перестройки театрального дела. Чего в этих словах больше: снобистского невежества или сознательного расчета зачеркнуть наше славное прошлое?..

Володя щелкнул кнопкой, и телевизор погас. Пошел в угол, где лежали резиновые уроды, и начал копаться там, выбирая...

Мать и сестра переглянулись. Поведение Володи становилось странным. Вера воздела свои ладони вверх, а мать осадила ее тем, что, сцепив их, вывернула наизнанку.

Из всех игрушек он выбрал какого-то синего младенца и ушел к себе, плотно затворив дверь. Мать тут же снова включила телевизор, однако звук сделала потише.

...Володя лежал на постели, положив руки под затылок. Сестра, скинув тапочки, полезла к нему и, внимательно рассмотрев, сказала:

— Где это ты обжегся?

Володя равнодушно скользнул по ней взглядом. Она же вытащила из тумбочки вату, смочила ее какой-то парфюмерной жидкостью и начала вытирать ему губы, причитая:

— Господи... Ты что, чайник поцеловал?

С губ слезала белая пленка, обнажая нежную розовую мякоть. Выступила кровь.

— Если это сделала женщина,— сказала Вера,— то я ее прирежу.

Выбросила вату в пепельницу. Склонила ему голову на грудь.

— А Коля опять запил. Коленька... лапочка...

Сладко всхлипнула. Он вдруг взял ее за

плечи, и так крепко, что она вскрикнула. Поместил ее лицо против своего и долгим немигающим взглядом пронизал ее насквозь.

— Ты что? — пыталась улыбнуться Вера, но с каждой секундой ей становилось все страшнее.

— Скажи,— пробормотал он,— откуда я появился в вашей семье?..

Она ничего не поняла. Не поняла до такой степени, что даже потеряла способность к речи.

А Володя вдруг поднял ее над кушеткой. Опустил на пол. Открыв дверь, вытолкал сестру к матери.

Он шел по улице, никого не видя и не замечая. Ветер гнал осеннюю листву. Неровные кирпичи домов бывшей рабочей слободы ощерились на него своими клыками. Это был тот самый одноэтажный район, из которого неделю назад они вытаскивали Николая.

С трудом найдя дом, возле подъезда которого лежала куча черного шлака, Володя поднялся по лестнице и позвонил в обшарпанную дверь.

Открыла какая-то старуха, округлая, как пингвин.

— Чего пришел? — сказала ему как старому знакомому. И замахнулась раскаленным утюгом. Володя стоял неподвижно, глядя ей прямо в глаза. Старуха опустила утюг и попятилась.

— А-а, старый знакомый,— протянул плешивый, появляясь в прихожей.— Ты куда дед-морозовский халат дел? Мне же отчитываться перед завкомом!

Этот был хозяин квартиры, который в ту ночь спал прямо на столе.

Володя спокойно и безмолвно смерил его взглядом. Старуха вдруг исчезла. Предметы потеряли свои черты и подернулись пеленой. Четкой осталась только фигура хозяина.

И эта самая фигура вдруг начала вытворять какие-то странные вещи. Володя понял, что это происходит тут же, но только не сейчас, а в будущем. В каком именно, далеко или близко, он не мог просчитать.

Хозяин квартиры внезапно разделся до трусов. Всхлипывая и косясь по сторонам, он побежал на кухню, и, закрыв плотно форточку, вывернул до конца газовые горелки. Прикрыл кухонную дверь и лег на пол, ничком, затыкая уши, чтобы никого не слышать.

Володя прошел в комнату. Будущее окончилось, как вспышка. Хозяин квартиры, прежний, одетый, смотрел на него, пытаясь разобраться в себе самом, отчего он вдруг испугался этого странного гостя.

В комнате находилось двое мужчин и одна

женщина, лениво щиплющая виноград, который лежал на столе.

Володя нашел ванную и зажег свет. Николай лежал в ней одетый и спал. Правда, воды в ванной не было. Володя крепко взял его за грудки и тряханул. Тот сразу же пробудился, испуганно захлопав глазами.

— Ты веришь в Страшный суд? — спросил Володя.

Николай снял с губы волос. Пробормотал, сплюнув:

— Я верю в народный суд... — И, подумав, добавил: — А кто судить-то будет?

— Я, — сказал гость.

Николай, окончательно протрезвев, тревожно взглянул на своего нового друга.

— Ты что... пьяный?

Ничего не ответив, Володя развернул маленький газетный сверток, который лежал у него на коленях. В нем оказалась резиновая кукла, изображающая голого малыша. Спросил:

— Что это?

— Атомный телескоп, — наобум предположил Николай.

— Это — вольт, — сказал Володя, аккуратно заворачивая игрушку, — при помощи которого я буду судить людей.

Завернул. Посмотрел на Николая. Тот молчал, не находя слов. Тогда Володя протянул ему руку и с силой вытащил его из ванной...

Не дожидаясь, пока Николай подыметесь с пола, пошел прочь. В прихожей бабка, похожая на пингвина, почему-то поклонилась ему.

В пустом заводском цеху завыл ветер. Разбитые стекла наверху дрожали и перезванивались. Пустая печь отвечала им низкими тревожными вздохами.

Режиссерша Света нервничала.

— Может, разойдемся? — предложил довольный Фауст, закрывая газету. — Все-таки на работу завтра. Выспаться надо...

— Будешь репетировать один! — воскликнула она звонко.

— Не буду я репетировать в этой темноте, — отрезал Фауст.

Действительно, тусклая лампочка, висевшая под самым потолком, освещала лишь саму себя.

Режиссерша всхлипнула. Достала из спортивной сумки две свечи, похожие на церковные, запалила... От их дрожащего пламени стало совсем жутко.

— Давай, — скомандовала она.

— Не буду, — отрезал Фауст.

— Я тебя заставлю играть! — завопила Светлана.

Из глаз ее брызнули слезы. Она затопала каблучками и начала ломать руки. Ее

истерические действия оказали на Фауста странный эффект.

Воровато оглянувшись, он привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Оторвался, держа ослабевшую Свету за талию, иначе бы она грохнулась на пол.

Прямо на них смотрел Володя. Лицо его было черным. Длинные тени ложились на щеки и лоб.

— Вот и Дух пришел, — пробормотал Фауст.

— Давайте, давайте, давайте... — запричитала Света, пытаясь скрыть собственное замешательство.

Фауст вздохнул. Тоскливо посмотрел на битые стекла. Прислушиваясь к завывающему ветру, вошел наконец в настроение и начал:

Клубятся облака,
Луна зашла,
Потух огонь светильни...
А с потолка,
Бросая в дрожь,
Пахнуло жутью замогильной!

Свету начало трясти. Посчитав причиной этого силу искусства, она закивала:

— Хорошо, достоверно... А теперь Дух, пожалуйста...

Володя стоял между двумя свечками и молчал. Фауст хотел подсказать ему текст, но почему-то в этот раз не рискнул. Пауза затягивалась...

— «Вы считали меня дурачком, — сказал наконец Дух, — кого на ярмарке показывать. Не понимая, что мечом я должен буду вас наказывать... Вы загубили свою жизнь. И теперь мне придется ее взять», — добавил он, переходя на другой размер.

— Это что такое? — не поняла Света. — У нас же Пастернака перевод, а ты мне читаешь Холодковского...

— Духи так не говорят, — заметил Фауст. Володя усмехнулся.

— Хватит! — заорала Света. — Убирайтесь все! Оставьте меня в покое, вон!..

С ней начиналась обычная истерика. Володя, наблюдая за ней, поглаживал сверток, в который была завернута кукла.

В его глазах пространство цеха вдруг резко изменилось. Появилась смутная мебель и кушетка... На ней лежал какой-то мужчина.

Судя по тому, что Света делала ему искусственное дыхание, он находился без сознания... Отчаяние Светланы нарастало с каждой секундой...

Володя сжал губы. Видение исчезло так же внезапно, как и пришло. Остался все тот же цех и недовольная всем миром Света.

Засунув сверток под мышку, Володя ушел.

Назавтра он вышел на работу. Отпер дверь мастерской, повесил ключи на гвоздь. Все было, как и прежде. Засохший клей в банке, огромная машина для обрезания страниц, рукописи, лежащие аккуратными стопками.

Володя сел за стол и, подперев подбородок рукой, задумался. Потом взял листок бумаги и написал несколько фамилий... Сначала зачеркнул первую, вторую... Потом перечеркнул все, выбросил листок в корзину. Включил плитку и поставил разогревать клей.

Дверь приоткрылась...

— Можно к тебе? — это был Николай с небольшим рюкзаком.

Опустил его на пол и сел напротив Володи.

— А я из дому ушел. Буду теперь жить у тебя.

— Зачем?

— Потому что хочу помочь... С тобою что-то не то...

— Ты себе помоги, — усмехнулся Володя.

Выключил плитку. Коротко бросил:

— Пошли, — и вышел в коридор.

Николай, надев рюкзак, двинулся следом...

Володя шел вдоль реки, направляясь к холму Силы. Быстро поднялся наверх и сел по-турецки.

— Присядь, — сказал он, закрыл глаза, подставив лицо бледным лучам солнца. — Ты знаешь, кто такой Ангел Истребления?

— Нет, — ответил Коля, не собираясь врать.

— Это тот, кто силой, данной ему свыше, уничтожает зло.

— Как это зло?.. Людей, что ли?

— Людей, — глухо сказал Володя.

Коля бросил на него тревожный взгляд. Река медленно текла к красноватой фабрике. Двое мальчишек сидели с удочками, а их товарищ ездил на велосипеде вокруг и что-то кричал.

— Этот Ангел — человек? — осторожно спросил Николай.

— Да...

— Тогда кто ему дал силу Ангела и почему? — Коля заговорил почти шепотом, против своей воли втягиваясь в этот странный разговор.

— Я не знаю кто... Не все ли тебе равно?

— Пришельцы... — съязвил Николай, но тут же прикусил язык, потому что Володя метнул в него огненный взгляд.

Сорвав сухую травинку, Коля зажал ее в губах. Сказал как можно более серьезно:

— Я не понимаю тогда, почему бы им самим не искоренить зло? Зачем отдавать силу человеку?

— Потому что они ничего не понимают в земных делах. Им надо, чтобы судьей

был человек. — Закрыв глаза, Володя вывернул свои ладони к солнцу.

— Это очень опасно, — пробормотал Николай. — Если эту силу получит подлец, то мир захлебнется в крови... Ангелом Истребления должен стать только очень добрый человек...

— Этот Ангел — я...

Коля ожидал такой ответ. Выплюнул травинку... Последний шмель вился над холмом и сладко, по-июньскому, жужжал.

— Видишь мои губы? — и Володя вдруг наклонился к нему.

Губы его были покрыты коричнево-белой коркой, словно обожжены.

— Он поцеловал меня, передав силу... Сила вообще передается через поцелуй.

Николай провел пальцами по его губам...

— А если ты поцелуешь другого человека?

— Ничего не случится, — сказал Володя. — Сила останется при мне. Только если я захочу избавиться от нее, я должен буду поцеловать землю.

— Мать сыру землю? — не сдержался Николай.

Володя кивнул.

Шмель опустился на цветок клевера и залез в него всеми своими лапами.

— Как же ты будешь судить людей... Ты что, так разбираешься в них?

— Нет, — признался Ангел. — Но я получил дар предвидения... Предвидения того, что может случиться с этим человеком в будущем...

— И что же? Что случится со мной? — Николай от любопытства даже взял его за руку. Ангел смерил его взглядом. Потом, уставившись в землю, выдавил:

— Не знаю. Не могу...

— Почему?

— Чтобы я увидел будущее человека, мне надо на него рассердиться...

Коля засвистел, отгоняя от себя тревожные мысли. Открыл рюкзак и начал перебирать вещи.

— А кофе-то я забыл...

— Вернись ли, только сейчас моя жизнь наполнилась каким-то смыслом, — сказал Володя обычным человеческим голосом. — Раньше я плакал по ночам от книжек, которые я не прочитал, от стихов, которые я не написал, от слов, которые никогда не скажу... Понимаешь?

— Понимаю, — сухо согласился Коля. — Можно ли мне называть тебя Ангелом Тотального Истребления?

— Ты, кажется, не веришь мне? — удивился Володя.

— Как выглядело существо, которое передало тебе силу?

— А вот это не важно, — уперся Ангел.

Шмель улетел. Один из мальчишек, ловивших рыбу, закатал штаны и полез в воду,

чтобы оторвать зацепившийся о корягу крючок.

— Еще он мне сказал одну странную вещь... Будто мой отец — не родной. А я совсем от другого... Может такое быть, как ты думаешь?

— Ты же у нас Ангел,— сказал Коля,— тебе виднее...

Потом добавил после паузы:

— Ты уже уничтожил кого-нибудь?

— Нет.

— Тогда откуда тебе известно, что ты действительно получил силу?

Ангел не ответил.

Леша открыл им, как всегда, голый по пояс. Жуя и чавкая, кивнул и пропустил вперед. — Он теперь будет у тебя жить,— сказал Володя про своего спутника.

— А долго? — спросил Леша.

— Не знаю,— вздохнул Николай.— Только я не смогу платить за постой...

— Тю... Так Леша и не требует. Леша этого барахла навидался во...— и мясник провел рукой по шее.— Леша тридцать тысяч имел зараз. А все благодаря чему? Благодаря разрубам.— И он начал загибать вечно грязные пальцы: — Какие есть разубы? Тамбовский, ярославский, киевский, московский, ленинградский... Какой самый честный? Ленинградский. Он называется — себе и людям. А какой самый жлобский?

— Московский, наверное,— предположил Николай, с тревогой поглядывая на Ангела.

У мясника работал телевизор. И Ангел так и впился в экран.

— Сейчас не мясник пошел, а молотобоец,— продолжал Леша, все более возбуждаясь.— Что такое квалификация? Это когда ты все сам. Корову уложишь, шкуру сдерешь, а тушу обрабатываешь. Я ведь и корову завалю, и лошадь, и быка...

По телевизору показывали разгром какой-то демонстрации. Черные люди под напором воды из шлангов бежали в разные стороны.

— И правильно,— сказал мясник, комментируя эти кадры.— А то моду взяли — свободу им подавай...

— Может быть, этот? — спросил вдруг Николай, посылая Ангелу особый взгляд.

Ангел взглянул в мясника. Лицо у Леши вдруг осунулось, как воздушный шар, из которого вышел весь воздух. Появилась седая щетина. Он сидел в кресле-каталке в длинном больничном коридоре и звал кого-то, открывая беззубый рот.

Володя отрицательно покачал головой. Видение исчезло.

— ...берешь курицу за рубль семьдесят,— твердил Леша,— сводишь ацетончиком клеймо, а потом продаешь за два шестьдесят...

— Покажи ему угол,— прервал его Володя.

В смежной комнате был страшный беспорядок. На полу валялись окурки и рваные журналы. Целый полк дохлых мух лежал на подоконнике.

— Живи сколько влезет,— пробормотал Леша.— Разрешаю.

Он хлопнул гостя по спине и ушел. Николай сел на кровать, открыл рюкзак и начал доставать оттуда свой нехитрый скарб.

— А ты ведь не из-за меня ушел из дому,— сказал вдруг Ангел.

Николай вытащил из рюкзака фотоальбом. Признался:

— Из-за отца. Не могу жить с ним под одной крышей.

— Что это?..

— Фотографии. В память о матери... Я всегда беру их, когда ухожу из дому.

Володя взял альбом в руки.

Здесь была снята светская жизнь, о которой обычный человек мог только догадываться. Михаил Михайлович здоровается за руку с бывшим Председателем Верховного Совета. Михаил Михайлович стоит на фоне Акрополя. Михаил Михайлович обнимает Жана Габена...

— Вот это моя мать,— показал Володя на миловидную женщину небольшого роста, которая держала народного артиста под руку.

Ангел внимательно взглянул в фотографию.

— Она умерла не своей смертью,— сказал он вдруг.

— Попала под машину,— подтвердил Коля.

Похоже, он начинал верить в таинственные способности своего друга.

— Я возьму этот альбом к себе,— сказал Ангел.

Дома он застал заплаканную немую. С нею жестами переговаривалась мать. Похоже, что она успокаивала ее.

Сестра лежала на разобранной кровати, повернувшись лицом к стене. По телевизору заканчивалась программа «Время».

— Еще десять активистов, представителей движения чернокожего большинства, были брошены за решетку по прямому указанию президента Мабуту. Сегодня же архиепископ Танзании обвинил Мабуту в кровосмешении и каннибализме...

Мать и немая махали руками. Володя наклонился над сестрой. Чувствуя ее глубокую протрацию, сообщил:

— Он — у Леши...

Сестра вскоčila...

— Откуда?..— и глаза ее наполнились счастьем.

— Я привел.

И брат удалился в свою комнату, тихонько затворив дверь. Вера начала быстро одеваться, мечась по комнате в поисках вещей.

У себя Володя зажигает настольную лампу, лег на диван и открыл фотоальбом... Перед ним предстала сказочная жизнь, полная красоты и успехов...

Он грустно усмехнулся. Что значит теперь для него вся эта мишура, для него, подвинутого на великое дело?

Дверь открылась, и вошла мать.

— Ты не знаешь, Вовк, как объявить всесоюзный розыск?

— Зачем?

— Да Вильям Артурович пропал, немой наш. Видишь, как невеста переживает!

— Она не беременна от него? — вдруг заинтересовался сын.

— С чего это ты взял?

— Так... просто... Этот немой никогда не вернется...

Мать очень удивилась таким словам. Он же вдруг крепко схватил ее за руку.

— Я давно собирался спросить, мама... Кто мой отец?

У нее отвисла челюсть. Только сейчас он как следует разглядел мать, потому что раньше для этого не хватало ни места, ни времени.

Маленькая, сухая... с выцветшими голубыми глазами, завитая и нелепо накрашенная...

Она взяла с серванта фотографию, сунула в лицо сыну.

— Этого я знаю,— сказал Володя.— Я имею в виду настоящего.

Мать ударила его наотмашь по щеке и убежала из комнаты.

В старом цехе, где они репетировали, повесили занавес и внесли стулья. На них расположилась комиссия, которая должна была принимать спектакль. Были двое от фабкома и парткома да начальник ВОХРа в военной фуражке, читавший «Социалистическую индустрию». Возглавляла комиссию тугая, как тесто, женщина с шестимесячной завивкой.

— Кто это? — спросил боязливо Фауст, одной рукой приоткрыв занавес, а другой обнимая Свету за талию.

— Это из управления культуры...

Светлана была как из стекла. То есть бледна и прозрачна. Мелкие озера в глазах рябили барашками.

— Не подведите, мальчики!.. Володенька, ты не забыл свою роль?

Тот мрачно взглянул на нее, теребя в руках плащ из черного бархата. Он никак не мог найти прорезь, сквозь которую можно было бы просунуть голову.

— Кого ждем? Не все еще собрались? — нервно спрашивал Мефистофель.

— Не зуди, Тимофеич. И так тошно...

Действительно, Мефистофеля играл инвалид Тимофеич, который был выбран на эту роль из-за хорошей памяти и из-за своего одноглазия. Левую щеку его пересекала черная повязка, придававшая лицу романтически-пиратский вид.

Володя наконец-то нашел прорезь. Но оказалось, что плащ едва достаёт ему до колен.

— Гнусно,— пробормотал он, осматривая ноги.— Может, штаны снять?

Фауст, подсматривающий за зрителями, вдруг удивленно свистнул.

— Неужели тот самый? — спросил он Свету с крайним изумлением.

Та лишь руками всплеснула, показывая, что ей уже все безразлично, как безразличен комар приговоренному к смерти.

Володя поглядел в шелку.

По цеху шел Михаил Михайлович Фролов. Легкая дубленка, распахнутая на груди, подчеркивала его демократическое превосходство над остальными. Все повскакивали со своих мест, будто шаровая молния влетела... Фролов снисходительно махнул кепкой, пригладил левой рукой редкие волосы и сел на первый ряд, положив ногу на ногу.

— Зачем он здесь? Тебе славы захотелось, да? — накинусь Ангел на Свету.

Та выставила вперед руки и, как слепая, вышла на сцену.

Начальник ВОХРа сложил газету. Завитая сделала в блокноте первую пометку. Светлана начала беззвучно открывать и закрывать рот.

— Вы не волнуйтесь,— сказал ей Михаил Михайлович.— Говорите погромче...

Все сладко заулыбались и закивали головами, полностью согласные с мнением народного артиста.

— Это все еще сыро... И нет драматургического единства,— пролетела Светлана,— оттого что здесь — только отдельные сцены.

— А у Гёте вообще нет драматургического единства,— заметил Фролов.

Завитая радостно кивнула и сделала в блокноте вторую пометку. Светлана хотела сказать еще что-то, но не смогла. Обреченно вздохнув, отвела занавес.

На сцене сидел Фауст, накрытый пледом. Одна рука вылезла наружу и стала видна татуировка, изображающая серп и молот с надписью: «Петя 1976».

Я богословьем овладел,
Над философией корпел,
Юриспруденцию долбил
И медицину изучил...

Пока он проговаривал свой длинный монолог, Володя исподтишка поглядывал на Фролова. Поначалу лицо артиста было веселым, но вскоре стало рассеянным и сонным.

Поэтому Ангел решил оглушить его совпа-

дением личного опыта и образа, написанного Гете.

Я — океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью,
Где, времени кинув сквозную канву,
Живую одежду я тку божеству.

Володя играл Духа вдохновенно и торжественно, во всяком случае, ему так казалось. Роль была небольшой, и, отговорив текст, он ушел за кулисы с сознанием выполненного долга.

Только успел снять бархатный плащ, как перед ним оказался Михаил Михайлович собственной персоной. Сердце у Ангела ёкнуло. Он понял, что народный артист потрясен его игрой.

— Куда вы дели моего сына? — спросил Михаил Михайлович, жуя резинку.

Такого оборота Володя не ожидал.

— Вот что, голубчик. Если вы не оставите Николая в покое, я буду вынужден обратиться в милицию...

— Я-то... я-то здесь при чем? — наконец смог выговорить Ангел.

— Не лгите. В последнее время он только и говорил про вас. Какой вы добрый и странный... В общем, если Коли не будет завтра дома, то пеняйте на себя... Кстати, не надо так выть, даже тогда, когда вы играете Духа... Тем самым вы только подчеркиваете свой дилетантизм. Простота и естественность — вот главные качества актера... Всего хорошего...

Быстрыми шагами Фролов направился в зал. Подошел к завитой, что-то прошептал и подал руку. Вышел из цеха...

Ангел терзал свой манжет, застегивая и расстегивая его...

Спектакль кончился фразой Мефистофеля:

Поздравить с жизнью тебя могу,
Которая тебе еще в новинку.

Светлана задвинула занавес, не дожидаясь аплодисментов. Тем более что в комиссии царствовало тягостное молчание.

— Пошли... — прошептала Света, приглашая актеров спуститься в зал.

Они и вышли туда, не переодеваясь. Фауст в тюбетейке, Тимофеич — с пером, а Володя — в штатском.

— Хорошо все-таки писали греки, — сказал начальник ВОХРа, закуривая «Беломор».

Представители фабкома и парткома весело переглянулись.

— Хорошо, — согласилась завитая. — Тема угадана верно... — Она посмотрела в свой блокнот, и лицо ее прояснилось. — Только вот что я хочу сказать... По поводу недраматургичности Гёте... Тут я полностью согласна с Михаил Михайловичем Фроловым... Нельзя

ли было выбрать что-нибудь другое. Например, Дворецкого...

— А мне понравилось, — сказал вхорец. — Черт особенно сыграл свое... Хм, да, ведь как он, чертяка, душу христианскую соблазнил...

— Это бесспорно, — поддержала завитая, — тут двух мнений быть не может. — Она снова заглянула в свой блокнот. — Вы — комсомолец? — спросила она Фауста.

— Да, — признался тот.

— И здесь я опять не могу не согласиться с народным артистом Фроловым, — сказала завитая, — ведь какое время на дворе, демократизация, новые живительные ветры... А у вас — мистика...

Володя принес стакан воды и начал отпаивать Светлану.

— А по-моему, хорошо, — не согласился вхорец. — Только дети бы не испугались... Вот ты, парень, слишком того... Страшен очень, — говорил он про Володю.

— А где сам Фролов? — поинтересовался Тимофеич.

— Михаил Михайлович просил извиниться перед вами. У него — вечерний спектакль, — сообщила завитая и, обратившись к Володе, добавила: — Мне тоже показалось... что вы еще недостаточно вжились в роль Духа... Каково будет мнение партийной организации?

Фабком и партком переглянулись опять.

— Какое тут может быть мнение, — проговорил наконец председатель парткома. — Дерзать, работать...

— Именно. — И завитая захлопнула свой блокнот.

«Скорая помощь» приехала через минут сорок. Мы погрузили Светлану на носилки и внесли в машину. Чувствуя, что Фауст поглядывает на часы, я сказал ему:

— Иди. Я сам отвезу.

Санитар сел в кабину, а я притулился рядом со Светой. Взял ее за руку и крепко сжал, стараясь передать ей часть своего тепла.

— Ты не верь им... Ты замечательно сыграл, — шептала она.

— Они думают, что духи не такие, — сказал я усмехнувшись. — Но скоро они узнают к а к и е ... Все узнают, все!

За окном неслись, подпрыгивая, редкие огоньки.

...Я снова возвращался поздно, досадуя на жизнь и на то, что сегодня опять не удастся выспаться.

Кроме того, я нервничал, поскольку даже с такой маленькой ролью не мог справиться... В воздухе кружились первые снежинки, под воротник забирался ветер. Я вдруг подумал о том, что миссия моя безнадежна. Если

я до сих пор не смог обнаружить человека, достойного называться злым и потому подлежащего уничтожению, то дела плохи. А может быть, Коля прав и я просто все выдумал?..

Первым делом я зашел к нему. Дверь была открыта. Леша лежал на диване и храпел. Николай в кресле читал какую-то книгу.

— Как прошел спектакль? — спросил он.

— Тебе надо возвращаться к отцу.

— Это он тебе сказал?

— Не важно... Просто я не вижу резона в твоём уходе. Твой отец — не хуже и не лучше других людей.

— Я попрошу тебя замолчать... — пробормотал он. — Если бы у тебя действительно был дар провидения, то ты бы понял, каких бед может натворить этот человек.

Я промолчал. В самом деле, будущего Михаила Михайловича я не разглядел.

— Ты понимаешь, какая штука... — попытался объяснить я. — Похоже, что вообще нету злых людей... Вот я присматриваюсь, слежу... Ну, думаю, вот он... А потом смотрю, что лет через десять этот человек превратится в калеку...

— Я думаю, это ошибка, — пробормотал Николай. — Если ты будешь медлить, то зло перейдет в наступление...

— А ты, похоже, поверил в мою миссию, — усмехнулся я.

— Что же касается отца... То моя мать погибла из-за НЕГО.

Я не стал переспрашивать. Хотя и удивился...

— Это было самоубийство, — объяснил Коля.

Я поднялся и направился к двери. Мне почему-то стало неприятно слушать его.

— Он все время лжет. Думает одно, а делает другое... понимаешь?

— Спокойной ночи, — пожелал я Николаю и пошел к себе.

На душе было мерзко от собственного бессилия. Знобило, слипались глаза. Открыл замок и на цыпочках прошел в свою комнату. Мать все-таки проснулась.

— Погляди, Вовк... Не затопили?

Я потрогал батарею.

— Нет, мам...

Она застонала и перевернулась на другой бок. Веры не было — опять где-то шлялась.

Я так устал, что даже не смог умыться. Кое-как добрался до постели и рухнул в нее. Под ухом тихонько жужжал невыключенный транзистор.

Сначала я не слышал его, погруженный в тяжелое забытие. Но потом дошло, наконец, до разума:

— ...международный суд в Страсбурге начал сегодня заочно разбор преступлений диктатора Мабуту. Бывший советник президента подтвердил на вечернем заседании, что Мабуту виновен в каннибализме и геноциде, кото-

рые он, вместе со своими приспешниками...

Я сел на постели и сделал приемник погромче. Однако там пошли сообщения из братских стран социализма.

В душе моей что-то ёкнуло... Я набрал телефон Лехи. Сначала трубку не брали, но потом Николай печально откликнулся:

— Алло...

— Вот что, Коля. Как ты думаешь, каннибализм — смертельный грех?

— Думаю, что да. А в чем дело?

— Ни в чем. Извини.

И я положил трубку. Переведя дух, открыл «Ритуальные действия» и прочитал параграф, на который указал мне Ангел.

Достал резинового лилипута и дюжину булавок. Расположил перед собою на столе, закрыл глаза... Я попытался представить себе диктатора сначала черного, потом белого... Однако оба варианта не удовлетворяли. Наконец в голове моей возник средний — лицо метиса.

Решившись, я открыл глаза и начал читать по книге страшным замогильным голосом:

— «Глава мертвых! Пусть прикажет тебе Владыка через живого и посвященного змея! Блуждающий орел, пусть прикажет тебе Владыка боками быка! Змей, пусть прикажет тебе Владыка через вестника и льва! Михаэль, Габриэль, Рафаэль, Анаэль!..»

Хлопнула форточка, открывшись... Меня передернуло от ужаса. На минуту пришла мысль, что не худо бы все это бросить. Но, решившись идти до конца, я прикрыл форточку и снова начал творить свое черное действие:

— «Ангел с мертвыми глазами, повинуйся или исчезни вместе с водой! Крылатый телец, работай или возвращайся к земле! Орел, прикованный цепью, повинуйся моему знаку или удались от этого дуновения. Вода, возвращайся к воде. Огонь, возвращайся к огню и гори. Да упадет земля на землю силою моего духа!»

Я взял булавки и начал втыкать их в резинового младенца, повторяя нечестивое имя:

— Мабуту! Мабуту! Мабуту!..

Стояла мертвая тишина. Мне было трудно дышать. Младенец передо мною превратился в ежа...

Утром меня разбудил не будильник, а Леша. Не знаю, кто его пустил. Может быть, мать, когда уходила на работу.

Он тряс меня за плечо, а я, проснувшись, с ужасом увидел, что стрелки показывают пять минут десятого.

— Слушай, Вовк, у тебя трояк есть? — спросил Леша.

Я вскочил и только тут понял, что спал одетым.

— Вовк, а, Вовк...— ныл Леша, наливаясь синевой.

Я быстро убрал со стола вещественные доказательства своей нечестивости: младенца, книгу и булавки. Запер все это в шкаф и объяснил соседу:

— Я на работу опаздываю...

Он что-то занял и заохал. Смочив лицо водой, я выбежал на лестничную площадку. Дождался, когда Леша выйдет, и молча запер дверь.

— Что за жизнь у Леша пошла,— ныл сосед, увязавшись следом.— Я же вас всех имел, свободы, гения и славы палачи!..

Только выйдя на улицу, я сообразил, что мне ужасно хочется есть. Полез в карман и выгреб оттуда рубль мелочью. Леша хищно посмотрел в мой кулак, но я, погрозив ему, зашел в магазин.

Хотя вывеска тускло сообщала, что это «КООП», выбор здесь был привычен и постоянен: несколько наименований рыбных консервов, болгарские банки фруктового компота, крупы и хлеб... Но мне, однако же, повезло. Только что привезли рублевый творог, за которым уже выстроилась бодрая очередь оживленных старушек.

Плюнув на опоздание, я выбил в кассе чек и встал в конец. Сегодня торговала продавщица, которую я особенно не любил. Фамилия ее была Бельдяш — об этом сообщала аккуратная табличка, последнее нововведение нашего коопторга. Была эта Бельдяш смуглой и, что называется, жгучей. Два раза я скандалил с ней по пустякам, и во время крика усы над ее верхней губой угрожающе шевелились.

Леша расположился сбоку, улыбнулся. Видно, вспомнил свою молодость, как он сам колдовал за прилавком... Бельдяш работала четко и быстро. Довольная очередь неумолимо продвигалась вперед. Из радиоточки несся «Танец маленьких лебедей».

— Как ты хорошо вешаешь! — сказал сладко Леша.— Точно, грамм в грамм!

Бельдяш скользнула по нему мутным взглядом.

— Не, я молчу...— пробормотал Леша в восторге, однако обещания своего не сдержал.— И бумаги мало кладешь... И творог — не моченый...

Он торжествующе осмотрел очередь.

— А ведь перестроилась! — и он показал на Бельдяш грязным пальцем.— Фаргук новый надела, колпак... Просто, шерри-бренди, ангел мой...

— Не гавкай,— издала она горловой звук.— Если выпил, так и сопи в две дырочки.

Здесь очередь заволновалась, заверещала, как дрель с тонким сверлом. Голоса-то сла-

бые подобрались, старушечьи...

— Иди, иди отсюда. Не отвлекай, а то милицию позовем...

Леша кивал и со всеми соглашался. Я чувствовал, что он замыслил шкodu и хотел уже было увести из очереди, но он опередил меня.

Все так же обворожительно улыбаясь, Леша вытащил из штанов красную книжечку и приставил ее вплотную к усатому лицу продавщицы. Бельдяш застыла с ножом наперевес.

— Прошу не расходиться, товарищи,— сказал Леша кислым, официальным тоном. Шагнул за прилавок... Снял с весов упакованный творог. Стрелка точно возвратилась на ноль, встав напротив него тютелка в тютелку.

— Куда ж она ее засунула?—пробормотал мясник, озираясь.

И здесь Бельдяш вдруг захлопала глазами. Делала она это быстро, как мелкий дождь бьет по лужам.

— А-а... — наконец-то нашел Леша отвертку.— Позвольте вам продемонстрировать, товарищи, один научный опыт.

Он взял гирьку, на которой было выбито «500», и положил на весы. Стрелка весело пошла вперед и остановилась на делении 650 граммов. И вот здесь наступила мертвая тишина. Две старушки передо мною вытянули тонкие шеи, а когда разглядели вес и гирьку, то открыли рты.

— Делается это так,— сказал Леша, повалив весы набок и залезая в них отверткой.— Видите этот винт? Он особым образом регулирует пружину. И при помощи его я могу обвешивать вас, насколько угодно... Вот, пожалуйста...

Он что-то там подкрутил, подвертел, поставил весы и бросил на них ту же гирьку в 500 граммов. Стрелка показала семьсот...

— А так все точно, на нуле стоит,— закончил Леша, снимая гирьку.

Стрелка в самом деле возвратилась на ноль...

Бельдяш по-прежнему хлопала глазами. Огромная грудь ее ходила то вверх, то вниз.

— Не ты одна такая умная,— сказал Леша.— Как говорил Спиноза, на каждый гвоздь найдется молоток...

Он хотел сообщить еще что-то, но не смог. Потому что Бельдяш, дико закричав, замахнулась на него ножом. Леша увернулся, но задел локтем пирамиду консервных банок, и те с грохотом посыпались на пол.

— Не трогай его! — закричала кассирша, которая только сейчас возвратилась в зал.— Он — наш!..

— Так у него документ липовый,— закричала Бельдяш, разворачивая Лешину книжечку.

А там, между прочим, была одна обложка.

Это особенно уязвило продавщицу. Она взяла Лешу за волосы, да так, что в руке ее остался здоровенный комок...

Старушки метались по залу. В дверях магазина показался милиционер. Тот самый Видади, который вез нас в «воронке», когда мы Николая вырвали...

В одно мгновение он скрутил Леше руки, но не язык.

— На тебя теперь вся надежда, — сказал мне Алексей разбитыми в кровь губами. — Режь их, стриги!..

Видади подтолкнул его к выходу.

— Покайтесь, граждане! Ангел Смерти грядет, — прокричал бывший мясник, оборачиваясь.

Исчез в проеме двери. Старушки вопили и требовали директора, подняв над головами завернутый творог. Бельдяш громко рыдала. А я был оглушен... Откуда Леша узнал о моей миссии?

Я внимательно всмотрелся в усатую продавщицу. Магазин исчез. Прилавок превратился в письменный стол. Возникло узкое окно, забранное решетками. Бельдяш уже не плакала, однако под правым глазом у нее оказался синяк. Беззвучно шевеля толстыми губами, она рассказывала что-то человеку, сидящему напротив...

Видение исчезло. Старушек пригласили в подсобное отделение для перевешивания творога. На стекле витрины появилась корявая надпись: «Отдел закрыт». Мне стало грустно оттого, что я так и не купил творога. Пусть с обвесом...

Радиоточка сообщала последние известия. Я уже собирался уходить отсюда, как вдруг обожгли слова:

— ...по сообщению агентства Франс Пресс, президент республики генерал Мабуту умер от сердечного приступа. В крупнейших городах страны прошли многотысячные демонстрации с требованием политических свобод и гарантий прав личности. В столице объявлен комендантский час.

Ноги мои подкосились. Не в силах стоять, я опустился на корточки, коснувшись руками холодного пола...

Я вбежал к Николаю и прислонился к косяку, переводя дыхание. Лицо его было странным. Немой вопрос застыл в глазах — казалось, что он о чем-то догадывается.

— Я хотел сказать... — начал я, но он преврал меня.

— Вчера по телефону ты спрашивал о Мабуту?..

Я кивнул и заметил, что в Колином лице промелькнула безгловость. Ничего больше не говоря, он начал собирать свой рюкзак, застегнул его на все крючки и сунул мне ключ со словами:

— Отдашь Леше.

Насвистывая что-то, стал спускаться по лестнице. Я побежал за ним следом, пытаясь поймать за руку, чтобы остановить... Поскользнулся, упал.

Хромая, догнал его на улице.

— Ну ты же сам просил, чтобы я действовал! — крикнул ему, и даже слюни брызнули из моих губ.

— Ты убил человека! — прошипел он с ненавистью.

Вскочил на площадку подошедшего трамвая и уехал.

Голова моя разламывалась. В ушах звенел стройный и торжественный хор голосов, казалось, что барабанные перепонки сейчас лопнут. Сердце рвалось наружу, щеки горели...

Доковыляв до холма Силы, я на четвереньках взобрался на него. Передо мною была река и кладбище. С запада шла здоровенная туча, переливающаяся, как нефтяное пятно.

— Вставайте, лежебоки! — закричал я, все более ужасаясь своим возможностям. — Нечего лежать без дела!

Ударил гром. Наступила темнота. Порыв резкого ветра опрокинул меня навзничь, и в лицо мое полетели ледяные капли града...

И я увидел... Нет, мне только показалось, что кладбище стало наполняться каким-то народом. У меня не было подзорной трубы, чтобы разглядеть их. Некоторые были одеты, как на званом обеде. Я видел их платья, развевающиеся на ветру... Большинство мужчин были в строгих черных костюмах. Многие несли букеты цветов, и в блеске молний цветы отливали серебром.

Я замахал им рукой, давая понять, что я здесь, на холме...

— Я все вам прощу... — хотел им крикнуть, но не смог.

Я вдруг понял, что они направляются не ко мне.

Несколько фигур побежали к шоссе и начали там голосовать, ловя такси. Другие сразу же бросились в магазин. Со своего холма я явственно видел черную очередь, которую они создали у дверей.

— Вернитесь, мертвецы! — заорал я, сложив ладони трубой. — Там ничего нет!..

Но гром перекрыл мои слова. Удивительней всего повела себя третья группа. Они сели за деревянные столы, врытые в землю, и начали сразу же возбужденно махать руками. До меня донесся задорный стук костяшек.

— Рыба! — закричал кто-то и смешал всю комбинацию.

— Опомнитесь! Покайтесь... — взывал я сверху, но они, похоже, вообще не догадывались о моем существовании.

Впрочем, нет, вру... Двое каких-то колченогих и низкорослых подбежали к моему холму и начали о чем-то оживленно говорить друг с другом, указывая на меня пальцами.

— Зовите всех остальных! — приказал я им, но реакция на мои слова была обидной и неожиданной...

Один из них сделал руками неприличный жест, отдаленно напоминаящий качели, а другой, беззвучно захохотав, побежал к своим друзьям, чтоб поделиться радостью...

— Ах вот вы как! — страшно пробормотал я. — Сейчас, сейчас я вам...

Кровь бросилась мне в лицо. Я был уязвлен до глубины души. Что я мог им сделать? Чем наказать? Только одним, только одним...

Проклятая весь мир и собственное бессилие, я опустился на колени и приблизил свое лицо к холодной земле. На секунду мне стало страшно оттого, что я сейчас совершу. Но тяжелое чувство неспособности распорядиться опущенным мне даром победило все остальное... Я поцеловал землю и почувствовал, как она ответила мне тем же.

Выпрямился... На кладбище не было ни души. У подножья холма — тоже. Пошел сильный дождь...

...и тогда отец решил поставить капкан. В те времена мы еще не были пригородом, а были обычной деревней, рабочим поселком. Резиновая фабрика дымила каждый день, и во рту горчил тяжелый привкус резиновой пыли.

Река, доползавшая до фабрики, казалась чище, чем сейчас. Я помню, как ребята ловили в ней шук. И только перевалив за...

— Похоже на менингит, — сказала врачиха. — Помогите его поднять.

Мать и Вера усадили Володю на кровати. — Вытяните руки и дотроньтесь указательным пальцем до своего носа...

— ...не бойся, Вовк. Будет твоей матери воротник, — криво усмехнулся сосед.

Он всегда усмехался, тяжело и недовольно, словно навеки был уязвлен этим враждебным для него миром.

Я хотел дотронуться до цыпленка и, даже более того, освободить, но встретился глазами с отцом, что глядел через окно во двор.

Фабрика дымила, заволакивая небо и солнце...

— ...придется госпитализировать. — И врачиха засунула свой стетоскоп в футляр.

— Я не отдам его в больницу, — сказала вдруг Вера, заслоня кровать своим немощным телом.

— Вы что, с ума сошли? — вскинулась на нее врачиха. — Он же умрет у вас!..

— Это у вас он умрет... — Вера была непреклонна.

Мать пожалала плечами.

— Я бы тоже не отдавала...

...в капкане трепетало что-то рыжее и пушистое. Рыжее настолько, что даже при луне оно было огненно-рыжим. Я не мог подойти ближе, чтобы рассмотреть. Они бы загнали меня в дом как пить дать.

А мама уже спешила назад, неся в руках канистру.

— Сейчас ты побегаешь, сука, — усмехнулся отец.

Он вылил из канистры керосин и чиркнул спичкой...

— ...какой же это менингит, — пробормотал профессор, садясь за стол и вытаскивая бланки для рецептов. — Просто переутомление, нервы...

— Я же говорила! — воскликнула Вера и даже подпрыгнула от радости.

— Только это у нас уже есть, — осторожно заметила мать, видя, что профессор собирается выписывать рецепты.

Она показала ему старье, те, что дала участковая.

— Забыть и растереть, — сказал профессор, бегло их просмотрев. — Эти рецепты выписывала шимпанзе...

...огненный столб взвился над сараем, так что мужчины едва успели отпрянуть. Начали сбегаться соседи.

Я громко и горько ревел. Мать властно взяла меня за руку и потащила в дом.

— Вы... зачем?... Ф-фашисты...

— Что? — требовательно спросила мать, желая, чтобы я повторил...

— ...так он же умер, — сказал Вере санитар со «скорой помощи», поднимая больному веки. — Нечего было нас вызывать.

— А по-моему, не умер, — возразил второй санитар. — Мы ему вколем папаверин.

За окном белел первый снег.

За окном чернел первый снег, потому что за день он смешался с грязью.

Володя лежал на диване дома, коротко остриженный, живой. Услышал, как открывается входная дверь... Потом мать сказала что-то... Вошел Николай. Они обнялись.

— А ты неплохо выглядишь...

Володя усмехнулся и провел рукой по своим глазам.

— ...ресницы.

Николай понял, что изменилось в его лице. Веки опухли, и почти все ресницы выпали.

— Как поживаешь?.. Что у отца в театре?..

— Ничего себе. Я скоро уеду, — сказал Николай.

— Куда?

— В Печоры псковские. Слышал о таком местечке?

Володя отрицательно покачал головой.

— Там большой монастырь... Монахи со-

бираются реставрировать одну церковь, я и решил помочь вместе с друзьями.

— Ты разве умеешь? — удивился Володя.

— Научусь. А что театр мимики и жеста?... Коля вдруг странно поглядел на больного.

— При чем тут театр мимики?

Но гость не стал объяснять. Полез в сумку и вытащил оттуда пакет с яблоками и апельсинами.

— Пойду я,— пробормотал он, вставая.

— По-моему, ты хотел сказать еще что-то...

Коля уже шел к дверям, но вдруг остановился.

— Я спросить хотел... Что ты сделал со своим даром?

— С каким даром? — не понял Володя. — А-а... — он натянуто улыбнулся. — Это была шутка. Вернее, болезнь...

Николай потупился.

— Значит, шутка... Но Мабуту умер...

— Мало ли бывает совпадений.

— А это... тоже совпадение?! — Николай, поблбднув, сунул ему газету.

На раскрытой странице чернело два некролога. Володя взгляделся в столбики подписавших их, потом — в сами фамилии усопших.

— Кто это?

— Это — из театра отца. Главный режиссер и директор...

— Соболезную...

— А знаешь, кто теперь занимает эти два поста?... — И, не дождавшись ответа, Николай как выстрелил: — Мой отец!

Володя вздрогнул. Он только сейчас понял, что Коля пытается вдолбить ему какую-то мысль, возможно, дикую и страшную, но он, по причине ослабленности мозгов, не может воспринять ее. Только и мог сказать:

— А я-то здесь при чем?

— И это... это тоже ни при чем?!

Николай вдруг сделал руками несколько жестов, как разговаривают немые...

— Ты отказался от дара, верно? — в голосе Николая промелькнули просительные нотки.

Володя молчал.

— Значит, отказался, — и Коля обреченно опустил голову. — Поздравь себя и человечество. Ангелом Истребления стал мой отец.

— Слушай, — сказал Володя, — ты не знаешь, что помогает от бессонницы?

— Элиниум, димедрол...

— Я валерьяновые капли пью, и ни черта. — Он встал и напялил брюки.

— Ты куда?

— Душно, ей-богу...

Накинув пальто, больной вышел на лестницу. Николай поплелся следом. Спустились вниз...

— Теперь говори, — разрешил Володя, за-

пахивая на груди шарф.

На улице стояла промозглая сырая погода, с мелкой изморосью, идущей с неба.

— К отцу неделю назад пришел немой актер из театра мимики и жеста... Вроде бы хлопотать о чем-то. Они заперлись в кабинете.

— А как они разговаривали друг с другом?

— В том-то и штука... Когда немой ушел, отец был в страшном возбуждении. Я таким его никогда не видел. Сказал мне странную фразу о том, что теперь он устроит человеческую жизнь по законам морали и права...

— При чем тут мораль и право?

— Ни при чем... Тем более что назавтра умер главный режиссер, а через день — директор...

Володя наклонился и скатал снежок. Запустил им в доску объявлений. Пробормотал:

— У него странные представления о морали и праве.

— Значит, твой Ангел тоже был немым? — вцепился в него Николай. — Что же теперь будет, Володька? Он же весь мир кровью залет!..

— Ты правильно выбрал монастырь, вовремя... — И Володя лизнул снежок. Прищурившись, весело пробормотал: — Оказывается, не только я сумасшедший, но и ты!..

Николай взмахнул руками, чертыхнулся и пошел, слегка пошатываясь, к железнодорожной станции.

Работал телевизор. Я сидел у Лешы, забравшись с ногами в кресло. Передавали какую-то молодежную дискуссию. Звук был выключен, но по лицам участников я догадывался, что вопросы поднимались острые, болезненные...

Леша просматривал газеты и вздыхал:

— Ну, народ мрет... Просто косяками, как на бойне...

— У тебя нет димедрол или элиниума? — спросил я.

Он отрицательно мотнул головой. На экране беззвучно запел какой-то бард.

— Скажи мне, отчего ты ушел из мясников?

Леша сложил газету и углубился в последнюю страницу. Рассеянно сообщил:

— Заведующая новая пришла. И попросила. А с нею — весь коллектив. В ногах валялись: уходи, Лешечка... или мы все уйдем. А я им сказал: давайте пусть кусков, тогда и уйду. Ну, сбросились, дали...

— Пять кусков, это сколько?

— Эх, Вовка, неискушенный ты человек...

Леша встал, открыл буфет и начал там рыться. Вытащил какие-то таблетки, надел очки и, прищурившись, прочел название.

— Держи. Лучше любого элениума. Только больше двух таблеток не принимай, а то...

— Спасибо,— и я спрятал таблетки в карман.

По телевизору вступили в бой старшие — убеленные сединами мужи.

— Надоел я им очень,— продолжил Леша свой рассказ.— Куражился, духарил... На работу в собственном троллейбусе приезжал. Дашь шоферу червонец, он всех пассажиров высадит, мол, троллейбус дальше не пойдет, просьба освободить салон... Ну, меня одного и подкатит...

Я перестал слушать. На экране появился Михаил Михайлович Фролов. Он чему-то учил молодежь, поднимая указательный палец вверх. Я вывернул ручку звука, однако изображение по-прежнему осталось немым.

— Леша,— взмолился я,— сделай что-нибудь!..

Он подошел к телевизору и сильно ударил его кулаком в бок. На минуту прозвучал знакомый голос:

— ...ние разъедает цинизм и пустота. Забвение культурных традиций, отгораживание от жизни рок-музыкой, этим духовным СПИДом, выращенным в тайных лабораториях за...

Экран снова сделался немым. Леша стукнул еще раз.

— ...жалкий авангардизм... нравственность... Положительный герой...

Передо мною промелькнули слова, быстрые, как вагоны несущегося поезда. После этого исчезло вообще все, не только звук, но и изображение.

Я задумался, чувствуя в душе своей укол из недавнего прошлого.

— Если бы ты был царь, Леша... И пришлось бы тебе умирать... Кому бы ты передал свою безграничную власть, доброму наследнику или злому?

— Злому,— ответил Леша, не задумываясь.

Он снова уселся на диван и открыл газету.

— Почему именно злому? — не понял я.

— Потому что он бы действовал. А добренький только бы сидел сложа руки. Мучился бы угрызениями совести, мировыми вопросами... А-а...— и мясник с досады только рукой махнул.

— Но есть же мораль, священные права личности...

— Ты у нас интеллигент,— сказал он зло.— Тебе в этом и разбираться. А я одно знаю: чтобы подлецов уничтожить, надо самому быть подлецом. Понял?

Я кивнул. Я действительно кое-что понял, но только не то, что доказывал мясник. Спросил, уточняя последний штрих:

— ...В этих некрологах в газете... много театральных деятелей?..

Леша с удивлением уставился на меня.

— Да нет... Только двое из пяти... А что?

— Ничего,— отрезал я.— Ты как-то говорил, что у тебя припрятаны какие-то лезвия...

— Ну?

— Дай мне одно на время. Кое-кого поугубать хочу...

Он молчал, все более изумляясь. Я весело подмигнул ему и потрепал по плечу.

В городе мне всегда было холоднее и неуютнее, чем у нас. Наверное, сказывалась влажность. Дома еще оставался снег, а здесь он совсем исчез: голые мостовые, обветренные и мокрые кирпичи домов...

Я очень боялся, что к Фролову меня не допустит консьержка, сидевшая в подъезде. Однако ее кабинка была пуста. Я быстро проскочил в лифт и поднялся на седьмой этаж. У двери народного артиста РСФСР сделал необходимые приготовления. Вытащил из кармана нож, снял с него чехол и засунул в рукав пальто. Позвонил... Залаяла собака. Дверь открыла миловидная блондинка в импортном тренировочном костюме.

— Здравствуйте,— сказал я, слегка клацая зубами.— Можно Михаила Михайловича?

— А вы кто? — спросила она.

— Я актер самодеятельного театра. И товарищ Фролов назначил мне встречу на двенадцать...

— Михаил Михайлович в гараже,— пробормотала блондинка.— Будет минут через сорок. Можете подождать его на кухне...

— Нет уж. Я лучше попозже найду,— согласился я с облегчением.— А Николай дома?..

— Он уехал из города.

— Надолго?

Блондинка пожала плечами. Я сказал:

— Извините,— и начал спускаться по лестнице.

Консьержка уже сидела на своем месте. Я обворожительно улыбнулся ей синими губами и, не дав ничего спросить, выбежал на улицу и стал соображать, что мне делать дальше.

Я не знал, где у них гараж. Наугад пошел по двору...

На мусорных ящиках сидели голуби. Нескольких старух обсуждали что-то на длинной лавочке. Через сто метров я увидел кирпичную кишку гаражей...

Сжав крепче нож, я медленно пошел мимо железных дверей с массивными висячими замками. У одной из них стояла белая «Волга» с раскрытым капотом. В ее мазутных кишках копался человек, которого я искал. Он был одет в затертые, как фреска, джинсы и свитер. Меня он не видел, весь погруженный в свою хирургическую операцию. Его спина была вся передо мною, поджарая, с полоской майки и трусов, выглядывавших

из-под свитера.

Я вытащил из рукава нож. Пошел на подгибающихся ногах, чувствуя, что цель все дальше отодвигается от меня, как во сне. Заурчало в животе, некстати и позорно... В двух шагах от цели нож выпал из моих рук и громко лягнул о мостовую.

Фролов оглянулся. Наверное, он увидел меня на четвереньках, быстро засовывавшим лезвие в рукав. Я выпрямился. Михаил Михайлович смотрел мне прямо в глаза.

А он изменился. Глубокая вертикальная складка легла между бровями, да и глаза смотрели так, будто выносили смертный приговор. Мне захотелось закрыться от них руками, и я едва удержался от этого.

— Зачем ты здесь? — сказал Фролов наконец.

У меня мурашки поползли от его тыканья. Я понял, что теперь мне вряд ли удастся скрыть причину своего визита.

Он вдруг усмехнулся.

— Неужели ты думаешь, что я, как телец, подставлю себя под нож?

Николай оказался прав, во всем прав...

— Я ни в чем не виноват, — пробормотал я.

— Ты виноват, — жестко сказал Михаил Михайлович, — во-первых, в том, что упущено время, а во-вторых, в том, что уехал Николай...

— Я не понимаю... — залепетал я. — Почему я виноват за Николая?.. Я знаю его слишком мало, чтобы иметь на него хоть какое-то влияние.

— Такие, как ты, влияют не словами, а примером. Примером собственной загубленной жизни. Они развращают всех остальных одним своим видом. Вина твоя глубока хотя бы уже тем, что ты, находясь с ним рядом, не удержал его от отъезда...

— Я не учитель жизни и не судья! — вскричал я, оправдываясь не перед ним, нет, а перед собой.

— И не палач, — прошептал Фролов искривленными губами.

— Нет, — подтвердил я, — и рад, что палачом никогда уже не буду.

Мы стояли друг против друга. Миссия моя не просто провалилась. Произошло более худшее: он читал мои мысли, как ноты. Такого не мог и я, когда находился в его положении. А что я мог? Ничего. Поэтому и пробормотал, подделываясь под его тон:

— Я хочу, чтобы ты помнил, перед тем, как судить... На каждого палача найдется свой палач, более жестокий и сильный, чем тот, кто был первым...

— Это ты о себе говоришь? — засмеялся он.

Изо рта его летел пар. Со стороны могло показаться, что беседа доставляет нам огромное удовольствие. Мне ничего не оставалось, как уйти...

Вера сидела с красными глазами, никак не реагируя на мой приход. Она могла так сидеть день, два... Впрочем, мне уже было все равно. Когда под ногами разверзается пропасть, не обращаешь внимания на мелкие ссадины.

Я снял шапку и пригладил ежик отрастающих волос.

— Все летит в тартарары, — сообщил я Вере, чтобы ее утешить.

В комнате было холодно. Я потрогал батарею:

— Не говорили, когда затопят?

Меня вдруг уязвил бардак, царящий в комнате. Сваленные в кучу игрушки, разбросанные рубашки, книги, раскрытые посередине... Я решил навести порядок, но неосторожным движением повалил груды книг на пол... Увидел фотоальбом, который я взял у Николая.

— Он забыл фотографии...

Вера будто пробудилась от моих слов.

— Это был единственный человек, которого я любила, — произнесла она с глухим надрывом.

Несмотря на сомнительную патетику, я посочувствовал ей:

— Почему же был?..

— Потому что он никогда не вернется...

Я подошел к ней сзади и погладил по волосам:

— Не убивайся... Может быть, сейчас вообще не время любить.

— А когда оно будет — это время? — спросила она сквозь слезы.

— Не знаю... Наверное, тогда, когда зло будет наказано...

Я сел рядом и обнял ее за плечи. Только сейчас я заметил, что перед ней лежит распечатанное письмо.

— От него?

Она кивнула:

— Опустил перед отъездом.

— Мне там ничего нет?

— Есть, — глухо сказала Вера.

Развернула, отыскивала место и прочла:

— «А Володе передай, что он упустил единственный шанс...»

Замолчала.

— Это все?

— Все.

Я поднялся и, захватив фотоальбом, ушел к себе. Улегся на диван и некоторое время смотрел в пустоту. Не скажу, чтоб ревел, но глаза щипало.

Чтоб отвлечься, открыл картонные страницы, которые в прошлый раз так и не досмотрел... Море, солнце. Биг Бен. Гвардеец с шотландской волынкой. Какие-то негры...

И вдруг вслед за этими фотографиями я увидел и другие, снятые в те времена, когда Фролов был молод и, наверное, счастлив.

Я с удивлением узнал те места, в которых

прожил всю свою жизнь. Старица. Дымящая фабрика. Деревянный мост, на котором Михаил Михайлович стоял в окружении своих молодых друзей... Одна из девушек мне кого-то напомнила. Я внимательно взгляделся в размытый снимок.

Это была моя мать.

Она одевалась, зябко потирая руки. Достала розовую кофту на пуговицах, какие носят теперь только в деревнях, и черное платье.

— Я к Машке пошла,— сказала, смачивая подмышки «Красной Москвой».— А ты что будешь делать, Вовк?

Он не ответил.

— Включи нагреватель,— посоветовала мать.— Завтра обещали затопить.

Хлопнула входной дверью.

Он лежал, уставившись в потолок и укравшись старым пальто. За окном был непроглядный вечер.

Наконец встал и начал подготавливаться ко сну. Достал из-за шкафа электрокамин, смахнул тряпкой пыль. Поставил его на кровать, к самым ногам, и включил в розетку. Сначала что-то заискрило и защелкало. Он с опаской отдернул руки. Треск прошел. Спираль налилась багрянцем.

Посмотрел на градусник, сделанный в форме Спасской башни. Ртуть стояла на делении +6. Рядом, в деревянной рамочке, находилась фотография того, кого он всю жизнь называл отцом. Володя положил фотографию ничком и пошел в ванную. Зажег газовую горелку.

Клацая зубами, разделся догола. Включил горячую воду и встал под душ.

Холодная дрожь прошла и превратилась в другую — в блаженную, когда жаждущее тепла тело постепенно краснеет и кожа начинает покалывать от забегавшей внутри крови.

Выйдя из ванной, он впустил в комнату

горячий пар. Полез в буфет и вынул оттуда снотворное, которое ему подарил сердобольный мясник. Выпил, следуя совету, две таблетки.

Быстро, чтобы не замерзнуть, скинул с себя халат, залез под одеяло. Рефлектор слегка потрескивал. Струя тепла шла от ног к голове.

Володя взял «Ритуальные действия» и открыл на середине. Начал читать малопонятный текст, чтобы переход от яви ко сну совершался более мягко и незаметно.

— «...ангел с мертвыми глазами! Повинуйся или исчезни вместе с водой! Крылатый телец, работай или возвращайся к земле!.. Михаэль, Габриэль, Рафаэль, Анаэль!..»

В голове возник сладкий малоприметный шум... Глаза начали слипаться. Володя отложил книгу и глубоко вздохнул.

...Он чувствовал тепло, как от летнего солнца, и, чем теплее ему становилось, тем более крепнул сон. Его душа улетала к яркой оранжевой звезде, заливающей холодное черное пространство своим горячим светом. Синие звезды, мелкие, как иней, гасли и таяли перед этим мощным светом.

Он приближался к звезде все ближе и уже явно видел раскаленный океан на ее поверхности. Волны, как лепестки чудовищного цветка, раздвигались перед ним, заманивая все глубже и дальше. И от величины пожирающего его огня возникла мысль, что вернуться, пожалуй, и не удастся...

...Сначала загорелась книга, которую он бросил у ног. Загорелась от рефлектора. Потом огонь перебросился на постель. Если бы Володя не принял снотворного, то смог бы, наверное, проснуться.

Он беззвучно закричал, приказывая телу повиноваться и встать. На его крик из океана огня выглянула лиса. Как столб пламени вырывается из горящего дома, она прыгнула вперед, перелетела через его голову и упала вслед за ним в океан...

Больше он ничего не чувствовал и не видел.

1987 г.



Юрий
ТЫНЯНОВ

ОБЕЗЬЯНА И КОЛОКОЛ

Пролог

Туман. В море идет английский корабль. Паруса надуты. Флаг треплется. Сильный ветер. На борту старик всматривается в подзорную трубу: в тумане на горизонте полоска берега. Оторвался, показал пальцем:

— Московия.

Спускается в каюту. Клетка, в ней — обезьяна — подарок царской невесте. Обезьяна пьет из горлышка водку. Старик отпирает дверь, надевает на обезьяну парадную ливрею, отнимает у нее бутылку и пьет сам. Обезьяна ворчит. Звук рожка. Старик прислушивается, бежит на палубу.

Туман.

В море другой корабль, голландский. Моряки в широких шляпах. Чернобородый, с эспаньолкой, всматривается в подзорную трубу: полоска берега на горизонте. Оторвался, говорит:

— Московия.

Спускается в каюту, отпирает каморку ключом: в каморке — большая махровая роза, он поливает ее из лейки. Тут же продолговатый ящик. Подарки царской невесте.

Туман.

Старик на английском корабле увидел в подзорную трубу голландский корабль. Рядом — человек трубит в рожок. Тревога. Люди сбегаются к пушкам. Голландский корабль приближается. Голландский капитан стоит у пушек: команда. Первый выстрел — голландский. Корабли приближаются.

Дым от выстрелов.

Течь в английском корабле. Люди в трюме выкачивают воду. Обезьяна пробегает по каюте. О ней все забыли, она танцует, пьет водку из горлышка. Прислушалась, выронила из рук бутылку — слышны выстрелы, треск. Отчаянная качка. Обезьяна старается догнать катящуюся от нее бутылку, падает, скользит.

Голландский корабль. Роза дрожит от выстрела. Дверь в каюту открыта. Человек хватается розу в руки. Открывает крышку ящика. Золото. Тащит тяжелый ящик.

Дым.

Туман.

Обломки кораблей.

Оба корабля погружаются в воду.

Английская лодка.

На ней — несколько человек команды, старик; он стоит, смотрит вокруг, озирается, зовет.

Море, пустынная вода.
Голландская лодка. Человек спас розу.
На коленях ящик. Несколько человек коман-
ды. Роза мокрая.

Плывет доска по морю, на ней обезьяна
допивает бутылку.

Крик старика.

Обезьяна швыряет бутылкой по направле-
нию звука.

Бутылка в воде.

Старик увидел ее, приказывает грести
к ней.

Обезьяна укладывается спать на доске.

Английская лодка зацепила доску.

Обезьяна спит, люди гребут.

Две лодки в отдалении друг от друга.

Начинается шторм. Лодки сильно качает —
вот-вот их поглотит. Жажда у людей.

Человек прижимает к губам мокрую розу.

Лодки, выбиваясь из сил, гребут.

Показывается третий корабль — испан-
ский. На борту стоит испанский монах:
он в сутане, ноги его — в сандалиях. Смотрит
в трубу. Увидел лодки. Бежит в каюту,
надевает тяжелые солдатские сапоги, за по-
яс — кинжал и мушкетоны. Накинул плащ.

Трубный звук: трубах трубят на борту.
Лодки замерли. С обеих кричат о помощи.
Монах вынимает из-за пояса мушкетон,
стреляет в воздух.

На лодках оживление. Уставшие, лежащие
люди приподнялись на руках.

Монах делает знак. Рулевой поворачивает
руль. Корабль приближается к лодкам.

Лодки, в них люди. Радость на лицах.

Монах наклоняется, смотрит.

Голландская лодка.

Монах улыбается с торжеством.

Английская лодка.

Он замечает обезьяну.

Высоко поднимает крест.

Рулевой поворачивает руль. Корабль уп-
лывает.

В лодках люди, стиснув зубы, гребут.

Ндп. (Надпись) Так прибыли в Московию
первая обезьяна и первая махровая роза.

I

Огромный двор — патриарший.

Кругом много входов в дома, амбары, кле-
ти; входы большие и малые. В самой середине
двора стоит монах («черный поп»), человек
большого роста, жмурится на солнце. Суров.
За поясом — множество ключей. На дворе
лежат и сидят нищие и юродивые. Пошел,
открыл первую дверь, большую.

Внутри, в палате, иконописцы. Часть дрем-
лет, часть лениво мажет.

Глаз заглянул в палату, и все оживились —
заходили кисточки, склонились головы, губы
вытянулись.

Черный поп идет далее, опять заглянул
в дверь: дьячки учатся. Подклеть учебная.
Пение, неясное и слитное. Заглянул глазком
в дверь — и пение стало согласное:

Ане — на — гос — ане —

на — поди

Хабе — бо — хаву — же —

Господи Боже!

Открытые рты.

Черный поп доволен:

Ндп. Хабебувы, аненайки.

Ндп. Певчие должны слоги, которые вытя-
гивают, заполнять словами «ане-на» и «хабе-
бу», и зовут их оттого Хабебувами и
Аненайками.

И черный поп двинулся далее, заглянул
в «серебряную палату» и вошел: на полу стоит
ящик, напоминающий гроб. Спрашивает:
— Готов ли подарок невесте царевой?

Мастера, стирая пот со лба, возятся на ко-
ленях, прилаживают крышку, отвечают:

— Все готово к действию.

И поп, тревожно наклоняясь, осматривает
ящик. Вздыхает озабоченно:

— Киты хвостами помавают?

И мастера отвечают, кланяясь:

— Помавают.

Поп озабоченно качает головой, сразу
вспотел, отирает пот.

По-видимому, немалое дело.

— Сегодня же после едова показывать.

Мастера поклонились.

Поп махнул рукой, пошел дальше.

Открыл дверь и зажмурился: пар идет
облаком на него. Он ноздрями его втягивает,
пар ему нравится. «Естественная поварня»,
т. е. поварская палата.

Двинулся поп к чанам, хлебнул из одного
громадной поварешкой, проглотил, гутирует,
почмокивает губами, зажмурился. К друго-
му — и тоже попробовал.

Повариха, толстуха, подносит ему то одно-
го, то другого.

Ухватил по дороге косточку, пососал.
Огромное блюдо с осетром — умилился.
Опомнился и строго приказал, загибая паль-
цы:

— Вязига.

Прикрошка.

Присол щучий.

Да присол стерляжий.

Два горлышка белутви.

Три карася на масле живые.

Щучьи телеса.

Уха венгерская.

Клюбяка.

Звено белужье.

Вздохнул, погрозил пальцем, пошел опять
обходить двор.

Маленькая дверца в погреб.

В погребе стоит бочка вина.

Чашник нацедил меду — черный поп выпи-

вает огромный ковш без отрыву.

Смотрит на чашника, немного осовел.

Потом махнул рукой, вышел во двор и степенно пошел.

А по двору тем временем уже двинулось шествие: несут обед патриаршин. Впереди осетр, за ним множество других блюд. А сзади несут мастера нечто вроде блестящего гробика — ящик. Очень тяжелый.

Черный поп примкнул.

Взошли по лестнице, вступили в переходы — на матовых окнах нарисованы травы и птицы тонкого рисунка, — прошли первую палату — в ней за столом сидит много крижистых людей, у всех на макушках светятся лысины, тонзуры (были до Николая).

Блюда проносят мимо них, опять переходы — и во всех переходах мощные попы. Сводчатые потолки, по стенам — дорогие узорчатые обои. У каждой двери по два дюжих служителя в длинных подрясниках.

От палаты к палате, от перехода к переходу люди все выше, больше бороды лопатой.

Наконец, вышли в малую келью. Сидит за небольшим столом малый, хилый старец — патриарх. У него, как и у всех попов, на макушке — тонзура.

Вносят громадного осетра.

Старичок пошевелил тонкими губами, ему поднесли осетра, он ткнул его вилочкой, пожевал — и отослал. Так и от всего: берет понемножку, пробует и отправляет. Ничего ему не нравится. Кончил еду, двое огромных дюжих служителя ведут его в опочивальню.

И высоченная взбитая кровать с резной спинкой, на резной спинке крест.

Патриарх взобрался на пуховичок, утонул, тонко храпит.

Часы мелодически ходят.

Тихое пение: «В бездне греховней одержим».

И клекот:

— Хлеба давай, хлеба давай!

Клетки висят вдоль стен, в клетках попугаи, поют и изредка сбиваются на «Хлеба давай!» и «В бездне греховней».

Во дворе патриаршем сидят мастеровые, держат за ручки ящик блестящий. Солнце печет блестящий ящик, печет тонзуры попов, бродящих по двору. Мастеровые под солнцем потеют.

Черный поп появился, прохаживается, прислушивается, подошел к одной двери, приложил ухо к замочной скважине.

Слышно пение дьячков:

Го — хабе — споди помил — ане —
уй и т. д.

И вдруг где-то невдалеке слышен озорной голос и звук волынки:

Построю я келью,
Стану я в келейке спастыся,

Кривому, слепому обещаться...

Попы онемели от ужаса и бросаются к вратам.

Патриаршая стража у ворот, двенадцать детей боярских, вооруженных.

И все бросаются по всем углам искать певца. Кое-кто и за ворота.

А певец поет:

Чтоб меня девушки любили,
Молоды-молодые хвалили,
Печеные яйца носили...

Патриарх спит.

Аннушка, девушка маленька
Посеяла лен за рекою...

Улыбается во сне, начинает пришептывать:
— Чтоб меня девушки любили...

У патриарха ноги заходили и сказал со сна:
аминь!

Ноги приплясывают.

Поварня.

Толстая повариха стоит, пробует ложкой припасы.

А рядом маленький тщедушный человечек играет и поет — скоморох Орешек.

Повариха умоляюще на него смотрит:

— Перестань, ты, малый!

А ноги сами собой ходят.

Повариха дает ему блин.

Скоморох съел блин, поет потихоньку и дудит:

Мужики и бабы умирают,
А дьячки блины убирают.

Повариха в ужасе, а все приплясывает против воли.

А попы все ближе на дворе.

Скоморох поет:

Попы скажут, паки, паки,
Дьячки бегут, как собаки.

Попы уже прикладывают ухо к двери. А скоморох услышал уже. Сует волынку под одежду — живот становится толстый. И становится на колени, стучит лбом в землю и гнусавит изо всех сил:

Кто тебя не блажит,
Пресвятая девица...

Повариха кланяется земно.

Черный поп смотрит в скважину.

И не воспекает...

Оборачивается к другим попам:

— Старец нищий патриарший.

Машет рукой.

И все идут прочь, недоумеая.

Черный поп призывает юридивого — «На колокол собирай!», и идет к патриарху.

И скоморох осторожно выбирается из варни и чинно, с толстым животом, крестясь, проходит в ворота.

И уходит с ним юродивый.

У ворот скоморох свистнул.

Вратарь смотрит на него.

Появляется из-за угла собачка и, увидя скомороха, поднялась на задние лапы, пошла к нему.

Вратарь рот разинул.

И в это время надутая волынка, спрятанная у скомороха, свистит.

Вратарь в ужасе падает на землю.

А скоморох с собачкой удирают.

Патриарх спит, посапывает.

— В бездне греховней...

Говорит или сопит:

— Аминь!

Его облачают служители.

Патриарх готов. Одетый, он толще.

Черный поп берет в руку парчевый складной зонтик (разъемный солнечник).

Патриарха ведут двое других служителей под руки.

Патриарх со свитою по лестницам, переходом выходит в комнатный сад: в горшках — множество гвоздики, душистый горошек, простой салат, бобы, петрушка.

Поп разворачивает зонт, — на конце зонта золоченый крест, — держит над головой патриарха.

Все вдыхают с удовольствием.

Ндп. Дух приятный.

Висят канареечные клетки.

Патриарх садится в кресло. Говорит:

— Взглянуть на подарок невесте царевой.

Черный поп подходит к краю балкона, наклоняется.

Вид двора сверху, сверкающие тонзуры попов, курчавые шапки мастеровых. Поп крикнул вниз зычным голосом:

— Гей, внести устройство мира!

Мастеровые дернулись, понесли внизу ящик.

Патриарх зажмурился. На небе тучки.

Взглянул, зевнул сладко.

Взглянул вниз — шумит деревянная Москва. Нахмурился, топнул ножкой. Черный поп кричит:

— Гей, живей!

Мастеровые бегут. Принесли, запыхались.

Ставят наземь и кланяются земно.

Мастеровые снимают крышку.

Ндп. Устройство мира.

Все стоят. Патриарх тоже встал. Сверху круглое плоское колесо, плашмя, в секторах — знаки зодиака, и у каждой спицы по ангелу: лица каменные, крашенные, руки толстые. Они в наклонном положении, руки на спицах. В центре колеса, на спине — око в сиянии.

Мастер начинает вертеть ручку. Колесо вертится, скрипит, по кругу наклонно идут

ангелы, вращают диск с зодиаком.

Патриарх:

— И непогодие, и ветра по приказу.

Канарейка щебечет.

На крыше по соседству появилась кошка. Кошка смотрит на Москву. Москва внизу. Канарейкин щебет. Кошка ее слушает, медленно подвигается по склону.

Мастеровые снимают колесо. Око остается.

Твердо — небо, диск, на винтах привинчено.

Патриарх закинул голову, смотрит в небо, потом на диск, говорит:

— Похоже.

По небу (настоящему) плывет облачко.

Патриарх трогает руками твердь, говорит с удовольствием:

— Крепко, батюшка, приклепал.

Говорит мастеровым:

— А ну-те.

Мастеровые вывинчивают винты, снимают диск. Под диском плоский четырехугольник, с выемками по бокам. Справа (восток) — гора, пик, кончающий собою цепь скалистых гор, постепенно повышающихся.

Патриарх мастеровому:

— Верти!

Мастеровой вертит ручку, другую, начинают звонить колокольчики, по цепочке катится круглый смеющийся лик — солнце.

Лик у горы.

Ндп. Вечер.

Перекатил за гору:

Ндп. Ночь.

Кошка довольно близко смотрит на все, подкрадывается.

Мастеровой поднимает с земли фигуры зверей и показывает их патриарху.

— Морской конь.

Красивый жеребенок, тонконогий, с гривой.

— Слон.

(Нечто вроде собаки с тонким хоботообразным рылом.)

— Ноздророг.

— Тельчеслон.

На краю земли — яма.

— Кто дальенько пойдет, в яму провалится.

Яма. В яме белые фигурки.

— Присподняя.

Все в ужасе закрывают глаза рукавами. Один патриарх доволен. Говорит с удовольствием:

— В бездне греховней.

Сам снимает «землю».

То, на чем все основано: три кита с усами — длинными шнурами.

Патриарх:

— Ибо утверди вселенную, яже не подвижется.

Кошка подкралась совсем близко, протянула лапу, играет усами, тянет к себе.

Киты начинают подрагивать.
Патриарх немеет от ужаса.
Кошка (невидная, скрытая за балконом)
тянет лапой шнуры.

Патриарх протягивает панагию.
Черный поп боится, подрагивает.
Кошачья лапка дергает. Кот, откормлен-
ный, толстый, разрезвился, выскочил на бал-
кон. Канарейка запищала.

Черный поп заклинает:
— Изыди, диавол!
Замахивается на кота.
Кот, мяукая, убегает.
Патриарх сел, перевел дух.
Всех жестом удаляет. Сидит.
Глаза патриарха.
Отдышался.
Подошел к краю — смотрит на небо.
Спины ангелов, вращающих погоду.
Смотрит вниз, прикрыл глаза рукою.
Всевидящее око в сиянии.

Внизу Москва — деревянная — лари, ря-
ды, в рядах спины людей, согнувшихся над
работой: сапожники тачают сапоги, слесари
пилят.

Повернулся в другую сторону — огороды,
люди копаются над грядками, согнутые спи-
ны.

Спины ангелов, руки ангелов — ходят по
кругу.

Смотрит вниз — нищие стоят и лежат по
улицам, ходит стража с трещотками, гонит
толпу босых исхудалых людей, доносится
крик и плач малых детей.

Патриарх закрыл глаза.
Всевидящее око в сиянии.
Патриарх говорит:

— Утверди вселенную, яже не подви-
жется.

Кот опять появился и сзади патриарха
безнаказанно дергает китов за усы. Киты
подрагивают. Фигурки валяются.

Всевидящее око в сиянии на шестике
качается, колокольчики позванивают.

Колокольчик на шутовском колпаке позва-
нивает.

Фигурка куклы — Пикельгеринг. Он —
горбатый карлик с большим животом, лысый,
с палкой в руках, на голове дурацкий кол-
пак.

Фигурка танцует. Кругом фигурки куколь-
ные. Он бьет их палкой. Они проваливаются.
Хохот.

Человек вертит ручку ящика, громкая
музыка.

Густой дым, накурено. Зажженные свечи
в шандалах.

Голландцы в тяжелых сапогах, в плащах —
сидят и смеются.

В переднем ряду — сам голландский посол,
грузный с черной эспаньолкой, пьян. И все
голландцы в подпитии.

Пикельгеринг на кукольной сцене безоб-

разно и забавно смеется.

Смех. Музыка. Тяжелые сапоги голланд-
цев. Топот.

Два скомороха с собачкой идут по улице.
Один достает из-за пазухи блин, дает друго-
му. Другой жадно ест. Услышали музыку.
Замерли. Стоят, слушают, шевелят губами.
Собачка заплясала.

Скоморох пробует песенку:

Как и нынешняя весна
Нам не радозна была.

Но песня — в разлад с музыкой. Слушают
и, наконец, смотря на собаку, наладили
песню:

Идет старец Игренище,
Игренище Кологренище.
Эх, чернечище клобучище долой
сбрасывает.
Уж как полно мне молодцу
спасаться.

Музыка.

Ндп. Гость, которого не заметили.

Сидит, пряча лицо, надвинув широкую
шапку, человек.

Посмотрел по сторонам: все заняты.
Вскользнул из комнаты — идет по коридо-
рам. Кругом запертые комнаты — засматри-
вает в щелки.

В комнате холст.

На лице его неудовольствие. Говорит:
— Весь холст закупили голландцы.

Дверь в другую комнату открыта.

Человек входит, осматривается.

Темнота. Щупает руками.

На полу лежат меха — куньи, собольи.
Щупает рукой:

— Все меха закупили голландцы.

Присматривается к чему-то на столе.
Ощупью, медленно подходит к углу.

На столе, под стеклянным колпаком, в
горшке с землей — махровая роза.

Ндп. Подарок царской невесте.

Снимает стеклянный колпак. Тонкий звон
стекла. Нюхает розу.

Ндп. Первая роза на Руси.

Rosa Moscovita.

Оглянулся, вырвал розу, прячет на груди,
покрыл газон колпаком.

Идет из комнаты поспешно, проходит
коридор, крадучись выбегает за дверь, во
двор и взбирается по другому ходу. Стучит
в дверь.

Посол британской мануфактурной компа-
нии.

В креслах сидит морщинистый старик.
Человек входит в сени, стучит. Старик кричит
войти. Входит человек, укравший розу. Ста-
рик спокойно протягивает руку. Человек
кладет ему на руку розу. Рука у человека

в крови от шипов, кровь падает на белую розу.

Человек перевязывает платком руку. Слуги в ливреях английских цветов.

Посол смотрит на розу, улыбается. Подносит к лицу, нюхает ее. Встает, подходит к углу, отдергивает занавес — там, на столике стоит фарфоровый большой ящик с землей. Он сажает розу.

— Теперь ты — английская роза, и завтра тебя поднесем царской невесте.

Хлопает в ладоши.

На зов появляется в длинной ливрее обезьяна. На ливрее — английские цвета и королевский герб.

Ндп. Живой подарок.

Обезьяна берет со стола поднос; на подносе бутылка вина; обезьяна подносит послу. Он наливает и выпивает. Обезьяна нюхает воздух, роняет поднос. Посол дергает ее за ухо. Она рычит, вскакивает в окошко.

Скоморохи увидели обезьяну. Поражены, но не особенно перепуганы:

— Гляди-ко, черт!

Во какой!

Начинают подходить:

— Живой!

Обезьяна чешется. Скоморох.

— Блоха его заела.

Осмелели. Начинают манить, передразнивать. Запели:

Посеяла лен за рекою,
Уродился черт с бородою.
Чертушка!
Батюшко!

Англичанин подошел к окошку, выглянул. На улице показывается стража. Бьет в трещотки, бросается за скоморохами и ловит их. Те отбиваются.

Обезьяна заинтересовалась — жестикулирует.

Стража взглянула наверх, охнула, села наземь, выпустила скоморохов. Те убегают. Голландский посол проверяет комнаты. Вдруг — в последней комнате видит разруху. Бросается к розе.

В руке его стеклянный колпак, перед ним взрытая пустая земля.

Растерян. Пот капает со лба.

Ндп. Завтра подносить розу москowitzу!

Роняет колпак на землю.

II

Проверяют царскую невесту.

Ндп. Завтра смотрины.

Палата роскошная, на выбоинах — заморские птицы. Зеркало, перед ним стол, на столе суремницы, ароматницы, ларчики, в углу — шахматный столик, на нем в беспорядке фигурки. Толстая девушка сидит над столи-

ком, двигает в разные стороны фигурки. В сорочке, на сорочку накинута летник. Летник расшит лебедями. Теплые чулки, на одной ноге чобот. Ест: на подносе две карлици держат перед ней пироги и брагу. Мамушка, худая, как жердь, сует ей в рот кубок с брагой:

— От браги толще будешь!

Девушка пьет, она сонная. Приходят знахарки смотреть — годна ли для государевой радости.

Старые женщины щупают девушке руку. Смотрят на браслет, надетый на руку — браслет спадает.

— Жиру мало, не должен спадать, рука вращи должна.

Озабоченно качают головами.

Сажают ее перед зеркалом и расписывают лицо яркими красками. Потом заплетают косу.

Ндп. Укручивают.

Крепко-накрепко крутят косы на голове:

— Выдержит ли?

Канарейка в клетке запиликала. Тревожно.

Девушка краснеет, лицо надулось, напряжилось.

Знахарки испытующим взглядом смотрят:

— Выдержит ли?

Канарейка пиликает, соскочила с жердочки.

Девушка пошатнулась, села на пол.

Совет знахарок.

— Укручивать станут — не устоит.

В углу плечет пожилая боярыня, в другом углу — столетняя бабушка.

Одна карлица, пользуясь смятением, закусывает пирог. Одна из знахарок видит, следит. Карлица, оглядываясь по сторонам, жует. Знахарка вдруг подбегает и поднимает ее за шиворот.

Карлица в воздухе — подавилась, потом — быстро и судорожно жует.

Шутиха поет. Ей одна из знахарок — по затылку. И песня вдруг обрывается.

В доме суета. Отец-боярин руки ломает:

— И не жирна, и не сильна.

Мать и бабка ведут под руки юродивого, полуголого (в первой картине). За ним боярин.

Ндп. Главный врач.

Остановившийся взгляд юродивого бродит по комнате. Вдруг — в ужасе: наткнулся взглядом на шахматный стол. Стоном кричит:

— Шахмат! Бесовский!

Бросается на столик, фигурки рассыпаются. Он топчет их ногою.

Мать и бабка смотрят на него вопросительно.

— На колокол новый денег не жалеть! Под колокол новый свести — здрава будет, телеса доспеют. А за грех ее, за шахмат — пусть поклоны бьет.

Нянька поит девушку брагой, и девушка, сонная, полупьяная, осовела.

Боярыня:

— За грех ее пусть девка поклоны бьет.

Старуха берет за шиворот девку, отводит в угол и начинает ее перед иконой нагибать, лбом в землю. Стучит лоб. А девка плачет.

Боярин в своей комнате, вздыхая, отсчитывает юродивому деньги.

Ндп. На отлив колокола.

Смотрит вопросительно на юродивого.

Тот указывает:

— Еще.

Льют колокол.

Ндп. Для церкви великомученика Увара, что у Архангельских конюшен, — льют колокол.

Внутренность полутемного сарая.

Голые до пояса люди топят громадную печь: навалили дров, закрыли печь. Пот каплет. Треск дров.

Сразу у печи, под самым подом, вырыта глубочайшая огромная яма — в ней форма. В глубине ямы, на деревянной площадке священник молится, кадит. Треск дров. Глуховатый напев. Клокотанье плавильной печи.

Мастер, старик, ходит тихо вокруг формы, раздаёт работникам из мешочка по мелкой деньге:

— Для бога поработайте.

Денежка падает из руки полуголого старика, попадает в форму. Легкий звон.

Все в ужасе замолкают. Поп прервал в глубине формы молебен. Ищут на коленях денежку.

Дурной знак — стонет поп.

Звон растёт.

Серебряные крупные деньги — рубли.

Ндп. За царское здравие.

Снаружи на дворе:

Серебряные деньги с воза, крытого рогожей, разгружают в тачку, везут в сарай. Перед ними — юродивый. Сбоку стрельцы, охрана. Старики окружают сарай на коленях. Серебро звенит, монеты осыпаются. Во дворе монахи, юродивые, нищие, старики. Все с усердием помогают подбирать, кое-какие монеты исчезают у них в складках одежд.

Ндп. За здравие невесты государевой!

Тяжелый ларь несут на подносе. Ларь вносят и ввозят тачку внутрь. Юродивый впереди.

Не нашли денежку. Все растеряны. Площадку выносит работник. Поп взбирается по лесенке наверх. Несколько работников держат наготове рычаг.

Расплавленная медь в печи.

В медь бросают пригоршнями с тачки серебро.

Мастер раскрывает ларец — золото.

Золото на лопате бросают в печь.

Четверо работников раскачивают рычаг.

Все остальные — на коленях.

Пробили рычагом отверстие пода. Горящая медь бьет ключом в форму.

Старухи снаружи. Пение молитвенное из сарая.

Тихий струнный звук и звук волынки. Ужас старух. Слушают. Приткнулись к щелям забора.

Украина Москвы. Пустая деревянная улица. Из-за угла показываются двое скоморохов. Тихо наигрывает один на волынке, другой на гудке. Играя, опасно прислушиваются.

Скоморохи играют и поют:

Колокол божий лили,
Чтоб меня, девушку, любили,
Молоды молодую хвалили,
Печеные яйца носили.

Нищие посмотрели в щели забора, завывли гнусаво:

— Веселье! Блудники!

Скоморохи дуют изо всех сил и потом поют громко:

Мужики и бабы умирают,
А дьячки блины убирают.

Старушечьи лица. Старухи в страхе. Стрельцы внутри двора прислушиваются. Бегут за ворота.

Кричат:

— Лови веселых! Бей! Гудки, сопели отбирай!

Скоморохи бегут, скрываются. Один роняет волынку.

Стрелец топчет ногой волынку. Она пищит.

Писк волынки — стон.

Стонет седобородый мастер тонким стоном над формой внутри сарая:

— Перелили! Денежка погубила! Не быть добру!

Медь переполнила форму — горящими струйками на земле.

Стонет мастер, угрюмо молчат работники.

Пищит волынка под ногой у стрельца.

Пищит ребенок в колыбели. Мать качает ребенка, поет.

Вбегают скоморохи.

Она худая, печальная. Вбегают скоморохи, прячутся.

Ужас на лице матери.

Мимо избы пробежали стрельцы с бряцанием и криками.

Скоморохи сидят смиренно по углам.

Мать поет.

Выглянула в окошечко, махнула рукой скоморохам — никого нет. Скоморохи успокоились. Один из них достал блин, отдает матери. Начал настраивать гудок, тихий струнный звон.

Другой с завистью смотрит, перебирает руками по воображаемой волынке. Мать, улыбаясь, смотрит на ребенка.

Скоморох тихо наигрывает на гудке, поет:

Бережочек зыблется,
Да песочек сыплется,
Ледочек ломится,
Добры кони тонут,
Молодцы томятся.

Другой с завистью поглядывает на его инструмент.

Ребенок заплакал. Мать звонит в колокольчик, унимая его. Дает ему в руки колокольчик.

Скоморох поводит пальцами, играя на воображаемой волынке, томится.

Все улеглись. Ребенок молчит, играет колокольчиком.

Скомороху не спится, укрылся, тоскует, видны одни жадные глаза:

Бережочек зыблется,
Молодцы томятся...

Прислушался к колокольчику. Посмотрел на ребенка, подкрался, взял из рук его колокольчик, стал позванивать — скомороший звон.

Сонные поднимают головы. Скоморох быстро поставил колокольчик наземь.

Колокольчик недвижно стоит рядом с колыбелью.

Только скоморох не спит, он укрылся с головой, смотрят глаза на неподвижный колокольчик.

Бережочек зыблется,
Да песочек сыплется,
Ледочек ломится,
Добры кони тонут,
Молодцы томятся.

Колокольчик звенит. Звон растет.

Колокол висит на колокольне.

Москва, раннее утро — колокольни, много колоколов.

Пономари с открытыми ртами (это предохраняет от глухоты, и потому все пономари звонят с открытыми ртами), с паклей в ушах — на колокольнях. Площадь.

Ндп. Рассвело.

III

Колокольный звон.

Ндп. Опять праздник.

Торговые ряды с запертыми лавками, хмурые торговцы. Проезжает богатая колымага, видна боярская шапка. Мышь выскользнула из-под дверей одной лавки, побежала, за ней другая, третья.

Ндп. Мыши бежать стали.

Мышь бежит по дороге в открытую лавку.

Ндп. Патриаршья торговля.

Дьячок торгует в лавке (воском, свечами, лампадами, лампадным маслом, веригами

чудотворцев, чудесным маслом и медом чудотворца).

Ндп. Божья торговля, для нее праздник. Мыши перебегают улицу.

Сапожные ряды. Сидят сапожные люди — не работают, но и праздника на лицах нет. Ряды швальные — то же. Всюду запустение.

Два скомороха пробрались, один играет на гудке, другой поет:

Господа наши бояре неразгадливые,
нерассудливые,
На работу гонют рано,
а хлеба дают мало,
Они есть не запрещают, только
после попрекают,
Что помногу поедают.

Колокольный звон. И гудок спорит со звуком колокола.

Эх, выйду я на гой-гой,
Да ударю ногой-гой,
Мужики и бабы умирают,
А дьячки блины убирают.
Попы скажут паки, паки,
Дьячки бегут, как собаки.

Мыши перебежали улицу к одной лавке. Скоморох:

Спаси, боже, наготово
С пропою люди твоя!

Дьячок бойко торгует, выхваливает старухам.

Большое белое перо.

— Се перо духа святого для неплодных.
Банку меда:

— Мед чудотворцев, для здравия.

Гремит ржавую цепью:

— Вериги чудотворцев для исцеления младенцев.

Мышь шмыгнула в сытую лавку.

Бабы покупают. Колокола звонят, но гудок поет и бабы отходят послушать скомороха.

Скоморох поет:

Волоса-то наши густы,
А в карманах у нас пусто,
Вдоль по улицам пойдут,
Все карманы понабьют.
За чижамы мы ходили,
Перья щипали,
Много платы приносили.

Дьячок возопил:

— Гей! Веселых бей!

Бежит стража. Скоморохи улизнули. Кричат на ходу:

Ладану да свеч
Не станем жечь.
Церковь замкнем,
Печать в дубок загнем.

Страже мешают пройти мастерские люди.

Один из стражи хочет уже поймать скомороха, а его укусила скоморошья собачка, она убегает за хозяином.

Дьячок-торговец орет:

— Веселых бей!

Колокольный звон оглушительный.

Новый колокол.

На нем выгравирован в медальоне большой поясной портрет царя в мономаховой шапке, надпись: «Изволением преемного, прещедрого». Вокруг медальона — изображения ангелов трубящих, святых.

На колокольне пономарь крестится, потом прикладывается к ангелам и, наконец, взасос целует царский лик. Берет в руки концы веревок, ведущих к малым колоколам, обматывает их вокруг локтя левой руки. Потом, освободив руки, затыкает уши паклей, раскрывает рот. Другие веревки, от средних колоколов, обматывает вокруг локтя правой руки; человек как бы сам себя связывает. От языка большого колокола идет веревка, к концу которой привязана доска.

Пономарь начинает звонить, сначала левой рукой (малые колокола).

Толпа старух внизу ждет:

— Сегодня будут в новый колокол ударять.

С соседних колоколен смотрят звонари — слушают, ждут. Руки у них замотаны, они почти висят на веревках.

У одного даже язык высунут от напряженного внимания, а рядом — толстый и тяжелый колокольный язык.

Внизу, на площади, старухи. На пороге церкви протопоп. Напротив — посольский дом. С высокого забора стены смотрят посольские люди.

Цареву невесту ведут «под колокола». Она в длинных одеждах, в круглой шляпе, с двумя толстыми косами. Созид две карлицы держат над ней круглый «солнечник» (зонт) на длинной палке. Ведут ее под руки две тощие мамы. Впереди всех — юродивый. Два скомороха присоединяются к шествию.

Идп. Новый колокол.

Пономарь на новой колокольне дернул правым локтем (средние колокола).

Пономари с соседних колоколен ждут. Ждут внизу старухи. Идет протопоп. Невеста плывет.

Патриарх сидит в комнатном саду в креслах, смотрит на Москву, слушает, попивает воду, в руках у него стакан.

Пономарь надулся, напряжился, ударил в доску ногой — большой колокол.

Застыли в ожидании пономари на соседних колокольнях, высунув языки, ждут.

Звон сначала густ, потом звук начинает дребезжать.

Пономари начинают улыбаться. Тонкий, дребезжащий звук в воздухе.

Патриарх роняет стакан и не знает, откуда звук — от стакана или колокола.

Пономари на колокольнях смеются — открытые рты:

— Козловат.

В воздухе тонкий дребезг.

Пономарь растерянно озирается, еще раз пнул ногой.

Дребезг в воздухе.

Внизу старухи, хотели перекреститься — застыли:

— Козловат.

Появляется скоморох. Он прислушивается к звону и начинает передразнивать:

Трусы — турусы!

Да что это? Да кто это?

Чм! Глум!

Гибель! Гиль!

Памва Берында!

Било! Клепало!

Правило келейно,
елейно!

Асалмы, каноны,
поклоны.

Боредомы, кондаки!

Чин!

Две деньги,

Три деньги.

Мних!

Сон!

Чох!

Глум!

Ум!

Кругом начинают смеяться.

Шествие с царевой невестой останавливается. Ведущие ее прислушиваются.

Юродивый вдруг пнул ее в другую сторону:

— От козла здрава не будешь. Порчу наведет. Брысь отсюда!

Бегут.

Мальчишки бегут издали, что-то кричат:

— На болото!

Народ бежит с площади. Скоморохи бегут, прислушались, бегут.

Площадь пустеет, только протопоп стоит у церкви, плачет, утирает слезы рукавом. Дребезг в воздухе.

А пономари других церковью схватились за веревки, заглушили.

Идут козы, медленно подрагивая. Лошадей ведут под уздцы заплочных дел мастера — в рубашках, ворот раскрыт, в руках по плети. У каждого воза — караул: стрельцы с бердышами. Вокруг возов — монахи. Возы покрыты рогожками, идут медленно, подрагивая, и на каждом ухабе — глухой звон, дребезжание струн. За возами несутся мальчишки и валит народ. В первом ряду знакомые скоморохи — Орешек и Злоба. Идут, потупив в землю глаза, рядом скоморошья женка с ребенком.

На одном ухабе вдруг падает на землю с одного воза волынка. Дудка волынки — голова козлиная.

Скоморох-волынщик узнает ее, бросается к ней, нагибается, но тут палач отпихивает его коленом, швыряет волюнку на воз.

Лицо скомороха-волынщика, медленно идущего в толпе:

— Второй раз ее потерял.

«Болото» — большая площадь.

В центре навален хворост. Палачи вываливают воз за возом музыкальные инструменты на хворост: трубы, струны, сопели, гудки, волюнки, домры, гусли.

Инструменты дребезжат, звенят.

Палач ломает о колено гудок.

Глухой звук — и глухой стон в толпе.

Палач ломает о колено трубы, топчет ногой гусли, другие копошатся у хвороста, высекают из кремня огонь — огонь разгорается.

Костер.

Монахи стоят с крестами в руках:

— Чужейные сосуды дьявольские.

В толпе два лица — скоморошки.

Скомороши глаза: слеза медленно ползет. Расплавленные струны текут по хворосту, жильные струны извиваются в огне, лопаются корпуса домр.

Глаза скомороха следят за костром. Вдруг промелькнула резная козлиная голова в огне. Насторожился. В огне то показывается, то прячется дудка с козлиной головой. Вдруг в огне надулась волюнка, тонкий звук.

Скоморох-волынщик рванулся вперед, опрокинул стрельца, рукой в огонь, ловит рукой волюнку.

Дым, огонь, лицо скомороха в дыму, в огне.

Стрельцы бросаются на скомороха, сбивают с ног, из обгорелых рук выбивают волюнку, топчут ногой.

Из толпы бросаются на выручку скомороху его товарищ и другие скоморохи.

Ндп. Скомороший бунт.

В пламени растаскивают обломки инструментов, монах бьет крестом плашмя по лбу одного скомороха. Злобу (гудошника) вяжут. Орешек бежит, дует на обгорелую руку.

Темнеет. Скоморох бредет.

Он у площади церковной. Невдалеке посольский дом. Площадь пуста. Только в углу спит страж — в сермяге, со всеми атрибутами (трещотка, бердынка). Садится у посольского дома, подпер голову рукою, и вдруг — трясет рукою: обгорела, болит. Напеваает тихо:

— Бережочек зыблется...

Пальцы болят, никак не унять боль. Ищет взглядом холодный предмет, чтобы унять ее. Прикладывает к камню. Не помогает.

— Ледочек ломится...

Колокол блестит, как лед.

Смотрит на колокол.

Вдруг оглянулся — никого нет. Тихо побрел к колокольне, крадучись. Взбирается наверх. Скоморох на колокольне. Прикладывает руку. Боль проходит. Тихо раскачивает

колокол, шлепает по металлу. Стучит, постукивает другой рукой. Выстукивает веселую дробь.

Увлекается. Дергает здоровой рукой за веревку, а больную все держит на колоколе. Сотрясение колокола и звук отдаются в движении руки. Веселый звон.

Сторож внизу храпит.

Окошки посольского дома открыты.

Окно во дворе, во втором жилье (этаже), в решетках.

Медленно, притаясь, ходит по двору голландец в широкополой шляпе. Высматривает.

Окошко открылось. Голландец замер.

В окошко медленно вползает голова.

Испанский монах.

Указал безмолвно длинным перстом на одно из окон.

Голландец осторожно подошел, лезет, карабкается вверх, заглянул.

В темноте ничего не видно.

Вдруг — ноздри раздулись. Нюхает воздух. Улыбнулся. Вдруг его кто-то по носу. Отшатнулся, замер, притаился. Шум и шорох. Внутренность комнаты. Что-то копошится на окне. Прыгнуло вниз. Обезьяна — возится, нюхает воздух. Вдруг вскочила наверх, лазает вверх и вниз, возится между тюками. Нашла розу. Остановилась.

Человек за окном стал опять наблюдать. Протер глаза, не понимает.

Обезьяна держит розу в лапах, нюхает, пробует лизнуть.

Человек в ужасе смотрит.

Обезьяна зарылась мордочкой в цветок.

Человек пилит решетку.

Монах в окне улыбается.

Обезьяна прислушалась. Где-то близко звон тихий.

Человек спрятался за выступ, прислушивается. Человек опять пилит.

Обезьяна на полу нюхает розу. Человек в окне. Почти перепилив, оставил один пруток.

Обезьяна щиплет розу губами и жует. Человек смотрит с ужасом.

Обезьяна сломала стebelек, поранила себя шипами. Визжит, скачет.

Последний прут перепилен.

Человек медленно спускается вниз, окошко открыто.

Обезьяна прыгает на окошко. Слушает. Монах смеется.

Веселый, небывалый колокольный звон.

Скоморох звонит.

Обезьяна скачет, держится за карниз, перемахнула за окошко, идет на звон.

Старческое лицо, спящее.

Звон: лицо прислушивается.

Патриарх в постели слушает с ужасом небывалый звон.

Служки на часах — сидя — начинают приплясывать.

Служка бьет поклоны — начинает приплясывать.

Женское толстое лицо — невеста мечется на постели.

Просыпается невеста, сидит, тяжело дышит. Веселый звон. Начала приплясывать на постели. Бегут мамы, с ужасом смотрят, всплескивают руками: порчу колокол навел!

Патриарх сидит на постели, слушает с ужасом и вдруг начинает шевелить губами в такт музыке, худые ножки ходят на постели ходуном.

С ужасом смотрит на свои ноги, волочится к иконостасу. Ему кажется, что иконы подмигивают. Звон, пляс. Один из святых приплясывает. Он падает на пол.

Храп — и вдруг останавливается.

Стража на площади просыпается. Веселый звон.

Страж протирает глаза, смотрит вверх, на колокол, кричит:

— Гей!

Звон продолжается.

— Гей!

Звон стихает.

Скоморох на колокольне. Услышал окрик — руки падают, прячется.

Страж бежит к колокольне. Кричит, бьет в трещотки. Сбегаются сторожа со всех концов. Лезут на колокольню.

Ужас скомороха.

Сторож уже на колокольне.

Обезьяна по крышам доходит до колокольни.

Страж ищет скомороха.

Крик обезьяны.

Взгляд стража падает наверх: над самой колокольней (на уступе) — обезьяна.

Вся стража падает на колени:

— Дьявол!

Скоморох смотрит кругом изумленный: кругом никого.

— Дьявол! — кричат сторожа.

Смотрит наверх на обезьяну, еще больше удивился, но не испугался:

— Дьявол, так дьявол.

Сходит вниз, проходит свободно и беспрепятственно между спинами. Даже толкнул одного-двух в спину.

Уходит.

Обезьяна спряталась.

IV

Красавицу снаряжают.

Сваха ей чернит брови, она смотрится в зеркало; чернят ресницы густо. Потом ей белят лицо до того, что оно деревенеет. Потом на белила намазывают по кругляку румян.

Мажут губы чернью.

Наконец, чернят зубы.

Заплетают косы и закручивают.

Постепенно надевают одну одежду за другой — и вот она готова.

Вечер. По вечерним улицам ходят сторожа, бьют в трещотки.

И по улицам едут колымаги одна за другой — во всех сидят неподвижные, толстые, расписанные красавицы. С ними — по свату и свахе.

Их везут на смотрины, на царский выбор. Проезжают мимо скоморохов.

Скоморохи играют и поют им вслед:

По улице, улице

Едет сват на курице.

Как у свата на плечи

Разыгрались белы вши,

Кая скачет, кая пляшет,

Кая песенки поет.

Сваты показывают им из колымаг кулаки. Стража гонится за скоморохами.

Сваха с толстухой. Сваха привстала, ругается:

— Сосуды дьявольские, лопнуть вам! Бесы окаянные!

Скоморохи на ходу огрызаются, свистят и поют:

Околеть тебе, свашенька,

Под углом, под банею,

Без свечей, без ладана,

Без попа, без дьякона,

Поминать тебе, свашенька,

Молодой кобылятников.

Свахи плюют, сваты грозят кулаками, девицы автоматически разевают рты и тоже плюют.

Подбегают к хоромам.

Всех невест высаживают. Они тупо смотрят друг на друга, некоторые плачут неподвижно, другие смеются.

Сваты и свахи злобно друг на друга смотрят. Задрались. Их разнимают.

У входа в хоромы боярин и боярыни довольно зловещего вида и выражения.

Боярин говорит обеим боярыням:

— После смотрины, как укручивать начнут, смотри не плошай. Кого надо выбирай, а другой не давай.

Боярыня кивает головою.

Отец невесты отводит боярыню в сторону и сует ей в руки мешок с деньгами. Она кивает.

Вводят невесту, ведут по переходам вверх, наконец, вводят в большой покой, по всему покою наставлены ложа.

Боярин уходит, остаются боярыни.

Невест начинают раскручивать. И все толстухи оказываются, по большей части, довольно тонкие. А некоторые и вовсе худы, как щепки. Толстых две (одна из II части). Всем расплетают волосы, укладывают спать.

Лежат невесты на ложах.

В покое светло, зажжены все свечи.

Невесты маются, не заснуть.
Одна толкнула другую:
— Страшно чего-то.
— Когда ж нас смотреть-то будут?
Из двери им шикают:
— Шшш, окаянные! Спите!
Невесты смеются черными зубами.
По переходам, окруженный свитою, идет царь — молодой, хлипкий человек.
Заходят тихо в покои.
Невесты, как по команде, закрыли глаза и захрапели.
Начинается смотр невест, царь шмыгнул к ним.
Засматривают в лица, медленно соображают, спорят о достоинствах.
Царь отобрал двух толстых.
Потом уходит.
После ухода раздается громкий рев забраванных невест:
— Тятка бить будет.
Две толстухи тоже ревут:
— Страшно чего-то.
Слезы каплют, размазываются по лицу.
Франтиха держит пальцами раскрытые накрашенные веки, чтобы не смыть краску.
Слезы скачут.

Утро.
Появляются боярыни и вытаскивают спешно всех невест.
Две остаются.
Их начинают укручивать.
Плетут косы, много длинных тонких кос, потом свив в несколько толстых, начинают крепко-накрепко скручивать в жгут.
Все крепче и крепче трудятся боярыни, пыhtят, уперлись коленками в невест.
Невесты багровеют, вылупили глаза, захрипели — и сели на пол.
Боярыни довольны:
— Не выдержали. Порченые.
Входят бояре, качают важно головами:
— Порченые.
У выхода сидят в колымагах сваты и свахи, родители.

Увидели девиц, идущих с печальным видом, всплеснули руками. Усаживают их, везут. Только две колымаги в восторге и радости.

К родителям толстой девушки едет радостный сват со свахой.

У дома их встречают родители. Просияли, сели в колымагу, едут к дочке.

Бояре подняли с полу девиц, совершенно одеревеневших от испытания.

Ведут их под руки, сводят.
Радостные родители внизу ожидают.
Им сдают невест.

Ндп. Порченая.
Родитель-боярин сатанеет. Не смотря ни на свата, ни на сваху, ни на дочку, вскакивает в колымагу, сам хлещет кнутом лошадей и скачет во всю прыть, пугая прохожих.

По пути ему вдогонку кричит скоморох:

Три бы читья тебе в бороду,
Дадим тебе в провожатого
Таракана рогатого,
Еще мышь полосатую.

Подкатил к патриаршьим покоям.
Вратарь идет, докладывает черному попу, который стоит во дворе.

Вбегает боярин и, увидев черного попа, голосит:

— Девку испортили! Под колокол водили! Колокол, будь ему неладно, испортил!

Черный поп смотрит строго.

Боярин отпахнул полу, вынул мешочек денежный, дает черному попу.

Черный поп всплеснул руками, пошел к патриарху.

Патриарх, выслушав его, вспоминает: веселый колокол; ноги у патриарха притаптывают. Вдруг опомнился и говорит:

— Урезав уши, бить плетью за блуд, нещадно гнать.

Попугай запищали:

— В бездне греховней...

V

Ндп. По приказу патриарха.
Снимают с колокольни нечистый колокол.
На площади — старухи, монахи, тут же скоморохи, стража.

Церковные двери открыты, в дверях причт.

На площади перед церковью система ворот и рычагов, веревки, идущие от колокола через особую каланчу. Колокол закрыт рогожей, веревки продеты сквозь уши. На колоколе возятся — пилят подвеску, на которой висит колокол. У каждого ворота по работнику.

Всем распоряжается служба патриарший. У него в руке платочек и колокольчик.

Пильщики остановились.

Взмах платочка и колокольчика в руке службы.

Колокол сел на веревки.

Общий ужас в толпе.

Служка падает ниц, стучит лбом о землю, кричит колоколу:

— Не казни, батюшко, помилуй! Не я тебя снимаю — велено!

Крики:

— Каланча падает.

Колокол идет вниз, все быстрее и быстрее.

В толпе давка и паника, давят детей.

Скоморох свистит в свистульку, дразнит колокол и поет:

Выйду я на гой-гой-гой
И ударю я ногой-гой!

Он немного навеселе.

Колокол идет вниз все скорей и скорей.

Гул: колокол сел на землю.

Все возвращаются. Скоморох напевает:

Вышел я на гой-гой-гой...

Все входят в открытые двери церкви, кроме скомороха, который остается на площади.

В садике (что вокруг церкви) вдруг показывается обезьяна мордочка.

Обезьяна прислушивается, потом быстро прячется.

В церкви бояре и большие люди стоят, рядом на коленях рабы бьют лбом о пол клоны.

Бояре их нагибают.

Ндп. За грехи господ.

Скоморох слушает церковное пение.

В толпе стоит дьячок навеселе, который, прислушиваясь к пению из церкви, бормочет, повторяя. А скоморох его передразнивает.

Дьячок:

— И изшед благовестит в колокол,
Таже звонит во все колоколы.

Скоморох:

— На малей вечерни поблаговестим
в малые чарки,

Таже позвоним в полведришки...

Дьячок:

— Праведник, яко финик, процветает.

Скоморох:

— Пьяница, яко теля нагое, валяется.

Дьякон:

— Слава и ныне отцу и сыну...

Скоморох:

Слава и ныне отецкому сыну
суровому, неученому.
Отецкий сын суровый с ярышными
спознался,

На палатках в саже повалялся,
Взявши кошел, и под окна пошел.

Дьячок:

— ...И учителей христианских.

Скоморох:

— ...И лупителей и неподобных обманщиков.

Дьячок с ужасом на него глядит, потом отшатнулся и побежал в церковь.

Обезьяна пробирается в церковь.

Ее сначала не замечают. Заметили.

Смятение. Крики:

— Дьявол!

— Оборотень!

— Перевертень!

Обезьяна показывает фокус, который знает.

Общее бегство.

Протопоп бежит, видит на площади скомороха под хмельком. Скоморох сидит, наигрывая на свистульке.

Кричит:

— Взять его! Дьявола напускает!

Скомороха хватают и ведут. Протопоп и

служба обезумели от страха, бегут. Бежит по улицам стража, трещит в трещотки:

— Дьявол объявился!

На улицах старухи:

— У Архангельских конюшен, у Увара Великомученика — дьявол сидит.

Патриархьи покои. Вбегают служба и протоп, окруженные народом, падают перед патриархом:

— Дьявол объявился!

Патриарх пожевал губами:

— Дьявола воинскою силою бороться надо.

Идут по церковной площади два стрелецких полка. Барабан бьет, и зубы у стрельцов выбивают дробь, солдаты дрожат. Вооруженные копьями и бердышами, но сняв шапки, солдаты проходят в церковь — и тотчас шарахаются вон. Начальники их увещевают. Они возвращаются, но не решаются подойти к обезьяне. Начальник стрелецкий начинает переговоры:

— Эй, батюшко дьявол, велено взять, не прогневайся!

Обезьяна скалит зубы.

Войско в ужасе приседает.

Обезьяна попрыгивает.

Войско опять неудержимо бросается к двери.

Обезьяна чешется.

Войско опять возвращается.

Молодой стрелец:

— Блоха заела.

Все на него шикают.

Наконец, начинается более или менее правильная осада — с трех сторон. Обезьяну хватают. Она визжит, все трясется от страха, но молодой стрелец крепко ее держит.

Обезьяну связывают. Тащут обезьяну по площади. Старухи воют. Обезьяна скалит зубы, они разбегаются. Все улицы, по которым несут обезьяну, пустеют. Все разбегаются.

Начальник — молодому стрельцу:

— Тебе великая награда будет за то, что дьявола поймал.

Ведут ее мимо колокольного дома. Голландец стоит у ворот и смотрит: английская ливрея на обезьяне — улыбается.

Англичанин-старик оглядывается на голландца, замечает обезьяну, ужас на лице. Потом успокаивается, смотрит на голландца.

На площади суд: посреди площади вбит большой кол, здесь же стоит на дровнях прикрытый рогожей колокол, рядом — колокольный работник, два скомороха связанные и под особым конвоем обезьяна. Рядом с ними палач, со всеми атрибутами, в аязме, накинутом на рубаху. В руках у него кнут, кнутовище толстое, ремень, заплетенный в семь рядов, волочится змейкой по земле. Рядом — двое помощников, у них в руках длинные ножи, железные брусья, молотки.

На возвышении — попы в облачении, в руках у одного из них свиток.

Густая толпа, разинутые рты, ее отделяют от места судилища ряды стрельцов. Глухо бьет барабан стрелецкий. Плачут в толпе женщины.

Барабан умолк.

Поп читает указ гнусавым голосом. Слышны именно неважные слова:

— Во имя отца и сына и духа святого... И понеже... Трижды...

Остальная речь — быстрая, гнусавая, невнятная.

Палачи похаживают.

Поп махнул им.

Палачи быстро бросаются к колоколу, срывают грубо с него рогожу.

Поп читает:

— И отсечь окаянному за звон его окаянный оба уха, и, урезав язык, бить плетьюми нещадно.

Палачи начинают молотами сбивать уши у колокола. Сбили. Потом полезли в самый колокол, бьют, клепают, возятся. Вынули язык.

Палач отходит в сторону, скидывает верхнее платье, остается в рубаше, становится с одного бока колокольного, размахивает руку, в которой плеть. С другой стороны становятся его помощники, которые тоже с кнотовьями. Палач заорал колоколу:

— Держись, ожгу!

В толпе пробирается скomorошья женка, которая услышала палачов крик. Кричит от ужаса, закрыла лицо руками. Палач размахнулся, ударил по колоколу. Колокол стонет.

Поп на возвышении загнул палец.

Палачи жарят колокол в три кнута.

— Ух, ожгу!

Колокол стонет, старухи в толпе завывли.

Поп читает:

— Дондеже...

Двое помощников оставляют палача одного справляться с колоколом, подбегают к колокольному работнику и двум скomorохам, срывают с них одежду. Тот же крик:

— Берегись, ожгу! — и

— Ух, ожгу!

Кнуты свищут в воздухе.

Красные полосы ложатся на спины. Бьют колокол, бьют людей. Плачут в толпе скomorошьи женки. А поп погибает палец. Опять махнул рукой. Палачи остановились, он читает:

— Лютор — ибо лют.

Дондеже...

Трижды...

Яко оборотня и сущего диавола

...сжечь.

Помощники палача бросили людей. Люди с обнаженными исполосованными спинами стоят. Бросились к обезьяне, волокут ее к столбу. Обезьяна упирается. Один палач влез на столб, тянет на веревке обезьяну.

Сквозь толпу пробираются англичане —

пробрались к месту судилища. Англичанин поднял руку, просит слова. Он говорит, дьяк-переводчик переводит.

(Через переводчика.)

— Я сам священник благочестивый английской церкви. Я сам изучал право в Итоне. Палач замер на столбе.

— И во имя бога триединого, если обезьяна, или свинья, или кошка, или какой другой зверь согрешит против бога, следует его подвергнуть тюремному заключению от трех до десяти лет, а потом отдать владельцу, если же в заключении умрет — заплатить деньги владельцу. Сей же зверь — для подарка царской невесте.

Встает грузный поп:

— У диавола, рекомого обезьян, лицо, голос. Он еллин, сущей еллинской прелести предан.

Другой встает:

— Оборотень, диавол: порчу на невест царевых навел.

Появляется, раздвигая толпу, испанский монах. Монах говорит по-латыни, обращаясь к судьям и указывая на обезьяну:

— Diabolus est.

В толпе завывли старухи:

— Порчу навели.

Обезьяна кричит. Ее прикручивает помощник. Другой разжигает хворост.

Поп читает:

— И разжегши хвастие... и диавола сжегши, скomorохов и гудцов и непотребников изгнать, яко слуг диаволовых.

Дым, огонь.

Колокол под ударами палача стонет.

Спины людей.

Эпилог

Москва. У околиц. По дороге под конвоем стрельцов везут колокол, за колоколом идут скomorохи, старик. Скomorошьи женки бегут по сторонам, их отгоняет стража.

Вывели за околицу.

Москва видна издали.

Скomorохи пали на колени, прощаются с Москвой.

Скomorошьи женки голосят, упав на землю, покрыв головы платками. Их стрельцы гонят обратно в город. Скomorохи встали, пошли. Далекая дорога — никого, ничего.

Колокол впереди, его везут по ухабам, он, подпрыгивая, гудит.

Скomorошьих женок гонят в город.

Околица. Женки бредут, повеса головы. Собака с ними. Вдруг собака, обманув стражу, бежит по дороге.

— Ату! Держи! Собака убегает!

По дороге — увидели скomorохи деревню. Мальчишки выбегают смотреть.

Выходит крестьянин. Скomorох кланяется,

поминаниях Н. Степанов,— что в делах «Ленфильма» где-нибудь затерялся и самый сценарий, или его более подробное либретто»³.

И вот, спустя более чем полвека, сценарий действительно отыскан. Правда, не в студийном архиве, а в старом шкафу кинокабинета Института театра, музыки и кино, (бывшего Института истории искусств) в знаменитом Зубовском особняке, где когда-то профессор Тынянов читал свои блистательные лекции.

В тонкой картонной папке синего цвета оказался полный текст сценария. Машинопись, не первый экземпляр, без рукописных авторских пометок. Тем не менее, сомнений в подлинности сценария нет. О его достоверности свидетельствует печать 1-ой Ленинградской кино-фабрики «Союзкино» на титульном листе. Там же карандашная надпись: «Обратно возвращено из Межрабпомфильма 19-го июля 1932 г.».

По всей видимости, первоначально сценарий был передан Тыняновым на ленинградскую студию. По свидетельству Степанова, фильм должен был ставить режиссер В. Петров. Трудно сказать, почему возникло имя Петрова — в 1930 году он был начинающим режиссером, автором двух детских фильмов. Правда, дальнейшая судьба Петрова подтвердила его интерес к исторической теме, но показала также и несовместимость творческих устремлений сценариста и режиссера. Недаром несколько лет спустя Петров экранизировал «Петра I» Ал. Толстого, писателя, чья концепция исторического романа была диаметрально противоположна тыняновской.

В такой судьбе тыняновского сценария нет ничего удивительного. К началу тридцатых годов идея жесткой нормативности искусства, его безусловной регламентированности официальными государственными установками уже полностью направляла развитие творчества, определяла тематику и характер фильмов. Ведущей становится тема революционной истории. Тынянов же обратился к России XVII века, что уже само по себе не могло вызвать одобрения.

Тем более не могла встретить сочувствия концепция тыняновского историзма. Как и созданные в те же годы исторические рассказы («Поручик Кижэ», «Восковая персона», «Малолетний Витушишников»), сценарий «Обезьяна и колокол» родился из исторического анекдота. Подобная трактовка истории была чревата опасностью для официальных регламентаций. Анекдот оказывался действенным средством выявления алогизма исторического процесса (именно на этой проблеме и было сосредоточено внимание Тынянова-историка в конце 20-х — начале 30-х годов). Разрыв между

официальным и интимным бытием человека, противопоставление фиктивности, мифа власти реальному бытию народа — эта определяющая для Тынянова тема нашла свое выражение в сценарии. (История борьбы церковной власти со скomorоxами, чье искусство воплотило в себе творческий потенциал и душевную свободу народа.)

Сценарий из московской жизни XVII века наводил на самые современные раздумья о судьбе художника в суровую историческую эпоху, утверждал идею внутренней свободы художника. (Будущие исследователи сценария, несомненно, обратят внимание на переключку тем, мотивов и образов «Обезьяны и колокола» и фильма А. Тарковского «Андрей Рублев».)

К моменту создания «Обезьяны и колокола» Тынянов — опытный сценарист и теоретик кино со сложившейся, осмысленной теоретически и проверенной на практике сценарной концепцией. Сценарий для него — лишь «основная смысловая наброска будущего фильма». Задача сценариста — разработать фабулу, обозначить сюжет, дать перспективу стиливого и жанрового решения фильма. Обязательное условие работы сценариста — подход к жизненному материалу как к специфически кинематографическому. (В эстетике немого кино, как показывает опыт «Шинели» и «СВД», это тщательно разработанная система деталей вещного мира.)

Сценарий был для Тынянова лабораторией — проверкой творческих концепций. Сценарий «Шинели» возник как художественное воплощение литературоведческих изысканий. «СВД» — проверка на ином материале концепций историзма⁴. «Поручик Кижэ» — подтверждение конкретных положений кинотеории⁵.

Но с «Обезьяной и колоколом» дело обстояло иначе. Сценарий не имеет столь очевидной «прикрепленности» к иным сферам тыняновской деятельности, обладает большей, чем предыдущие сценарии, суверенностью.

На первый взгляд может показаться, что тема сценария, обращение к XVII веку для Тынянова, посвятившего жизнь изучению XIX века, случайность. Однако, как показал Е. Тоддес в обстоятельной статье «Неосуществленные замыслы Тынянова»⁶, тематика «Обезьяны и колокола», с одной стороны, органично включается в контекст сюжетов типа «Восток — Запад», связанных с проблемой отношения культур и, с другой стороны, переключается с темой скomorоxоxства, которая очень интересовала Тынянова на грани 30-х годов. (Е. Тоддес называет такие сюжеты о скomorоxаx, как «Обезьяна и колокол», «Король самоедский», «Чревовещатель Ваттуар»). Скomorоxоxство ин-

тересует Тынянова и как научная проблема. Он задумывает «Исследование о скоморошестве и шутовстве».

К сожалению, была доведена до конца только работа над «Обезьяной и колоколом».

Работа над повестью и над сценарием с самого начала шла в разных направлениях. Повесть определенно тяготела к сюжету типа «Восток — Запад». В единственной завершенной главе «был создан образ английского купца XVII века, напоминающий своей выразительностью портреты фламандских мастеров. Джилльс Ли, одновременно и холодный расчетливый делец, и добродетельный семьянин, и ригорист кальвинского толка»⁷. Тема скоморохов в этой главе отсутствовала.

В дальнейшем Тынянов прервал работу над повестью, а сценарий завершил. Форма литературного сценария, опора на специфику кинематографической образности (обязательное, по тыняновской концепции, качество сценария) оказались оптимальным способом рассказа о скоморохах.

«Обезьяна и колокол» позволяет еще раз поставить вопрос о принципах историзма в творчестве Тынянова-сценариста. Как уже отмечалось, сценарий создавался на историческом материале (предания о колоколе и обезьяне и факты церковного преследования скоморохов). Действие имеет точную историческую датировку: 1648 год, ознаменовавшийся выходом грамоты царя Алексея Михайловича, направленной против скоморохов.

Фильм должен был, по замыслу сценариста, изобиловать бытовыми реалиями времени. Сценарий — в духе исторической хроники — насыщен описаниями нравов и обычаев старины: тут и подробности жизни патриаршего двора, и процедура выбора царской невесты, и обстановка голландского посольства, и скоморошья «позоры и глумы». И в то же время, при видимой фактографической обстоятельности, в сценарии определенно отсутствует установка на историческую достоверность. Не воссоздается история, а создается своеобразный макет истории, некая модель исторической действительности. «Молодой хлипкий царь» никак не соотносится с реальным царем Алексеем Михайловичем, патриарх — с патриархом Никоном.

Впрочем, появление в кругу тыняновских сценариев «Обезьяны и колокола» дает возможность не только убедиться в верности Тынянова своим сценарным концепциям, но и проследить определенную эволюцию Тынянова-сценариста. «Обезьяна и колокол» — первый для Тынянова опыт создания сценария звукового фильма. (Напомним, что «Поручик Киж» создавался для

немного кинематографа и был переработан для звукового фильма уже после «Обезьяны и колокола».)

Так же, как и прежде, Тынянов внимателен к зрительному образу, к выразительной детали (достаточно проследить, к примеру, как изобретательно обыгрывается в сценарном повествовании изготовленный в подарок царской невесте макет вселенной). По-прежнему активную роль играют надписи, которым Тынянов придавал большое значение⁸. И все-таки основные драматические функции передоверены звуку.

Интересное новшество — заложенное в сценарии внимание к актерской выразительности, установка на эмоциональную жизнь персонажа, психологическая нюансировка действия.

Изменился характер монтажного мышления. Если в сценариях немых фильмов проблема монтажа целиком передоверялась режиссерам и сценарий строился по принципу сцепления эпизодов, то теперь Тынянову ближе иная позиция: монтаж — искусство сценариста. Он озабочен логикой монтажных переходов, в том числе предусматривает монтаж по звуковому принципу.

Наши беглые замечания по поводу сценария «Обезьяна и колокол», разумеется, не исчерпывают темы. Настоящая публикация вводит в литературный обиход не известное ранее произведение большого писателя. Детальный литературоведческий и киноведческий разговор о нем еще впереди.

1. Г. Козинцев. Тынянов в кино. — Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983, с. 264.

2. См.: Н. Зоркая. Тынянов в кино. — Вопросы киноискусства, вып. 10. М., 1967; Е. Тоддес. Неосуществленные замыслы Тынянова. — Тыняновский сборник. Рига, 1984; И. Сэпман. Тынянов — сценарист. — Из истории «Ленфильма», вып. 3. Л., 1973 и др.

3. Н. Степанов. Замыслы и планы. — Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983, с. 240.

4. См.: Ю. Лотман, Ю. Цивьян. «СВД»: жанр мелодрамы и история. — Тыняновский сборник. Рига, 1984.

5. См.: М. Ямпольский. «Поручик Киж» как теоретический фильм. — Тыняновский сборник. Рига, 1986.

6. Е. Тоддес. Неосуществленные замыслы Тынянова. — Тыняновский сборник. Рига, 1984, с. 25—46.

7. Н. Степанов. Замыслы и планы. — Воспоминания о Ю. Тынянове. М., 1983, с. 241.

8. См.: Ю. Цивьян. Палеограммы в фильме «Шинель»; Ю. Лотман, Ю. Цивьян. «СВД»: жанр мелодрамы и история. См. выше.

Изоolda СЭПМАН

МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК



Писатели, художники любят повторять: «Я Пушкина через всю жизнь пронес...», «Шекспир — это моя жизнь»...

Мое поколение (ограничусь киноискусством) может сказать: «Мы пронесли с собой Чаплина». О нем написаны тысячи томов, десятки тысяч статей. Даже поэмы. За 65 лет и я писал немало. И все-таки сегодня, в год 100-летнего юбилея этого актера, признаюсь: так-таки ничего толком и не написал. Потому что очень трудно писать о Чарли.

О существовании вертлявого актера с усиками и в котелке я узнал в самой ранней юности, почти 75 лет назад. Мы, дети, восторженные почитатели киноликов, увидели в числе прочих и такого. Скажу по правде, он нам понравился, но не очень. Куда там до Линдера! Только позже мы, уже 20-летние, начинающие жизнь в кино, узнали, что видели до сих пор подделки: шибко подражавших, начиная с 1913 года, актеров фирмы «Кистоун». Но уже в 1921 году Любовь Эренбург, сестра Козинцева, писала из Парижа, что все потрясены игрой Шарло, и популярностью он уже превзошел Лютера, сравнялся с Магометом и,

пожалуй, превзойдет Христа. Помню, когда Козинцев зачитал эту фразу из письма на одной из дискуссий, нас чуть не растерзали в клочья озлобленные слушатели. Но вскоре мы увидели (в Париже) фильм «Цирк», упали на колени, и так и живем — боготворя. И вот тут-то встает главный, главнейший для меня вопрос. Ну, великолепный актер. Немало их видели мы. Лилиан Гиш, Аста Нильсен, Конрад Фейдт, Игорь Ильинский и сотня других. И ни с кем его не сравнишь. Как не сравнишь Шекспира.

Попробую разобраться. Я назвал имя Ильинского. Какой замечательный был актер! Конечно, актер трюка. Преувеличенный комизм, очаровывающая зрителя наружность. В России одно время (1924—1935) существовал культ Ильинского. Его имя выпаливали одним духом: «Игрлнский». И все-таки он сыграл только роли; образа не получилось.

Чаплин создал образ. Дело не во внешности. Образ попросту удивительный.

Пушкин писал: «Глаголом жги сердца людей». Но Шарло к глаголу не прибегал, монологов и проповедей не произносил. Кино-то было немое. А пророк существовал. Пророк, возвышающийся над толпой, как Эверест над Воробьевыми горами. Так сказать, достойно кисти Микельанджело. Это — человек-то с усиками? Но взгляды в образы всяческих пророков — жалкие, босоногие, гонимые камнями...

Чарльз Чаплин — пророк. Бичами насмешки избивал мерзавцев, властолюбцев, хищников. И словами, равными сладчайшим строкам «Песни песней», описал простой, прекрасный люд. Великолепны сцены танца булочек в «Золотой лихорадке», попадания в машину в «Новых временах». Но что может сравниться с простенькой сценкой: бедняк Чарли вдруг видит, что цветочница ничего не видит. Чувствительная сценка? Как бы не так. Призыв к милосердию. Предчувствие его победы. Недаром лучший из финальных фильмов Чаплина «Великий диктатор» заканчивается утверждением веры в победу добра.

А не много ли мы приписываем маленькому человечку? Может быть, ни о какой философии он и не думал? Так просто ставил картинку? И Шекспир так просто был затрапезным актером «Глобуса»?.. Не думаю...

Как в молитвенных домах часто-часто читают Евангелие, как часто-часто мы думаем о новом социальном обществе, так же часто-часто надо смотреть великие фильмы

и вместе с их героем, не произнося звучных монологов, призывать мир к добру.

Л. З. Трауберг

ОН СЧИТАЛ СЕБЯ ГРАЖДАНИНОМ МИРА

Киноведы Юрий Цивьян и Михаил Ямпольский встретились с крупнейшим знатоком творчества Чаплина, кинообозревателем газеты «Таймс», видным английским историком кино Дэвидом Робинсоном.

Михаил Ямпольский. Накануне столетия Чаплина, как вы догадываетесь, наш разговор пойдет о творчестве великого комика. Для этого есть и другая причина — ожидаемый выход в издательстве «Радуга» вашей книги «Чаплин: Жизнь и искусство». Итак, Чаплин, Мэллэ кому из кинематографистов было посвящено такое количество исследований. Чаплин — один из самых изученных художников XX века, и все же его имя окружено ореолом тайны, даже после выхода его объемистой автобиографии. Взять хотя бы тайну его происхождения, которой вы посвящаете немало страниц в вашей книге. Удивительно огромное количество спекуляций на эту тему, например, предположений о еврейском или цыганском происхождении Чаплина. Существует ли и сегодня для вас какая-то принципиальная загадка в жизни и творчестве Чаплина?

Дэвид Робинсон. Самая большая загадка, в том числе и для него самого, это то, каким образом он создал образ бродяги. Почему бродяга так привлекал людей? Изучая жизнь Чаплина, я пришел к выводу, что он был не в состоянии рационально придумать этот образ. Он мог лишь работать, сочинять гзги. Его талант заключается в безошибочном чутье, но его работа носила интуитивный характер. Более того, сам характер его работы был тайной для него самого и для окружающих, что осложняло и его собственный труд. Каждый следующий фильм из-за этого был для него труднее предыдущего и требовал большего времени. Над последними своими фильмами он работал непрерывно, отбрасывая десятки вариантов. В последнее время я много думал над загадкой создания чаплинской маски. Судя по свидетельствам, она возникла практически необдуманно, за час, два, а может быть, и десять минут. Он просто взял попавшуюся под руку одежду, и все. Внутренний характер персонажа возник сразу как результат случайно найденной одежды. Он развивал его, конечно, от фильма к фильму и всегда пытался объяснить — ведь люди спрашивали, что означает эта маска. Он теоретизировал: главная идея

маски — контраст, большие брюки и маленький сюртук, котелок и трость с претензией на буржуазную элегантность и огромные ботинки рабочего. Но никогда он не смог объяснить этого до конца. Персонаж и костюм кажутся результатом случайности или чуда.

Для понимания Чаплина важно осознать, сколь драматичны были первые годы его жизни, каков был его человеческий опыт. Он пережил необычайно много — безумие, пьянство, бедность, нищету страшных лондонских кварталов. За первые десять лет он испытал больше, чем иные за всю жизнь. Впрочем, это не такая уж тайна. Тайна в том, как он умел претворять свой жизненный опыт в своих самых элементарных на первый взгляд комедиях. Не думаю, что я дал ясный ответ. В конце концов, я лишь констатировал, что тайна гения всегда остается тайной, даже для самого творца.

Михаил Ямпольский. Но помимо жизненного опыта Чаплин питался и определенной культурной, в том числе и кинематографической традицией. Он, например, достаточно садистичен в своих первых фильмах кистоунского периода и этим инфантильным садизмом вполне вписывается в максеннетовскую традицию «комической». В отличие от Китона, который всегда лишь жертва, Чарли безжалостно расправляется со своими преследователями. Другая его черта — сентиментальность. Чаплин, вероятно, самый сентиментальный комик американского кино. Это его свойство часто соседствует с социальным дидактизмом, сближающим фильмы Чаплина, например, с гриффитовским кинематографом и ранней американской социальной мелодрамой. Ведь комедии Чаплина, начиная с его «мючуэловских» фильмов, — это смесь комического с мелодраматическим. Как вы оцениваете связь Чаплина с кинематографическим контекстом его времени, с социальной идеологией раннего кинематографа?

Дэвид Робинсон. Я думаю, не следует связывать Чаплина с гриффитовским кинематографом. Чаплин принадлежит иной традиции. Он пришел в кино непосредственно из английского мюзик-холла, который имел глубокие социальные корни и адресовался той же широкой аудитории, что и первые фильмы. Сущность почти всех мюзик-холльных представлений зак-

лючалась в комическом преображении повседневной жизни. В качестве тем фигурировали жены, тещи, пьяницы, собаки. Традиционно один комик развлекал публику, куда готовилась большая сцена, на фоне занавеса, изображавшего обыкновенную улицу. Я сам это помню. Каждый новый герой пел свою песню, и это были народные герои. Особой популярностью пользовались комедии об уличных разносчиках, о лондонских еврейх или шотландцах. Исключением был комический светский лев, денди в цилиндре и с шампанским. В репертуаре Чаплина есть и такой персонаж. Чаплин черпал не столько из раннего кино, сколько из мюзик-холла, например, Карно, где он выступал. Однако его персонажи всегда объемны и неоднородны. Хороший пример тому можно найти в «Иммигранте». Чарли ставит деньги на карту и вдруг видит, что бедную девушку ограбили. Поскольку он сентиментальный романтик, то сует ей деньги в карман. Но как человек, не лишенный практицизма, он вытаскивает из кармана девушки два банкнота и, конечно, в этот момент его принимают за вора. Так что герой Чаплина всегда противоречив, в нем есть что-то подрывающее однозначность мелодраматического сентиментализма. Как, например, в «Огнях большого города», когда Чарли весьма сентиментально любит прекрасную слепую героиню, а та выплескивает ему воду в лицо. Неоднозначность его образов также идет от труппы Карно.

Чаплин не был психологом, но был чрезвычайно наблюдателен. Многие из подмеченного в жизни он переносил на экран. После завершения «Парижанки», драмы, которая поразила зрителей своей психологической глубиной, он произнес: «Я замечал в жизни, что люди всегда стараются не показать, а скрыть свои чувства». Это глубокое замечание, которое должны взять на вооружение и сегодняшние актеры.

Михаил Ямпольский. Итак, вы считаете, что фильмы Чаплина следует рассматривать сквозь призму его жизненного опыта и традиций мюзик-холла Карно?

Дэвид Робинсон. Да, я так думаю. В «Кистоуне» он, конечно, старается следовать комическим канонам этой фирмы, но главное все же — это его предшествующий опыт. Он всегда выходит за рамки установок «Кистоуна», всегда вносит свои гэгги, свою мысль. В качестве примера приведу наблюдение, сделанное мной в книге. Когда герой «Кистоуна» налетает на дерево — это смешно. Когда же Чаплин ударяется о дерево, это тоже смешно — но затем он, извиняясь перед ним, снимает котелок. В этом разница. В «Кистоуне» он учился кино. Это видно во всех его фильмах, похожих на фортепианные упражнения. Упражнялся он,

например, в следующем: из одного кадра выкидывают человека, а ловят его в другом, и т. д.

Михаил Ямпольский. А как, например, в контексте его личного опыта следует рассматривать «Парижанку» — ведь этот фильм использует личный опыт других, его любовниц Пегги Хопкинс Джойс и Полы Негри. Что значил для него опыт тех, кого он любил? Кеннет Энджер, например, считает, что Пегги Хопкинс Джойс была большой любовью Чаплина, хотя мне это кажется маловероятным. Мне кажется также интересным то, что, используя опыт других, он переносит действие фильма в необычное место — Париж. Необычное, потому что Любич еще не начал снимать своих голливудских европейских светских комедий, и Париж еще не вошел в мифологию Голливуда. В «Парижанке» мы имеем дело с двойным переносом, хотя романы Пегги Хопкинс Джойс как будто действительно имели место в Париже... Чаплин как бы уезжает из Америки и делает это через жизнь своей возлюбленной. Это и перенос в иной жанр, из комедии в драму, и первое бегство из Америки, гражданином которой он так и не стал.

Дэвид Робинсон. Я думаю, все не так сложно. Он снял «Парижанку» после возвращения из своего первого европейского турне. Он был в Париже, который ему очень понравился. Он неплохо развлекался там. Фильм был вдохновлен поездкой в Европу. Не знаю, помните ли вы, но в первом наброске сценария девушку зовут Пэгги, а героя, которого играл Адольф Менжу, зовут Летелье. Летелье был подлинным лицом, продюсером, Чаплин встретил его в Париже, и он послужил прототипом Пьера Ревеля. Чаплин использовал набор элементов, имевшихся под рукой, и творил из них нечто совершенно новое.

Михаил Ямпольский. А какова роль женщины в фильмах Чаплина? Исследователи до сих пор не устают искать «великую любовь» Чаплина. Эйзенштейн, например, в неотправленном письме Юрию Тынянову утверждал, что такой любовью была Мэрион Дэвис. Он явно намекал на скандальную историю с Уильямом Рендольфом Херстом, который якобы из ревности к Чаплину стрелял в него и убил у себя на яхте знаменитого продюсера и режиссера Томаса Инса. Эйзенштейн считал, что все последующие женщины в жизни Чаплина были лишь заменами, «эрзацами» Мэрион Дэвис.

Юрий Цивьян. Эйзенштейн утверждал, что слышал это признание от самого Чаплина как-то за обеденным столом.

Дэвид Робинсон. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что первой любовью

была Хетти Келли, хотя я уверен, что позже Чаплин не хотел себе в этом признаваться потому, что он разочаровался в ней. Это был короткий роман в 1908 году, но он вспоминал о нем до конца жизни. Я никогда не видел ни одного изображения Хетти Келли, но, судя по чаплиновским описаниям, она была очень похожа на женщин, которых он изображал в своих фильмах. Мэрион Дэвис была совсем не похожа на женщин в его фильмах. Дэвис поистине гонялась за ним и даже смогла его немало напугать. Он был уверен, что Херст убьет его. Чаплин даже скрывался с ней в студии, потому что считал, что люди Херста следят за ними. Хотя, впрочем, может быть, он и не боялся, что его именно убьют, но страх испытывал. Мне известно, что одной из причин отъезда Чаплина в Европу в 1931—1932 годах было преследование со стороны Дэвис. Он хотел ударить от нее и был раздражен, когда случайно натолкнулся на нее в Венеции. Я думаю, что Чаплин пережил яркие приключения с Полой Негри, Мэрион Дэвис и Луизой Брукс, о которой я забыл написать в своей книге. Потом были неудачные браки с появлением детей. Многие его женщины были похожи на актрису из «Цирка» Мерну Кеннеди. Важную роль в его жизни сыграли Эдна Первиенс, Джорджия Хейл и Уна ОНил. История с Джорджией Хейл весьма таинственна. Я имею много информации от нее лично. Она утверждала, что они даже близко не подходили к кровати, что выглядит сомнительным, если знать Чаплина и степень его близости с Джорджией — ведь их нередко заставляли утром в одной квартире. Их отношения тянулись с 1925 по 1943 год. Непонятно, сколько фантазии в том, что она говорила. Например, она вспоминала, что в 1943 году, перед тем, как жениться на Уне, он сделал ей предложение. Она попросила неделю на размышление, он требовал ответа сейчас же, а через неделю он женился на Уне. Звучит фантастически. Но, может быть, и в жизни все происходило так же фантастически. Как бы там ни было, но Джорджия была странной дамой. Нет сомнения, что когда в Америке был Эйзенштейн, Чаплин был в очень близких отношениях с Джорджией Хейл. Айвор Монтегю, который был с Эйзенштейном, встречал их часто вместе и обменивался с ней письмами до самой ее смерти, которая последовала несколько лет назад. Может быть, эти письма хранятся теперь в фонде Монтегю в Британском киноинституте.

Михаил Ямпольский. Как вы оцениваете вклад Чаплина в развитие киноязыка? Придавал ли он подлинное значение киноязыку в иных фильмах, нежели «Пари-

жанка», где чувствуется большая работа в этой сфере? В других фильмах не особенно ощущается интерес к монтажу, свету и т. д.

Дэвид Робинсон. Я считаю, что фильмы Чаплина преподносят важный урок. Они учат, что кинематографист не должен подчинять свое творчество технике. Техника должна служить художнику, а не наоборот. Это особенно заметно в ранних фильмах, где Чаплин радикально меняет свой стиль от картины к картине. Он знал, что главное в его фильмах — это он сам и то, что он делает. Фильм был для него своеобразной сценой. В «Огнях рампы» Юджин Лурье сделал декорацию, где за окном менялся фон. Чаплину указали, что так не должно быть, фон слишком часто менялся. И тогда Чаплин ответил: «Все, раз вы замечаете фон за окном, значит, сцена провалилась. Вы должны были смотреть только на меня!»

Михаил Ямпольский. Поскольку вы заговорили о Лурье, я не могу не отвлечься. Ведь Евгений Лурье для нас — это живой осколок истории. Он последний живой сотрудник русской эмигрантской киностудии в Париже «Альбатрос», где в 20-е годы трудились Мозжухин, Волков, Туржанский и другие. Не говоря уже о его сотрудничестве с Ренуаром... Вы встречали Лурье?

Дэвид Робинсон. Встречал, конечно. Но о своем русском опыте он говорил со мной лишь в общих чертах. Гораздо подробнее он написал об этом в мемуарах. Он заезжал за мной в Нью-Йорке на своей машине. И это в 85 лет! У него необыкновенно светлая голова.

Михаил Ямпольский. Поскольку речь шла об эмиграции, а сам Чаплин также эмигрировал в Америку, откуда он потом вернулся в Европу, я хотел спросить вас, каковы были его отношения с Америкой? Ведь сначала она вознесла его на вершину славы, а потом отвергла. Считал ли он себя частью американской культуры? Уехав из Америки, Чаплин поклялся никогда туда больше не возвращаться, но все же вернулся за Оскаром и, кажется, был счастлив...

Дэвид Робинсон. Он считал себя гражданином мира. Он не хотел принадлежать какой-либо нации. Он ненавидел любое проявление национализма и всегда выступал против него. Еще в 1931 году он утверждал, что национализм доведет мир до войны. Я думаю, что он был очень одинок, даже внутри студии. Он не чувствовал себя и частью голливудского общества. Он был королем и был одинок. Он постоянно работал и почти не развлекался. Только по воскресеньям играл в теннис. Джорджия Хейл вспоминала, что он всегда избегал «парти», вечеринок. При этом ему, конечно,

направилась Америка. В Европе в конце жизни он тосковал по Америке и хотел туда вернуться, он считал, что Америка его больше стимулировала. Он любил Голливуд, несмотря ни на что, ему было там хорошо. Но я не думаю, что он чувствовал себя частью американской культуры.

Михаил Ямпольский. Вы знаете, что Эйзенштейн часто вспоминал о своих встречах с Чаплином и даже посвятил ему исследование. Очевидно, что это знакомство имело для него огромное значение. Можно ли то же самое сказать о Чаплине? Мне известен лишь небольшой комплиментарный фрагмент из «Автобиографии» Чаплина, где он говорит об Эйзенштейне. Чем была встреча с Эйзенштейном для Чаплина?

Дэвид Робинсон. Чаплиновские посвящения на фотографиях, подаренных Эйзенштейну, весьма необычны для него. Он избегал письменно высказывать восхищение кем-либо, но безусловно был очень ревнив. Он не хотел признавать, что кто-либо еще был ему ровней. Он подписал фотографию Максу Линдеру, назвав его своим учителем, и потом сожалел об этом. Я думаю, что он был искренним, когда восхищался Эйзенштейном. Эйзенштейн писал письма Чаплину. Возможно, он их не хранил. И, я уверен, не писал ответов, потому что он никогда не писал писем. Это требовало от него ненужных усилий.

Юрий Цивьян. Но он написал письмо Вертову такого содержания: «Я считаю «Энтузиазм» одной из самых волнующих симфоний, которые я когда-либо слышал. Мистер Дзига Вертов — музыкант. Профессора должны у него учиться, а не спорить с ним. Поздравляю. Чарльз Чаплин».

Дэвид Робинсон. Поразительно. Когда это было?

Юрий Цивьян. В 1931 году. Может быть, Чаплин узнал о неприятностях, которые имел Вертов по поводу «Энтузиазма», и захотел его поддержать, отсюда упоминание о каких-то профессорах. Кто-нибудь, вероятно, рассказал об этом Чаплину.

Дэвид Робинсон. Это, наверное, был Айвор Монтегю. Да, фильм был показан в «Филм-сосайти», где были такие люди, как Монтегю, Бэзил Райт, Дикинсон. Сохранились воспоминания об этом лондонском сеансе, о том, как Вертов все время усиливал звук и приводил этим в ужас присутствовавших. Я думаю, Чаплин вряд ли видел этот фильм. Предполагаю, что Вертов рассказывал о своих неприятностях Монтегю, а тот Чаплину и попросил его написать такую записку.

Юрий Цивьян. Вполне возможно, поскольку Вертов постоянно использовал ее в своей борьбе с оппонентами.

Михаил Ямпольский. К концу нашей бесе-

ды хотелось бы немного поговорить о Чаплине сегодня — например, об отношении к Чаплину и Китону. Нередко встречаешься с явным предпочтением Китона Чаплину. В чем причина такого изменения пристрастий и симпатий в последнее время?

Дэвид Робинсон. Это так. Но, пожалуй, нет иной страны в мире, где бы сегодня так явно не любили Чаплина, как на его родине, в Англии. Я думаю, все началось с критиков. Режиссеры, за редким исключением, всегда любили Чаплина, а критики всегда выступали против него. Нелюбовь к Чаплину выкристаллизовалась в тот момент, когда вновь был открыт Китон, в 50-е годы. Критики обвинили Чаплина в отвратительной сентиментальности. Китон же был таким чистым по стилю. Все это выглядит глупо. Я люблю Китона, но я люблю и Чаплина. Я люблю яблоки, но я люблю и помидоры. Это просто разные вещи. Чаплин знал, как относиться к нему в Англии, и страдал от этого. Он все же очень любил Англию. А вот объяснение этого явления, данное Уной. Она сказала: «Если бы Чарли умер пьяным, разоренным, несчастным, англичане бы обожали его. Но они не могут простить ему, что он умер богатым, счастливым и к тому же в Швейцарии». Я считаю, что это очень умное объяснение. В английском характере произошла перемена. Англичане раньше отличались ироническим чувством юмора, но после войны в английском характере появилась новая черта — цинизм, особенно за последние 10 лет. Но нет никакой возможности быть циником и одновременно любить Чарли Чаплина. Надеюсь, что столетний юбилей восстановит справедливость.

Михаил Ямпольский. И, в таком случае, последний вопрос. Как будет праздновать мир юбилей Чаплина?

Дэвид Робинсон. Во Франции уже прошло не очень удачное представление. В Нью-Йорке ожидается большая выставка и большая ретроспектива. В Лондоне в Музее движущегося изображения будет развернута обширная экспозиция, а также ретроспектива, отражающая, как было задумано, девять ликов Чаплина. И каждый из этих «лик» мы постараемся включить в культурный и исторический контекст. Первый «лик» — это сцена, мюзик-холл, потом — дебют в Голливуде, затем работа в «Мючюзл», потом — «человек мира» и т. д. Ретроспектива, которую мы затеваем, не особенно амбициозна, но она должна соотноситься с фильмами Чаплина с иногда весьма неожиданными явлениями. Так «Диктатора» мы показывает с «Майн Кампф», нацистским документальным

фильмом, рассказывающим о приходе фашистов к власти. Или, например, «Новые времена» будут показаны вместе с фильмом «Свободу нам!» Рене Клера, во многом вдохновившим Чаплина. В контексте псевдооппозиции Чаплин—Китон мне показалось также интересным показать «Замерзший Север» Китона рядом с «Золотой лихорадкой». Я также составил целую программу Чаплина, где он одет в разные костюмы, а не в традиционную одежду Чарли. Мы подготовили также программу фильмов, касающихся мюзик-холла. Итак, мы стремимся расширить контекст. Четвертый канал британского телевидения подготовил прекрасную программу и будет демонстрировать все фильмы Чаплина. К ним я постараюсь сделать выступления, небольшие, по 3—4 минуты, с использованием хроники. В день столетия ожидается особое событие. Фонограмма «Огней большого города» будет перезаписана. Это будет сделано дирижером Карлом Дэвисом. Сохранилась чаплиновская партитура к фильму, но Дэвис установил, что при записи она была упрощена. Так что будет сделана новая музыкальная версия. В неделю празднеств также многие немые фильмы Чаплина будут демонстрироваться с оркестром. А это всегда событие. Эти показы пройдут в кинотеатре «Доминион», где когда-то состоялась премьера «Огней большого города». Но не все у нас и получилось. Мы очень рассчитывали открыть чаплиновский фонд, который бы главным образом занимался реставрацией фильмов. Такая работа уже началась. Шведский историк кино Бо Берглунд ищет копии, сравнивает их с вариантами сценариев и так далее. Фонд должен был находиться в Лондоне. Здесь должны были храниться и все чаплиновские

архивы. Он должен был иметь библиотеку, видеотеку, кинозал, музей. Фонд предполагал давать стипендии молодым кинематографистам. Все уже было решено, но целый ряд странных проблем возник из-за сэра Ричарда Аттенборо. Он захотел сделать фильм о Чаплине и решил стать председателем фонда. Но, кроме него, этого никто не хочет. Была другая кандидатура, которая всех нас устраивала, — мадам Помье, человек, создавший этот фонд. Все уже было готово к пресс-конференции в связи с открытием фонда, были подготовлены многие материалы. Из уважения мы послали все эти материалы Аттенборо. И вдруг он заявил нашему пресс-агенту: «Но из этих материалов не видно, что я председатель фонда!» Неожиданно пресс-агент получил послание от Аттенборо, в котором говорилось, что последний согласился быть председателем фонда по личной просьбе госпожи Чаплин. В газете неожиданно появилась статья, где рассказывалось, что фонд создан под председательством Аттенборо, который прикладывает большие усилия по сбору средств. Когда Уна Чаплин прочла эту статью, она пришла в ярость. Ведь она лично внесла в фонд четверть миллиона фунтов. Она была страшно раздражена всей историей с председательством, а также сообщением в той же газете о том, что к «Огням большого города» сочиняется вместо чаплиновской другая музыка. Она позвонила мадам Помье и сказала: «Не будет пресс-конференции! Не будет и фонда!» Вот такая история.

Юрий Цивьян. Ну что же, история в духе чаплиновских комедий: трагикомический постскрипtum к вашему рассказу.

ФИЛЬМУ — БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ



...Я верю в искренность слов моих товарищей, и мне, очевидно, нужно постараться быть спокойным, чтобы точнее их понять.

Необходимость поспорить у меня есть.

Несмотря на то, что сценарий переживает ту пору своей короткой жизни, когда фильму — быть или не быть (может статься, что мне надолго придется замолчать о нем), в этом последнем вынужденно публичном разговоре я попытаюсь и для вас, и для себя выяснить, что я хотел и что получилось, и опять — чего бы я хотел.

Я бы навлек еще одну тему, если бы мне довелось размышлять о судьбе русского народа и крестьянства, в частности (что надо было бы сделать), начиная вот отсюда — с середины XVII

века, потому что именно тогда Уложением Алексея Михайловича, принятым в 50-х годах, закрепился, закрепостился русский мужик и был привязан к тем, кого мы потом называли помещиком, работладельцем. Если бы я, как литератор, рассуждал более подробно об этой эпохе, я еще одну тему отсюда бы извлек — тему раскола.

При ближайшем рассмотрении этой темы — это представляется мне явлением, которое прокатилось по всей русской земле, явлением ответным на эту роковую «современность» XVII века... Это совсем не церковная реформа. Внешне — да. Но это был повод. Так ответил русский мужик на закабаление.

Я не пытаюсь скрыть, что это радостно, что в народе всякий раз живет ответ, когда он понимает суть творимого с ним. Это не бессловесная огромная масса, которая терпит все, что бы над ней ни творили сильные, хитрые, жестокие люди. Народ находит ту или иную форму для ответа и борьбы.

Рассуждая об этих двух явлениях и учитывая ваши слова о том, что надо бы народ наладить в этом направлении, я нашел бы единственное решение, когда бы подчеркнул конкретно в каждом отдельном случае, как у мужика, народа в целом выливались ответные эмоции и поступки, потому что пока это второе явление именно так и пошло по земле русской, оно развилось широко и охватило огромные массы одинаково действующих людей.

Меня меньше всего увлекало бы в решении этого вопроса — показать маленьких знахарей, пророков раскола, которые высказывали то тут, то там. Это было не их дело, а дело всего народа и каждого действующего мужика, как он действовал бы в литературе и в кинематографе.

Но речь идет о другом явлении, о разинском восстании, которое мы именуем второй крестьянской войной. Это явление, мне представляется, имеет другой характер, другой план. Это во многом пошло от личности Степана. Это счастливое совпадение, что эта личность врезалась в самое болезненное место и от нее пошли круги и та трагедия, которая произошла под Симбирском, когда он оставил мужиков

на убой. Эта трагедия остается. Тут прозвучало желание исправить это. Бунт этот и был несостоявшейся революцией. Если бы все было правильно, это был бы 1917 год.

Как же все-таки решать, если мы вернемся к этому?

Как коммунисты, люди своей Родины, знающие историю своей собственной страны, мы знаем, что за свободу приходится платить немалой кровью. Но каждый раз на нас вешают огромные гири, когда надо об этом сказать. А жестокость возникает не из воздуха.

Когда я думал о жестокостях в сценарии, я вспоминал и более далекую, и более близкую историю. Кого я могу своей жестокостью напугать? Русский народ, который видел это и знает? Или он должен выступать таким оскопленным участником истории, когда решалась судьба страны. Она всегда была кровавая. Почему нельзя выходить с этим, прожив 50 лет по новому укладу? Есть недоучет грамотности нашего народа. Есть неизбежные вещи при творческом отсчете времени.

Предположим, попытаюсь сделать так, чтобы в сценарии сквозила мысль, что русский народ был не свободен, забит, ему было горько. В данном случае я пошел от этой темы, как от заданности. Если она будет решаться, все равно она будет решаться иллюстративно. Или брать раскол, где каждый из своей горькой личной судьбы вырывался и протестовал против церковной реформы. Но если он протестовал против церкви, то только потому, что церковь начала помогать государству. Отсюда мне представлялось решение темы Разина как личности Разина. Естественно, он окружен людьми из народа. Если изъять жестокость, кровь, то, учитывая происходящее, характер действующих лиц, ситуацию, мгновенный порыв, что и случалось, видимо, нельзя решать эту тему. Ее лучше и не решать, потому что тогда мы потеряем представление о цене свободы. Эту цену знает все человечество. Русский народ знает, чем это явление оплачивается.

Тогда разговор о том, что «я пришел дать вам волю», смазывается в силу того, что не приходит ведь давать волю тот, кто не может ее дать. А тот, кто может дать, — тот сильный, размашистый и крутой и не испрашивает позволения у истории, у людей — столько-то смертей дать людям, которых он загубил, а столько-то не дать.

Если возникает мысль о свободе, с воле, возникает и мысль о жертвенности, об огромнейшей цене, которая за это платится. Судят, осуждают за то, что пролил кровь,

непобедившего. А дойди Степан до Москвы и поставь дело, как он хотел, не было бы повода и оснований вспоминать — загубил он какие-то лишние жизни или не загубил. Потому как это не совершилось, от этого и боль, и от этого должно родиться мужество. В общем, человек шел и платил той же ценой, как и Ленин в 1917 году.

Не было этого? Было. Когда кто-то, положим, возникал на пути, кто-то мешал, — его убирали. Один споткнулся, и его убили.

Вот тут невольно возникает мысль: как он действовал, много ли пролилось крови.

Мое-то личное отношение выстраивалось таким образом, что я люблю этого человека так же, как люблю победителя триста лет спустя, только он мне еще немножко дороже, потому что он тоже заплатил за свой красивый порыв, заплатил той же ценой, которую платили те, кто погибал от его руки вольно или невольно и кто поднимался с ним вместе.

Вот эта степень уважения к своему предку и не позволила мне убрать это или отнять у него те качества, которые возникают из соответствующих документов.

Вот в чем разговор, независимо от того, какова будет судьба сценария.

Трудно будет меня убедить, что возникает неприятие действий Разина, как это прозвучало здесь, потому что он оставил мужиков у Симбирска и они потом выплывали на плотках в качестве трупов.

Но как же в таком случае решать трагедию народа, как решать личную трагедию Разина?

Да в том-то и дело, что он этого не понимал. Он кинулся поднимать Дон. Он — дитя своего века и обстоятельств, которые его породили, он действует так, как ему задала жизнь, как задали обстоятельства. Он кинулся на Дон — к более решительной силе, как он думал. Он не поверил, что та сила, которая может помочь ему действовать успешно, — она около него.

Вот, стало быть, или это трагедия, или надо по-иному строить фильм. Тогда это не про московский поход. И можно легко представить себе другой фильм, — как Степан ходил в Персию. Тогда этот человек в иных обстоятельствах, с иными целями и задачами. Не дрогнет рука написать, что он был умный, хитрый, отважный, ловкий и опытный в военном деле, а это так, потому что он профессиональный персидский флот мог потопить. Я писал бы и радовался: русский человек пошел в чужую землю, был два года и сделал такое.

Мне дорог этот человек. Как только

он врезался в гигантски трудную и сложную русскую судьбу, он стал раздраем теми же противоречиями, которыми был раздраем народ.

Он протестовал и многого не знал. Если он был умнее, выше толпы, не было бы той степени страдания, не стал бы я про это делать. Потому что были люди выше толпы. А он мне дорог тем, что он так же не понимал, как не понимали вокруг него, как довести дело до конца более успешно. Когда понимали, так понимали, мы знаем историю и эти события. Умнее сам наш народ, к которому мы обращаемся со своими произведениями. Он умнее. Мы накормили и обкатали его на этих социологических санях, где все ему предельно ясно.

Что касается упрека в отношении метража — это верно, метраж не соответствует размерам материала. Кое-что, что не подлежит сомнению, как ненужное, мы с оператором выбросили.

Я думаю, вы меня можете понять — есть пристрастия к материалу. Есть много ступеней, по которым надо сходить. Я боялся выкинуть то, по чему потом будет плакать душа. При дальнейшей, более спокойной работе, выкинулось бы и то, что сейчас превышает. Но, повторяю, никогда я не налажу Степана Разина так, когда бы он был умнее, когда бы понимал что-то больше своего окружения.

Вы говорите хорошие, добрые слова о Матвее Иванове, а я, как автор, немножко стесняюсь этой фигуры, потому что очень уж он умен. Он слишком умен и для сегодняшнего мужика. Но я учитывал наработанную инерцию, знал, что меня возьмут за горло, и накидал ему все это. Он знает, куда надо идти Степану: «вот в чем сила твоя». Я пошел на это, потому что задумывалось это как кино. Отравился я этим делом и упрощал, зная этот свой грех, чуя его. Знаю, что Матвей шагает немножко как комиссар при Чапаеве.

Но опять-таки самая кровавая и нежеланная сцена, где казаки его убивают, почему-то мне дорога.

В заключение. Не мне решать — быть или не быть фильму. Более того, у меня нет отчаянного, железобетонного сопро-

тивления встречным пожеланиям и советам. Есть желание понять правоту, доброжелательность этих советов. Но только в том случае, если я поверю и сроднюсь с ними, я смогу продолжать эту работу. Пока я этого сделать не смогу. Услышав то, что здесь говорилось, я не собрался бы что-нибудь переделывать.

Аналогия с «Андреем Рублевым». Я своему отношусь к этому фильму и его судьбе. Мне все-таки представляется, что это горькая ошибка, что такую судьбу выстроили фильму. Но опять-таки не я такие вещи решаю.

Что касается аналогии, то это совсем другой уровень, другой разговор, разные способы решения. Там тоже обсуждается судьба народа. Но ведь она обсуждается и в современных произведениях. Это разные вещи.

Единственно, что настораживает: не получится ли у этого фильма такая же судьба, как у «Андрея Рублева». Я сожалею о судьбе «Андрея Рублева», считаю это нашей ошибкой, которую мы когда-нибудь поймем. Мне лично нарваться на такое же житье, угробить на это напрасно три-четыре года жизни не хотелось бы. Не знаю, как решится в каких-то инстанциях судьба сценария. Не знаю. И более того, не знаю, что бы я со сценарием сейчас, немедленно мог бы сделать.

То ли время для этого нужно, то ли нужно перейти какой-то этап работы, — может быть, на другой картине. Мне горько это говорить, но я вынужден буду это делать, чтобы не выпасть из рабочей формы. В груди у меня чуть повизгивает.

Я все понимаю, я останавливаю себя и способен еще работать над другой картиной, в состоянии и даже хочу работать, для того чтобы мне не получить какой-то нехороший наклон в судьбе, потому что вложено в это много.

Выступление В. М. Шукшина на заседании художественного совета Киностудии им. Горького по обсуждению режиссерского сценария «Степан Разин», 16 февраля 1971 г.

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОГО ЗАМЫСЛА В. М. ШУКШИНА

...Вот о Степане Разине — он, наверное, им родился, всю жизнь о нем мечтал; он еще ходил в шестой класс и пришел, у меня спрашивает: мама, а ты о Степане Разине песню не знаешь?..

(Из письма матери Шукшина)

Реальная история разинской темы в творчестве Василия Шукшина восходит к осени 1960 года, когда еще не защитивший диплома Шукшин принес в редакцию журнала «Октябрь» рассказы, среди которых был «Стенька Разин», опубликованный потом в апрельском номере журнала «Москва» за 1962 г. Этот рассказ, где главный герой Васека вырезал из дерева Стеньку Разина, получил в дальнейшем свое кинематографическое воплощение в киноновелле «Думы», вошедшей в картину «Странные люди» (здесь «Стенька Разин» был чудесным образом соединен с рассказом «Думы», а бывшего Васеку, теперь Николая, сыграл писатель Ю. Скоп).

Видевшие этот многострадальный фильм, созданный на Киностудии им. Горького через семь лет после публикации рассказа, знают, что Колька-скульптор там бросает деревянную скульптуру Разина в огонь. Этот эпизод весьма ярко характеризует творческое самочувствие Василия Шукшина в конце первого этапа истории «Степана Разина», хотя начало было весьма успешным и многообещающим. В первой крупной работе режиссера — картине «Живет такой парень» — алтайский парень не забыл спеть известную песню «Из-за острова на стрежень» (которой Шукшин, по свидетельству матери, интересовался еще с детства). И вот после фильма «Ваш сын и брат» в 1966 году Шукшин говорит уже открыто о готовом или почти законченном киносценарии о Разине и, более того, вместе с кинооператором В. Гинзбургом совершает первую поездку по разинским местам, знакомятся в Новочеркасске с Лидией Андреевной Новак, знатоком истории разинского движения. Корреспонденту газеты «Молодежь Алтая» он говорит о подготовке материалов для двухсерийного цветного широкоформатного фильма, к съемкам которого думает приступить летом 1967 года. 1 августа 1967 года на Киностудии им. Горького

проходит обсуждение литературного сценария «Степан Разин», на котором решено «приступить к следующему этапу работы», т. е. послать сценарий в Комитет, хотя эту высокую инстанцию, как и студию, настораживает судьба дорогостоящего фильма «Андрей Рублев». А на замечание В. С. Бирюковой, что Е. Д. Сурков в таком объеме читать сценарий не будет, Шукшин замечает: «А В. Е. Баскаков читал даже тогда, когда было 300 страниц».

В общем, это обсуждение было довольно благожелательным по тем временам, а такие крупные историки, как О. С. Шмидт и В. Т. Пашуто, заключили, что сценарий восходит к давним традициям русской литературы, к Пушкину и Льву Толстому, и представляет собою талантливое, своеобразное идейно-зрелое произведение, и что сам Василий Шукшин — «писатель, режиссер, актер давно уже любим читателями и кинозрителями».

Шукшин после благожелательного обсуждения, естественно, постарался по возможности быстрее опубликовать сценарий (№ 5—6 «Искусство кино» за 1968 год). В письме к И. Попову советует прочитать его. Но тут же сообщает, что дело с постановкой «заморозили»: «Говорят, два года надо подождать. Пока суть да дело, сделаю сейчас современную картину. Черт с ними, но борьба за «Разина» продолжается».

«Современная картина», упомянутая здесь Шукшиным, — это и есть будущий фильм «Странные люди», в котором Шукшин попытался освободиться от гипнотического влияния главного героя своей жизни (как написано в заявке «Конец Разина»: «Надо освободиться от «колдовского» щемящего взора его, который страшит и манит через века»). Вот отрывок из письма домой, написанного из Будапешта: «...С этой картиной («Странные люди», сдача на студии 26.11.1969) вроде все в порядке. Но сдавал я ее 8 месяцев. Устал, изнервничал ...)

...Закончил еще роман о Степане Разине и сборник рассказов. Роман будет называться «Я пришел дать вам волю». Выйдет, наверное, в 70—71 году (...)

Но и скоро, очевидно, начну свой фильм. Или о Степане Разине, или современный — еще не знаю.

С работой — беспросветно.

Присвоили звание — заслуженный деятель искусств РСФСР.

Разинский горизонт как будто очистился, когда в апреле 1970 года Главк разрешил автору разделить большой сценарий на 3 части и приступить к режиссерской разработке 1-ой серии, а с 8 июля был приказ съемочной группе, в порядке исключения, отправиться на выбор природы. Шукшин, готовя себя к разинским испытаниям, отпускает бороду, договаривается в Астрахани насчет постройки кораблей и даже попадает там на месяц в холерный карантин.

«Три с лишним месяца путешествий по северу и югу страны... — сообщает «Литературная газета», — Вологда, Псков, Кострома... Кирилло-Белозерский, Печерский, Ипатьевский, Ферапонтов монастыри... Астрахань, Ростов-на-Дону, берега Дона... И вот творческая группа фильма «Я пришел дать вам волю» («Степан Разин») — в Волгограде. Впрочем, в самом городе застать группу можно разве что глубокой ночью. С рассвета до темна исхаживают в буквальном смысле этого слова окрестности Волгограда, берега Волги, близкие и далекие станицы и села сценарист и постановщик фильма Василий Шукшин, оператор А. Заболоцкий, художник П. Пашкевич, директор Г. Шолохов и художник-фотограф В. Кузин».

Шукшин прибывает в Новочеркасск, а затем посещает родину Разина (станцию Старочеркасскую), Кагальник, Заплавскую, Раздорскую, Мелеховскую, Кочетовскую... Гигантские планы овладевают Шукшиным. Как свидетельствовала Л. А. Новак, «следующей большой темой Шукшина в историческом жанре стал бы Емельян Пугачев: о замыслах такого плана мне пришлось слышать от Василия Макаровича».

Если говорить о замыслах, то была у

Шукшина мечта — сделать фильм о неистовом протопопе Аввакуме. Но пока Шукшин должен узнать, что режиссерская разработка по «Разину» продлевается до 15.11.1971 г. Впрочем, вскоре состоялось обсуждение сценария, на котором все три серии вместе с финалом были обречены на агонию согласно приказу № 65 от 26.11.1971 года, откуда следовало, что все работы по фильму «Степан Разин» на Киностудии им. Горького должны быть приостановлены с 22 февраля. Шукшин не сдавался, обратился в киноотдел самой высокой инстанции, но результатом этого посещения была лишь новая, более удобная квартира на улице Бочкова. Шукшин вынужден приступить к съемкам нового фильма, на современную тематику. Уходя с главной, «разинской» улицы на другую картину, он заявил: «Я все понимаю, я останавливаю себя, я способен еще работать над другой картиной, в состоянии и даже хочу работать для того, чтобы мне не получить какой-то нехороший наклон в судьбе, потому что вложено в это (в сценарий о Разине) много».

Эти слова были сказаны 16 февраля 1971 года (т. е. через пять лет после заявки на фильм о Степане Разине).

А через три года Шукшина не стало. Осталась только заявка на двухсерийный фильм о Разине, поданная на «Мосфильм» весной 1974 года, предлагающая запустить фильм в августе; да магнитофонная запись беседы с корреспондентом газеты «Унита» (17 мая):

«Я думаю, он начнется осенью этого года, 74-го, а закончится где-нибудь в конце 76-го».

Очередное разрешение о запуске «Разина» в производство было получено.

Но некому уже было начинать и заканчивать.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ СЦЕНАРИИ:

Т. Ваулин «Будь и думай!»

Л. Рошаль «Площадь Революции»

Б. Халзанов «Трава после нас...»

Т. Раудам «Человек, которого не было»

Ю. Федянин «Как мы жили во время войны»

Т. Зулфикаров «Возвращение Ходжи Насреддина»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Сегодня для нас особую остроту приобретает вопрос об исторических судьбах России и ее интеллигенции. Иначе не обрести духовные ориентиры и не извлечь нравственные уроки.

Обращаясь к истокам отечественной философской мысли, мы хотим, чтобы читатель ощутил ее напряжение и драматизм, оценил духовные усилия, достоинство и независимость позиций тех, кто вслед за Чаадаевым мог бы сказать:

«Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю унижать ее, только бы ее не обманывать».

П. Я. ЧААДАЕВ

...У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей позицией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его пре-

дании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созрели в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это — хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии...

...Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания... В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, — мы, хотя

и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не создавалось; мы по-прежнему прозябали, забывшись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.

Спрашиваю вас, не наивно ли предпо-

лагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?..

(«Философические письма». Из 1-го письма)

А. С. ПУШКИН

...Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали. Я с удовольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведена и напечатана. Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника. Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет сомнения, что схизма (разделение церквей) отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясли, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому миру, так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех. Вы говорите, что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого разве менее изумительно? У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу. Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы —

разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж? и (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человека с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, таковой, какой нам бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истинной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши религиозные исторические воззрения вам не повредили... Наконец мне досадно, что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление. Надеюсь, что ее не будут раздувать. Читали ли вы 3-й № («Современника»)? Статья «Вольтер» и «Джон Теннер» — мои, (Козловский)

стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором. Прощайте, мой друг. Если увидите Орлова и Раевского, передайте им поклон.

Что говорят они о вашем письме, они, столь посредственные христиане?

19 октября 1836 г.

«...Сколько бы мы не желали возвращения русского или введения западного быта, но ни того, ни другого исключительно ожидать не можем, а поневоле должны предполагать что-то третье, долженствующее возникнуть из взаимной борьбы двух враждующих начал...

...Не в том дело, который из двух, но в том, какое оба они должны получить направление, чтобы действовать благотельно».

И. В. Киреевский. «В ответ А. С. Хомякову»

Семен Франк

ЭТИКА НИГИЛИЗМА

К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции

НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ПУБЛИКАЦИИ

Почему, каким образом случилось так, что, исповедуя философию гуманизма и занимаясь социальными проблемами, посвятив себя служению народу, русская интеллигенция потерпела поражение в исторической борьбе за свои идеалы? Я думаю, мы вправе сегодня поставить и этот вопрос, разбираясь в нашей истории и вырабатывая общественное понимание тех реальных проблем, с которыми сталкиваемся.

Тот беспощадный диагноз нравственного состояния русского общества начала века, который был дан Семеном Людвиговичем Франком в печатаемой статье¹, к сожалению, подтвердился. Но поскольку нас интересует не «болезнь», а «здоровье», то есть восстановление основ утраченной некогда гражданской позиции, рассмотрим в этот диагноз более внимательно.

«Радикальному», нигилистическому духу русской интеллигенции С. Л. Франк противопоставляет в своей статье дух «творческого, созидającego культуру религиозного гуманизма», выразителями которого являлись в то время и другие

авторы «Вех». Но весьма характерно (на что хотелось бы обратить прежде всего внимание) то, как было воспринято обществом само появление сборника, ибо это бросает дополнительный свет на проблему будущего интеллигенции. Вот что писал по этому поводу сам Франк много лет спустя после его публикации:

«Вехи» имели шумный, сенсационный успех — они были главной литературно-общественной сенсацией 1909 г. В течение полугода они выдержали пять изданий (первое в 3000 экземпляров, последнее, помнится, в пять тысяч); к последнему изданию был приложен составленный Гершензоном большой библиографический список журнальных и газетных откликов на них. Успех этот был, по существу, успехом скандала... Против «Вех» восстали не только революционеры и крайне левые; не менее, пожалуй, были шокированы и возмущены ими и умеренно-либеральные круги. Противники «Вех» придавали им, очевидно, очень большое — бесспорно, преувеличенное — политическое значение: опасались, что они будут содействовать росту консервативных течений и ослаблению либеральных и радикальных сил. Только этим можно объяснить, что такой практический политик, как П. Н. Миллюков, лидер партии (кадетов.—Ю. С.) и член Думы, счел необходимым совершить лекционное турне по России, чтобы перед большими аудиториями громить «Вехи». Господствующее общественное мнение восприняло из духовной тенденции «Вех» только эту, поли-

¹ Она была опубликована впервые в сборнике «Вехи» (1909) и сегодня недоступна практически даже специалисту. Сведения о жизненном пути С. Л. Франка (1877—1950) см: «Вопросы философии» № 10 за 1988 г.

тическую сторону, которая для нас самих была хотя и существенной, но все же лишь производной от более основной нашей задачи — пересмотра самих духовных основ господствующего мирозерцания»².

Так писал С. Л. Франк о той атмосфере нетерпимости, которая царила в те годы в русском обществе. И все же суть дела, как представляется, заключалась в данном случае не только в нежелании прислушаться к голосу тех, кто предлагал духовный путь преодоления существовавших разногласий и междоусобной борьбы, а в понимании интеллигенцией (в том числе и религиозной, христианской ориентации) самого характера идущего обновления общества и его структур, начало которому было положено, как известно, отменой крепостного права и которое состояло в окончательном переходе России от самодержавной, монархической формы правления к демократической. Именно в представлении о таком переходе, за который выступала тогда фактически вся мыслящая Россия, и содержалась то внутреннее противоречие, которое едва ли осознавалось до конца и самими авторами «Вех». Ведь, выступая за религиозный путь обновления общества, они как бы брали на себя ту ответственность, которой была облечена церковь и наделен монарх и основы которой уже были подорваны идущими процессами секуляризации, разделения труда, развития политической жизни в стране и т. д. Поэтому нет ничего удивительного в том, что их программа духовного оздоровления общественной жизни не получила поддержки и была воспринята резко критически. Как призыв к возрождению монархии и сохранению, следовательно, самодержавной системы власти.

То есть сам масштаб проблемы перехода диктовал фактически иное ее видение на фоне того взрыва радикальных настроений и нигилизма, в анализе последствий которых авторы «Вех» были совершенно правы, но которые обходили при этом другую ее сторону. А между тем рассмотрение ее могло бы если и не уравновесить каким-то образом расхождение между «самодержавной властью» и «радикальной мыслью», то по крайней мере выявить и обозначить теоретическую позицию для их возможного диалога, в соответствии с которой царь и возглавляемый им государственный аппарат должны были бы

прежде отказаться от той абсолютной власти и полноты ответственности, которой они обладали от «имени» якобы народа, чтобы народ смог эту ответственность взять на себя.

Парадоксальность и острота общественной ситуации требовали объективной, независимой оценки происходящего, чего, как мне представляется, и не хватало авторам «Вех». Ибо если «радикализм» нарастал, то продолжало сопротивляться и самодержавие. Более того, по словам очевидцев, Николай II относился к нему, «как к догмату веры, как к своему долгу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни было не мог»³. И лишь под давлением особых обстоятельств — всеобщей политической стачки в стране — он был вынужден «поделиться» властью, подписав Манифест 17 октября 1905 года.

Выбор был один — развитие гражданских институтов и законодательства, которое бы обеспечивало подлинное равенство и свободу каждого как перед законом, так и при выборе профессии, занятии политикой, наукой и т. д. И страна было пошла по этому пути...

...И если сегодня мы обращаемся к опыту прошлого и стремимся извлечь из него уроки, как бы суровы они ни были, то делаем это в том числе и для того, чтобы вернуть живую мысль тех, кто верил в свою неизбежную встречу с потомством.

Юрий Сенокосов

* * *

Не вокруг творцов нового шума — вокруг творцов новых ценностей вращается мир; он вращается не слышно.

И если кто идет в огонь за свое учение — что это доказывает? Поистине, важнее, чтобы из собственного пламени души рождалось собственное учение.

Фр. Ницше

Два факта величайшей важности должны сосредоточить на себе внимание тех, кто хочет и может обсудить свободно и правдиво современное положение нашего общества и путь к его возрождению. Это — крушение многообещавшего общественного движения, руководимого интеллигентским сознанием, и последовав-

² С. Л. Франк. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956, с. 83-84.

³ П. Н. Милоков. Воспоминания. Том. I. Нью-Йорк, 1955, с. 241.

ший за этим событием быстрый развал наиболее крепких нравственных традиций и понятий в среде русской интеллигенции. Оба свидетельствуют, в сущности, об одном, оба обнажают скрытую дотоле картину бессилия, непроизводительности и несостоятельности традиционного морального и культурно-философского мировоззрения русской интеллигенции. Что касается первого факта — неудачи русской революции, то банальная «объяснение» его злокачественностью «реакции» и «бюрократии» неспособно удовлетворить никого, кто стремится к серьезному, добросовестному и, главное, плодотворному обсуждению вопроса. Оно не столько фактически неверно, сколько ошибочно методологически. Это вообще есть не теоретическое объяснение, а лишь весьма одностороннее и практически вредное моральное вменение факта. Конечно, бесспорно, что партия, защищавшая «старый порядок» против освободительного движения, сделала все от нее зависящее, чтобы затормозить это движение и отнять от него его плоды. Ее можно обвинять в эгоизме, государственной близорукости, в пренебрежении к интересам народа, но возлагать на нее ответственность за неудачу борьбы, которая велась прямо против нее и все время была направлена на ее уничтожение, — значит рассуждать или просто недобросовестно, или ребячески-бессмысленно; это приблизительно равносильно обвинению японцев в печальном исходе русско-японской войны. В этом распространенном стремлении успокаиваться во всех случаях на дешевой мысли, что «виновато начальство», сказывается оскорбительная рабья психология, чуждая сознания личной ответственности и привыкшая свое благо и зло приписывать всегда милости или гневу посторонней, внешней силы. Напротив, к настоящему положению вещей безусловно и всецело применимо утверждение, что «всякий народ имеет то правительство, которого он заслуживает». Если в дореволюционную эпоху фактическая сила старого порядка еще не давала права признавать его внутреннюю историческую неизбежность, то теперь, когда борьба, на некоторое время захватившая все общество и сделавшая его голос политически решающим, закончилась неудачей защитников новых идей, общество не вправе снимать с себя ответственность за уклад жизни, выросший из этого брожения. Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не просто несчастье; с исторической и моральной точки зрения это есть его грех. И так как в конечном

счете все движение как по своим целям, так и по своей тактике было руководимо и определяемо духовными силами интеллигенции — ее верованиями, ее жизненным опытом, ее оценками и вкусами, ее умственным и нравственным укладом, — то проблема политическая сама собою становится проблемой культурно-философской и моральной, вопрос о неудаче интеллигентского дела наталкивается на более общий и важный вопрос о ценности интеллигентской веры.

К той же проблеме подводит и другой отмеченный нами факт. Как могло случиться, что столь, казалось бы, устойчивые и крепкие нравственные основы интеллигенции так быстро и радикально расшатались? Как объяснить, что чистая и честная русская интеллигенция, воспитанная на проповеди лучших людей, способная была хоть на мгновение опуститься до грабежей и животной разнузданности? Отчего политические преступления так незаметно слились с уголовными и отчего «санитство»¹ и вульгаризованная «проблема пола» как-то идеально сплелись с революционностью? Ограничиться моральным осуждением таких явлений было бы не только малопродуктивно, но и привело бы к затемнению их наиболее характерной черты; ибо поразительность их в том и состоит, что это — не простые нарушения нравственности, возможные всегда и всюду, а бесчинства, претендующие на идейное значение и проповедуемые как новые идеалы. И вопрос состоит в том, отчего такая проповедь могла иметь успех и каким образом в интеллигентском обществе не нашлось достаточно сильных и устойчивых моральных традиций, которые могли бы энергично воспрепятствовать ей. Почувствовать этот вопрос значит непосредственно понять, что в интеллигентском мирозерцании по меньшей мере не все обстоит благополучно. Кризис политический и кризис нравственный одинаково настойчиво требуют вдумчивого и беспристрастного пересмотра духовной жизни русской интеллигенции.

Нижеследующие строки посвящены лишь одной части этой обширной и сложной задачи — именно попытке критически уяснить и оценить нравственное мирозерцание интеллигенции. Конечно, конкретные различные стороны духовной жизни не существуют обособленно; живую душу нельзя разлагать на отдельные части и складывать из них, подобно

¹ Общественное явление, получившее название в связи с выходом романа М. П. Арцыбашева «Санин» (1907). — Прим. ред.

механизму — мы можем лишь мысленно выделять эти части искусственно изолирующим процессом абстракции. В частности, нравственное мировоззрение так тесно сплетено в целостный душевный облик, так неразрывно связано, с одной стороны, с религиозно-философскими верованиями и оценками, и с другой стороны — с непосредственными психическими импульсами, с общим мироощущением и жизненным опытом, что самостоятельное теоретическое его изображение неизбежно должно оставаться схематичным, быть не художественным портретом, а лишь пояснительным чертежом; и чистый, изолированный анализ его, сознательно и до конца игнорирующий его жизненную связь с другими, частью обосновывающими его, частью из него вытекающими духовными мотивами, здесь вообще и невозможно, и нежелателен. Чрезвычайно трудно распутать живой клубок духовной жизни и проследить сплетение образующих его отдельных нитей — морально философских мотивов и идей; здесь можно наперед рассчитывать лишь на приближительную точность. Но и несовершенная попытка анализа весьма важна и настоятельно необходима. Нравственный мир русской интеллигенции, который в течение многих десятилетий остается в существенных чертах неизменным, при всем разнообразии исповедовавшихся интеллигенцией социальных верований сложился в некоторую обширную и живую систему, в своего рода организм, упорствующий в бытии и исполненный инстинкта самосохранения. Чтобы понять болезни этого организма — очевидные и угрожающие симптомы которых мы только что указали, — надо попытаться мысленно анатомировать его и подойти хотя бы к наиболее основным его корням.

Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, его нужно было бы назвать морализмом. Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые. У нас есть особые, настойчивые указания, исключительно громкие призывы, которые для большинства звучат всегда несколько неестественно и аффектированно, чтобы вообще дать

почувствовать, что в жизни существуют или, по крайней мере, мыслимы еще иные ценности и мерила, кроме нравственных, — что, наряду с добром, душе доступны еще идеалы истины, красоты, Божества, которые также могут волновать сердца и вести их на подвиги. Ценности теоретические, эстетические, религиозные не имеют власти над сердцем русского интеллигента, ощущаются им смутно и неинтенсивно и, во всяком случае, всегда приносятся в жертву моральным ценностям. Теоретическая, научная истина, строгое и чистое знание ради знания, бескорыстное стремление к адекватному интеллектуальному отображению мира и овладению им никогда не могли укорениться в интеллигентском сознании. Вся история нашего умственного развития окрашена в яркий морально-утилитарный цвет. Начиная с восторженного поклонения естествознанию в 60-х годах и кончая самоновейшими научными увлечениями, вроде эмпириокритицизма, наша интеллигенция искала в мыслителях и их системах не истины научной, а пользы для жизни, оправдания или освящения какой-либо общественно-моральной тенденции. Именно эту психологическую черту русской интеллигенции Михайловский пытался обосновать и узаконить в своем пресловутом учении о «субъективном методе». Эта характерная особенность русского интеллигентского мышления — неразвитость в нем того, что Ницше называл интеллектуальной совестью, — настолько общеизвестна и очевидна, что разногласия может вызвать, собственно, не ее констатирование, а лишь ее оценка. Еще слабее, пожалуй, еще более робко, заглушенно и неуверенно звучит в душе русского интеллигента голос совести эстетической. В этом отношении Писарев, с его мальчишеским развенчанием величайшего национального художника, и вся писаревщина, это буйное восстание против эстетики, были не просто единичным эпизодом нашего духовного развития, а скорее лишь выпуклым стеклом, которое собрало в одну яркую точку лучи варварского иконоборства, неизменно горящие в интеллигентском сознании. Эстетика есть ненужная и опасная роскошь, искусство допустимо лишь как внешняя форма для нравственной проповеди — т. е. допустимо именно не чистое искусство, а его тенденциозное искажение — таково верование, которым в течение долгих десятилетий было преисполнено наше прогрессивное общественное мнение и которое еще теперь, когда уже стало зазорным открытое его исповедание, омрачает своей тенью всю нашу духовную жизнь. Что касается ценностей

религиозных, то в последнее время принято утверждать, что русская интеллигенция глубоко религиозна и лишь по недоразумению сама того не замечает; однако этот взгляд целиком покоится на неправильном словоупотреблении. Спорить о словах — бесполезно и скучно. Если под религиозностью разуметь фанатизм, страстную преданность излюбленной идее, граничащую с *idée fixe* и доводящую человека, с одной стороны, до самопожертвования и величайших подвигов и, с другой стороны — до уродливого искажения всей жизненной перспективы и нетерпимого истребления всего несогласного с данной идеей, — то, конечно, русская интеллигенция религиозна в высочайшей степени. Но ведь понятие религии имеет более определенное значение, которого не может вытеснить это — часто, впрочем, неизбежное и полезное — вольное метафорическое словоупотребление. При всем разнообразии религиозных воззрений религия всегда означает веру в реальность абсолютно ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и идеальная правда духа. Религиозное умонстроение сводится именно к сознанию космического, сверхчеловеческого значения высших ценностей, и всякое мировоззрение, для которого идеал имеет лишь относительный человеческий смысл, будет нерелигиозным и антирелигиозным, какова бы ни была психологическая сила сопровождающих его и развиваемых им аффектов. И если интеллигентское жизнепонимание чуждо и враждебно теоретическим и эстетическим мотивам, то еще сильнее оно отталкивает от себя и изгоняет мотивы и ценности религиозного порядка. Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд, ради призрачных интересов и забав роскоши; но кто любит Бога, того считают прямым врагом народа. И тут — не простое недоразумение, не одно лишь безмыслие и близорукость, в силу которых укрепился исторически и теоретически несостоятельный догмат о вечной, имманентной «реакционности» всякой религии. Напротив, тут обнаруживается внутренне неизбежное, метафизическое отталкивание двух миросозерцаний и мироощущений — исконная и непримиримая борьба между религиозным настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь с сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для нее вечную и универсальную опору, и настроением нигилистическим, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно лишь «человеческое, слишком

человеческое». Пусть догмат о неизбежной связи между религией и реакцией есть лишь наивное заблуждение, основанное на предвзятости мысли и историческом невежестве. Однако в суждении, что любовь к «небу» заставляет человека совершенно иначе относиться к «земле» и земным делам, содержится бесспорная и глубоко важная правда. Религиозность несовместима с признанием абсолютного значения за земными, человеческими интересами, с нигилистическим и утилитаристическим поклонением внешним жизненным благам. И здесь мы подошли к самому глубокому и центральному мотиву интеллигентского жизнепонимания.

Морализм русской интеллигенции есть лишь выражение и отражение ее нигилизма. Правда, рассуждая строго логически, из нигилизма можно и должно вывести и в области морали только нигилизм же, т. е. аморализм, и Штирнеру не стоило большого труда разъяснить этот логический вывод Фейербаху и его ученикам. Если бытие лишено всякого внутреннего смысла, если субъективные человеческие желания суть единственный разумный критерий для практической ориентировки человека в мире, то с какой стати должен я признавать какие-либо обязанности, и не будет ли моим законным правом простое эгоистическое наслаждение жизнью, бесхитростное и естественное «*carpe diem*»? Наш Базаров также, конечно, был неопровержимо логичен, когда отказывался служить интересам мужика и высказывал полнейшее равнодушие к тому человеческому благополучию, которое должно наступить, когда из него, Базарова, «будет лопух расти». Ниже мы увидим, что это противоречие весьма ощутительно сказывается в реальных плодах интеллигентского мировоззрения. Однако, если мы сделаем в этом пункте логический скачок, если от эгоизма мы как-нибудь доберемся психологически до альтруизма и от заботы о собственном «я» — до заботы о насущном хлебе для всех или большинства, — или, говоря иначе, если мы заменим рациональное доказательство иррациональным инстинктом родовой или общественной солидарности, то весь остальной характер мировоззрения русской интеллигенции может быть выведен с совершенной отчетливостью из ее нигилизма.

Поскольку вообще с нигилизмом соединима общеобязательная и обяза-

¹ Букв. — лови день; пользуйся моментом (из Го- рация). — Прим. ред.

вающая вера, этой верой может быть только морализм.

Под нигилизмом я разумею отрицание или непризнание абсолютных (объективных) ценностей. Человеческая деятельность руководится, вообще говоря, или стремлением к каким-либо объективным ценностям (каковыми могут служить, например, теоретическая научная истина, или художественная красота, или объект религиозной веры, или государственное могущество, или национальное достоинство и т. п.), или же — мотивами субъективного порядка, т. е. влечением удовлетворить личные потребности, свои и чужие. Всякая вера, каково бы ни было ее содержание, создает соответствующую себе мораль, т. е. возлагает на верующего известные обязанности и определяет, что в его жизни, деятельности, интересах и побуждениях должно почитаться добром и что — злом. Мораль, опирающаяся на веру в объективные ценности, на признание внутренней святости какой-либо цели, является в отношении этой веры служебным средством, как бы технической нормой и гигиеной плодотворной жизни. Поэтому, хотя жизнь всякого верующего подчинена строгой морали, но в ней мораль имеет не самодовлеющее, а лишь опосредованное значение; каждое моральное требование может быть в ней обосновано и выведено из конечной цели и потому само не претендует на мистический и непререкаемый смысл. И только в том случае, когда объектом стремления является благо относительное, лишённое абсолютной ценности — а именно, удовлетворение субъективных человеческих нужд и потребностей — мораль — в силу неверного, логически неправомерного, но психологически неизбежного процесса мысли, — абсолютизируется и кладется в основу всего практического мировоззрения.

Где человек должен подчинить непосредственные побуждения своего «я» не абсолютной ценности или цели, а по существу равноценным с ними (или равно ничтожным) субъективным интересам «ты» — хотя бы и коллективным, — там обязанности самоотречения, бескорыстия, аскетического самоограничения и самопожертвования необходимо принимают характер абсолютных, самодовлеющих велений, ибо в противном случае они никогда не обязывали бы и никем бы не выполнялись. Здесь абсолютной ценностью признается не цель или идеал, а само служение им; и если штирнеровский вопрос: «почему «я» менее ценно, чем «ты», и должно приноситься ему в жертву?» остается без ответа, то, в предупрежде-

ние подобных дерзких недоумений, нравственная практика именно и окружает себя тем более мистическим и непреложным авторитетом. Это умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием, лишённым веры в абсолютные ценности, можно назвать морализмом, и именно такой нигилистический морализм и образует существо мировоззрения русского интеллигента.

Символ веры русского интеллигента есть благо народа, удовлетворение нужд «большинства». Служение этой цели есть для него высшая и вообще единственная обязанность человека, а что сверх того — то от лукавого. Именно потому он не только просто отрицает или не приемлет иных ценностей — он даже прямо боится и ненавидит их. Нельзя служить одновременно двум богам, и если Бог, как это уже открыто поведал Максим Горький, «суть народушко», то все остальные боги — лжебоги, идолы и дьяволы. Деятельность, руководимая любовью к науке или искусству, жизнь, озаряемая религиозным светом в собственном смысле, т. е. общением с Богом, — все это отвлекает от служения народу, ослабляет или уничтожает моралистический энтузиазм и означает, с точки зрения интеллигентской веры, опасную погоню за призраками. Поэтому все это отвергается, частью как глупость или «суеверие», частью как безнравственное направление воли. Это, конечно, не означает, что русской интеллигенции фактически чужды научные, эстетические, религиозные интересы и переживания. Духа и его исконных запросов умертвить нельзя, и естественно, что живые люди, облекшие свою душу в моральный мундир «интеллигента», сохраняют в себе все чувства, присущие человеку. Но эти чувства живут в душе русского интеллигента приблизительно так, как чувство жалости к врагу — в душе воина, или как стремление к свободной игре фантазии — в сознании строго научного мыслителя: именно как незаконная, хотя и нескоренная слабость, как нечто — в лучшем случае — лишь терпимое. Научные, эстетические, религиозные переживания всегда относятся здесь, так сказать, к частной, интимной жизни человека; более терпимые люди смотрят на них, как на роскошь, как на забаву в часы досуга, как на милое чудачество; менее терпимые осуждают их в других и стыдливо прячут в себе. Но интеллигент как интеллигент, т. е. в своей сознательной вере в общественной деятельности, должен быть чужд

их — его мировоззрение, его идеал враждебны этим сторонам человеческой жизни. От науки он берет несколько популяризованных, искаженных или *ad hoc* изобретенных положений, и хотя нередко даже гордится «научностью» своей веры, но с негодованием отвергает и научную критику, и всю чистую, незаинтересованную работу научной мысли; эстетика же и религия вообще ему не нужны. Все это — и чистая наука, и искусство, и религия — несовместимо с морализмом, с служением народу; все это опирается на любовь к объективным ценностям и, следовательно, чуждо, а тем самым и враждебно той утилитарной вере, которую исповедует русский интеллигент. Религия служения земным нуждам и религия служения идеальным ценностям сталкиваются здесь между собой, и сколь бы сложно и многообразно ни было их иррациональное психологическое сплетение в душе человека-интеллигента, в сфере интеллигентского сознания их столкновение приводит к полнейшему истреблению и изгнанию идеальных запросов во имя цельности и чистоты моралистической веры.

Нигилистический морализм есть основная и глубочайшая черта духовной физиономии русского интеллигента: из отрицания объективных ценностей вытекает обожествление субъективных интересов ближнего («народа»), отсюда следует признание, что высшая и единственная задача человека есть служение народу, а отсюда, в свою очередь, следует аскетическая ненависть ко всему, что препятствует или даже не содействует осуществлению этой задачи. Жизнь не имеет никакого объективного, внутреннего смысла; единственное благо в ней есть материальная обеспеченность, удовлетворение субъективных потребностей; поэтому человек обязан посвятить все свои силы улучшению участи большинства и все, что отвлекает его от этого, есть зло и должно быть беспощадно истреблено — такова странная, логически плохо обоснованная, но психологически крепко спаянная цепь суждений, руководящая всем поведением и всеми оценками русского интеллигента. Нигилизм и морализм, безверие и фанатическая суровость нравственных требований, беспринципность в метафизическом смысле — ибо нигилизм и есть отрицание принципиальных оценок, объективного различия между добром и злом — и жесточайшая добросовестность в соблюдении эмпирических принципов, т. е. по существу условных и непринципиальных требований — это своеобразное, рационально непостижимое и вместе с тем

жизненно крепкое слияние антагонистических мотивов в могучую психическую силу и есть то умонастроение, которое мы называем нигилистическим морализмом.

II

Из этого умонастроения вытекают или с ними связаны другие черты интеллигентского мировоззрения, и, прежде всего, то существенное обстоятельство, что русскому интеллигенту чуждо и отчасти даже враждебно понятие культуры в точном и строгом смысле этого слова. Это суждение может показаться неправильным; ибо кто больше говорит о желательности культуры, об отсталости нашего быта и необходимости поднять его на высший уровень, чем именно русский интеллигент? Но и тут дело не в словах, а в понятиях и реальных оценках. Русскому человеку не горько и не дорого, его сердцу мало говорит то чистое понятие культуры, которое уже органически укоренилось в сознании образованного европейца. Объективное, самоценное развитие внешних и внутренних условий жизни, повышение производительности материальной и духовной, совершенствование политических, социальных и бытовых форм общения, прогресс нравственности, религии, науки, искусства, словом, многосторонняя работа поднятия коллективного бытия на объективно высшую ступень — таково жизненное и могущественное по своему влиянию на умы понятие культуры, которым вдохновляется европеец. Это понятие опять-таки целиком основано на вере в объективные ценности и служении им, и культура в этом смысле может быть прямо определена как совокупность осуществляемых в общественно-исторической жизни объективных ценностей. С этой точки зрения культура существует не для чьего-либо блага или пользы, лишь для самой себя; культурное творчество означает совершенствование человеческой природы и воплощение в жизни идеальных ценностей и, в качестве такового, есть само по себе высшая и самодовлеющая цель человеческой деятельности. Напротив, культура, как обычно понимается у нас, целиком отмечена печатью утилитаризма. Когда у нас говорят о культуре, то разумеют или железные дороги, канализацию и мостовые, или развитие народного образования, или совершенствование политического механизма, и всегда при этом нам преподносится нечто полезное, некоторое средство для осуществления иной цели — именно удовлетворения субъек-

ективных жизненных нужд. Но исключительно утилитарная оценка культуры столь же несовместима с чистой ее идеей, как исключительно утилитарная оценка науки или искусства разрушает самое существо того, что зовется наукой и искусством. Именно этому чистому понятию культуры нет места в умонастройке русского интеллигента; оно чуждо ему психологически и враждебно метафизически. Убогость, духовная нищета всей нашей жизни не дает у нас возникнуть и укрепиться непосредственной любви к культуре, как бы убивает инстинкт культуры и делает невосприимчивым к идее культуры; и наряду с этим нигилистический морализм свет вражду к культуре как к своему метафизическому антиподу. Поскольку русскому интеллигенту вообще недоступно чистое понятие культуры, оно ему глубоко антипатично. Он инстинктивно чувствует в нем врага своего мирозерцания; культура есть для него ненужное и нравственно непозволительное барство; он не может дорожить ею, так как не признает ни одной из тех объективных ценностей, совокупность которых ее образует. Борьба против культуры есть одна из характерных черт типичного русского интеллигентского духа; культ опрощения есть не специфически толстовская идея, а некоторое общее свойство интеллигентского умонастроения, логически вытекающее из нигилистического морализма. Наша историческая, бытовая непривычка к культуре и метафизическое отталкивание интеллигентского мирозерцания от идеи культуры психологически срастаются в одно целое и сотрудничают в увековечении низкого культурного уровня всей нашей жизни¹.

Если мы присоединим эту характерную противокультурную тенденцию к намеченным выше чертам нигилистического морализма, то мы получим более или менее исчерпывающую схему традиционного интеллигентского мирозерцания, самое подходящее обозначение для которого есть народничество. Понятие «народничества» соединяет все основные признаки описанного духовного склада — нигилистический утилитаризм, который отрицает все абсолютные ценности и единственную нравственную цель усматривает в служении субъективным, материальным интересам «большинства» (или народа), морализм, требующий от личности строгого самопожертвования, безусловного подчинения собственных интересов (хотя бы и высших и чистей-

ших) делу общественного служения и, наконец, противокультурную тенденцию, — стремление превратить всех людей в «рабочих», сократить и свести к минимуму высшие потребности во имя всеобщего равенства и солидарности в осуществлении моральных требований. Народничество в этом смысле есть не определенное социально-политическое направление, а широкое духовное течение, соединимое с довольно разнообразными социально-политическими теориями и программами. Казалось бы, с народничеством борется марксизм; и действительно, с появлением марксизма впервые прозвучали чуждые интеллигентскому сознанию мотивы уважения к культуре, к повышению производительности (материальной, а с ней и духовной), впервые было отмечено, что моральная проблема не универсальна, а в известном смысле даже подчинена проблеме культуры и что аскетическое самоотречение от высших форм жизни есть всегда зло, а не благо. Но эти мотивы не долго доминировали в интеллигентской мысли; победоносный и всепожирающий народнический дух поглотил и ассимилировал марксистскую теорию, и в настоящее время различие между народниками сознательными и народниками, исповедующими марксизм, сводится в лучшем случае к различию в политической программе и социологической теории и совершенно не имеет значения принципиального культурно-философского разногласия. По своему этическому существу русский интеллигент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остается упорным и закоренелым народником: его Бог есть народ, его единственная цель есть счастье большинства, его мораль состоит в служении этой цели, соединенном с аскетическим самоограничением и ненавистью или пренебрежением к самоценным духовным запросам. Эту народническую душу русский интеллигент сохранил в неприкосновенности в течение ряда десятилетий, несмотря на все разнообразие политических и социальных теорий, которые он исповедовал; до последних дней народничество было всеобъемлющей и непоколебимой программой жизни интеллигента, которую он свято оберегал от искушений и нарушений, в исполнении которой он видел единственный разумный смысл своей жизни и по чистоте которой он судил других людей.

Но этот общий народнический дух выступает в истории русской интеллигенции в двух резко различных формах — в форме непосредственного альтруистического служения нуждам

¹ О наших так называемых «культурных рабочих» будет сказано ниже.

народа и в форме религии абсолютного осуществления народного счастья. Это различие есть, так сказать, различие между «любовью к ближнему» и «любовью к дальнему» в пределах общей народнической этики. Нужно сказать прямо: ныне почти забытый, довольно редкий и, во всяком случае, вытесненный из центра общественного внимания тип так называемого «культурного работника», т. е. интеллигента, который, воодушевленный идеальными побуждениями, шел «в народ», чтобы помогать крестьянину в его текущих насущных нуждах своими знаниями и своей любовью, — этот тип есть высший, самый чистый и морально-ценный плод нашего народничества. Собственно «культурными деятелями» эти люди назывались по недоразумению; если в программу их деятельности входило как существенный пункт распространение народного образования, то здесь, как и всюду в народничестве, культура понималась исключительно утилитарно; их вдохновляла не любовь к чистому знанию, а живая любовь к людям и народное образование ценилось лишь как одно из средств (хотя бы и важнейшее) к поднятию народного благосостояния; облегчение народной нужды во всех ее формах и каждодневных проявлениях было задачей жизни этих бескорыстных, исполненных любовью людей. В этом движении было много смешного, наивного, одностороннего и даже теоретически и морально ошибочного. «Культурный работник» разделял все заблуждения и односторонности, присущие народнику вообще; он часто шел в народ, чтобы каяться и как бы отмаливать своей деятельностью «грех» своего прежнего участия в более культурных формах жизни; его общение с народом носило отчасти характер сознательного слияния с мужицкой стихией, руководимого верой, что эта стихия есть вообще идеальная форма человеческого существования; поглощенный своей задачей, он, как монах, с осуждением смотрел на суетность всех стремлений, направленных на более отдаленные и широкие цели. Но все это испукалось одним: непосредственным чувством живой любви к людям. В этом типе народническая мораль выявила и воплотила все, что в ней было положительного и плодотворного; он как бы вобрал в себя и действительно развил самый питательный корень народничества — альтруизм. Такие люди, вероятно, еще рассеяны по одиночке в России; но общественно-моральное течение, их создавшее, давно уже иссякло и было частью вытеснено, частью искажено и поглощено

другой разновидностью народничества — религией абсолютного осуществления народного счастья. Мы говорим о том воинствующем народничестве, которое сыграло такую неизменно важную роль в общественной жизни последних десятилетий в форме революционного социализма. Чтобы понять и оценить эту самую могущественную и, можно сказать, роковую для современной русской культуры форму народничества, нужно проследить те духовные соединительные пути, через которые моральный источник интеллигентского умонастроения вливается в русло социализма и революционизма.

III

Нигилистический морализм или утилитаризм русской интеллигенции есть не только этическое учение или моральное настроение, он состоит не в одном лишь установлении нравственной обязанности и служения народному благу; психологически он сливается также с мечтой или верой, что цель нравственных усилий — счастье народа — может быть осуществлена, и притом в абсолютной форме. Эта вера психологически действительно аналогична религиозной вере и в сознании атеистической интеллигенции заменяет подлинную религию. Здесь именно и обнаруживается, что интеллигенция, отвергая всякую религию и метафизику, фактически всецело находится во власти некоторой социальной метафизики, которая притом еще более противоречит ее философскому нигилизму, чем исповедуемое ею моральное мировоззрение. Если мир есть хаос и определяется только слепыми материальными силами, то как возможно надеяться, что историческое развитие неизбежно приведет к царству разума и устройению земного рая? Как мыслимо это «государство в государстве», эта покоряющая сила разума среди стихии слепоты и бессмыслия, этот безмятежный рай человеческого благополучия среди всеобщего хаотического столкновения космических сил, которым нет дела до человека, его стремлений, его бедствий и радостей? Но жажда общечеловеческого счастья, потребность в метафизическом обосновании морального идеала так велика, что эта трудность просто не замечается, и атеистический материализм спокойно сочетается с крепчайшей верой в мировую гармонию будущего; в так называемом «научном социализме», исповедуемом огромным большинством русской интеллигенции, этот метафизический оптимизм

мнит себя даже «научно доказанным». Фактически корни этой «теории прогресса» восходят к Руссо и к рационалистическому оптимизму XVIII века. Современный социальный оптимизм, подобно Руссо, убежден, что все бедствия и несовершенства человеческой жизни происходят из ошибок или злобы отдельных людей или классов. Природные условия для человеческого счастья в сущности всегда налицо; нужно устранить только несправедливость насильников или непонятную глупость насилуемого большинства, чтобы основать царство земного рая. Таким образом, социальный оптимизм опирается на механико-рационалистическую теорию счастья. Проблема человеческого счастья есть, с этой точки зрения, проблема внешнего устройства общества; а так как счастье обеспечивается материальными благам, то это есть проблема распределения. Стоит отнять эти блага у несправедливо владеющего ими меньшинства и навсегда лишить его возможности овладеть ими, чтобы обеспечить человеческое благополучие. Таков несложный, но могущественный ход мысли, который соединяет нигилистический морализм с религией социализма. Кто раз был соблазнен этой оптимистической верой, того уже не может удовлетворить непосредственное альтруистическое служение, изо дня в день, ближайшим нуждам народа; он упоен идеалом радикального и универсального осуществления народного счастья — идеалом, по сравнению с которым простая личная помощь человека человеку, простое облегчение горестей и волнений текущего дня не только бледнеет и теряет моральную привлекательность, но кажется даже вредной растратой сил и времени на мелкие и бесполезные заботы, изменой ради немногих ближайших людей, всему человечеству и его вечному спасению. И действительно, воинствующее социалистическое народничество не только вытеснило, но и морально очернило народничество альтруистическое, признав его плоской и дешевой «благотворительностью». Имея простой и верный ключ к универсальному спасению человечества, социалистическое народничество не может смотреть иначе, чем с пренебрежением и осуждением на будничную и не знающую завершения деятельность, руководимую непосредственным альтруистическим чувством. Это отношение столь распространено и интенсивно в русской интеллигенции, что и сами «культурные работники» по большей части уже стыдятся открыто признать простой, реальный смысл своей деятельности и оправдываются

ссылкой на ее пользу для общего дела всемирного устройства человечества.

Теоретически в основе социалистической веры лежит тот же утилитаристический альтруизм — стремление к благу ближнего; но отвлеченный идеал абсолютного счастья в отдаленном будущем убивает конкретное нравственное отношение человека к человеку, живое чувство любви к ближним, к современникам и их текущим нуждам. Социалист — не альтруист; правда, он также стремится к человеческому счастью, но он любит уже не живых людей, а лишь свою идею — именно идею всечеловеческого счастья. Жертвуя ради этой идеи самим собой, он не колеблется принести ей в жертву и других людей. В своих современниках он видит лишь, с одной стороны, жертвы мирового зла, искоренить которое он мечтает, и с другой стороны — виновников этого зла. Первых он жалеет, но помочь им непосредственно не может, так как его деятельность должна принести пользу лишь их отдаленным потомкам; поэтому в его отношении к ним нет никакого действительного аффекта; последних он ненавидит и в борьбе с ними видит ближайшую задачу своей деятельности и основное средство к осуществлению своего идеала. Это чувство ненависти к врагам народа и образует конкретную и действительную психологическую основу его жизни. Так из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устройению земного рая становится страстью к разрушению, и верующий народник-социалист становится революционером.

Тут необходимо сделать оговорку. Говоря о революционности, как типичной черте умонастроений русской интеллигенции, мы разумеем не участие ее в политической революции и вообще не думаем о ее партийно-политической физиономии, а имеем в виду исключительно ее морально-общественное мировоззрение. Можно участвовать в революции, не будучи революционером по мировоззрению, и, наоборот, можно быть принципиально революционером и, по соображениям тактики и целесообразности, отвергать необходимость или своевременность революционных действий. Революция и фактическая деятельность, преследующая революционные в отношении существующего строя цели, суть явления политического порядка и в качестве таковых лежат всецело за пределами нашей темы. Здесь же мы говорим о революционности лишь в смысле принципиального революционизма,

разумея под последним убеждение, что основным и внутренне необходимым средством к осуществлению морально-общественного идеала служит социальная борьба и насильственное разрушение существующих общественных форм. Это убеждение входит как существенная сторона в мировоззрение социалистического народничества и имеет в нем силу религиозного догмата. Нельзя понять моральной жизни русской интеллигенции, не учтя этого догмата и не поняв его связи с другими сторонами интеллигентской *profession de foi*.

В основе революционизма лежит тот же мотив, который образует и движущую силу социалистической веры: социальный оптимизм и опирающаяся на него механико-рационалистическая теория счастья. Согласно этой теории, как мы только что заметили, внутренние условия для человеческого счастья всегда налицо, и причины, препятствующие устройению земного рая, лежат не внутри, а вне человека — в его социальной обстановке, в несовершенствах общественного механизма. И так как причины эти внешние, то они и могут быть устранены внешним, механическим приемом. Таким образом, работа над устройением человеческого счастья, с этой точки зрения, есть по самому своему существу не творческое или созидательное, в собственном смысле, дело, а сводится к расчистке, устранению помех, т. е. к разрушению. Эта теория — которая, кстати сказать, обыкновенно не формулируется отчетливо, а живет в умах как бессознательная, самоочевидная и молчаливо подразумеваемая истина, — предполагает, что гармоническое устройство жизни есть как бы естественное состояние, которое неизбежно и само собой должно установиться, раз будут отменены условия, преграждающие путь к нему; и прогресс не требует собственно никакого творчества или положительного построения, а требует лишь ломки, разрушения противодействующих внешних преград. «Die Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust»¹ — говорил Бакунин; но из этого афоризма давно уже исчезло ограничительное «auch» — и разрушение признано не только одним из приемов творчества, а вообще отождествлено с творчеством или, вернее, целиком заняло его место. Здесь перед нами отголосок того руссоизма, который вселял в Робеспьера уверенность, что одним лишь беспощадным устранением врагов отечества можно уста-

новить царство разума. Революционный социализм исполнен той же веры. Чтобы установить идеальный порядок, нужно «экспроприировать экспроприирующих», а для этого добиться «диктатуры пролетариата», а для этого уничтожить те или другие политические и вообще внешние преграды. Таким образом, революционизм есть лишь отражение метафизической абсолютизации ценности разрушения. Весь политический и социальный радикализм русской интеллигенции, ее склонность видеть в политической борьбе и притом в наиболее резких ее приемах — заговоре, восстании, терроре и т. п. — ближайший и важнейший путь к народному благу, всецело исходит из веры, что борьба, уничтожение врага, насильственное и механическое разрушение старых социальных форм сами собой обеспечивают осуществление общественного идеала. И это совершенно естественно и логично с точки зрения механико-рационалистической теории счастья. Механика не знает творчества нового в собственном смысле. Единственное, что человек способен делать в отношении природных веществ и сил, это — давать им иное, выгодное ему распределение и разрушать вредные для него комбинации материи и энергии. Если смотреть на проблему человеческой культуры как на проблему механическую, то и здесь нам останутся только две задачи — разрушение старых вредных форм и перераспределение элементов, установление новых, полезных комбинаций из них. И необходимо совершенно иное понимание человеческой жизни, чтобы сознать несостоятельность одних этих механических приемов в области культуры и обратиться к новому началу — началу творческого созидания.

Психологическим побуждением и спутником разрушения всегда является ненависть, и в той мере, в какой разрушение заслоняет другие виды деятельности, ненависть занимает место других импульсов в психической жизни русского интеллигента. Мы уже упомянули в другой связи, что основным действенным аффектом народника-революционера служит ненависть к врагам народа. Мы говорим это совсем не с целью «опозорить» интеллигента или морально осудить его за это. Русский интеллигент по натуре, в большинстве случаев, мягкий и любвеобильный человек, и если ненависть укрепилась в его душе, то виною тому не личные его недостатки, и это вообще есть не личная или эгоистическая ненависть. Вера русского интеллигента обязывает его ненавидеть; ненависть в его жизни играет роль глубочайшего и

¹ Радость разрушения есть также созидаящая радость. — Прим. ред.

страстного этического импульса и, следовательно, субъективно не может быть вменена ему в вину. Мало того, и с объективной точки зрения нужно признать, что такое, обусловленное этическими мотивами, чувство ненависти часто бывает морально ценным и социально полезным. Но, исходя не из узко-моралистических, а из более широких философских соображений, нужно признать, что когда ненависть укрепляется в центре духовной жизни и поглощает любовь, которая ее породила, то происходит вредное и ненормальное перерождение нравственной личности. Повторяем, ненависть соответствует разрушению и есть двигатель разрушения, как любовь есть двигатель творчества и укрепления. Разрушительные силы нужны иногда в экономической жизни и могут служить творческим целям; но замена всего творчества разрушением, вытеснением всех социально-гармонизирующих аффектов дисгармоническим началом ненависти есть искажение правильного и нормального отношения сил в нравственной жизни. Нельзя расхотеть, не накапливая, нельзя развивать центробежные силы, не парализуя их соответственным развитием сил центростремительных; нельзя сосредоточиваться на разрушении, не оправдывая его творчеством и не ограничивая его узкими пределами, в которых оно действительно нужно для творчества; и нельзя ненавидеть, не подчиняя ненависть как побочного спутника действительному чувству любви.

Человеческая, как и космическая, жизнь проникнута началом борьбы. Борьба есть как бы имманентная форма человеческой деятельности, и к чему бы человек ни стремился, что бы ни создал, он всюду наталкивается на препятствия, встречается с врагами и должен постоянно менять плуг и серп на меч и копьё. И тем не менее сохраняется коренное различие между трудом создающим и трудом-борьбой, между работой производительной и военным делом: лишь первая ценна сама по себе и приносит действительные плоды, тогда как последнее нужно только для первой и оправдывается ею. Это соотношение применимо ко всем областям человеческой жизни. Внешняя война бывает нужна для обеспечения свободы и успешности национальной жизни, но общество погибает, когда война мешает ему заниматься производительным трудом; внутренняя война — революция — может всегда быть лишь временно необходимым злом, но не может без вреда для общества долго препятствовать социальному сотрудничеству; литература, искусство, наука, религия вы-

рождаются, когда в них борьба с чужими взглядами вытесняет самостоятельное творчество новых идей; нравственность гибнет, когда отрицательные силы порицания, осуждения, негодования начинают преобладать в моральной жизни над положительными мотивами любви, одобрения, признания. Всюду борьба есть хотя и необходимая, но непосредственно не производительная форма деятельности, не добро, а лишь неизбежное зло, и если она вытесняет подлинно производительный труд, это приводит к обнищанию и упадку соответствующей области жизни. Производство и война суть как бы символы двух исконных начал человеческой жизни, и нормальное отношение между ними, состоящее в подчинении второго начала первому, есть всегда условие прогресса, накопления богатства, материального и духовного, — условие действительного успеха человеческой жизни. Подводя итог развитию выше, мы можем теперь сказать: основная морально-философская ошибка революционизма есть абсолютизация начала борьбы и обусловленное ею пренебрежение к высшему и универсальному началу производительности.

Если из двух форм человеческой деятельности — разрушения и созидания, или борьбы и производительного труда — интеллигенция всецело отдается только первой, то из двух основных средств социального приобретения благ (материальных и духовных) — именно распределения и производства — она также признает исключительно первое. Подобно разрушению, распределение, в качестве механического перемещения уже готовых элементов, также противостоит производству, в смысле творческого созидания нового. Социализм и есть мировоззрение, в котором идея производства вытеснена идеей распределения. Правда, в качестве социально-политической программы социализм предполагает реорганизацию всех сторон хозяйственной жизни; он протестует против мнения, что его желания сводятся лишь к тому, чтобы отнять богатство у имущих и отдать его неимущим. Такое мнение действительно содержит искажающее упрощение социализма как социологической или экономической теории; тем не менее оно совершенно точно передает морально-общественный дух социализма. Теория хозяйственной организации есть лишь техника социализма; душа социализма есть идеал распределения, и его конечное стремление действительно сводится к тому, чтобы отнять блага у одних и отдать их другим. Моральный пафос социализма сосредоточен на идее распределительной справед-

ливости и исчерпывается ею; и эта мораль тоже имеет свои корни в механико-рационалистической теории счастья, в убеждении, что условий счастья не нужно вообще создавать, а можно просто взять или отобрать их у тех, кто незаконно завладел ими в свою пользу. Социалистическая вера — не источник этого одностороннего обоготворения начала распределения; наоборот, она сама опирается на него и есть как бы социологический плод, выросший на метафизическом древе механистической этики. Превознесение распределения за счет производства вообще не ограничивается областью материальных благ; оно лишь ярче всего сказывается и имеет наиболее существенное значение в этой области, так как вообще утилитаристическая этика видит в материальном обеспечении основную проблему человеческого устройства. Но важно отметить, что та же тенденция господствует над всем миропониманием русской интеллигенции. Производство благ во всех областях жизни ценится ниже, чем их распределение; интеллигенция почти так же мало, как о производстве материальном, заботится о производстве духовном, о накоплении идеальных ценностей; развитие науки, литературы, искусства и вообще культуры ей гораздо менее дорого, чем распределение уже готовых, созданных духовных благ среди массы. Так называемая «культурная деятельность» сводится именно к распределению культурных благ, а не к их созданию, а почетное имя культурного деятеля заслуживает у нас не тот, кто творит культуру — ученый, художник, изобретатель, философ, — а тот, кто раздает массу по кусочкам плоды чужого творчества, кто учит, популяризирует, пропагандирует.

В оценке этого направления приходится повторить, в иных словах, то, что мы говорили только что об отношении между борьбой и производительным трудом. Распределение, бесспорно, есть необходимая функция социальной жизни, и справедливое распределение благ и тягот жизни есть законный и обязательный моральный принцип. Но абсолютизация распределения и забвение из-за него производства или творчества есть философское заблуждение и моральный грех. Для того, чтобы было что распределять, надо прежде всего иметь что-нибудь, а чтобы иметь — надо создать, производить. Без правильного обмена веществ организм не может существовать, но ведь, в конце концов, он существует не самим обменом, а потребляемыми питательными веществами, которые должны откуда-

нибудь притекать к нему. То же применимо к социальному организму в его материальных и духовных нуждах. Дух социалистического народничества, во имя распределения пренебрегающий производством, — доводя это пренебрежение не только до полного игнорирования, но даже до прямой вражды, — в конце концов, подтачивает силы народа и увековечивает его материальную и духовную нищету. Социалистическая интеллигенция, растрачивая огромные, сосредоточенные в ней силы на непроизводительную деятельность политической борьбы, руководимой идеей распределения, и не участвуя в создании народного достояния, остается в метафизическом смысле бесплодной и, вопреки своим заветным и ценнейшим стремлениям, ведет паразитическое существование на народном теле. Пора, наконец, понять, что наша жизнь не только несправедлива, но прежде всего бедна и убога; что нищие не могут разбогатеть, если посвящают все свои помыслы одному лишь равномерному распределению тех грошей, которыми они владеют; что пресловутое различие между «национальным богатством» и «народным благосостоянием» — различие между накоплением благ и доставлением их народу — есть все же лишь относительное различие и имеет реальное и существенное значение лишь для действительно богатых наций, так что если иногда уместно напоминать, что национальное богатство само по себе еще не обеспечивает народного благосостояния, то для нас бесконечно важнее помнить более простую и очевидную истину, что вне национального богатства вообще немислимо народное благосостояние. Пора во всей экономике национальной культуры сократить число посредников, транспортеров, распределителей всякого рода и увеличить число подлинных производителей. Словом, от распределения и борьбы за него пора перейти к культурному творчеству, к созданию богатства.

IV

Но чтобы создать богатство, нужно любить его. Понятие богатства мы берем здесь не в смысле лишь материального богатства, а в том широком философском его значении, в котором оно объемлет владение и материальными, и духовными благами, или, точнее, в котором материальная обеспеченность есть лишь спутник и символический показатель духовной мощи и духовной производительности. В этом смысле метафизическая идея богатства

совпадает с идеей культуры как совокупности идеальных ценностей, воплощаемых в исторической жизни. Отсюда, в связи с вышесказанным, ясно, что забвение интеллигенцией начала производительности или творчества ради начала борьбы и распределения есть не теоретическая ошибка, не просто неправильный расчет путей к осуществлению народного блага, а опирается на моральное или религиозно-философское заблуждение. Оно вытекает в последнем счете из нигилистического морализма, из непризнания абсолютных ценностей и отвращения к основанной на них идее культуры. Но в этой связи в нигилистическом морализме открывается новый и любопытный идейный оттенок.

Русская интеллигенция не любит богатства. Она не ценит, прежде всего, богатства духовного, культуры, той идеальной силы и творческой деятельности человеческого духа, которая влечет его к овладению миром и очеловечиванию мира, к обогащению своей жизни ценностями науки, искусства, религии и морали; и — что всего замечательнее — эту свою нелюбовь она распространяет даже на богатство материальное, инстинктивно сознавая его символическую связь с общей идеей культуры. Интеллигенция любит только справедливое распределение богатства, но не само богатство; скорее, она даже ненавидит и боится его. В ее душе любовь к бедным обращается в любовь к бедности. Она мечтала накормить всех бедных, но ее глубочайший неосознанный метафизический инстинкт противится насаждению в мире действительного богатства. «Есть только один класс людей, которые еще более своекорыстны, чем богатые, и это — бедные», — говорит Оскар Уайльд в своей замечательной статье «Социализм и душа человека». Напротив, в душе русского интеллигента есть потаенный уголок, в котором глухо, но властно и настойчиво звучит обратная оценка: «есть только одно состояние, которое хуже бедности, и это — богатство». Кто умеет читать между строк, тому нетрудно подметить это настроение в делах и помышлениях русской интеллигенции. В этом внутренне противоречивом настроении проявляется то, что можно было бы назвать основной антиномией интеллигентского мировоззрения: сплетение в одно целое непримиримых начал нигилизма и морализма. Нигилизм интеллигенции ведет ее к утилитаризму, заставляет ее видеть в удовлетворении материальных интересов единственное подлинно нужное и реальное дело; морализм же влечет ее к отказу

от удовлетворения потребностей, к упрощению жизни, к аскетическому отрицанию богатства. Это противоречие часто обходится тем, что разнородные мотивы распределяются по различным областям; аскетизм становится идеалом личной жизни и обосновывается моралистическим соображением о непозволительности личного пользования жизненными благами, пока они не стали всеобщим достоянием, тогда как конечным и, так сказать, принципиальным идеалом остается богатство и широчайшее удовлетворение потребностей. И большинство интеллигентов сознательно исповедует и проповедует именно такого рода рациональное сочетание личного аскетизма с универсальным утилитаризмом; оно образует также, по-видимому, исходную рациональную посылку в системе интеллигентского мировоззрения. Однако логическое противоречие между нигилизмом и морализмом, о котором мы говорили в начале статьи, конечно, этим не уничтожается, а лишь обходится; каждое из этих двух начал содержит в себе, в конечном счете, некоторый самодовлеющий и первичный мотив, который поэтому естественно стремится всецело овладеть сознанием и вытеснить противоположный. Если в мире нет общеобязательных ценностей, а все относительно и условно, все определяется человеческими потребностями, человеческой жаждой счастья и наслаждения, то во имя чего я должен отказываться от удовлетворения моих собственных потребностей? Таков аргумент нигилизма, разрушающий принципы морализма: эта тенденция литературно олицетворена в нигилистическом (в узком смысле) типе Базарова и в жизни сказала особенно широко в наши дни в явлениях «санинства», вульгаризованного «нищешанства» (не имеющего, конечно, ничего общего с Ницше и — более правомерно — называющего себя также «штирнерианством»), «экспроприаторства» и т. п.

Однако классический тип русского интеллигента, несомненно, тяготеет к обратному соотношению — к вытеснению нигилизма морализмом, т. е. к превращению аскетизма из личной и утилитарно обоснованной практики в универсальное нравственное настроение. Эта тенденция была выражена сознательно только в кратком эпизоде толстовства, и это совершенно естественно, ибо аскетизм как сознательное вероучение должен опираться на религиозную основу. Но бессознательно она, можно сказать, лежит в крови всей русской интеллигенции. Аскетизм из области личной практики постепенно переходит в область теории или, вернее, ста-

новится хотя и необоснованной, но всеобъемлющей и самодовлеющей верой, общим духовным настроением, органическим нравственным инстинктом, определяющим все практические оценки. Русский интеллигент испытывает положительную любовь к упрощению, обеднению, сужению жизни; будучи социальным реформатором, он вместе с тем и прежде всего — монах, ненавидящий мирскую суету и мирские забавы, всякую роскошь, материальную и духовную, всякое богатство и прочность, всякую мощь и производительность. Он любит слабых, бедных, нищих телом и духом, не только как несчастных, помочь которым значит сделать из них сильных и богатых, т. е. уничтожить их как социальный или духовный тип, — он любит их именно как идеальный тип людей. Он хочет сделать народ богатым, но боится самого богатства как бремени и соблазна, и верит, что все богатые — злы, а все бедные — хороши и добры; он стремится к «диктатуре пролетариата», мечтает доставить власть народу и боится прикоснуться к власти, считает власть — злом и всех властвующих — насильниками. Он хочет дать народу просвещение, духовные блага и духовную силу, но в глубине души считает и духовное богатство роскошью и верит, что чистота помыслов может возместить и перевесить всякое знание и умение. Его влечет идеал простой, бесхитростной, убогой и невинной жизни; Иванушка-дурочок, «блаженнейший», своей сердечной простотой и святой наивностью побеждающий всех сильных, богатых и умных, — этот общерусский национальный герой есть и герой русской интеллигенции. Именно потому она и ценит в материальной, как и в духовной области одно лишь распределение, а не производство и накопление, одно лишь равенство в пользовании благами, а не само обилие благ; ее идеал — скорее невинная, чистая, хотя и бедная жизнь, чем жизнь действительно богатая, обильная и могущественная. И если в оценке материального богатства аскетизм сталкивается с утилитаризмом и противодействует ему, так что создается как бы состояние неустойчивого равновесия, то в оценке богатства духовного или общей идеи культуры аскетическое самоограничение, напротив, прямо поддерживается нигилистическим безверием и материализмом, и оба мотива сотрудничают в обосновании отрицательного отношения к культуре, в принципиальном оправдании и укреплении варварства.

Подводя итоги сказанному, мы можем определить классического русского интел-

лигента как воинствующего монаха нигилистической религии земного благополучия. Если в таком сочетании признаков содержатся противоречия, то это — живые противоречия интеллигентской души. Прежде всего, интеллигент и по настроению, и по складу жизни — монах. Он сторонится реальности, бежит от мира, живет вне подлинной, исторической, бытовой жизни, в мире призраков, мечтаний и благочестивой веры. Интеллигенция есть как бы самостоятельное государство, особый мирок, со своими строжайшими крепчайшими традициями, со своим этикетом, со своими правами, обычаями, почти со своей собственной культурой; и можно сказать, что нигде в России нет столь неизбежно устойчивых традиций, такой определенности и строгости в регулировании жизни, такой категоричности в расценке людей и состояний, такой верности корпоративному духу, как в том всероссийском духовном монастыре, который образует русская интеллигенция. И этой монашеской обособленности соответствует монашески суровый аскетизм, прославление бедности и простоты, уклонение от всяких соблазнов, суетной и греховной мирской жизни. Но, уединившись в своем монастыре, интеллигент не равнодушен к миру; напротив, из своего монастыря он хочет править миром и насадить в нем свою веру; он — воинствующий монах, монах-революционер. Все отношение интеллигенции к политике, ее фанатизм и нетерпимость, ее непрактичность и неумелость в политической деятельности, ее невыносимая склонность к фракционным раздорам, отсутствие у нее государственного смысла — все это вытекает из монашески-религиозного ее духа, из того, что для нее политическая деятельность имеет целью не столько провести в жизнь какую-либо объективно полезную, в мирском смысле, реформу, сколько — истребить врагов веры и насильственно обратить мир в свою веру. И, наконец, содержание этой веры есть основанное на религиозном безверии обоготворение земного, материального благополучия. Все одушевление этой монашеской армии направлено на земные, материальные интересы и нужды, на создание земного рая сытости и обеспеченности; все трансцендентное, потустороннее и подлинно религиозное, всякая вера в абсолютные ценности есть для нее прямой и ненавистный враг. С аскетической суровостью к себе и другим, с фанатической ненавистью к врагам и инакомыслящим, с сектантским изуверством и с безграничным деспотизмом, питаемым

сознанием своей непогрешимости, этот монашеский орден трудится над удовлетворением земных, слишком «человеческих» забот о «едином хлебе». Весь аскетизм, весь религиозный пыл, вся сила самопожертвования и решимость жертвовать другими — все это служит осуществлению тех субъективных, относительных и переходящих интересов, которые только и может признавать нигилизм и материалистическое безверие. Самые мирские дела и нужды являются здесь объектом религиозного служения, подлежат выполнению по универсальному плану, предназначенному метафизическими догмами и неуклонными монашескими уставами. Кучка чуждых миру и презирающих мир монахов объявляет миру войну, чтобы насильственно облагодетельствовать его и удовлетворить его земные, материальные нужды.

V

Естественно, что такое скопление противоречий, такое расхождение принципиально антагонистических мотивов, слитых в традиционном интеллигентском умонастроении, должно было рано или поздно сказаться и своей взаимно-отталкивающей силой, так сказать, взорвать и раздробить это умонастроение. Это и произошло, как только интеллигенции дано было испытать свою веру на живой действительности. Глубочайший культурно-философский смысл судьбы общественного движения последних лет именно в том и состоит, что она обнаружила несостоятельность мировоззрения и всего духовного склада русской интеллигенции. Вся слепота и противоречивость интеллигентской веры была выявлена, когда маленькая, подпольная секта вышла на свет Божий, приобрела множество последователей и на время стала идейно влиятельной и даже реально могущественной. Тогда обнаружилось, прежде всего, что монашеский аскетизм и фанатизм, монашеская нелюдность и ненависть к миру несовместимы с реальным общественным творчеством. Это — одна сторона дела, которая до некоторой степени уже признана и учтена общественным мнением. Другая, по существу, более важная сторона, еще доселе не оценена в должной мере. Это — противоречие между морализмом и нигилизмом, между общеобязательным, религиозно-абсолютным характером интеллигентской веры и нигилистически-беспринципным ее содержанием. Ибо это противоречие имеет отнюдь не одно лишь теоретическое или отвлеченное значение, а приносит реальные и жизнен-

но гибельные плоды. Непризнание абсолютных и действительно общеобязательных ценностей, культ материальной пользы большинства обосновывают примат силы над правом, догмат о верховенстве классовой борьбы и «классового интереса пролетариата», что на практике тождественно с идолопоклонническим обоготворением интересов партии; отсюда — та беспринципная, «готтентотская» мораль, которая оценивает дела и мысли не объективно и по существу, а с точки зрения их партийной пользы или партийного вреда; отсюда — чудовищная, морально недопустимая непоследовательность в отношении к террору правому и левому, к погромам черным и красным, и вообще не только отсутствие, но и принципиальное отрицание справедливого, объективного отношения к противнику¹. Но этого мало. Как только ряды партии расстроились частью неудачами, частью притоком многочисленных, менее дисциплинированных и более первобытно мыслящих членов, та же беспринципность привела к тому, что нигилизм классовый и партийный сменился нигилизмом личным или попросту хулиганским насильничеством. Самый трагический и с внешней стороны неожиданный факт культурной истории последних лет — то обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и самоотверженные служители социальной веры оказались не только в партийном соседстве, но и в духовном родстве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами и разнужданными любителями пологого разврата, — этот факт все же с логической последовательностью обусловлен самим содержанием интеллигентской веры, именно ее нигилизмом; и это необходимо признать открыто, без злорадства, но с глу-

¹ С замечательной проницательностью эта беспринципность русской интеллигенции была уже давно подмечена покойным А. И. Эртелем и высказана в одном недавно опубликованном частном письме от 1893 г. «Всякий протест, если он претендует на плодотворность, должен вытекать... из философски-религиозных убеждений самого протестующего. Большею частью наши протестанты сами не отдадут себе отчета, почему их возмущает производ, насилие, бесцеремонность власти, потому что, возмущаясь этим в данном случае, они этим же самым восторгаются в другом случае, лишь бы вместо Победоносцева был бы подставлен Гамбетта или кто-нибудь в таком же роде... Основной рычаг общественного поведения должен быть установлен без всякого отношения к «злобе дня» — он должен определяться не статистикой, не положением крестьянского быта, не теми или иными дефектами государственного хозяйства и вообще политики, но философски-религиозным пониманием своего личного назначения». (Письма А. И. Эртеля. М., 1909, с. 294—295.)

бочайшей скорбью. Самое ужасное в этом факте именно в том и состоит, что нигилизм интеллигентской веры как бы сам невольно санкционирует преступность и хулиганство и дает им возможность рядиться в мантию идейности и прогрессивности.

Такие факты, как, с одной стороны, полное бесплодие и бессилие интеллигентского сознания в его соприкосновении с реальными силами жизни, и с другой — практически обнаружившаяся нравственная гнилость некоторых его корней не могут пройти бесследно. И действительно, мы присутствуем при развале и разложении традиционного интеллигентского духа; законченный и целостный, несмотря на все свои противоречия, моральный тип русского интеллигента, как мы старались изобразить его выше, начинает исчезать на наших глазах и существует, скорее, лишь идеально, как славное воспоминание прошлого; фактически он уже утерял прежнюю неограниченную полноту своей власти над умами и лишь редко воплощается в чистом виде среди подрастающего ныне поколения. В настоящее время все перепуталось; социал-демократы разговаривают о Боге, занимаются эстетикой, братаются с «мистическими анархистами», теряют веру в материализм и примиряют Маркса с Махом и Ницше; в лице синдикализма начинает приобретать популярность своеобразный мистический социализм; «классовые интересы» каким-то образом сочетаются с «проблемой пола» и декадентской поэзией, и лишь немногие старые представители классического народничества 70-х годов уныло и бесплодно бродят среди этого непристойно-пестрого смешения языков и вер как последние экземпляры некогда могучего, но уже непроизводительного и вымирающего типа. Этому кризису старого интеллигентского сознания нечего удивляться, и еще менее есть основание скорбеть о нем; напротив, надо удивляться тому, что он протекает как-то слишком медленно и бессознательно, скорее в форме непроизвольной органической болезни, чем в виде сознательной культурно-философской перестройки; и есть причины жалеть, что, несмотря на успехи в разложении старой веры, новые идеи и идеалы намечаются слишком слабо и смутно, так что кризису пока не предвидится конца.

Для ускорения этого мучительного переходного состояния необходимо одно: сознательное уяснение тех моральных и религиозно-философских основ, на которых зиждятся господствующие идеи. Чтобы понять ошибочность или односторон-

ность какой-либо идеи и найти поправку к ней, по большей части достаточно вполне отчетливо сознать ее последние послышки, как бы прикоснуться к ее глубочайшим корням. В этом смысле недостаточный интерес к моральным и метафизическим проблемам, сосредоточение внимания исключительно на технических вопросах о средствах, а не на принципиальных вопросах о конечной цели и первой причине, есть источник живучести идейного хаоса и сумятицы. Быть может, самая замечательная особенность новейшего русского общественного движения, определившая в значительной мере и его судьбу, есть его философская непродуманность и недоговоренность. В отличие, например, от таких исторических движений, как великая английская или великая французская революция, которые пытались осуществить новые, самостоятельно продуманные и сотворенные философские идеи и ценности, двинуть народную жизнь по еще непроторенным путям, открытым в глубоких и смелых исканиях творческой политической мысли, — наше общественное движение руководилось старыми мотивами, заимствованными на веру, и притом не из первоисточников, а из вторых и третьих рук. Отсутствие самостоятельного идейного творчества в нашем общественном движении, его глубоко консервативный в философском смысле характер, есть факт, настолько всеобщий и несомненный, что он даже почти не обращает на себя никакого внимания и считается естественным и нормальным. Социалистическая идея, владеющая умами интеллигенции, целиком, без критики и проверки, заимствована ею в том виде, в каком она выкристаллизовалась на Западе в результате столетнего брожения идей. Корни ее восходят, с одной стороны, к индивидуалистическому рационализму XVIII века, и с другой — к философии реакционной романтики, возникшей в результате идейного разочарования исходом великой французской революции. Веруя в Лассалья и Маркса, мы, в сущности, веруем в ценности и идеи, выработанные Руссо и де-Местром, Гольбахом и Гегелем, Берком и Бентамом, питаемся обедками с философского стола XVIII и начала XIX века. И, воспринимая эти почтенные идеи, из которых большинство уже перешагнуло за столетний возраст, мы совсем не останавливаемся сознательно на этих корнях нашего мирозерцания, а пользуемся их плодами, не задаваясь даже вопросом, с какого дерева сорваны последние и начем основана их слепо исповедуемая нами ценность. Для этого философского

бессмыслия весьма характерно, что из всех формулировок социализма подавляющее господство над умами приобрело учение Маркса — система, которая, несмотря на всю широту своего научного построения, не только лишена какого бы то ни было философского и этического обоснования, но даже принципиально от него отрекается (что не мешает ей, конечно, фактически опираться на грубые и непроверенные предпосылки материалистической и сенсуалистической веры). И поскольку в наше время еще существует стремление к новым ценностям, идейный почин, жажда устроить жизнь сообразно собственным, самостоятельно продуманным понятиям и убеждениям, — этот живой духовный трепет инстинктивно сторонится от большой дороги жизни и замыкается в обособленной личности; или же — что еще хуже — если ему иногда удастся прорываться сквозь толщу господствующих идей и обратить на себя внимание, — воспринимается поверхностно, чисто литературно, становится ни к чему не обязывающей модной новинкой и уродливо сплетается со старыми идейными традициями и привычками мысли.

Но здесь, как и всюду, надлежит помнить проникновенные слова Ницше: «Не вокруг творцов нового шума — вокруг творцов новых ценностей вращается мир!» Русская интеллигенция, при всех недочетах и противоречиях ее традиционного умонастроения, обладала доселе одним драгоценным формальным свойством: она всегда искала веры и стремилась подчинить вере свою жизнь. Так и теперь она стоит перед величайшей и важнейшей задачей пересмотра старых ценностей и творческого овладения новыми. Правда, этот поворот может оказаться столь решительным, что, совершив его, она вообще перестанет быть «интеллигенцией» в старом, русском, привычном смысле слова. Но это — к добру! На смену старой интеллигенции, быть может, грядет «интеллигенция» новая, которая очистит это имя от накопившихся в нем исторических грехов, сохранив неприкосновенным благородный оттенок его значения. Порвав с традицией ближайшего прошлого, она может поддержать и укрепить традицию более длительную и глубокую и через семидесятилетие подать руку тридцатым и сороковым годам, возродив в новой форме, что было вечного и абсолютного ценного в исканиях духовных пионеров той эпохи. И если позволительно афористически наметить, в чем должен состоять этот поворот, то мы закончим наши критические размышления одним положи-

тельным указанием. От непроизводительного, противокультурного, нигилистического морализма мы должны перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму.

Мераб Мамардашвили

«ТРЕТЬЕ» СОСТОЯНИЕ

Начать мне хотелось бы с определения характера нашего социального мышления, под которым я подразумеваю не деятельность в профессиональных департаментах социальных наук, а социальное мышление людей в их повседневной жизни. Иными словами, состояние общегражданской грамотности. Говоря коротко и прямо, состояние это на сегодняшний день просто чудовищное. Но другим, видимо, оно и быть не могло. Народ, который выскочил из истории и жизни (я имею в виду все народы, населяющие российское пространство), не мог оказаться в итоге больным. Больны сами люди. И это видно по тому, как они реагируют на происходящие события, на самих себя, на власть, на окружающий мир. Очевидно, что мы имеем дело здесь с дезорганизованным, заблудшим, одичавшим сознанием, которое представить себе можно лишь в фантазмагоричных образах, например, как если бы волосы на голове человека росли не наружу, а внутрь. Вообразите себе эти дикие заросли, в которых все спуталось, где одна половина мысли никогда не может найти другую, чтобы создать целую, законченную, законному жаждут крови, по-прежнему везде ищут, видят вредителей, а это значит, что они фактически находятся в том взвешенном состоянии, когда любая мутация, любой толчок могут выбросить их в кристалл, который мы называем тридцать седьмым годом. И, видимо, мы не сможем очистить или позволить выздороветь такому сознанию, если как профессионалы будем употреблять такие дубовые, уродливые слова, как «ошибки», «отклонения», «необоснованные репрессии» (как-будто бывают обоснования?!), «ложный навет», «перегибы» и т. д. Это бессмысленный набор слов, который, однако, роковым образом означает, что, находясь во всех этих благочестивых, добронамеренных состояниях, в которых оперируют подобными словами, мы не можем раз и навсегда извлечь смысл из того, что с нами произошло, что мы сами

испытала. Поэтому страдания, обиженная чувствительность, стоящие за такими словами, будут длиться вечно. И каждый раз, когда мы будем встречаться с какими-то событиями, мы будем снова и снова говорить о том, что это насилие, произвол и т. д. Еще Салтыков-Щедрин в свое время заметил, что русские люди, если угодно, российские люди готовы вечно страдать, как бы считая, что здесь, в России, хорошо, потому что тут больше страдают. Но в метафизическом смысле, в том смысле, как устроен мир, не бывает страданий во множественном лице, как и не бывает смерти во множественном лице. Если страдают действительно, то делают это один раз, в одном экземпляре. Это единственный путь, на котором можно извлечь хоть какой-то смысл из пережитого. Извлечь раз и навсегда, чтобы в историческое существование вошло то, что уже однажды испытано. Страдающий многократно, постоянно возвращается в царство теней, обрекает себя на круговерть, где несвершенное деяние, непрожеванный кусок истины вечно тащатся потоком нашей жизни и сознания.

Я не случайно делаю такой акцент на «словах». Ведь проблема большого сознания — это еще и языковая проблема. Мы живем в пространстве, в котором накоплено чудовищная масса отходов производства мысли и языка. Пространство это предельно замусорено побочными, вторичными продуктами нормальной мыслительной и духовной деятельности, мифологизированными их осколками. Поэтому, даже когда мы хотим мыслить, когда есть позыв, побуждение мысли, у нас ничего не получается. Что-то уже нарушено в самом языке, в его основании.

Но прежде чем приступать к выяснению причин этой болезни, мне хотелось бы предупредить читателя об особенности восприятия данного текста. Дело в том, что профессионально, по своей сути философское мышление должно оперировать более крупными единицами времени и пространства. Логика его такова: чтобы извлечь смысл из сегодняшнего дня, нужно мыслить крупными единицами, которые захватывают и связывают XX век, например, с XVIII, мыслить в терминах долгодействующих, так сказать, сквозных сил российской истории. А для этого их надо хотя бы выявить, установить действительную временную и пространственную размерность нашей (возможной) мысли о событиях этой истории. Только в этом случае мы сможем увидеть, например, что та сумма проблем, о которых мы так много сегодня говорим, в действительности может быть сведена к одной — проблеме гражданского общества.

Если коротко, то суть ее состоит в разлучении, распайке вязкой спайки государства и общества, в развитии самостоятельного общественного элемента, который, с одной стороны, являлся бы естественной границей власти, а с другой — не подпирался бы никакими государственными гарантиями и никаким иждивенчеством. Но эта проблема самого начала Нового времени, добуржуазного или доестественно правового состояния общества. И для того чтобы убедиться в том, что это и есть наше сегодняшнее состояние, вовсе не нужно искать каких-то особых доказательств. Достаточно вернуться в плоскость языковой проблемы.

Приведу очень простой элемент догражданственности в нашем сознании. Мы, например, говорим — «общественный труд» и при этом сразу же подразумеваем отличие общественного труда от личного. Мы рассуждаем примерно так: сперва нужно поработать на общество, а уже потом на себя. Но это и есть та самая «спайка» сознания, то кривляющееся слово, через которое проговаривается помимо нашей воли нечто совершенно другое. А именно то, что труд наш есть труд барщины, поденщины, где мы лишь отработываем. Но это и есть ситуация, отличная от самого начала Нового времени, от возникшего новоевропейского общества и культуры. Просвещение уже ничего подобного не знает. Просвещенное состояние человечества отвечает той стадии своего развития, когда труд осуществляется свободными производителями, вступающими между собой и с нанимателями в договорные отношения. И тут никаких различий между трудом на себя и трудом на общество быть не может. А если они возникают, то это отражает существующее в действительности крепостное состояние экономической материи. Что в наше время воспринимается как полнейший абсурд. Но опять же нельзя забывать о том историко-культурном контексте, в котором мы находимся.

В свое время у Пушкина возник спор с Чаадаевым, который первым в нашу философскую традицию ввел оппозицию между «историческими» и «неисторическими» образованиями. Чаадаев имел при этом в виду характеристику России как социально-культурного феномена. Пытаясь определить его, он столкнулся с довольно странной вещью, которую бы я назвал «неописуемостью». В том смысле, что есть вещи, которые можно описать, а есть нечто, что не поддается описанию. Таким загадочным феноменом и стала для Чаадаева Россия.

В самом деле, «говорят про Россию, что она не принадлежит ни к Европе,

ни к Азии, — пишет Чаадаев, — что это особый мир. Пусть будет так. Но надо еще доказать, что человечество, помимо двух своих сторон, определяемых словами — запад и восток, обладает еще третьей стороной». Но в действительности ее нет. Да и быть не может. Этот момент очень точно схвачен в нашем языке. Мы говорим — «с одной стороны» и «с другой стороны». И никогда не скажем — «с третьей стороны». Если мы теперь соединим это с другими наблюдениями Чаадаева, с нашим собственным опытом, то поймем, что в реальности «третьей стороны» быть не может. Но она может быть в ирреальности. В зазеркальном мире.

Для Чаадаева, очевидно, Россия и была такой неопишуемой страной из «зазеркалья». Не случайно он называл ее «пробелом в понимании». То есть чем-то, чего нет в историческом мире членораздельных форм, устоев, традиций, внятной артикуляции. Пушкин возражал против этого, но фактически собственной жизнью подтверждал верность этой мысли. Ведь это он чуть ли не собственноручно пытался создать в России традицию, устои Дома, Семьи. А в ирреальном мире за это приходится платить своей жизнью. Ведь понятия, которыми там пользуются люди, фантазмагоричны. Они есть порождение больного, одичавшего сознания. Одним из первых это, кстати, понял Гоголь. Именно он развил специальную технику литературного описания этих потусторонностей. И в этом смысле действительно вся русская литература вышла из «Шинели» Гоголя. Еще Набоков, который сам был чувствителен к теме потусторонностей, отмечал: «Ну, какой же Чичиков плут? Предмет плутовства его ирреален». Он так же неопишуем, как современный московский или грузинский миллионер. Попробуйте его художественно-типологически описать, как, скажем, Гобсека, Шейлока или какого-нибудь Руггон-Маккара. У вас ничего не получится, потому что предмет его стремлений так же ирреален, как ирреальны советские деньги.

В самом начале XX века в спор Пушкина и Чаадаева включился О. Мандельштам — один из немногих поэтов в русской современной традиции с ярко выраженным историософским и метафизическим складом ума. Соглашаясь во многом с Чаадаевым, он в то же время утверждал, что Россия все-таки «историческое образование», потому что здесь есть как минимум одна органическая структура, стоящая на собственных ногах, живущая по собственным законам, имеющая свои традиции и устои. Это русский язык.

Но весь трагизм этой ситуации состоял в том, что мысль Мандельштама была

высказана именно в тот момент, когда уже начался процесс выпадения и языка из истории, когда стало сбываться предчувствие Блока о возможности разрушения самих внутренних истоков гармоний, а не просто варварского обращения с их внешними продуктами. Мандельштам это тоже понимал. Весь его спор с Чаадаевым оговорен одной странной фразой о том, что если мы уже и от языка отпадем, то окончательно рухнем в пропасть нигилизма. Так оно и произошло. Но интересно тут и другое. Именно в этом историческом пункте, на краю пропасти, в России вопреки всему появились люди, которые продолжили русскую литературную традицию. Я имею в виду прежде всего Зощенко, Заболоцкого, Платонова. Они первыми стали описывать странных людей, говорящих на «языке оправданий», на языке человеческого существа, выведенного Булгаковым в повести «Собачье сердце».

Язык этот состоит из каких-то потусторонних неподвижных блоков, представляющих собой раковые образования. В самом деле, ну как можно мыслить такими сочетаниями: «овощной конвейер страны»? За этим языковым монстром сразу возникает образ этаких мускулистых, плакатных молодцов у конвейера. Увидеть же или помыслить о том, что в этот момент происходит с овощами, решительно невозможно. Вы сразу как бы попадаете в магнитное поле и несетесь по нему в направлении, заданном силовыми его линиями.

Я здесь сознательно отвлекаюсь от зазывных социальных проблем. Меня интересуют мыслительный механизм и состояние языка, в котором уже все есть. Остается только эту языковую наличность успевать прочувствовать, успевать вписывать в нее свои чувства и мысли. Сознание такого рода очень напоминает комнату, в которой вместо окон сплошные зеркала, и вы видите не внешний мир, а собственное изображение. Причем отвечающее не тому, какой ты есть, а тому, каким ты должен быть. Естественно, что любая искорка сознания может закапсулироваться в этих отражениях и обезуметь. А человек с таким сознанием может хотеть только одного — взорвать себя, то есть покончить с собой и одновременно со всем миром. Ведь зло человеческого сердца — это ненависть к чему-то непосильному в самом себе. И только потом она проецируется на внешний мир.

Нечто очень похожее случилось и с философским языком. Возьмите в руки любой учебник по марксистской философии, и вы увидите, что весь он состоит из таких же потусторонностей. Их невозможно привести в движение. Ими нельзя профессио-

нально оперировать. Они не поддаются никакому развитию мыслью. А складывался этот язык по законам достаточно простого механизма.

Представьте себе социал-демократический кружок, где «ученый человек» должен вместиť в головы слушателей весь мир, со всеми его сложнейшими проблемами и составом. Причем вместиť так, чтобы голова эта не подверглась никакому усилію труда, чтобы ей не пришлось напрягаться, думать, мучиться. Сделать это можно было лишь одним средством — сведя всю сложность этого мира к простым схемам. Например, таким: «Почему есть бедные? — Бедные есть потому, что есть богатые. — Как сделать, чтобы не было бедных? — нужно уничтожить богатых».

Я хочу обратить внимание читателя не на само идиотское содержание этого утверждения, а на то, с чем оно сцепляется в сознании слушателя и что в конечном итоге порождает. Во-первых, оно отнимает у человека потребность в самостоятельном труде. То есть внушает ему, что мысль — это то, для овладения чем не требуются никакие усилия ума, а достаточно лишь услышать, прочитать. Во-вторых, существует механизм уважения человека к самому себе. Кроме властной потребности быть, состояться, или пребыть, как говорят философы, у него еще есть потребность понимать. Человек, в принципе, не может жить в мире, который ему непонятен. Но принцип этого понимания всегда срывается с фундаментальным отношением человека к самому себе и в смысле способности идентифицировать себя и способности уважать себя. Если же он достигает степени самоуважения посредством упрощенных схем, то он скорее убьет того, кто попытается разрушить эти схемы в его голове, чем расстанется с ними. Это должно быть понятно, потому что его упрощенное понимание сложного мира уже слепилось с фундаментальным для любого человека вопросом жизни и смерти.

Теперь представьте, что мы пытаемся освободиться от этого «философского» языка, хотим научиться мыслить и выставляем в противовес Сталину таких мыслителей, как Плеханов, Бухарин, Луначарский или кого-то другого. Но из этого ничего не получится. Уровень этих мыслителей ничтожен. Ведь нужно было сначала срезать вокруг себя горы действительной гуманитарной мысли в России, чтобы на освободившемся пространстве такие люди выглядели бы Монбланами философской мысли. Их тексты не просто чудовищно скучны, но еще и написаны совершенно деревянным, мертвым языком. Он изначально

исключает живую, свободную мысль. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, скажу, что без разрешения задачи по очищению языкового пространства вообще и философского в частности, мы дальше никуда не двинемся. Ведь мы постоянно живем в ситуации, которую одной фразой очень точно описал Платонов. Один из его героев вместо голоса души слышит шум сознания, льющийся из репродуктора. Каждый из нас на собственный страх и риск, в своем конкретном деле, внутри себя должен как-то противостоять этому «шуму». Ибо, как я уже говорил, человек с одичавшим сознанием, с упрощенными представлениями о социальной реальности и ее законах не может жить в XX веке. Он становится опасным уже не только для самого себя, но и для всего мира. А мы сегодня говорим о том, что необходимо заботиться о нашем общем европейском доме. Но для этого как минимум вначале нужно восстановить свое членство в этом доме. Основная задача, которая стоит перед социальным мышлением, перед гражданами Советского Союза, — это воссоединение со своей родиной, которая необратимо является европейской судьбой для России. Правда, мы реализовали пока «третью» сторону, фантазмагоричную, поэтому проблема «гражданского общества» надолго выпала из поля нашего зрения.

Выше я уже говорил, что суть ее состоит в расщеплении спайки государства и общества, в развитии самостоятельного общественного элемента. Сейчас отвлекусь от социальных и экономических теорий и попытаюсь пояснить смысл принципиального в любом гражданском обществе слова «частный».

Дело в том, что европейская культура есть прежде всего христианская культура. Это совершенно не зависит от того, сколько людей ходит в церковь и выполняет конфессиональный или церковный ритуал. Речь идет о том, что христианство проникло во все институты гражданского общества и существует уже кристаллизованно в них.

Сама же идея христианской культуры фундаментальна и проста. Эта культура принадлежит людям, которые способны в частном деле воплощать бесконечное и божественное. Говоря частное, я имею в виду дело сапожника, купца, рабочего и т. д. В противоположной культурной ситуации вы имеете дело с феноменом, суть которого состоит в фантастическом безразличии человека к собственному делу. Почему это происходит? Потому, что дело это никогда не совпадает с некоей мистической абсолютной и бесконечной точкой. То, что я сейчас делаю, не имеет никакого

значения. Поэтому я могу быть подлым сегодня, чтобы стать светлейшим завтра. А для европейской культуры нет никакого завтра. Есть только то, что есть сейчас, внутри конкретно оформленного, выполненного дела. Отсюда, кстати, некоторые социологи пытаются как бы перевернуть экономическую теорию и во главу угла поставить факт религиозного сознания. Я не разделяю этой точки зрения, но чтобы проиллюстрировать ход такой мысли, приведу следующий пример.

Существует известная теория Макса Вебера, который само появление феномена капитализма связывал с тем, что он называл «протестантской этикой». Он считал, что для развития капитализма нужно было, чтобы акт торговли, то есть мелочного и частного дела, стал носителем каких-то очень высоких ценностей. В том числе взаимоотношения с Богом, ответственности и пр. Когда это случается, появляется многочисленный класс капиталистов, предпринимателей, купцов. Появляются и такие слова, как «бюргер», «частный человек». В русском языке есть аналог — «мещанин». И именно в этом качестве его использовал в своем знаменитом стихотворении Пушкин. Но для нас «бюргер», «буржуа», «мещанин» стало синонимом слова пошляк, обыватель, в самом дурном и ругательном смысле.

Повторяю, я не считаю эту теорию верной в отношении анализа причин возникновения капитализма. У меня к ней есть свои претензии и расхождения. Но ход ее мысли очень показателен, и многое говорит как раз о характере европейской христианской культуры. Если же мы обратимся теперь к России начала XX века, то увидим, что сознание ее людей не было глубоко перелажано Евангелием. Еще Розанов в свое время отмечал распространение на Руси на волне первой революции живых Христов и живых Богородиц, что совершенно невозможно ни в каком грамотном религиозном сознании. Тут всем движут другие силы. «Говоря о России, — писал Чаадаев, — постоянно воображают, будто говорят о таком же государстве, как и другие; на самом деле это совсем не так. Россия — целый мир, покорный воле, произволению, фантазии одного человека, — именуется ли он Петром или Иваном, не в том дело: во всех случаях одинаково это — олицетворение произвола». Иными словами, Чаадаев как мыслитель тоже бы считал, что никакого сталинизма не существовало, что это выдумка, посредством которой нельзя мыслить то, что мы называем этим словом. На самом деле Сталин — это продукт миллионов и миллиардов «самовластий», вернее, их сфокусированное отражение. Об

этом, кстати, он и сам говорил, признаваясь, что партия создала его по своему образу и подобию. Миллионы «сталинских» — это социальная реальность, в которой живет масса властителей. И все это есть то, что Чаадаев назвал «олицетворением произвола». Мы сейчас пытаемся вычленил из того времени что-то вроде интеллектуальной, партийной и духовной «оппозиции». Но в действительности ее не было. Да и быть не могло. Просто тот же Бухарин немножко детонировал с тем образом, который миллионы «самовластий» относили к себе. Адекватным их сознанию оказался Сталин. Поэтому он и стал тем, кем стал.

Но эта история все еще не закончилась. Мы так и не научились извлекать смысл из пережитого. Иначе бы не говорили о культе Брежнева, которого в действительности не существовало. Был «культ Брежнева», через который исполнялся ритуальный танец и определенная группа лиц занималась собственным восхвалением. Через него они говорили о себе, о своем авторитете, о своей силе и т. д.

Закончить эти заметки мне хотелось бы по-прежнему актуальной для нас мыслью Чаадаева, которой он завершает приведенное выше рассуждение о том, что Россия не является просто государством в ряду других государств: «В противоположность всем законам человеческого общежития, — пишет Чаадаев, — Россия шествует только в направлении своего собственного порабощения и порабощения всех соседних народов. И поэтому было бы полезно не только в интересах других народов, а в ее собственных интересах — заставить ее перейти на новые пути».

Когда-то эта задача уже начала решаться, но мы отклонились в сторону и одичали. Теперь, если мы хотим действительно спасти или участвовать в спасении цивилизации на Земле, если мы хотим вернуться в свой европейский дом и иметь право говорить о нем в роли защитников, нам нужно самим стать сначала цивилизованными — более цивилизованными или просто цивилизованными людьми, то есть перейти на другие, новые пути.



В ЧЕМ ИСТИНА?

На лице человека написано все, потому что жизнь и есть борьба за лицо.

М. М. Пришвин

В нынешнем году Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы шестьдесят лет. В это трудно поверить. Почему-то кажется, что тут какое-то недоразумение, что в действительности Шукшин был много старше.

Видимо, нечто похожее приходило в голову не мне одному, поэтому рискну предположить, что дело тут не только в моей «забывчивости», но и в том психологическом разломе, который возник в нашем восприятии Шукшина-художника и Шукшина-человека. И юбилейная дата лишь напомнила об этом. Она как бы заставила нас вновь соотнести обе фигуры во временном срезе нашей жизни.

Что такое шестьдесят лет? Это как раз тот срок, который Шукшин сам положил себе прожить, чтобы успеть осуществить все задуманное. Это тот самый «третий раунд», который он так надеялся отыграть у судьбы — финал поединка с жизнью, невольными свидетелями которого мы должны были бы сегодня стать. Помните: «Всю свою жизнь рассматриваю, как бой в три раунда: молодость, зрелость, старость».

Судьба распорядилась иначе. Старости не было. Шукшин ушел из жизни в возрасте сорока пяти лет. Октябрьской ночью 1974 года смерть обозначила рубеж, за которым судьбе художника суждено было развиваться по законам большого Времени, отличного от нашего уже тем, что оно не знает понятия «возраст». Но именно этого качественно нового состояния мы и не заметили. Потрясенные случившимся, мы принялись старательно возвеличивать посмертный образ Шукшина. В результате подчинили его своим представлениям, сплели его разинскую натуру, задушили в своих восторженных объятиях. Мир художника, сотканный из поразительных прозрений и горьких человеческих заблуждений, разрываемый трагическими противоречиями, оказался намертво прижатым нашими словами к плоскости иконы будущего святого и страстотерпца.

Впрочем, почему «будущего»? Как-то на полотне одного живописца уже довелось увидеть нечто монументальное, обращенное к нашим потомкам. Шукшин был

изображен на высоком берегу Катунь... Косая сажень в плечах... Гордый поворот головы... В складках развевающегося на ветру пиджака — энергия борьбы, неукротимого порыва... В красках — гром вагнеровских труб... Во взгляде пронзительных, холодных глаз — отрешенность и устремленность в недоступную для смертных даль... Смотрел я на эту живопись, а в сознании возникал другой образ, оставленный нам в своих воспоминаниях режиссером Глебом Панфиловым.

Это была последняя роль Шукшина в фильме «Прошу слова», где он фактически сыграл самого себя. «Мы должны были, — пишет Панфилов, — снимать сцену у художницы — первую встречу Феде с Елизаветой Уваровой. Когда он вошел в павильон, у меня было физическое ощущение, что он не идет, а парит, почти не касаясь пола. Потом я узнал, что примерно то же самое почувствовали и все остальные — такой он был высохший, худой. Не человек, а его тень. Джинсы на нем болтались, вязаная кофточка, прикрытая модным кожаным пиджаком, висела, как на вешалке, а на ногах — босоножки в пластмассовых ремешках. Глаза красные, с неестественным блеском — верный признак бессонных ночей».

Как же не похожи эти портреты! Как разительно отличаются по своей изначальной человеческой сути! Сравнивая их, невольно подумаешь, что в судьбе Шукшина как бы сошлись две жизни. Одну — мучительную, полную лишений, борьбы, нечеловеческого труда — он прожил сам. Другую — магистральную, исполненную значительности, высокого трагедийного смысла — прожили за него мы, полагая, видимо, что чью-то несостоявшуюся «старость» можно восполнить своей «молодостью» или «зрелостью».

Но так не бывает. Жизнь у человека одна. И судьба одна. И выявляется она до конца в тот момент, когда, как считал сам Шукшин, — «роман дописан и автор умер».

Сейчас самое время еще раз задуматься над смыслом этих беспощадных слов.

«Шукшин предвидел свою будущую судьбу». Вряд ли кто теперь возьмется оспорить справедливость этих слов писателя Залыгина. В трагическом совпадении финалов жизни автора и героя «Калины красной» слишком зримо обозначилась таинственная логика провидения. Постигнуть ее никому не дано. Но это не значит, что к этому не следует стремиться. Ведь именно в этой точке высвечиваются, приобретают отчетливые очертания глу-

бинные смыслы творчества и жизни художника.

В самом деле, мы говорим: «предвидел судьбу» и при этом имеем в виду лишь трагическую развязку. Но за пределами такого представления остается едва ли не самое существенное. А именно — отношение самого Шукшина, его понимание направления собственной жизни, ее внутренней логики. Иными словами, вопрос внутренней свободы, самостояния, единороства с судьбой или слепой покорности ее предначертанности.

Вчитаемся в то, что писал Шукшин о жизни и судьбе Егора Прокудина. «Момент, или, так сказать, вопрос расплаты за содеянное меня очень, ну вот по-живому волнует. Очевидно, мы за все, в самом деле, должны платить в жизни, и при всем при том, что нам иногда жаль прямо так глядеть и видеть, как человек погибает, но сила разума нам должна говорить, что если случилось непоправимое, что если случилось необратимое, приход к такому финалу, к такому концу жизни должен состояться все равно; он должен состояться, и он состоялся».

Обратите внимание на неуступчивость, неумолимость взгляда художника. Обратите внимание на слова «необратимое» и «расплата». А теперь сравните с тем, что говорил Шукшин в последнем интервью о своей жизни.

«Суета ведь поглощает, просто губит зачастую. Обилие дел на дню, а вечером вдруг понимаешь — а ничего не произошло. Ничегошеньки не случилось! А весь день был занят. Да занят-то как — прямо «по горло», а вот — черт-те, ничего не успел. Ужас. Плохо. Плохо это.

И вдруг в мыслях подкрадываюсь к тому, что это же чуть ли не норма жизни, хлопотная такая — с утра дела, дела, тыщи звонков... Но так, боюсь, просмотришь в жизни главное...»

И дальше: «...Передо мной теперь вот эта проблема стоит — что выбрать? Как дальше строить свою жизнь? Охота ее использовать... ну, результативнее. Но сейчас такое время, когда никак не могу понять, что же есть более точный результат? И, может быть, я дорого расплачусь за эту неопределенность...»

И, наконец: «...Не проиграй — жизнь-то одна. Смотри, не заиграйся... А я проиграю, кажется...»

В этих словах Шукшина нет той жесткости, определенности и ясности взгляда, которые так характерны для размышлений режиссера о судьбе Егора Прокудина. Нет тут и самой мысли о необратимости собственной судьбы. Скорее, напротив. Шукшин видит в жизни некую возможность «вы-

бора», «перемены». И лишь как предчувствие прорывается мысль о возможной «расплате», о «проигрыше». Но опять же они поставлены в зависимость от того, найдет ли в себе силы Шукшин резко и бесповоротно изменить свою жизнь — распрощаться с кинематографом, оставить Москву и т. д.

Вот тут и возникает главный вопрос: а что это должна была быть за сила? Как она могла противостоять судьбе, необратимости которой так остро чувствовал Шукшин-художник?

Для того чтобы ответить на него, нам нужно ясно представить себе ситуацию выбора, в которой оказался Шукшин. И начнем с известного признания, сделанного Шукшиным еще в 1967 году в статье «Монолог на лестнице». «Так у меня вышло к сорока годам, — пишет он, — что я — ни городской до конца, ни деревенский уже. Ужасно неудобное положение. Это даже — не между двух стульев, а, скорее, так: одна нога на берегу, другая в лодке. И не плыть нельзя, а плыть вроде как страшно-вато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю — упадешь. Не падения страшусь (какое падение? откуда?) — очень уж, действительно, неудобно».

Спустя семь лет Шукшин совершенно по-другому оценит весь драматизм этого неустойчивого положения. Теперь у него уже не будет никаких иллюзий относительно «падения». И он со свойственной ему прямотой сформулирует даже его суть. «Суета! Суетное стремление ухватить от всего понемножку — вот что руководило мной...» — И в другом месте: «...Я прожигаю жизнь в столице, транжирую ее, и она проходит мимо».

Отсюда — стремление определиться: либо окончательно прибиться к одному берегу, либо оттолкнуться от него. Шукшин выбирает последнее. И в выборе этом с особой ясностью проявилась та сила, которая и должна была в корне изменить жизнь этого человека.

Поясню свою мысль. Шукшин выбирал не между городом и деревней — хотя желание вернуться в Сrostки становится для него в последний год жизни все более непреодолимым; не между кинематографом и литературой — хотя опять же его решение оставить кино общеизвестно. Он выбирал между «искусством» и искусством. Между мнимостью, суетностью и подлинностью, зрелостью, мудростью.

Примером служения такому искусству и стал для Шукшина Шолохов, с которым он познакомился во время съемок «Они сражались за Родину». «Шолохов, — признается Шукшин, — все во мне перевернул. Он внулшил — нет, не словами, а собствен-

ным примером, своим присутствием и в Вешенской и в большой литературе,— что не нужно спешить, гнаться за рекордами в искусстве; что надо искать тишины и спокойствия, чтобы глубоко обдумывать судьбы народные».

Но дело, думаю, не только в счастливой встрече с Шолоховым — это был мощный, хотя и внешний толчок. Дело во внутренней готовности Шукшина перейти на новые пути творчества, в особом состоянии духа, в котором художник почувствовал голос своего нового призвания. Об этом очень хорошо сказал в своей книге «Василий Шукшин» В. Коробов: «Состояние это — муки рождения. И не просто нового качества, перехода на еще более высокую творческую ступень, а муки рождения нового творца». И дальше, поясняя свою мысль, привел следующее высказывание М. Горького: «Крупные русские писатели не пером пишут, а плугом пахут по бумаге, пробивая ее, вывертывая на белое черную землю. Вот почему легкое писание, беллетристика русскому кажется пошлостью, и русский писатель кончает свой путь непременно той или другой формой учительства и объявляет дело своей прошлой жизни «художественной болтовней». И если и не кончают учительством, а остаются художниками до конца, то это искусство не совсем свободно, в нем какой-то безумный загляд смотреть и радоваться солнышку, когда голова будет отрублена».

В словах этих заключен глубокий смысл. Они затрагивают цепь духовной преемственности русской литературы, в которую Шукшин включен прочно и навсегда. Ибо и его творчество «не совсем свободно», в нем очень хорошо ощутим «безумный загляд». Ибо и в самой жизни Шукшина, в его беспощадном единоборстве с судьбой воплотилась одна из самых характерных и таинственных для русской литературы тема «ухода».

Пожалуй, глубже и пронзительнее других ее выразил Пушкин.

Пора, мой друг, пора!
Покая сердце просит —
Летят за днями дни,
и каждый час уносит
Частичку бытия,
а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить,
и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет,
но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается
мне доля —
Давно, усталый раб,
замыслил я побег

В обитель дальнюю трудов
и чистых нег.

Обратите внимание, какое удивительное совпадение состояний. Даже в словах. Пожалуй, чаще всего в последнем интервью Шукшина встречается слово «покой». Слово, произнесенное и осмысленное именно в пушкинской традиции. Оно несет в себе мечту об освобождении. От чего же?

В страстной, неодолимой мысли о «побеге», «уходе», «освобождении» Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Хлебникова и др. было несомненно что-то общее. И прежде всего тот «безумный загляд», о котором так точно написал Горький. Но отличала всех, я в этом убежден, разность мотивов и средств, с помощью которых русские писатели шли к этой таинственной цели. И так как кончалось все, как правило, однозначно — смертью автора, можно было предположить, что каждый такой «уход» был ничем иным, как попыткой «высочить» из жизни, обрести некий абсолютный, чистый, пронизательный взгляд, которым можно было бы обозреть все пространство жизни.

Не странно ли это прозвучит — непосильным, тем, что художник не может преодолеть в себе и в мире, оказывается сама жизнь?

Не странно... Это капитальная проблема творчества, суть которой однажды очень точно сформулировал Шукшин:

«Жизнь представляется мне бесконечной студенистой массой — теплое желе, пронизанное миллиардами кровеносных переплетений, нервных прожилок... Беспредельно вздрагивающее, пульсирующее, колышущееся. Если художник вырвет кусок этой массы и слепит человека, человек будет мертв: порвутся все жилки, пуповинки, нервные окончания съежатся и увянут. Но если погрузиться всему в эту животворную массу, — немедленно начнешь — с ней вместе — вздрагивать, пульсировать, вспучиваться. И умрешь там».

Из этого высказывания Шукшина очень хорошо видно, что исходный смысл ситуации выбора, перед которым он оказался, состоял не в выборе «места жительства» или «искусства», которому следует смиренно служить, а в нахождении разрешения того трагического противоречия, когда либо искусство умерщвляет жизнь, либо жизнь обрекает художника на смерть. И уже как спасительная идея в сознании каждого крупного русского художника рано или поздно возникает мысль о «побеге» «в обитель дальнюю трудов и чистых нег».

В системе нашей культуры «обитель» эта выполняет примерно ту же функцию,

что, скажем, легенда о Беловодье, граде Китеже в утопическом народном сознании. И тут очень важно подчеркнуть, что и то и другое не отдалено от реального мира пространственной дистанцией, а существует здесь же, только в ином временном измерении. Иными словами, «обитель» эта есть совершенно особая реальность — естественно, воображаемая, — где и разрешается трагическое противоречие между волей художника и стихией жизни. Покой же есть лишь необходимое условие возникновения этой духовной реальности. И это прекрасно понимал Шукшин. Но понимал он и другое — «реальность» эта невозможна вне мысли. Ибо только мысль придает ей определенную размерность и высвечивает ее глубину в полном объеме.

Вот как об этом говорил сам Шукшин: «Самое дорогое в жизни — мысль, постижение, для чего нужно определенное стечение обстоятельств и прежде всего — покой».

В другом месте: «Работа писателя требует усидчивости, вдумчивости, предполагает углубление...»

И снова: «Глубоко погрузиться в мысли, глубоко постичь... Вот для этого и нужен покой».

А вот о кинематографе: «Тут порой много больше, я думаю, энергии, чем мысли».

Посмотрим теперь, какова же господствующая идея Шукшина-художника, ощутившего в себе состояние рождения «нового творца»? Каково направление его мысли? Во что так настойчиво стремится углубиться? Постижению чего желает посвятить оставшиеся дни своей жизни?

Весьма соблазнительно творчество Шукшина вывести из пушкинской традиции. И к этому есть достаточно серьезные основания. Мне кажется, что Шукшину-рассказчику необычайно близка сама тоналность пушкинских произведений — осенняя, ясная, тихая, вдумчивая. Без особого труда мы можем найти тут и совпадение некоторых фундаментальных идей, разработку которых в нашей литературе начал Шукшин. Я имею в виду такие антиязы, как «государство и народ», «закон и воля», «правосудие и милость», «долг и чувство». Но при этом, видимо, не стоит забывать, что преемственность традиции предполагает нечто большее, чем следование определенному канону и темам в искусстве. Тут огромное значение имеет личность художника и его отношения со временем, в котором он живет. Нельзя продолжить пушкинскую традицию через голову современности. Нельзя сделать вид, что ничего не произошло в стране, в мире, в созна-

нии каждого человека за последние сто лет. Слишком беспощадным и кровавым оказался XX век и в отношении классической культуры, и в отношении человека. Поэтому выход тут только один — проращивать традиции из прошлого в настоящее, находить в ней те прозрения, те мостики во времени, которые позволяют нам чувствовать себя если не равными, то достойными собеседниками своих предшественников. И потомков. С другой стороны, необходимо и из настоящего пытаться пробить тот «тромб» истории, который закупорил естественный во времени ток идей, чувств, мыслей и надежд. Говоря об укorenности Шукшина в традиции классической русской литературы, я имею в виду как раз это внутреннее усилие художника, реализующееся на встречном движении истории.

И тут мы снова должны вернуться к ситуации выбора, в которой оказался Шукшин в последние годы своей жизни. Несомненно, что именно в этот период он осознал себя не просто писателем, режиссером, актером, но художником «призванным», несущим на себе огромный груз ответственности перед русской историей, культурой, литературой, почувствовал себя частью чего-то неизмеримо большего, ясно ощутил, что в нем и через него осуществляется преемственность традиции. И это, конечно, не могло не изменить его взглядов. Об этом свидетельствуют его записи в рабочих тетрадях, где он в полусерьезной форме пытается выстроить собственную генеалогию русской литературной классики. Льва Толстого он называет здесь «патриархом русской литературы», «отцом», а Пушкину отводит роль «сына».

Поначалу этот ход мысли ошарашивает своей мальчишеской дерзостью. Но вчитавшись, замечаешь, что в шукшинской «генеалогии» есть своя внутренняя логика. Коротко говоря, его интересуют не хронология и сопоставление масштабов фигур, а процесс развития исторических идей, определивших особенности и характер русской литературы.

Но для нас сейчас важно и то, что стоит за «логикой», за «словом» — совершенно особое, достаточно противоречивое, драматичное внутреннее состояние самого художника, который пытается определить степень собственного «родства» по отношению к классикам отечественной литературы. Само это состояние нельзя четко сформулировать. В него можно только вчувствоваться, вжиться, помня о том, как трудно и мучительно Шукшин «выходил в люди», какой ценой ему досталось образование и, наконец, как долго он вынашивал

в себе заветную мечту о писательском поприще. «В литературу и искусство,— признается Шукшин,— я пришел довольно поздно. Я приехал в столицу из села с большими пробелами в знании мира. Всегда рассматривал литературу и искусство как некое откровение человеческого духа. На писателей смотрел как на мудрецов, людей иного мира. И вдруг сам оказался среди них...».

В этом «вдруг» и заключена вся суть проблемы, ибо слово это как раз очень точно и передает то взвешенное, неустойчивое состояние души, которое Шукшин обнаруживал в себе, когда говорил, что он так и остался ни деревенским, ни городским человеком. То же самое можно сказать и об его отношении к «классике». Он уже очень хорошо осознавал свою близость к традиции великой русской литературы, но в то же время понимал, что «родство» это как бы незаконное, что его нужно выстрадать, заслужить каждодневной, углубленной работой мысли и чувства.

Где-то здесь нужно искать точку наивысшего духовного взлета и трагического разрешения противоборства судьбы и жизни Шукшина. Ведь дело не в том, принято решение или нет, оставил он суетную столичную жизнь и удалился в «обитель тихую» или продолжил отмеренный ему путь творческого самосожжения, а в том, что это взвешенное с опорой только на себя, на свою мысль и боль положение, видимо, и есть единственно возможное для писателя на Руси. Ибо всегда он обречен жить меж двух времен, меж двух миров, меж двух начал, меж двух слов, меж двух утопий. И в этом заключена трагедия жизни и творчества русского художника, суть которой прекрасно и кратко выразил Платонов: «В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равновеликими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой».

Шукшин, «распятый» (его слово.— С. Ш.) между кинематографом и литературой, городом и деревней, «классикой» и современностью и был живым олицетворением этой трагедии. Я думаю, что именно этот эпический захват, это касание противоположных полюсов жизни и культуры и определили в конце концов укорененность его как художника в самые капитальные идеи истории, философии и литературы России. Это чувствовал и сам Шукшин. Сравнивая себя с человеком, который оказался в крайне неудобном положении сидящего между двух стульев, он вдруг делает совершенно неожиданный вывод: «но в этом моем положении (ни городской, ни деревенский.— С. Ш.) есть свои «плюсы»

(захотелось вдруг написать — флюсы). С сравнения всяческих «оттуда — сюда» и «отсюда — туда» невольно приходит мысль не только о «деревне» и «городе» — о России».

Именно в контексте этой мысли только и можно понять, почему так выделяет Шукшин в русской литературе Толстого. Здесь явное совпадение мироощущений, попытка преодолеть внутренний кризис, обрести точку опоры в мире, где происходит глубинный слом патриархальной культуры. Но есть и еще один существенный момент, который сближает этих двух художников. Я имею в виду все тот же «безумный загад». Это он повлек Толстого за собой в мир, заставил отказаться от своего творчества, семьи, дома, привычного уклада жизни. Его «уход» был, конечно же, актом отчаяния, вызванного последней, страстной, мучительной попыткой освободиться от себя, от непосильного груза прожитых лет. Но именно в этом таинственном для нас поступке, может быть, ярче всего и проявилась личность Великого старца. По натуре он был богоборцем и не мог примириться с мыслью, что человеку не дано знать ответ на самый фундаментальный вопрос, который, как писал Циолковский, «не решил никто: ни наука, ни религия, ни философия. Он стоит перед человечеством, огромный, бескрайний, как весь этот мир и вопиет: зачем? зачем?»

Я сейчас не сравниваю масштаб этих фигур. И уж тем более не стремлюсь поставить их рядом. Это было бы крайне легкомысленно. Но в одном — в нестовом, непреодолимом желании понять человека и его тайну, углубиться, вгрызться в самую суть вопроса о смысле жизни, я убежден, оба писателя ни в чем не уступали друг другу.

Откройте, перечитайте последнюю страницу рассказа Шукшина «Жил человек», и вы ощутите это внутреннее родство с автором знаменитой «Исповеди», которого «ситуация незнания» — он ее называл состоянием «остановки» жизни, доводила до мысли о самоубийстве. То же и у Шукшина. Даже в стиле, в манере построения фразы, где бьется, клокочет мятежный дух художника, освобождающегося от спасительной иллюзии мертвых слов.

«Человека не стало. Всю ночь я лежал потом с пустой душой, хотел сосредоточиться на одной какой-то главной мысли, хотел — не понять, нет, понять я и раньше пытался, не мог — почувствовать хоть на миг, хоть кратко, хоть как тот следок тусклый, — чуть-чуть бы хоть высветилось в разуме ли, в душе ли: что это такое было — жил человек... Этот и вовсе трудно жил. Значит, нужно, что ли, чтобы мы жили?»

Или как? Допустим, нужно, чтобы мы жили, то тогда зачем не отняли у нас этот проклятый дар — вечно мучительно и бесплодно пытаться понять: «А зачем все?» Вот уж научились видеть, как сердце останавливается... А зачем все, зачем? И никуда с этим не докричишься, никто не услышит. Жить уж, не оглядываться, уходить и уходить вперед, сколько отмерено. По-хоже, умирать-то — не страшно».

И еще — Шукшин, особенно в последние годы, настойчиво искал новую художественную форму — форму философской исповеди. Это выразилось прежде всего в его неустанной борьбе с сюжетом. И объяснял он это очень просто: «Вне сюжета, в отдалении от него — начинает говорить душа, разум, мудрость, сам кинотворец». В кино, скажем прямо, Шукшину далеко не всегда удавалось освободиться от власти сюжетного хода. В литературе, особенно в рассказах, мы сталкиваемся с этим все чаще и чаще.

Вот лишь один пример, который, надеюсь, замкнет весь круг предыдущих наших размышлений.

Рассказ «Дядя Ермолай» заканчивается «отступлением», в котором автор начинает говорить от себя. Приведу его полностью. Оно замечательно уже тем, что неопределенность, неустойчивость, неудобство положения, о котором так часто говорил Шукшин-публицист, превращено здесь умом и талантом художника в трагедию личности, где, по словам Платонова, гибель одной из равновеликих сил «не увеличивает этического достоинства другой».

«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: «Емельянов Ермолай ...вич».

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю — стою над могилой, думаю. И дума моя о нем — простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? В том именно, как они ее прожили. Или — не было никакого смысла, а была работа, работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Совсе не лодырей, нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да и сам я ее понимаю иначе! Но только когда смотрю на их холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее?»

Незадолго до смерти Шукшин внес в ряд рассказов изменения. В частности, он дописал «Дяде Ермолаю» финал. Обратите внимание на то качественно новое состояние мысли, которое вдруг обнаруживает писа-

тель в этом, казалось бы, уже законченном произведении, где неразрешимость вопроса о смысле жизни окрашена пока что лишь противостоянием двух различных укладов и логик жизни — прошлой и современной, деревенской и городской. Теперь Шукшин делает следующий шаг в область, которую иначе как метафизической и не назовешь.

«Не так — не кто умнее, а — кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно — до отчаянья и злости — не могу понять: а в чем Истина-то? Ведь это я только так — грамоты ради и слегка из трусости — величаю ее с заглавной буквы, а не знаю — что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их».

В этом коротком абзаце сфокусировался итог жизненного и творческого пути художника, который оказался перед лицом конечного вопроса: «Как жить человеку на земле с мыслью о неизбежной смерти?» В свете этого вопроса, собственно, только и раскрываются глубинные, подлинные смыслы таких капитальных для Шукшина понятий, как «праздник», «вера», «истина», «правда», «жалость». Но осевым понятием в литературном и кинематографическом мире художника, конечно, становится понятие «чудик».

Вокруг него в свое время кипели жаркие споры. И чтобы не вдаваться в их суть, сразу обозначим свое отношение к этому явлению. Для меня лично «чудик» — понятие универсальное, ибо выражает собой то, что можно было бы назвать «тайной» человека. Иначе говоря, «чудаковатость» — это все то, что мы не можем объяснить в человеке рассудком, что выходит за пределы наших нормативных представлений, социальных и психологических стереотипов, привычек. Там, где человек выламывается из накатанной колеи жизни, мгновенно возникает образ, который мы смело можем называть «чудик». Сам Шукшин сформулировал это еще проще: «Мне интереснее всего исследовать характер человека-недогматика, человека, не посаженного на науку поведения. Такой человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естественен». И тут же добавляет: «Но у него всегда разумная душа».

Вот с этим я, пожалуй, поспорю.

Из рабочих записей: «Во всех рецензиях только: «Шукшин любит своих героев... Шукшин с любовью описывает своих героев...». Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или — не умеют. И то и другое, наверное».

Справедливый упрек. Возразить тут нечего. Остается одно — попытаться хоть сейчас вдуматься, понять, что открывал для нас в своих героях Шукшин.

Первое, что бросается в глаза,— удивительный и одновременно пугающий диапазон психологических состояний, которые Шукшин обнаруживает в человеке. Разин в этом смысле — фигура совершенно уникальная. Но, уж коли мы заговорили о «чудиках», ограничимся этим художественным типом героя.

Ясно, что основа его связана с фольклорным сознанием, и это уже неоднократно отмечали многие исследователи творчества Шукшина. Нам же хотелось бы обратить внимание читателя на другую, назовем ее так — реалистическую сторону художественного образа. Ведь «чудик» для Шукшина далеко не всегда безобидный, добрый, живущий по какой-то своей странной логике человек. Нередко это еще и проявление болезни. Причем не только социальной, психической, но и просто физической.

Случайно это? Конечно, нет. Ведь болезнь — это своего рода мостик, переброшенный между жизнью и смертью. Всматриваясь в эту болезнь, исследуя ее, художник неизменно выходит в то предельное для мысли и чувства состояние, когда во всей своей силе начинают проявляться самые коренные, начальные вопросы человеческого существа. И снова в свете этих вопросов ищется тот путь, который позволяет нам всем оставаться людьми, зная, что конец у всех будет один. Снова определяется нечто самое главное, что удерживает человека над бездной жизни и смерти от последнего, отчаянного шага.

Например, в рассказе «Боря» герой уже даже не «чудик», а просто недоразвитый парень с разумом двухлетнего ребенка. Автор его так и называет — «дурачок». Но тут же добавляет, что «с дурачками, я заметил, много легче, интереснее, чем с каким-нибудь умницей, у которого из головы не идет, что он — умница». Почему же интереснее? Оказывается, потому, что «неизбежно тянет философствовать». А от себя добавим, что еще и потому, что дурачок есть своего рода формула человека, в котором душа говорит на своем, открытом, не искривленном лукавством ума языке. И вот для того, чтобы убедиться в этом, автор решается, как он сам признается, «на довольно неуклюжий эксперимент».

«Боря сидел на скамеечке во дворе... Я подсел рядом, позвал:
— Боря.

Боря повернулся ко мне, а я стал внимательно смотреть ему в глаза. Долго

глядел... Я хотел понять: есть ли там хоть искра разума или он угас давно, совсем? Боря тоже глядел на меня. И я не наткнулся — как это бывает с людьми здоровыми — ни на какую мысль, которую бы я прочел в его глазах, ни на какой молчаливый вопрос, ни на какое недоумение, на что мы, смотрящие здоровым в глаза, немедленно тоже молча отвечаем — недоумением, презрением, вызывающим: «Ну?» В глазах Бори всеобъемлющая, спокойная доброжелательность, какая бывает у мудрых стариков. Мне стало не по себе».

А собственно говоря, почему вдруг стало не по себе? Да потому же, почему стало не по себе герою фантастического рассказа «Сон смешного человека» Достоевского, когда тот очутился на другой планете и увидел совершенно счастливых и безгрешных людей. Потому же, почему стало не по себе и Константину Левину в финале романа Л. Толстого «Анна Каренина», когда прохожий мужик вдруг в одной фразе объяснил ему смысл жизни. Тут некая идеальная точка жизни и веры, которая в мироощущении русского человека всегда связывалась с безотчетным стремлением его отказаться от себя, забыть себя, не видеть себя со стороны. Дурачок в этом смысле фигура идеальная. Ему изначально не знакомо мучительное состояние здорового мыслящего человека, который в мире и в себе постоянно сталкивается с собственным отражением.

В этой странной особенности русского характера чаще всего, особенно сегодня, видят исторически и социально обусловленное неуважение и даже презрение к личности человека, к автономной, свободно проявляющей себя мысли. Отчасти это верно, если принять во внимание процесс развития в народе, обществе и государстве не лучших, а наиболее дурных наклонностей нашей природы. Но если все же обратиться к изначальному, внутреннему душевному порыву, то мы увидим, что «освобождение» от себя в основе своей имеет очень простой и ясный посыл — отказ от эгоцентричного взгляда на мир и утверждение некоего универсального человеческого чувства, которое удерживает жизнь общества в хрупком равновесии и не позволяет ей превратиться в ад. Чувство это называется жалостью.

«Жалость,— пишет Шукшин,— это выше нас, мудрее наших библиотек... Мать — самое уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное — вся состоит из жалости. Она любит свое дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра — много всякого, но неизменно, всю жизнь — жалеет. Тут Природа распорядилась за нас. Отними-ка у нее жалость, оставь ей высшее образование, уме-

ние воспитывать, уважение... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три недели превратится во всесветный бардак».

Своеобразное подтверждение от противного этой старой как мир истины мы находим в одном из самых загадочных и неожиданных в творчестве писателя рассказе «Штрихи к портрету».

Пытаясь оспорить слова Шукшина о том, что у его героев всегда «разумная душа», я имел в виду именно эту историю Николая Николаевича Князева — человека, как писал сам Шукшин, «ушибленного общими вопросами». Или, если по-другому, — человека, в котором «разумная душа» надорвалась под непосильным грузом отвлеченной мысли.

Но, прежде чем обратиться к существу проблемы, очерченной в этом рассказе, нам нужно еще раз сделать небольшое отступление в прошлое.

Дело в том, что одна из главных особенностей русской литературы состоит в том, что она изначально утопична. Говоря это, я имею в виду прежде всего неостребимую веру русского писателя в преобразующую роль слова, с помощью которого можно не только изменить мир, но и спасти человека. Нагляднее всего эта особенность проявляется в мотиве «перехожения героя». Наиболее хрестоматийный в этом смысле пример — «Выпрямил» Г. Успенского.

Но об утопичности русской литературы можно говорить и в другом смысле. Это еще и тот «безумный загад», о котором писал М. Горький. Обращенность в некое идеальное пространство жизни, мучительный и благородный в своей основе поиск подлинного идеала — все это указывает на определенный тип сознания русского человека, уходящего своими корнями в глубь народной культуры. Саму его, психологическую характеристику очень точно выразил Версиков в романе Достоевского «Подорожник»: «Желание соврать с целью ошастливить своего ближнего, ты встретишь даже и в самом порядочном нашем обществе, ибо все мы страдаем от невоздержанности сердец наших».

Но в начале второй половины 19-го века «страдания» эти превратились для русского человека уже в нескончаемую муку, ибо и без того отвлеченное и утопичное мышление оказалось в ситуации неразрешимого духовного конфликта. На почву традиционной для русской жизни пассаестической (обращенной в прошлое) утопии упали первые семена западной утопической мысли, направленной в некое идеальное будущее. В результате наша духовная жизнь оказалась заключенной как бы между двух миров, или, если другими

словами, — между двух снов: «сна Ильи Ильича Обломова» и «сна Веры Павловны». Вот эта раздвоенность сознания в значительной степени и предопределила те ожесточенные идеологические споры, которые развернулись вокруг самого понятия «утопии».

В 1863 году Чернышевский в Петропавловской крепости описывает будущую жизнь, заключенную под куполом «Хрустального здания». В 1864 году в журнале «Эпоха» выходит повесть Достоевского «Записки из подполья», где высмеивается теория «разумного эгоизма» и сама претензия представителей просветительской концепции человека построить жизнь на разумных основаниях. «С чего это взяли все эти мудрецы, — иронизирует его герой, — что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благо-разумного выгодного хотения? Человеку надо — одного только самостоятельного хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

Итак, с одной стороны, идеология «нового человека», с другой — «подпольного». Одна утверждает норму жизни в соответствии с принципом «разумного эгоизма», другая — противопоставляет ей жизнь «по своей глупой воле». Но, как это нередко случается, проблема состояла совсем в другом. В исторической перспективе обе крайности сошлись и обнаружили вдруг, что человек выпал окончательно из настоящего на голую почву реальности и оказался перед лицом страшных фантомов, перед которыми бессильны и наш «разум» и наша «глупая воля».

Одним из первых на это качественно новое состояние российского утопического сознания обратил внимание Платонов. В его произведениях нашло свое предельное выражение то безумие жизни, при котором строгая «научная идея», практический «здравый смысл» и «глупая воля» человека произвольно меняются местами, создавая в умах людей образ фантазмагоричной действительности, где полностью отсутствует настоящее, ибо оно поглощено либо не преодоленным до конца прошлым, либо страстно желаемым будущим. Это очень хорошо видно по следующей характеристике одного из героев «Котлована», которую дал ему Платонов: «Он любил все темы, кроме скотоводства, и охотно отдавал мысль любой далекой перспективе, лишь бы она находилась на сто лет вперед или настолько же назад».

И вот сегодня тему болезненного утопического сознания Шукшин довел до своего логического конца. Он оконча-

тельно вывернул наизнанку сам мотив «нового человека» и превратил его в анекдот, сравнил с идеологией «подпольного человека». И это не было чисто литературным экспериментом. Шукшин и здесь следовал внутренней логике жизни и искусства.

Заголовку рассказа «Штрихи к портрету» автор предпослал пояснение: «Некоторые конкретные мысли Н. Н. Князева, человека и гражданина». Трудно не почувствовать тут иронии. Куда важнее понять ее причину.

Герой рассказа, провинциальный Спиноза, самодеятельный философ, «чудак», пишет фундаментальный труд «О государстве». Причем об идеальном государстве, где каждый человек чувствует себя счастливым, сытым и необходимым обществу. Я сейчас не стану останавливаться на природе шукшинского юмора. Это особая, как мне кажется, не вполне исследованная тема, которая заслуживает особого внимания. Нам сейчас важно установить парадоксальность, а если точнее — анекдотичность ситуации, предложенной в рассказе Шукшиным.

Смешно, конечно, когда советский человек, да еще в период, когда в государстве кроме государства ничего не существовало, где люди озабочены лишь одним — хоть на какой-то короткий срок (час, сутки, в лучшем случае отпуск) освободиться от его докучливой опеки, вдруг начинает по ночам писать работу «О государстве». Мало того, пристаёт ко всем со своими «конкретными» мыслями «гражданина».

Смешно, когда он вызывает на свою голову гнев своих соотечественников, требуя от них неукоснительно следовать принципу «разумной» и «целесообразной» жизни.

Но всю глубину и трагизм этого смеха начинаешь осознавать лишь тогда, когда понимаешь, что эта строгая и одновременно экзотическая «философия государства» выросла на почве русской утопии. А ее отличительная черта, как считает, например, С. Калмыков, «делающая ее столь непохожей на западноевропейскую — отсутствие в ней детальной государственной регламентации. Принцип этой утопии такой: чем меньше государственного стеснения, тем лучше». Герой рассказа Шукшина в своих ночных бдениях породил нечто совершенно противоположное. Его утопия прежде всего предполагает «детальную государственную регламентацию», «структуру», «целесообразный план». «Государство,— пишет он,— это многоэтажное здание, все этажи которого прозваниваются и сообщаются лестницей. Причем этажи постепенно сужаются, пока не останется наверху одна

комната, где и помещается пульт управления».

Не будем больше вдаваться в существо этого грандиозного замысла «гражданина и человека Н. Н. Князева». Задумаемся лучше над тем, какой фантазмагоричной представляется ему обыденная жизнь, где нет места такому «государству». Или точнее, где идея такого государства буквально растворена в воздухе и в крови людей. Задумаемся над тем, как странно и болезненно в сознании героя соединились традиционные для русского человека понятия «правды» и «справедливости» с «отвлеченной мыслью» о «государственной пользе». Задумаемся, наконец, о бесконечно уязвленном самолюбии и постоянном унижении «подпольного» философа и о том наслаждении, о том «сладостном чувстве» освобождения, когда ему вдруг представляется возможность «кричать людям всю горькую правду про них». И тогда, видимо, мы ощутим всю глубину «срыва целестремленной души» человека, унаследовавшего из нашего прошлого не только страсть к отвлеченным суждениям, «глупую волю» и безразличное, почти презрительное отношение к настоящему, но еще и сумму научных идей и концепций, которые успели стать неотъемлемой частью российской жизни.

Все творчество Шукшина, в сущности, и есть сквозной, терпеливый и беспощадный анализ этого духовного наследия. Вот откуда укорененность в традицию русской литературы, о которой мы уже говорили выше. Вот откуда этот удивительный и одновременно пугающий захват психологических, социальных и одновременно онтологических перекосов, болезней и срывов «разумных» и «целестремленных» душ. Наконец, вот откуда вырастает кричащий и не разрешимый в публицистических спорах капитальный вопрос — «Что с нами происходит?»

Жалость к дурачку Боре — это один полюс русской души. Но Шукшин прекрасно понимает, что удержать на нем жизнь сегодня просто невозможно. Все же больница — это далеко не самое идеальное место, где можно искать правду о человеке. Не случайно рассказ заканчивается на все той же безысходной, рвущейся интонации — «хоть бы маленький ветерок, хоть бы как-нибудь расколыхать этот душный покой... Скорей бы отсюда — куда-нибудь».

Но вот другой полюс — Разум, Мысль, Порядок, Государство — фантастический проект Н. Н. Князева. Но и он оказывается несостоятельным, уродливым, а главное, бессмысленным в этой неподвижной, темной и немой жизни.

А между полюсами этими мечется, рвется, страдает и гибнет разинская натура обиженных шукшинских героев. Не знают они ни меры, ни края. И гибнут чаще всего, потому что не могут справиться с чем-то непосильным в себе, неподвластным ни мысли, ни чуду, ни закону. Это «нечто» и было для Шукшина самой удивительной загадкой в душе русского человека. Ее он собирался разгадать, замысливая свой побег от суеты столичной жизни...

Эти заметки я хотел назвать «Шукшин — философ». Но побоялся. Чего же? Да того самого портрета «классика», в котором умирает самое дорогое, что есть у человека, — лицо. Шукшин никогда не был похож ни на «писателя», ни на «режиссера», и, уж тем более, не было у него ничего общего с обликом «философа». Не случайно, если и употреблялось это слово, то с неизменными оговорками. «Шукшин —

философ народный» (Г. Бурков). «Шукшин был, конечно, — по нравственному отношению к вещам — настоящим, прирожденным философом. Но не в западноевропейской ученой традиции, когда философ непременно профессионал и т. д.» (Л. Аннинский). Все эти «прилагательные», «но», «уточнения», конечно же, указывают на отличительные, самобытные черты Шукшина-мыслителя, но они одновременно как бы и призрачают в нем главное — усилие и напружение мысли, которая вся высвечена конечным вопросом о смысле жизни. А это и есть философия в своем единственном и реальном выражении. Да и потом — не в словах дело. Ведь речь идет о человеке, много страдавшем, много думавшем и успевшем что-то рассказать нам о нас самих. Речь идет о художнике, рискнувшем в ситуации тотальной имитации мыслей, чувств, жизни вслух задать совершенно безумный вопрос: «В чем Истина?»

НАШИ АВТОРЫ

АРАБОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1980 г. (мастерская Н. Фигуровского и Е. Дикова). По его сценариям режиссер А. Сокуров поставил фильмы «Одинокий голос человека» (1978 г.), «Скорбное бесчувствие» (1986 г.), «Дни затмения» (1988 г.), «Спаси и сохрани» (1989 г.), режиссер О. Тепцов — «Господин оформитель» (1988 г.). В журнале «Киносценарии» напечатаны сценарии «Sillentium» № 1, 1987 г.) и «Вечное движение» (№ 2, 1988 г.). Автор сценариев «Две танцовщицы» (1984 г.), «Крейсер» (1984 г.), «Сфинкс» (1987 г.), «Николай Вавилов» (1987 г., совместно с С. Дзяченко).

ВОЛОЦКИЙ МАРК ИОХОНОВИЧ (род. в 1939 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1967 г. Заведующий музеем Киностудии им. М. Горького. Автор статей по истории кино, а также сценариев документальных фильмов «Голоса войны» (1974 г., совместно с А. Лебедевым, реж. Г. Красков), «Меланьяина свадьба» (1979 г., совместно с Л. Огиенко, реж. А. Коваль), «Я научу вас мечтать» (1985 г., совместно с реж. Г. Чухраем и Ю. Швырëвым).

ЗАЛОТУХА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1954 г.). Закончил факультет журналистики МГУ в 1976 г. и Высшие сценарные курсы в 1984 г. (мастерская Л. Голубкиной и С. Лунгина). Автор сценариев фильмов «Вера, Надежда, Любовь» (1984 г., реж. В. Грамматиков), «Каникулы у моря» (1985 г., совместно с Г. Оганисян, реж. М. Паносян), «Садовник» (1987 г., реж. В. Бутурлин), «БОМЖ» (1989 г., реж. Н. Скуйбин), «После войны — мир» (1989 г.,

реж. А. Никитин). Фильм по сценарию «Танк «Клим Ворошилов II» снимает реж. И. Шешуков. Автор сценариев «Двое на футбольном поле» (1980 г.) и «Платки» (1987 г.).

КОВАЧ АНДРАШ (род. в 1925 г.). Закончил режиссерский факультет Высшей школы театра и кино в Будапеште. Заслуженный деятель искусств ВНР. Поставил по своим сценариям фильмы «Трудные люди» (1964 г.), «Холодные дни» (1965 г., экранизация романа Т. Череша), «Стены» (1968 г.), «Эстафета» (1970 г.), «На венгерском языке» (1972 г.), «С завязанными глазами» (1974 г., по роману Г. Турзо), «Лабиринт» (1976 г.), «Хозяин конезавода» (1978 г., по роману И. Галла), «Октябрьское воскресенье» (1979 г.), «Временный рай» (1981 г.), «Красная графиня» (1984 г.), «Где-то в Венгрии» (1987 г.) и др.

КРИНИЦЫНА АЛЛА ЕВГЕНЬЕВНА. Закончила Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого в 1981 г. Автор сценариев фильмов «Мы веселы, счастливы, талантливы» (1986 г., реж. А. Сурин), «Поджигатель» (1988 г., реж. А. Сурин, опубликован под названием «Я хочу спросить» в журнале «Киносценарии» № 2, 1988 г.).

ЛОБАЧЕВСКАЯ ЕЛЕНА ТЕОДОРОВНА. Закончила сценарный факультет ВГИКа в 1982 г. (мастерская Е. Григорьева). Автор сценариев фильмов «Корабль» (1988 г., режиссер А. Иванов-Сухаревский, опубликован в журнале «Киносценарии» № 1, 1987 г.).

МАМАРДАШВИЛИ МЕРАБ КОНСТАНТИНОВИЧ (род. в 1930 г.). Закончил философский факультет МГУ в 1954 г. Доктор философских наук. Главный научный сотрудник Института философии АН СССР. Специализируется по вопросам философии сознания, истории философии и логики науки. Автор книг «Формы и содержание мышления», «Классические и неклассические идеалы рациональности», «Картезианские размышления» и др.

РОБИНСОН ДЭВИД (род. в 1930 г.). Английский кинокритик и историк кино, кинообозреватель журнала «Таймс». Автор книги «Мировое кино», «Голливуд в 20-е годы», «Великие комиксы», «Бастер Китон», «Чаплин. Зеркало мнений», «Чаплин. Жизнь и искусство».

СЕНОКОСОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1938 г.). Закончил исторический факультет МГУ в 1962 г. Редактор отдела журнала «Общественные науки» АН СССР. Специализируется по проблемам истории русской философии.

СЭПМАН ИЗОЛЬДА ВЛАДИМИРОВНА. Закончила филологический факультет ЛГУ в 1956 г. Кандидат искусствоведения. Автор ряда работ по истории советского кино.

ТРАУБЕРГ ЛЕОНИД ЗАХАРОВИЧ (род. в 1902 г.). Учился в студии комической оперы в Петрограде. Заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1921 г. вместе с Г. М. Козинцевым создал фабрику эксцентрического актера (ФЭКС). Совместно с Г. М. Козинцевым поставил фильмы «Чертво колесо» (1926 г.), «Шинель» (1926 г.), «СВД» (1927 г.), «Новый Вавилон» (1929 г.), «Одна» (1931 г.), «Юность Максима» (1935 г.), «Возвращение Максима» (1937 г.), «Выборгская сторона» (1939 г.) и др. Также поставил фильмы «Актриса» (1943 г.), «Шли солдаты» (1959 г.), «Вольный ветер» (1961 г.) и др. Автор книг «Когда звезды были молоды», «Фильм начинается», «Дэвид Уорк Гриффит», «Мир наизнанку» и др.

ТРОШИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (род. в 1942 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1971 г. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Специализируется по проблемам венгерского кино. Автор книг «Кинорежиссер Андраш Ковач», «Поэзия плюс юмор плюс кино. О героях и сюжетах Резо Габриадзе», «Кино и телевидение», «Венгерское кино. 79—80 годы».

ТЫНЯНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1894—1943 гг.). Выдающийся советский литературовед, писатель, теоретик кино, сценарист. Закончил Петроградский университет в 1918 г. В 1926—27 гг. возглавлял сценарный отдел «Севзапки-

но», в 1926 г. организовал кинофакультет в Институте истории искусства. Автор сценариев фильмов «Шинель» (1926 г., реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг), «СВД» (1927 г., совместно с Ю. Оксманом, реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг), «Ася» (1928 г., совместно с Ю. Оксманом и М. Блейманом, реж. А. Ивановский), «Поручик Киж» (1934 г., реж. А. Файнциммер).

ФРАНК СЕМЕН ЛЮДВИГОВИЧ (1877—1950 гг.). Выдающийся русский религиозный философ. Закончил юридический факультет Московского университета. В юности увлекался проблемами политэкономии, был членом марксистского кружка. В годы первой русской революции вместе с П. Б. Струве издавал журнал «Полярная звезда». С 1912 по 1921 г.—доцент Петербургского, а затем профессор Саратовского университетов. В 1922 г. был выслан из Советской России вместе с другими видными деятелями культуры. Автор книг «Предмет знания», «Крушение кумиров», «Духовные основы общества», «Непостижимое», «Свет во тьме», «Реальность и человек» и др.

ЦИВЬЯН ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ (род. в 1950 г.). Закончил факультет иностранных языков Латвийского государственного университета в 1973 г. Кандидат искусствоведения. Старший научный сотрудник Института языка и литературы АН Латвийской ССР. Автор статей по истории немого кино.

ШВЫРЁВ ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ (род. в 1932 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1965 г. (мастерская С. Герасимова и Т. Макаровой). Режиссер-постановщик фильмов «Прямая линия» (1968 г., сцен. В. Маканина), «Баллада о Беринге и его друзьях» (1970 г., сцен. В. Шкловского и Н. Осипова), «Огненное детство» (1977 г., сцен. С. Розена), «Мятежная баррикада» (1979 г., сцен. С. Розена), «Я научу вас мечтать» (1985 г., авт. сцен. совместно с Г. Чухраем), «Приход луны» (1987 г., сцен. Е. и А. Габриловичей). Автор сценариев «Декабристы» (1965 г.) и «Поэта праведная кровь» (1980 г.).

ШУМАКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (род. в 1951 г.). Закончил киноведческий факультет ВГИКа в 1979 г. Автор статей по проблемам советского кино.

ЯМПОЛЬСКИЙ МИХАИЛ БЕНЕАМИНОВИЧ (род. в 1949 г.). Закончил МГПИ им. Ленина. Кандидат педагогических наук. Старший научный сотрудник ВНИИ киноискусства. Автор работ по вопросам теории и истории кино, семиотики и культурологии.

1р.20к.
70434

3

КИНОСЦЕНАРИИ

1989